Ф.И.ТЮТЧЕВ

Ф. И. Тютчев

Стихотворения
Письма
Воспоминания современников

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Стихотворения

Письма

Воспоминания современников

Ф. И. ТЮТЧЕВ

Стихотворения
Письма
Воспоминания современников

МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1988

84 Р 1
Т 98

Составление
Л. Н. Кузиной

Вступительная статья,
комментарии
Л. Н. Кузиной и К. В. Пигарева

Иллюстрации
Б. П. Забирохина

Т $\frac{4702010100-1650}{080(02)-88}$ 1650—88

О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ Ф. И. ТЮТЧЕВА

С самого детства входит в нашу жизнь удивительная, завораживающая чистотой чувства, ясностью и красотой образов поэзия Федора Ивановича Тютчева:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...

Или:

Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора...

А потом, когда опыт жизни обогащает нас пониманием подлинной радости и подлинных страданий, гармонии и дисгармонии, мы вчитываемся в простые и мудрые слова поэта о цветущем мире природы, упоенном «преизбытком» жизни, о «волне и думе», о «бездне двух или трех дней» и т. д. И можем ли мы без трепета душевного и глубокого сочувствия читать тютчевские строки:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

С годами все расширяется, все углубляется наше знакомство с творчеством великого лирика-мыслителя, проникновенного выразителя человеческих чувств, вдохновенного певца природы... Нас влечет не только высокая красота и духовная неисчерпаемость поэзии Тютчева, но и богатое содержание его писем, в которых нашли отражение непосредственность его личности, черты его быта, его эстетические, философские и политические воззрения. Растет интерес к биографии поэта, его внешне обыкновенной и внутренне столь драматической, сложной жизни...

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября/5 декабря 1803 года в среднепоместной, стародворянской семье. Раннее детство Тютчева протекло в усадьбе Овстуг (Орловской губернии Брянского уезда). Здесь, в этом мире «благоговейной сосредоточенности» и «загадочного счастья» («эти перелески, этот сад, эти аллеи были целым миром — и миром полным»), пробудились воображение и ум, пробудилось то чувство природы, которое Тютчев сохранил в течение всей жизни[1]. Первоначальное обра -

[1] См. в наст. томе: Д. Ф. Тютчева. Из письма к Е. Ф. Тютчевой от 20 августа 1855 г.

зование Тютчев получил дома. С 1813 года его учителем русского языка был С. Е. Раич, молодой поэт и переводчик. Раич знакомил своего ученика с произведениями русской и мировой поэзии и поощрял его первые стихотворные опыты. В автобиографических записках, говоря о необыкновенных способностях своего «даровитого от природы» воспитанника, Раич упоминает о том, что «по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом»[1]. Эти переводы из Горация 1815—1816 годов не сохранились. Но среди ранних стихотворений поэта есть ода «На новый 1816 год», в которой можно увидеть подражание латинскому классику. Она была прочитана 22 февраля 1818 года поэтом и переводчиком, профессором Московского университета А. Ф. Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности. 30 марта того же года юный поэт был избран сотрудником Общества, а через год появилось в печати тютчевское вольное переложение из Горация — «Послание Горация к Меценату».

Осенью 1819 года Тютчев был принят в Московский университет на словесное отделение. Дневник этих лет товарища Тютчева, будущего историка и писателя М. П. Погодина, свидетельствует о широте их интересов. Погодин начал свой дневник в 1820 году, когда был еще студентом университета, восторженным юношей, открытым для «впечатлений бытия», мечтавшим о «золотом веке», о том, что через сто, через тысячу лет «не будет богатых, все сравняются». В Тютчеве он нашел того «прекрасного молодого человека», которому мог поверять и доверять свои мысли. Они говорили о «будущем просвещении» в России, о «свободном благородном духе мыслей», об оде Пушкина «Вольность»...[2]. Обличительный, тираноборческий пафос «Вольности» был сочувственно воспринят молодым поэтом, и он ответил стихотворным посланием Пушкину («К оде Пушкина на вольность»), в котором приветствовал его как обличителя «тиранов закоснелых». Однако свободомыслие юных мечтателей носило в достаточной степени умеренный характер: Тютчев сравнивает «огонь свободы» с «пламенем божьим», искры которого сыплются на «чела бледные царей», но в то же время, приветствуя глашатая «святых истин», он призывает его «разнеживать», «растрогивать», «смягчать» сердца царей — не омрачая «блеска венца».

В юношеском стремлении постичь всю полноту бытия университетские товарищи обращались к литературе, истории, философии, все подвергая своему критическому разбору. Так возникали их споры и беседы о русской, немецкой и французской литературе, о «влиянии, какое словесность одного языка имеет на словесность другого», о курсе лекций по истории русской литературы, который они слушали на словесном отделе-

---

[1] См. в наст. томе: С. Е. Раич. Из «Автобиографии».

[2] Дневник М. П. Погодина//Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (231. I. 30). Записи от 9 и 25 августа, 6, 11 и 13 октября, 1 ноября, 2 декабря 1820 года, 24 февраля 1821 года и т. д.

ции. Читавший этот курс А. Ф. Мерзляков строил лекции на импровизации: «приносил на кафедру Ломоносова или Державина, развертывал. Случайно открывал оду. Речь свободно и роскошно лилась из уст импровизатора. Все зависело от настроения минуты»[1]. Об одной такой импровизации Погодин писал в своем дневнике 11 октября 1820 года: «Мерзляков доставил мне большое удовольствие очень, очень тонким (в некоторых местах) разбором своим басни Дмитриева «Дуб и Трость». Что скрывается под стихом *«Не только Фебовы лучи пересекаю»?* Вельможи заслоняют так от государей нуждающихся подданных. Какой орлиный взор у Мерзлякова. Окончив разбор, он сказал нам: «...так, господа, разбирайте, поверьте мне, я научу вас разбирать благородно, так, как должно».— Какая откровенность. Добрый человек. Такими-то разборами он и должен занимать нас. Так только и должно учить какой ни на есть словесности». Об этом своем впечатлении и говорил с Тютчевым Погодин, записавший в дневнике того же числа: «С Троицким и Тютчевым <...> о Мерзлякове». В ответ Тютчев высказывал свое суждение о том, как «должно учить» словесности, его интересовали не только отдельные явления литературы, но и взаимосвязь их, исторический процесс. И с ним не мог не согласиться Погодин. «Мерзляков должен,— сказал Тютчев,— показать нам историю русской словесности, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличается от другого и проч. Это правда» (запись в дневнике от 13 октября 1820 года). Три имени в русской литературе того времени особенно выделял Тютчев, о них как о «незабвенно-дорогих» писал он и впоследствии:

Кому ж они не близки, не присущи —
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..

Кроме дневниковых записей М. П. Погодина, сохранилось еще одно свидетельство о студенческих годах Тютчева — это его коротенькие письма к Погодину, которые также запечатлели круг интересов и чтений молодого поэта. Среди беглых упоминаний о прочитанных книгах там встречаются имена двух мыслителей, совершенно не похожих друг на друга, во многом даже противоположных,— Паскаля и Руссо. Философские взгляды Паскаля оставили след в сознании Тютчева. Через многие годы после этого первого знакомства с известным сочинением философа — «Pensées» («Мысли») — заданные им вопросы: «Что такое человек во Вселенной?», что значит «человек в бесконечности?»,— нашли отзвук в поэзии Тютчева. Тезис Паскаля: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он — тростник мыслящий»,— дал дополнительный импульс размышлениям об основных причинах и источниках величия и слабости человека, его единства и разлада с природой.

[1] Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Московского университета. Ч. II. М., 1855. С. 96.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

Однако, если Паскаль видел выход из «бездны бесконечности и бездны небытия» в идее всесовершенного творца, Тютчев не упрощал драматизма и сложности ответов на вечные вопросы жизни и смерти:

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!

Природа бесконечна, а люди преходящи и смертны, писал Паскаль. Но они, не задумываясь над этой бесконечностью, «дерзновенно берутся исследовать природу», словно «хоть сколько-нибудь соразмерны с ней»[1], словно разделенное на два начала («душа» и «тело») человеческое существо может понять то, в чем нет души и что не может говорить каждому понятным для него языком. Как бы возражая на такого рода философские обобщения и выводы, Руссо писал о «великой и возвышенной книге» природы: «Одна только книга открыта всем очам, это книга природы <...> она говорит всем людям и языком, понятным для всех умов»[2]. И Тютчеву была ведома притягательная сила этих слов Руссо, о чем свидетельствуют известные тютчевские строки о природе:

В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

В раннем интересе Тютчева к идеям далеких друг от друга мыслителей отразились и поиски собственных решений, и ощущение сложности, неоднозначности этих решений. Тютчев искал свое собственное прочтение «книги природы», в чем убеждает нас все его дальнейшее творчество.

Университет Тютчев закончил за два года. Весной 1822 года он был уже зачислен на службу в Государственную коллегию иностранных дел и, назначенный сверхштатным чиновником при русской дипломатической миссии в Мюнхене, вскоре уехал за границу. Первые шесть лет пребывания за границей поэт числился «сверх штата» при русской миссии и лишь в 1828 году получил место второго секретаря. Эту должность он занимал вплоть до 1837 года. Не раз в письмах к родным и знакомым Тютчев шутливо писал о том, что слишком затянулось его ожидание повышения, и так же шутливо пояснял: «Так как я никогда не относился к службе серьезно,— справедливо, чтобы служба также смеялась надо мной». Но причина была не только в этом. Много лет спустя брат Эрн. Ф. Тютчевой,

---

[1] Франсуа де Ларошфуко. Максимы. Блез Паскаль. Мысли. Жан де Лабрюйер. Характеры. М., 1974. С. 122—126, 169.
[2] Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения.: В 2 т. Т. I. М., 1981. С. 369 («Эмиль, или О воспитании»).

К. Пфеффель, советуя ей убедить Тютчева «утихомириться», сообщал, что канцлер К. В. Нессельроде рассматривает «слишком пылкие речи», произносимые Тютчевым в салонах на злободневные политические темы, как враждебные выступления. Это было написано К. Пфеффелем в 50-е годы, когда так откровенно неприятие крепостничества и деспотизма сочеталось во взглядах Тютчева с приверженностью монархическому принципу. В 20-е годы речи юного поэта «на злободневные политические темы» были еще более пылкими. В первое десятилетие своей жизни в Мюнхене Тютчев еще находился под влиянием «святых истин», распространение которых в русском обществе было связано с деятельностью «Союза благоденствия». В воспоминаниях известного мемуариста Д. Н. Свербеева имеется интересное сообщение о его встрече с Тютчевым в Мюнхене в конце августа 1823 года. Питомец Московского университета, Свербеев со студенческих лет с отвращением относился к помещичьему и самодержавно-чиновничьему произволу. Однажды на вопрос: «Сколько у нас состояний?», то есть сословий, молодой Свербеев ответил: «Два». И пояснил: «Деспоты и рабы»[1]. Назначенный младшим секретарем русской миссии в Швейцарии, по пути к месту службы он провел несколько дней в Мюнхене. Вместе с Тютчевым он осматривал достопримечательности города, посещал театры. Большой интерес представляет его рассказ о том горячем споре, который разгорелся между ним и Тютчевым, с одной стороны, и политическим деятелем Баварии — с другой. Спор касался политических и религиозных вопросов. Тютчев и Свербеев доказывали пользу внесословного, представительного государственного строя, что воспринималось их собеседником как проявление крайней революционности («он отстаивал, вопреки нам, крепостное право», «наша же веротерпимость казалась ему атеизмом»)[2].

По свидетельству Свербеева, Тютчев был противником крепостного права и сторонником представительной, всесословной формы правления, вернее всего конституционной монархии. С какой же остротой осознавал юный поэт несоответствие между своим представлением о монархии и ее действительным воплощением в русском самодержавном строе. «В России канцелярия и казармы», «все движется около кнута и чина»[3],— в таких саркастических афоризмах выразил Тютчев, приехавший в Россию в 1825 году, свои впечатления от аракчеевского режима последних лет царствования Александра I.

За границей Тютчев пробыл более двадцати лет. Там он продолжает много переводить. От Горация, Шиллера, Ламартина, привлекавших его внимание еще в Москве, он обращается к Гете и к немецким романтикам.

---

[1] Свербеев Д. Н. Записки. Т. I. М., 1899. С. 249.
[2] См. в наст. томе: Д. Н. Свербеев. Из «Записок».
[3] Дневник М. П. Погодина. Запись от 20—25 июня 1825 года.

Первым из русских поэтов Тютчев переводит стихи Гейне, и притом до выхода в свет «Путевых картин» и «Книги песен», сделавших имя автора столь популярным в Германии. С Гейне одно время его связывают дружеские отношения. В письме 1828 года К. А. Фарнхагену фон Энзе Гейне называл дом Тютчевых в Мюнхене (в 1826 году Тютчев женился на вдове русского дипломата Элеоноре Петерсон) «прекрасным оазисом», а самого поэта — своим лучшим тогдашним другом[1].

Конечно, переводами не ограничивалась поэтическая деятельность Тютчева этих лет. В 20—30-е годы он пишет такие оригинальные стихотворения, которые свидетельствуют о зрелости и самобытности его таланта: в них и задушевные признания («Ты зрел его в кругу большого света...», «Silentium!», «Как над горячею золой...»), и поэтические картины природы («Весенние воды», «Осенний вечер», «В душном воздуха молчанье...»), и философские размышления («Не то, что мните вы, природа...», «О чем ты воешь, ветр ночной?..»). Именно в эти годы были написаны Тютчевым стихотворения, которые содержат его раздумья о своем месте в современной исторической действительности. Тогда же возникает и ряд прекрасных произведений его любовной лирики.

Весной 1836 года, выполняя просьбу бывшего сослуживца по русской миссии в Мюнхене кн. И. С. Гагарина, Тютчев послал в Петербург несколько десятков стихотворений. Через Вяземского и Жуковского с ними познакомился Пушкин, встретивший их с «изумлением» и «восторгом» — с изумлением и восторгом перед «неожиданным появлением» стихотворений, «исполненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы языка»[2]. Двадцать четыре стихотворения под общим заглавием «Стихотворения, присланные из Германии» и с подписью «Ф. Т.» появились в третьем и четвертом томах пушкинского «Современника». Печатание стихотворений Тютчева на страницах «Современника» продолжалось и после смерти Пушкина — вплоть до 1840 года. За немногими исключениями, они были отобраны еще самим Пушкиным.

На трагическую гибель великого поэта Тютчев отозвался проникновенными строками:

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

(«29-ое января 1837»)

Это стихотворение было написано, по-видимому, во время пребывания Тютчева в Петербурге летом 1837 года, перед отъездом к месту нового назначения — в Турин.

---

[1] Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. 1959. С. 468.

[2] См. в наст. томе: П. А. Плетнев. Записка о действительном статском советнике Федоре Ивановиче Тютчеве.

В 1837 году Тютчев был назначен старшим секретарем русской миссии в Турине, а вскоре — поверенным в делах. На время оставив семью в Петербурге, в августе 1837 года Тютчев выехал в столицу Сардинского королевства и через четыре с половиной месяца по приезде в Турин писал родителям: «Поистине, мне здесь совсем не нравится и только безусловная необходимость заставляет меня мириться с подобным существованием. Оно лишено всякого рода занимательности и представляется мне плохим спектаклем, тем более тошным, что он нагоняет скуку, тогда как единственным его достоинством было бы забавлять. Таково точно и существование в Турине. Оно ничтожно в отношении дела и еще ничтожнее в отношении развлечений» (письмо И. Н. и Е. Л. Тютчевым от 13/25 декабря 1837 года). Здесь довелось поэту пережить тяжелую утрату: 28 августа/9 сентября 1838 года умерла его жена, Элеонора Тютчева.

30 мая/11 июня 1838 года, как рассказывал потом сам поэт в письме к родителям, ему пришли сообщить, что близ Любека, у берегов Пруссии, сгорел русский пассажирский пароход «Николай I», вышедший из Петербурга. Тютчев знал, что на этом пароходе должны были находиться его жена и дети, направлявшиеся в Турин. Он тотчас же выехал из Турина, но только в Мюнхене узнал подробности о случившемся.

Пожар на пароходе вспыхнул в ночь с 18/30 на 19/31 мая. Когда разбуженные пассажиры выбежали на палубу, «два широких столба дыма пополам с огнем поднимались по обеим сторонам трубы и вдоль мачт; началась ужаснейшая суматоха, которая так и не прекращалась. Беспорядок был невообразимый...» — вспоминал в своем очерке «Пожар на море» И. С. Тургенев, также оказавшийся на этом пароходе.

Элеонора Тютчева выказала во время катастрофы полное самообладание и присутствие духа, но и без того слабое здоровье ее было окончательно подорвано пережитым в эту страшную ночь. Смерть жены потрясла поэта, омрачив многие годы горечью воспоминаний:

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

В пятилетнюю годовщину смерти Элеоноры Тютчев писал к той, которая помогла перенести тяжесть утраты и вошла в жизнь поэта, по его собственному признанию, как «земное провиденье»: «Сегодняшнее число — 9 сентября,— печальное для меня число. Это был самый ужасный день в моей жизни, и *не будь тебя,* он был бы, вероятно, и последним моим днем» (письмо к Эрнестине Федоровне Тютчевой от 28 августа/9 сентября 1843 года).

После вступления во второй брак с Эрнестиной Дёрнберг Тютчев вынужден был подать в отставку из-за самовольного отъезда в Швейцарию по случаю венчания, которое состоялось 17/29 июля 1839 года. Подав в от-

ставку, с осени 1839 года Тютчев снова поселился в Мюнхене. Однако дальнейшее пребывание на чужбине, не обусловленное служебным положением, становилось все более и более тягостным для поэта: «Хоть я и не привык жить в России,— писал он родителям 18/30 марта 1843 года,— но думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится. И я заранее радуюсь тому, что снова окажусь там». В конце сентября 1844 года Тютчев с семьей вернулся на родину, а через полгода был вновь зачислен в ведомство Министерства иностранных дел.

Петербургский период жизни поэта отмечен новым подъемом его лирического творчества. В 1848—1849 годах он пишет подлинно совершенные стихотворения: «Неохотно и несмело...», «Когда в кругу убийственных забот...», «Слезы людские, о слезы людские...», «Русской женщине», «Как дымный столп светлеет в вышине...» и др. В 1854 году в приложении к мартовскому тому «Современника» вышел первый сборник стихотворений Тютчева, а в майской книжке того же журнала появилось еще девятнадцать стихотворений. В том же году стихи Тютчева вышли отдельным изданием.

Появление сборника стихотворений Тютчева было крупным событием тогдашней литературной жизни. В «Современнике» выступил со статьей «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» И. С. Тургенев. «Мы не могли душевно не порадоваться,— писал Тургенев,— собранию воедино разбросанных доселе стихотворений одного из самых замечательных наших поэтов, как бы завещанного нам приветом и одобрением Пушкина»[1]. В 1859 году в журнале «Русское слово» была помещена статья А. А. Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева», в которой говорилось о нем как о самобытном «властелине» поэтической мысли, способном сочетать «лирическую смелость» поэта с неизменным «чувством меры»[2]. В том же 1859 году появилась знаменитая статья Добролюбова «Тёмное царство», в которой среди суждений об искусстве встречается оценка особенностей поэзии Тютчева, ее «знойной страстности» и «суровой энергии», «глубокой думы, возбуждаемой не одними стихийными явлениями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни»[3].

В ряду новых созданий поэта выделяются замечательные по своей психологической глубине стихотворения: «О, как убийственно мы любим...», «Предопределение», «Не говори: меня он, как и прежде, любит...», «Последняя любовь» и некоторые другие. Дополненные в последующие годы такими поэтическими шедеврами, как «Весь день она лежала в забытьи...», «Есть и в моем страдальческом застое...» «Сегодня, друг, пятнадцать

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. Т. 4. М., 1980. С. 524.

[2] Русское слово. 1859. Февраль. Отд. II. Критика. С. 73, 76.

[3] Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. М., 1952. С. 176.

лет минуло...», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.», «Нет дня, чтобы душа не ныла...»,— они составили так называемый «денисьевский цикл». Этот цикл стихотворений представляет как бы лирическую повесть о любви, пережитой поэтом «на склоне лет»,— о любви его к Елене Александровне Денисьевой. Их «беззаконные» в глазах общества отношения продолжались в течение четырнадцати лет. В 1864 году Денисьева умерла от чахотки. Не сумев оградить любимую женщину от «суда людского», Тютчев в страданиях, причиненных ей двусмысленным ее положением в обществе, винит прежде всего самого себя. Поэтическим выражением этой душевной драмы и явились стихотворения о «последней любви» поэта, по глубине психологического раскрытия любовной темы не имеющие себе равных в его лирике предшествующего периода.

Не меньшим, чем любовная лирика, художественным достижением Тютчева была и его лирика природы конца 40-х — начала 70-х годов: «Обвеян вещею дремотой...», «Есть в осени первоначальной...», «Как хорошо ты, о море ночное...» и др. Как и прежде, в этих стихах природа запечатлена в ее движении, смене явлений, как и прежде, тютчевские «пейзажи в стихах» проникнуты напряжением и драматизмом устремленности мысли поэта к тайнам мироздания и человеческого *Я*. Но в поздней лирике Тютчева природа словно бы приближается к человеку; все чаще внимание поэта переключается на самые непосредственные впечатления, на самые конкретные проявления и черты окружающего мира: «первый желтый лист, крутясь, слетает на дорогу»; «паутины тонкий волос блестит на праздной борозде»; «вихрем пыль летит с полей»; дождевые «нити золотит» солнце. Все это особенно остро ощущается в сопоставлении с более ранней пейзажной лирикой Тютчева, где месяц — «светозарный бог», горы — «божества родные» и дня «блистательный покров» «высокой волею богов» навис над бездной «мира рокового». Показательно, что, перерабатывая ранее написанную «Весеннюю грозу», Тютчев вводит в стихотворение строфу, которая обогащает живописную картину теми зрительно-конкретными образами, которых ей недоставало:

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

В этом движении поэзии Тютчева к большей «пластичности» образов, к большей их конкретизации нельзя не видеть проявления общей закономерности литературного развития в России. Ведь первые стихотворные опыты Тютчева увидели свет в ту пору, когда господствующие позиции в русской литературе завоевывал романтизм, а его зрелые и поздние произведения создавались тогда, когда в ней прочно утвердился реализм.

В творчестве Тютчева петербургского периода особое место занимают стихи, в которых нашли выражение политические взгляды поэта этого

времени. За немногими исключениями, они представляли наименее жизнеспособные образцы его творчества. Зато совершенно очевидна непосредственная связь между политическими стихотворениями поэта и его публицистической прозой.

Политическое мировоззрение Тютчева в основном складывается к концу 40-х годов. За несколько месяцев до своего возвращения на родину он выпускает в Мюнхене брошюру на французском языке «Письмо к г-ну доктору Густаву Кольбу» (впоследствии перепечатывалась под названием «Россия и Германия»). В этом сочинении, посвященном взаимоотношениям царской России с германскими государствами, Тютчев в противовес Западной Европе выдвигает Европу Восточную как особый мир, живущий своей самобытной жизнью, где «Россия во все времена служила душою и двигательною силою». Под впечатлением западноевропейских революционных событий 1848 года Тютчев задумывает большой философско-публицистический трактат «Россия и Запад». Сохранились лишь общий план этого замысла, две главы, обработанные в виде самостоятельных статей на французском языке («Россия и революция», «Папство и римский вопрос» — опубликованы в 1849, 1850 годах), и конспективные наброски остальных глав.

Как свидетельствуют эти статьи, а также письма Тютчева, он убеждается в том, что «Европа трактатов 1815 года» уже перестала существовать и революционное начало глубоко «проникло в общественную кровь». Видя в революции только стихию разрушения, Тютчев ищет исход тому кризису, который колеблет мир, в реакционной утопии панславизма, преломленной в его поэтическом воображении как идея единения славян под эгидой русского — «всеславянского» царя. При всем отвращении поэта к «кнуту и чину» николаевская империя представляется ему «святым ковчегом» спасения посреди бурь, потрясающих западноевропейские страны (статья «Россия и революция»), незыблемым «утесом», о который расшибаются «волны» революционного Запада (стихотворение «Море и утес»). Тютчев считает, что Россия как «христианская империя» во главе всего «славяно-православного Востока» может и должна служить мощным противовесом революционному и «антихристианскому» Западу. И если строки о будущем славянства, написанные Тютчевым в 1841 году под впечатлением от встречи с чешским ученым-патриотом В. Ганкой («К Ганке»), еще свободны от этой прямолинейно-консервативной фантасмагории, то в более поздних стихах Тютчева она проступает со всей отчетливостью («Русская география», «Пророчество» и др.).

Но реальная историческая действительность не раз развеивала эту утопию Тютчева. Когда Крымская война 1853—1856 годов обнаружила «гнилость и бессилие крепостной России»[1], Тютчев не мог не увидеть не -

---

[1] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 20. С. 173.

состоятельности правительственных «верхов» перед лицом испытания, постигшего страну. Тяжело переживая дипломатические и военные поражения, понесенные в это время его родиной, поэт убеждается в том, насколько пагубна была для государственных интересов России внутренняя и внешняя политика царского правительства. Тютчев негодует на антипатриотическую беспечность петербургского общества, на бездарность высшего военного командования, восхищаясь героизмом, «воодушевлением и самопожертвованием» простых солдат[1]. Еще не так давно противопоставлявший самодержавную Россию как «христианскую империю» «безбожному» Западу, Тютчев пишет теперь о лжи и лицемерии «официальной формулы», придающей российской монархии религиозно-мистический ореол (письмо к А. Блудовой от 28 сентября 1857 года). С тревогой он думает о будущем, опасаясь, что крепостное право вследствие «задуманной реформы» будет заменено «произволом», облеченным «во внешние формы законности». После реформы 1861 года Тютчев еще острее ощущает контрасты социальной действительности. С каким негодованием он пишет о празднествах и развлечениях светского общества в пору, когда народ голодает,— о бессмысленной «сумятице пляшущей благотворительности»: «В настоящее время все здесь с головой ушли в празднества, балы и концерты... и это благодаря голоду. Подобный способ проявлять свое милосердие к людям равносилен занимательному труду, придуманному для обучения детей, и результат его почти тот же. Невероятно, до чего легкомысленна человеческая природа! И среди всей этой сумятицы пляшущей благотворительности и широко напоказ развернутой подписки так и не будет установлено, хотя бы в виде предостережения на будущее, какая же доля ответственности падает на непредусмотрительность и нерадивость администрации в этом бедствии, постигшем страну» (письмо к А. Ф. Аксаковой от 2 февраля 1868 года).

В оценке Тютчевым Крымской войны, во взгляде его на отношения России и Запада, на роль России и русского народа много общего со славянофильскими убеждениями. Однако у Тютчева всегда было более острое ощущение противоречий действительности. Всякий раз, когда Тютчев вступал в близкое соприкосновение с реальностью, иллюзиям не оставалось места.

Стихотворным выражением испытанных поэтом разочарований явилась беспощадная эпитафия Николаю I («Не богу ты служил и не России...»). Горьким разочарованием проникнуты и строки стихотворения «На возвратном пути»:

Все голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.

---

[1] Старина и новизна. Кн. 18. СПб., 1914. С. 63.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.

В поэзии Тютчева 50—60-х годов усиливается трагизм восприятия жизни. И причина этого — не только в пережитой им драме, связанной с любовью к Е. А. Денисьевой и ее смертью. В его стихах возникают обобщенные образы пустынного края, «бедных селений», «бедного нищего». Резкий, беспощадно-жестокий контраст богатства и бедности, роскоши и обездоленности запечатлен в стихотворении «Пошли, господь, свою отраду...». «Безнадежно-печальными, раздирающими душу предвещаниями поэта»[1] исполнено стихотворение «Русской женщине». Зловещий образ бесчеловечного «света», губящего клеветой все лучшее, образ света-толпы возникает в стихотворениях «Две силы есть — две роковые силы...» и «Чему молилась ты с любовью...».

Критика действительности у Тютчева при всей исторической ограниченности его взглядов была суровой и нелицеприятной. Вероятно, это сыграло не последнюю роль в том обстоятельстве, что биография поэта, написанная И. Аксаковым, подверглась цензурным гонениям. Не ограничиваясь фактами биографии Тютчева, Аксаков постоянно обращался к политическим трактатам и письмам поэта, не сглаживая их яркой публицистичности, их острого критицизма. И вот когда десятая книжка «Русского архива» за 1874 г. с биографическим очерком о Тютчеве предстала перед судом цензуры, Московский цензурный комитет «нашел книгу вредною». Биография привлекла внимание самых высоких цензурных властей и появилась в печати с целым рядом исключений из текста. Аксаков не без основания воспринял это вмешательство цензуры как продолжение преследования того направления, которое он отстаивал всю жизнь. Однако не только славянофильские убеждения самого автора «Биографии» были причиной сложности прохождения ее через цензуру. Важную роль сыграл самый материал, который использовал в книге Аксаков. И заключение цензора относительно главной тенденции биографического очерка Аксакова — «благоговение пред русским простым народом, его великим призванием, и неприязненные отношения к современной действительности — правительству и официальной среде», изобличение «скудости духа и самосознания в официальной России»[2] — относились не только к толкованию Аксаковым творчества Тютчева, но и к самому этому творчеству.

С годами понимание Тютчевым «нравственного бессилия в правительстве» становилось глубже, острее — то ощущение неблагополучия, которое он образно высказывал словами из шекспировского «Гамлета»:

---

[1] Добролюбов Н. А. Собр. соч. Т. 3. С. 67.
[2] ЦГИАМ, ф. 31, оп. 5., ед. хр. 584, л. 13—18.

«Что-то прогнило в королевстве датском». «...Судьба России,— писал Тютчев в записке о цензуре,— уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливающая волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход»[1].

В 1858 году назначенный председателем Комитета цензуры иностранной, Тютчев не раз выступал в роли заступника изданий, подвергнутых цензурной каре или находившихся под угрозой преследования. Поэт был глубоко убежден в том, что «нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма», что задачи правительства должны заключаться не в подавлении, а в «направлении» печати[2]. Реальная действительность, однако, постоянно свидетельствовала о том, что для правительства Александра II, как и для правительства Николая I, единственно приемлемым методом «направления» печати был метод полицейского преследования.

Хотя Тютчев до конца своих дней занимал должность председателя Комитета цензуры иностранной (умер поэт 15/27 июля 1873 года), и служба, и придворно-бюрократическое окружение тяготили его. Среда, к которой принадлежал Тютчев, была чужда ему; не раз из придворных церемоний он выносил ощущение досады, глубокой неудовлетворенности собой и всем окружающим. Поэтому чувством тоски, одиночества, разочарования проникнуты почти все письма Тютчева. «Я его люблю,— писал Л. Толстой,— и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки»[3].

* * *

Биография Тютчева, не очень богатая внешними событиями, исполнена внутреннего драматизма. И это глубинное содержание жизни поэта раскрывают его письма. Часто включающие в себя и «летопись» исторических событий, и петербургскую «хронику», и детали семейного быта, они всякий раз приоткрывают «тайники» душевной жизни поэта. Временные рамки событий, о которых идет речь в этих письмах, как бы раздвигаются благодаря тому, что Тютчев очень часто обращается к воспоминаниям. Находясь «во власти воспоминания», чувствуя потребность прикоснуться к прошлому, поэт предается размышлениям о жизни, ее смысле, о неумолимой власти времени,— пишет о том, что волновало его и шло из самых «глубин души».

---

1 Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. СПб., 1913. С. 510.
2 Там же. С. 503, 506.
3 См. в наст. томе: Л. Н. Толстой. Из письма к А. А. Толстой.

В литературе о Тютчеве есть немало исследований, прослеживающих истоки философских взглядов поэта в различных философских системах. Письма Тютчева дают возможность подойти к этой проблеме с иной стороны: они помогают увидеть, как конкретное жизненное явление преломлялось в письмах Тютчева в общефилософском аспекте, отражая стремление поэта познать драматическое противостояние жизни и смерти, противоречие предельного и беспредельного, коллизию конечного и бесконечного в человеке, природе, мироздании.

Не раз, приступив к описанию повседневных событий, Тютчев останавливается на каком-либо мимолетном воспоминании, и мысли о жизни, ее смысле, ее быстротечности вытесняют привычную хронику. Даже поздравления дочерей с днем рождения развертываются в ряд воспоминаний и суждений, в которых отчетливо проступает все то, что исследователи творчества Тютчева именуют тютчевской философией жизни, тютчевской «диалектикой»: «Моя милая дочь, пусть эти несколько строк, которые дойдут до тебя накануне дня твоего рождения, застанут тебя в сносном состоянии здоровья и в более или менее спокойном и уверенном настроении духа <...> Ах, насколько ты была спокойнее в тот день, когда я впервые увидел тебя, тому будет послезавтра столько-то лет <...> Такой взгляд в прошлое заставляет вас сомневаться в тождестве вашей личности и преображает в сновидение окружающую вас действительность» (письмо к А. Ф. Аксаковой от 19 апреля 1867 года).

Дипломатическая служба, длительное пребывание Тютчева за границей сыграли свою роль,— на всю жизнь сохранил он интерес к вопросам внешней политики: они поглощали его внимание, давали неисчерпаемую пищу его уму и, конечно же, нашли отражение в его письмах. Отношения между Австрией и Пруссией, франко-германские противоречия, движение за объединение раздробленной Италии, «восстание греков на древнем Крите», «их геройские подвиги»[1] — все это волновало Тютчева.

Проблемы политики, обсуждаемые Тютчевым в письмах, привносят в них элемент публицистичности, но не превращают их в публицистические статьи. Жадный созерцатель живой жизни во всех ее проявлениях,— величественных, драматических, смешных, будничных,— он вечно в погоне за новыми впечатлениями. Поэтому в его письмах неожиданно переплетаются зарисовки нравов современного общества и предания прошлого, серьезные наблюдения над окружающей средой и шутливо рассказанные анекдотические происшествия, поэтические описания природы и философские размышления. И во всем этом сложном, пестром единстве всегда есть что-то такое, что поражает воображение читающего «или оригинальной мыслью, или оригинальным оборотом речи, или изящным образом»[2], в которых отразились особенности личности автора письма.

---

[1] Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 282.
[2] Там же. С. 238.

И по содержанию, и по приемам художественной изобразительности тютчевские письма перекликаются с его лирическими стихотворениями, отличаясь такой же отточенной афористичностью словесной формы, неожиданными и смелыми сравнениями, частым сближением явлений из жизни природы и человека и т. д. Поэтому так просто и естественно входит в письмо Тютчева к А. Блудовой 1869 года автоцитата из более раннего стихотворения:

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей...

Поэтому же можно встретить в письмах Тютчева стихотворные строки, которые возникают экспромтом в момент написания письма, поэтически претворяя остро переживаемое поэтом чувство в обобщающую мысль:

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек...

Это стихотворение органично вплетается в цикл писем Тютчева к жене, объединенных темой «разлуки». «Последняя любовь» поэта внесла немало сложного и противоречивого в его взаимоотношения с Эрнестиной Федоровной и послужила главной причиной тягостного для обеих сторон расхождения. Однако новая любовь не вытеснила прежней привязанности к жене: Тютчев умел ценить силу ее характера, полную благородного достоинства сдержанность и постоянство. Все это нашло отражение в письмах Тютчева, отразилось и в стихотворных строках, которые как будто рождаются из строк прозаических и завершают их.

Так же возникло и другое стихотворение Тютчева, в совершенной художественной форме переплавляющее непосредственное переживание в философскую идею:

Увы, что нашего незнанья
И беспомóщней, и грустней?
Кто смеет молвить: *до свиданья*
Чрез бездну двух или трех дней?

Соотносятся с лирикой Тютчева и его письма к Георгиевским. Как и в стихотворениях «Есть и в моем страдальческом застое...», «Нет дня, чтобы душа не ныла...», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» и других, в них запечатлена душевная драма поэта. Первое же из напечатанных в настоящем томе писем А. И. Георгиевскому воспринимается как вариант, как прозаический эквивалент тютчевских стихотворных строк:

И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу...

И в письмах Тютчев остается поэтом — это, быть может, самое сильное впечатление, остающееся от знакомства с его эпистолярным наследием. Как поэтическое credo звучат строки одного из писем Тютчева к И. Гагарину: «...чтобы поэзия процветала, она должна иметь корни в земле». Сразу вспоминается:

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!

Нам мало известно об отношении Тютчева к другим художникам слова. Поэтому так приковывают к себе внимание все те высказывания о Пушкине, Жуковском, Вяземском, Тургеневе и т. д., которые мы встречаем в его письмах.

Как-то осенью 1853 года Тютчев прочитал новое стихотворение Вяземского «Ночь в Венеции»:

По зеркалу зыбкого дола,
Под темным покровом ночным,
Таинственной тенью гондола
Скользит по струям голубым...

Через несколько дней, упоминая о Вяземском, Тютчев пишет жене: «Я прочел недавно его стихи о Венеции, которые действительно очень хороши. Своей нежностью и гармоничностью они напоминают движение гондолы. Что это за язык, русский язык!» (письмо к Э. Ф. Тютчевой от 16/28 ноября 1853 года).

Тютчев приветствовал заботу об изобразительности и выразительности слова, но считал ее оправданной лишь тогда, когда она, по словам поэта, не искажала поэтического чувства «напыщенностью выражений». Образцом в этом отношении был для него Пушкин (письмо к И. С. Гагарину от 7/19 июля 1836 года).

Хорошо известны стихи Тютчева о Жуковском:

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он все в себе мирил и совмещал,
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...

Этот лаконичный поэтический образ словно развертывается и обрастает дополнительными подробностями в строках письма Тютчева об отношении его к переводу «Одиссеи» Гомера, выполненному Жуковским: «...Я очень приятно провел время с Жуковским сначала в Эмсе, где мы прожили шесть дней, занимаясь чтением его «Одиссеи» и с утра до вечера болтая о всевозможных вещах. Его «Одиссея» будет действительно величественным и прекрасным творением, и ему я обязан тем, что вновь обрел давно уже уснувшую во мне способность полного и искреннего приобщения к чисто литературному наслаждению...» (письмо к Э. Ф. Тютчевой от 17/29 августа 1847 года).

При всей беглости эпистолярных суждений Тютчева о «Записках охотника» Тургенева они дают представление об эстетических взглядах поэта, о том, что он особенно ценил в художественном произведении: «реальность в изображении человеческой жизни» в соединении с глубоким проникновением в ее сокровенные глубины, чувство глубокой человечности в сочетании с чувством художественным, умение автора видеть поэзию там, где она почти незаметна. «...Я только что прочитал два тома *Тургенева* «Записки охотника», где встречаются чудесные страницы, отмеченные такой мощью таланта, которая благотворно действует на меня,— пишет Тютчев Эрнестине Федоровне;— понимание природы часто представляется вам как откровение». «Кстати о Тургеневе,— развивает далее свои суждения поэт,— я так и думал, что ты сумеешь оценить его книгу.— Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны. Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувство глубокой человечности и чувство художественное; с другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей ее поэзией». Через некоторое время Тютчев снова возвращается к оценке таланта Тургенева, его «способности чувствовать прекрасное, благодаря которой ему открыта вся интимная поэзия природы даже там, где эта поэзия не выступает явно» (письма к Э. Ф. Тютчевой от 13 сентября 1852 года, 10 декабря 1852 года, 25 февраля 1853 года). Сказанное в этих строках о Тургеневе может быть отнесено и к лирике самого Тютчева. Взволнованный прочитанным, поэт выделяет в повестях Тургенева прежде всего то, что было созвучно его творчеству. Проникновенным пониманием природы, сочетанием чувства глубокой человечности с чувством художественным отмечено и творчество Тютчева.

* * *

С самого начала творчества Тютчев заявил себя как яркий представитель поэзии философской, в которой мысль, при всей ее обобщенности, «никогда не является читателю нагою и отвлеченною, но всегда сливается с образом, взятым из мира души или природы, проникается им, и сама его проникает нераздельно и неразрывно»[1].

В поэзии Тютчев стремился философски осмыслить жизнь вселенной, заглянуть в тайны космической жизни и человеческого бытия. Тютчевская космогония и натурфилософия, как неоднократно отмечали исследователи, обнаруживает близкое знакомство с античной и классической немецкой философией, с философскими умонастроениями любомудров и т. д.

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 4. С. 526—527.

Все это важно знать для понимания процесса формирования мировоззрения Тютчева. Но не следует искать в его творчестве стихотворного переложения философских тезисов, почерпнутых у того или иного мыслителя. Как всякий большой художник, Тютчев овладел достижениями философской и поэтической мысли своих предшественников и современников, но в своих творениях он дал собственное неповторимое *художественное* решение философских проблем жизни и ее течения во времени.

Действительность, «реальность жизни», воспринималась поэтом в непрестанном противоборстве враждующих сил, рождала в нем тревогу от сознания, что мир находится накануне грандиозных исторических потрясений, несущих с собой крушение привычных социальных устоев и религиозных верований. И в этом движении мировой истории поэт часто ощущал себя «обломком старых поколений», о чем писал с таким гнетущим чувством в стихотворении 20-х годов «Бессонница»:

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали;

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело.
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!

Позднее, в первой половине 30-х годов, Тютчев скажет с не меньшей откровенностью:

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

И все-таки всю жизнь Тютчев не уставал проявлять жадный интерес к «высоким зрелищам» истории, настойчиво пытаясь разгадать их смысл. В переводе XXXI главы третьей части «Путевых картин» Гейне,— в который Тютчев вложил часть своего поэтического *Я*, усиливая все то, что было созвучно его душе,— отчетливо слышится утверждение прекрасного грядущего дня и нового счастливейшего племени, для которого свободы солнце «живей и жарче будет греть».

Такая противоречивость и полярность, такой драматизм восприятия действительности сказываются во всем миропонимании поэта. Любовью к жизни, почти физическим «преизбытком» жизни проникнуты многие стихотворения поэта. Таковы знакомые каждому из нас ликующие строки «Весенней грозы» и «Весенних вод», торжественная ода «Весна», изображение победы весны над зимою, жизни над смертью — в стихотворении

«Зима недаром злится...». Однако поэзии Тютчева ведомы и совсем иные настроения: ощущение скоротечности человеческого бытия, сознание его непрочности и хрупкости. В сравнении с вечно обновляющейся природой («Природа знать не знает о былом, // Ей чужды наши призрачные годы...»; «Бессмертьем взор ее сияет, // И ни морщины на челе...») человек — не более как «злак земной», «греза природы»:

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной метé <...>

О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

Но ни торжествующие возгласы «Весенних вод», ни трагические ноты стихотворения «Смотри, как на речном просторе...» не дают еще полного представления о пафосе поэзии Тютчева. Для того чтобы его разгадать, важно понять самую суть философской и художественной интерпретации природы и человека в поэзии Тютчева. Поэт поднимается до понимания соотношения этих двух миров — человеческого *Я* и природы — не как ничтожной капли и океана, а как двух беспредельностей: «Все во мне и я во всем...». Поэтому не оцепенением тоски, не ощущением призрачности индивидуального бытия проникнута поэзия Тютчева, а напряженным драматизмом поединка, пусть и неравного:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен...

(«Два голоса»)

Апофеозом жизни, исполненной горения, звучат строки стихотворения «Как над горячею золой...», а «Весенняя гроза» воспринимается как гимн юности и человеческому обновлению.

Если в первый период творчества Тютчев выступает как представитель поэзии *философской,* то в зрелые годы, не переставая быть поэтом мысли, он все настойчивее ищет пути выражения *чувств,* переживаний и настроений — в многообразии их проявлений, в неповторимом движении. В его стихах грусть перерастает в страдание, радость разрешается восторгом, влечение, таящееся где-то в недрах души, прорывается взрывом страсти, любовь из светлого чувства превращается в «поединок роко-

вой», оставаясь вместе с тем бесконечно прекрасной, открывающей целый мир:

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье.
И... поединок роковой...

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Кроме «Предопределения», вспомним финал «Последней любви»: «Ты и блаженство и безнадежность»; или известные тютчевские строки: «О, как убийственно мы любим...»; или горькое признание: «Я страждy, не живу... им, им одним живу я — // Но эта жизнь!.. О, как горька она!» («Не говори: меня он, как и прежде, любит...»). А с какой естественностью и простотой передает Тютчев сложнейший психологический процесс воспоминаний, где близкое бесконечно далеко, где упоение и мука нераздельны, где очарование овеяно грустью о прошедшем («Итак, опять увиделся я с вами...», «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...», «Я встретил вас — и все былое...» и др.).

Для выражения сложного мира человеческой души поэту часто служат образы природы: цветущий мир солнца, голубого неба и «поющих деревьев», воздушная арка радуги, объемлющий земной шар океан...

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее; он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Такие сопоставления, сравнения, параллели, пробуждая в читателе всякий раз новые, неведомые ассоциации, раскрывают не просто состояние души, а пульсацию, движение внутренней жизни — ее «биение». Хотя идея сопоставления душевных состояний человека с теми или иными явлениями природы возникала в поэзии и до Тютчева, изображение незримых, таинственнейших движений души сквозь зримую диалектику явлений природы — это то, что поэзии дал Тютчев.

Образная система лирики Тютчева являет собой необыкновенно гибкое сочетание конкретно-зримых примет внешнего мира и того субъектив-

ного впечатления, которое производит на поэта этот мир. Тютчев может очень точно передать зрительное впечатление от надвигающейся осени:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Наблюдая весеннее пробуждение природы, поэт замечает красоту первого зеленеющего полупрозрачного листа («Первый лист»). В жаркий августовский день улавливает «медовый» запах, доносящийся с «белеющих полей» гречихи («В небе тают облака...»). Поздней осенью ощущает дуновение «теплого и сырого» ветра, напоминающего о весне («Когда в кругу убийственных забот...»). Яркое зрительное впечатление возникает даже тогда, когда Тютчев называет не самый предмет, а те признаки, по которым он угадывается:

И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.

И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.

Умение дать пластически верное изображение внешнего мира, передать полноту внешнего впечатления у Тютчева удивительно. Но не менее удивительно и его мастерство выражения всей полноты внутреннего ощущения.

Некрасов писал о том, что Тютчеву удается пробудить «воображение читателя» и заставить его «дорисовать» то, что только намечено в поэтическом образе[1]. Эту особенность поэзии Тютчева заметил и Толстой, выделявший в его стихах необычные, неожиданные словосочетания, которые задерживают на себе внимание читающего и будят творческую фантазию. Как неожиданно и даже странно на первый взгляд это соединение двух как будто несоединимых слов: «праздная борозда». Но именно оно, это странное и удивительное сочетание, помогает воссоздать всю картину в целом и передать всю полноту внутреннего ее ощущения. Кажется, говорил Толстой, что сразу все сказано, «сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление»[2]. Такое «полное впечатление» постоянно возникает при чтении стихов Тютчева. Как не вспомнить в связи с этим знаменитые тютчевские образы: «изнемогла» — о радуге, «смесились» — о тенях, «смутит небесную лазурь» — о грозе, «разрешились в сумрак зыбкий, в дальний гул» — о красках и звуках вечереющего дня и т. д.

---

[1] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. М., 1950. С. 205.
[2] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 315.

Звуковая сторона стихотворения никогда не представлялась Тютчеву самоцелью, но язык звуков был ему близок и понятен.

Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы...

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул...

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.

Читатель слышит в стихах Тютчева грохот летних бурь, еле внятные звуки наплывающих сумерек, шорох зыбких камышей... Эта звукопись помогает поэту запечатлеть не только внешние стороны явлений природы, но свое ощущение, свое чувство природы. Этой же цели служат и смелые красочные сочетания в стихах Тютчева («мглисто-лилейно», «лучезарно и сизо-темно» и т. д.). Кроме того, Тютчев обладает даром воспроизводить краски и звучания в нераздельности производимого ими впечатления. Так возникают в его поэзии и «чуткие звезды», и солнечный луч, врывающийся в окно «румяным громким восклицаньем», сообщая динамику и экспрессию поэтической фантазии Тютчева, помогая преобразить поэтические этюды с натуры в такие «пейзажи в стихах», где зрительно-конкретные образы проникнуты мыслью, чувством, настроением, раздумьем.

* * *

Первое подлинное открытие поэзии Тютчева принадлежит Пушкину. «Мне рассказывали очевидцы,— вспоминал впоследствии Ю. Ф. Самарин,— в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное некоторых его стихов»[1]. Это было в 1836 году, когда в третьем и четвертом томах пушкинского «Современника» были напечатаны стихотворения Тютчева. Публикация принесла признание поэту, до того почти неизвестному в литературных кругах. Позднее о стихах Тютчева писал Некрасов, относя его талант «к русским первостепенным поэтическим талантам»[2]. Начатое Пушкиным и Некрасовым открытие Тютчева продолжил Тургенев статьей «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева», «одного из самых замечательных наших поэтов»[3]. «Великим» поэтом называл Тютчева Достоевский[4]. «Прекрасными» находил стихотворения

---

[1] См. в наст. томе: Ю. Ф. Самарин. Из письма к И. С. Аксакову от 22 июля 1873 г.

[2] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 220.

[3] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Т. 4. С. 524.

[4] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. II, Л., 1986. С. 151.

Тютчева Чернышевский[1]. Глубину мысли и простое, строгое изящество формы высоко ценил в поэзии Тютчева Лев Толстой. «Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез»[2],— говорил он о стихотворении «Тени сизые смесились...». Столь же эмоциональны и так же выразительны были его оценки других созданий поэта. Перечитывая стихи Тютчева, Толстой отмечал на полях карандашом все то, что особенно поразило его воображение, и лаконично определял: глубина, красота, чувство, своеобразие.

«Вы знаете, кто мой любимый поэт?» — спросил однажды Толстой и сам ответил: — «Тютчев». При этом он добавил: «...Его все, вся интеллигенция наша забыла или старается забыть: он, видите, устарел... Он слишком серьезен, он не шутит с музой»[3]. Да, в последней трети XIX века Тютчев оказался забытым поэтом. Правда, в середине 90-х годов и начале XX века о нем снова заговорила критика, но философское содержание его поэзии осмысливалось тогда в духе эстетических теорий конца века; все настойчивее говорилось о Тютчеве как о «предтече символистов», все чаще писали о влечении поэзии Тютчева к «ночи», «хаосу», «безумию» и т. д. Критики словно соревновались в нагнетании и сгущении красок, пытаясь подчеркнуть «ночное», а не светлое, «зловещее, а не отрадное» в направлении мысли и чувства поэта. Поэзию Тютчева называли «поэзией ночи», а самого поэта — «жертвой» бездны тайн и бесконечности. В это время и Брюсов, один из первых положивший начало научному изучению тютчевского наследия, рассматривал Тютчева как одного из предшественников символизма. Однако Брюсову во многом удавалось преодолеть односторонность и ограниченность в истолковании поэзии Тютчева. Стремясь «приблизить» Тютчева к символистам, выделяя мир ночного таинственного хаоса в его поэзии, Брюсов постоянно ощущает сопротивление поэтического материала. Его внимание приковывают строки известного стихотворения:

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной,—
Но днем...

И вот уже не думая о «влечении» Тютчева ко всему темному, таинственному, ночному, Брюсов записывает в черновых набросках комментария к этому стихотворению: «*Характерно* для Т<ютчева> и его отношения к своей поэзии»[4]. Хотя Брюсов называл Тютчева первым поэтом «новой

---

[1] Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 16. М., 1953. С. 28.
[2] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. С. 57.
[3] Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников.: В 2 т. Т. I. М., 1978. С. 416.
[4] Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (386, 45, 15).

школы», у которого «разрыв с пушкинской традицией» был «сильнее, нежели у Фета», понимание значительности сделанных Тютчевым поэтических открытий приводило к мысли о продолжении, развитии великой пушкинской традиции. «Пушкин, Тютчев, Баратынский,— писал Брюсов,— вот три заветных имени для всех, кто любит русские стихи, их произведения — великие образцы нашей поэзии»[1].

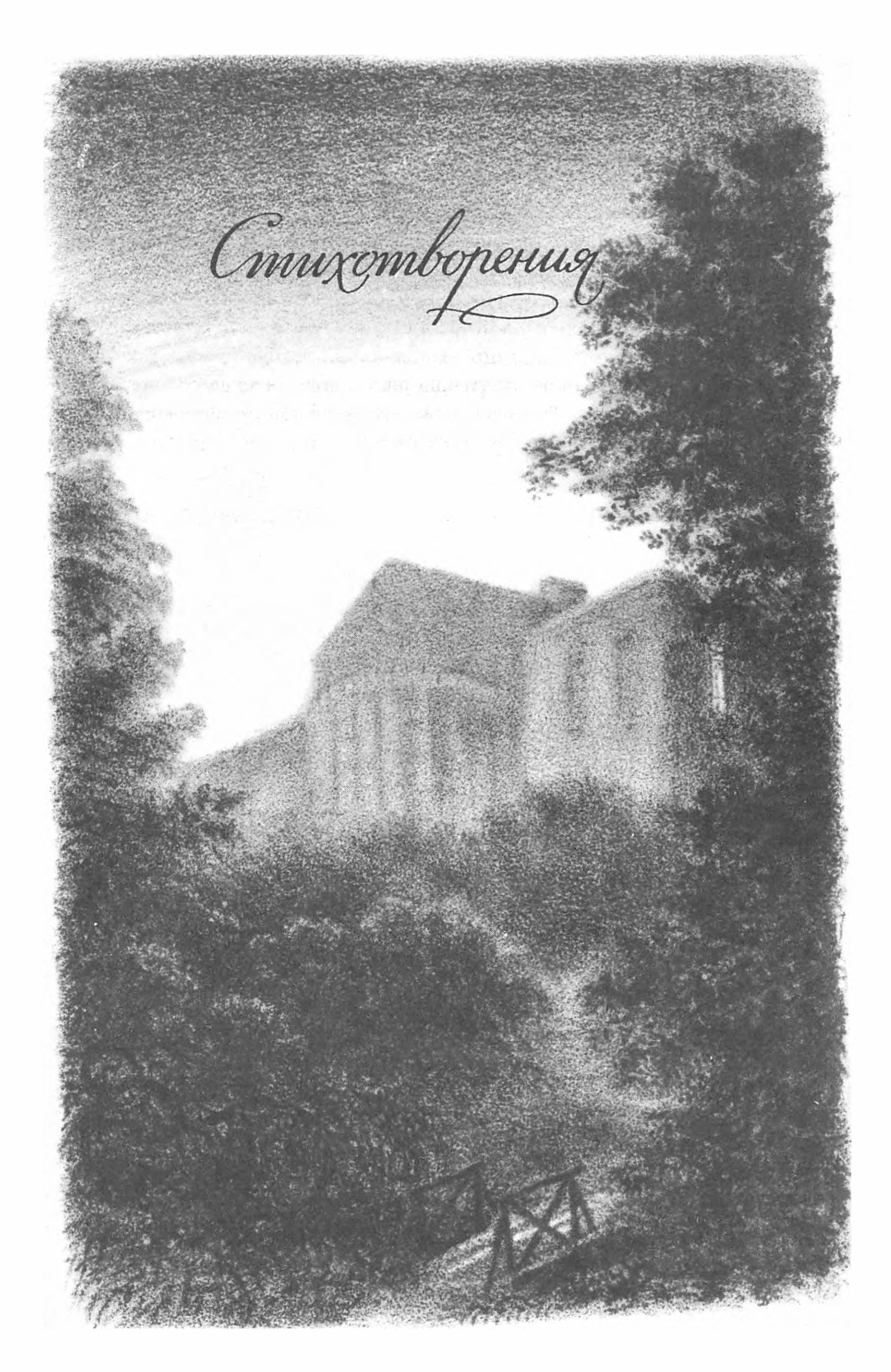
Время отбросило все случайное, субъективное и одностороннее в истолковании поэзии Тютчева и оправдало оценку, данную его творчеству Пушкиным, Некрасовым, Толстым, революционными демократами. Его творчество, отмеченное глубиной философской мысли, способностью проникать в тайны природы и души человеческой, получило широкое признание. И в полной мере подтвердились слова Некрасова, писавшего о том, что книгу стихов Тютчева «каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения»[2].

Л. Н. Кузина, К. В. Пигарев

---

[1] Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (386, 45, 6 и 386, 42, 29).

[2] Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 221.


Стихотворения

I

ПРОБЛЕСК

Слыхал ли в сумраке глубоком
Воздушной арфы легкий звон,
Когда полуночь, ненароком,
Дремавших струн встревожит сон?..

То потрясающие звуки,
То замирающие вдруг...
Как бы последний ропот муки,
В них отозвавшися, потух!

Дыханье каждое Зефира
Взрывает скорбь в ее струнах...
Ты скажешь: ангельская лира
Грустит, в пыли, по небесах!

О, как тогда с земного круга
Душой к бессмертному летим!
Минувшее, как призрак друга,
Прижать к груди своей хотим.

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!

Но ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем,—
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.

Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон,
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон,—

И отягченною главою,
Одним лучом ослеплены,
Вновь упадаем не к покою,
Но в утомительные сны.

<Не позднее осени 1825>

К Н.

Твой милый взор, невинной страсти полный,
Златой рассвет небесных чувств твоих
Не мог — увы! — умилостивить их —
Он служит им укорою безмолвной.

Сии сердца, в которых правды нет,
Они, о друг, бегут, как приговора,
Твоей любви младенческого взора,
Он страшен им, как память детских лет.

Но для меня сей взор благодеянье;
Как жизни ключ, в душевной глубине
Твой взор живет и будет жить во мне:
Он нужен ей, как небо и дыханье.

Таков горé духов блаженных свет,
Лишь в небесах сияет он, небесный;
В ночи греха, на дне ужасной бездны,
Сей чистый огнь, как пламень адский, жжет.

23 ноября 1824

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

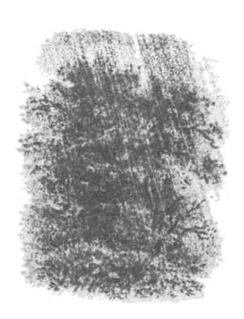
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

<Не позднее весны 1828; начало 50-х гг.>



МОГИЛА НАПОЛЕОНА

Душой весны природа ожила,
И блещет все в торжественном покое:
Лазурь небес, и море голубое,
И дивная гробница, и скала!
Древа кругом покрылись новым цветом,
И тени их, средь общей тишины,
Чуть зыблются дыханием волны
На мраморе, весною разогретом...

Давно ль умолк Перун его побед,
И гул от них стоит доселе в мире.
. . . .
. . . .
И ум людей великой тенью полн,
А тень его, одна, на бреге диком,
Чужда всему, внимает шуму волн
И тешится морских пернатых криком.

<Не позднее 1828; начало 50-х гг.>

CACHE-CACHE [1]

Вот арфа ее в обычайном углу,
Гвоздики и розы стоят у окна,
Полуденный луч задремал на полу:
Условное время! Но где же она?

О, кто мне поможет шалунью сыскать,
Где, где приютилась сильфида моя?
Волшебную близость, как бы благодать,
Разлитую в воздухе, чувствую я.

Гвоздики недаром лукаво глядят,
Недаром, о розы, на ваших листах
Жарчее румянец, свежей аромат:
Я понял, кто скрылся, зарылся в цветах!

Не арфы ль твоей мне послышался звон?
В струнах ли мечтаешь укрыться златых?
Металл содрогнулся, тобой оживлен,
И сладостный трепет еще не затих.

Как пляшут пылинки в полдневных лучах,
Как искры живые в родимом огне!
Видал я сей пламень в знакомых очах,
Его упоенье известно и мне.

Влетел мотылек, и с цветка на другой,
Притворно-беспечный, он начал порхать.
О, полно кружиться, мой гость дорогой!
Могу ли, воздушный, тебя не узнать?

<Не позднее 1828>

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Уж солнца раскаленный шар
С главы своей земля скатила,
И мирный вечера пожар
Волна морская поглотила.

---

[1] Игра в прятки *(фр.)*.

Уж звезды светлые взошли
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли
Своими влажными главами.

Река воздушная полней
Течет меж небом и землею,
Грудь дышит легче и вольней,
Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.

<Не позднее 1828>

ВИДЕНИЕ

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Тогда густеет ночь, как хаос на водах,
Беспамятство, как Атлас, давит сушу;
Лишь Музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах!

<Не позднее первой половины 1829>

БЕССОННИЦА

Часов однообразный бой,
Томительная ночи повесть!
Язык для всех равно чужой
И внятный каждому, как совесть!

Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас?

Нам мнится: мир осиротелый
Неотразимый Рок настиг —
И мы, в борьбе, природой целой
Покинуты на нас самих;

И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали;

И новое, младое племя
Меж тем на солнце расцвело,
А нас, друзья, и наше время
Давно забвеньем занесло!

Лишь изредка, обряд печальный
Свершая в полуночный час,
Металла голос погребальный
Порой оплакивает нас!

<Не позднее 1829>

УТРО В ГОРАХ

Лазурь небесная смеется,
Ночной омытая грозой,
И между гор росисто вьется
Долина светлой полосой.

Лишь высших гор до половины
Туманы покрывают скат,
Как бы воздушные руины
Волшебством созданных палат.

<Не позднее 1829>

ПОСЛЕДНИЙ КАТАКЛИЗМ

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

<Не позднее 1829>

СНЕЖНЫЕ ГОРЫ

Уже полдневная пора
Палит отвесными лучами,—
И задымилася гора
С своими черными лесами.

Внизу, как зеркало стальное,
Синеют озера струи,
И с камней, блещущих на зное,
В родную глубь спешат ручьи.

И между тем как полусонный
Наш дольний мир, лишенный сил,
Проникнут негой благовонной,
Во мгле полуденной почил,—

Горé, как божества родные,
Над издыхающей землей
Играют выси ледяные
С лазурью неба огневой.

<Не позднее 1829>

К N. N.

Ты любишь, ты притворствовать умеешь,—
Когда в толпе, украдкой от людей,
Моя нога касается твоей —
Ты мне ответ даешь — и не краснеешь!

Все тот же вид рассеянный, бездушный,
Движенье персей, взор, улыбка та ж...
Меж тем твой муж, сей ненавистный страж,
Любуется твоей красой послушной.

Благодаря и людям и судьбе,
Ты тайным радостям узнала цену,
Узнала свет: он ставит нам в измену
Все радости... Измена льстит тебе.

Стыдливости румянец невозвратный,
Он улетел с твоих младых ланит —
Так с юных роз Авроры луч бежит
С их чистою душою ароматной.

Но так и быть! в палящий летний зной
Лестней для чувств, приманчивей для взгляда
Смотреть, в тени, как в кисти винограда
Сверкает кровь сквозь зелени густой.

<Не позднее 1829>

* * *

Еще шумел веселый день,
Толпами улица блистала,
И облаков вечерних тень
По светлым кровлям пролетала.

И доносилися порой
Все звуки жизни благодатной —
И все в один сливалось строй,
Стозвучный, шумный и невнятный.

Весенней негой утомлен,
Я впал в невольное забвенье;
Не знаю, долог ли был сон,
Но странно было пробужденье...

Затих повсюду шум и гам,
И воцарилося молчанье —
Ходили тени по стенам
И полусонное мерцанье...

Украдкою в мое окно
Глядело бледное светило,
И мне казалось, что оно
Мою дремоту сторожило.

И мне казалось, что меня
Какой-то миротворный гений
Из пышно-золотого дня
Увлек, незримый, в царство теней.

<Не позднее 1829; 1851>

ВЕЧЕР

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шорох стаи журавлиной,—
И в шуме листьев замер он.

Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день,—
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

<Конец 20-х гг.>

ПОЛДЕНЬ

Лениво дышит полдень мглистый,
Лениво катится река,
И в тверди пламенной и чистой
Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет,
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф покойно дремлет.

<Конец 20-х гг.>

ЛЕБЕДЬ

Пускай орел за облаками
Встречает молнии полет
И неподвижными очами
В себя впивает солнца свет.

Но нет завиднее удела,
О лебедь чистый, твоего —
И чистой, как ты сам, одело
Тебя стихией божество.

Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен.

<Конец 20-х гг.>

* * *

Ты зрел его в кругу большого света —
То своенравно-весел, то угрюм,
Рассеян, дик иль полон тайных дум,
Таков поэт — и ты презрел поэта!

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не изнемог,—
Настала ночь — и, светозарный бог,
Сияет он над усыпленной рощей!

<Конец 1829 — начало 1830>

* * *

В толпе людей, в нескромном шуме дня
Порой мой взор, движенья, чувства, речи
Твоей не смеют радоваться встрече —
Душа моя! о, не вини меня!..

Смотри, как днем туманисто-бело
Чуть брезжит в небе месяц светозарный,
Наступит ночь — и в чистое стекло
Вольет елей душистый и янтарный!

<Конец 1829 — начало 1830>

* * *

Душа хотела б быть звездой,
Но не тогда, как с неба полуночи
Сии светила, как живые очи,
Глядят на сонный мир земной,—

Но днем, когда, сокрытые как дымом
Палящих солнечных лучей,
Они, как божества, горят светлей
В эфире чистом и незримом.

<Не позднее 1830>

* * *

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами;
Настанет ночь — и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

То глас ее: он нудит нас и просит...
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.

Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины,—
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены.

<Не позднее начала 1830>

КОНЬ МОРСКОЙ

О рьяный конь, о конь морской,
С бледно-зеленой гривой,
То смирный, ласково-ручной,
То бешено-игривый!
Ты буйным вихрем вскормлен был
В широком божьем поле;
Тебя он прядать научил,
Играть, скакать по воле!

Люблю тебя, когда стремглав,
В своей надменной силе,
Густую гриву растрепав
И весь в пару и мыле,
К брегам направив бурный бег,
С веселым ржаньем мчишься,
Копыта кинешь в звонкий брег
И — в брызги разлетишься!..

<1830>

* * *

Здесь, где так вяло свод небесный
На землю тощую глядит,—
Здесь, погрузившись в сон железный,
Усталая природа спит...

Лишь кой-где бледные березы,
Кустарник мелкий, мох седой,
Как лихорадочные грезы,
Смущают мертвенный покой.

<1830>

УСПОКОЕНИЕ

Гроза прошла — еще курясь, лежал
Высокий дуб, перунами сраженный,
И сизый дым с ветвей его бежал
По зелени, грозою освеженной.

А уж давно, звучнее и полней,
Пернатых песнь по роще раздалася,
И радуга концом дуги своей
В зеленые вершины уперлася.

<1830>

ДВУМ СЕСТРАМ

Обеих вас я видел вместе —
И всю тебя узнал я в ней...
Та ж взоров тихость, нежность гласа,
Та ж прелесть утреннего часа,
Что веяла с главы твоей!

И все, как в зеркале волшебном,
Все обозначилося вновь:
Минувших дней печаль и радость,
Твоя утраченная младость,
Моя погибшая любовь!

<1830>

БЕЗУМИЕ

Там, где с землею обгорелой
Слился, как дым, небесный свод,—
Там в беззаботности веселой
Безумье жалкое живет.

Под раскаленными лучами,
Зарывшись в пламенных песках,
Оно стеклянными очами
Чего-то ищет в облаках.

То вспрянет вдруг и, чутким ухом
Припав к растреснутой земле,
Чему-то внемлет жадным слухом
С довольством тайным на челе.

И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..

<1830>

СТРАННИК

Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!..
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..

Сей дивный мир, их рук созданье,
С разнообразием своим,
Лежит развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье...

Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога,—
Ему отверста вся земля,
Он видит все и славит бога!..

<1830>

ЦИЦЕРОН

Оратор римский говорил
Средь бурь гражданских и тревоги:
«Я поздно встал — и на дороге
Застигнут ночью Рима был!»
Так!.. но, прощаясь с римской славой,
С Капитолийской высоты
Во всем величье видел ты
Закат звезды ее кровавый!..

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

<Не позднее 1830>

ВЕСЕННИЕ ВОДЫ

Еще в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят —
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят...

Они гласят во все концы:
«Весна идет, весна идет!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!»

Весна идет, весна идет!
И тихих, теплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.

<Не позднее 1830>

SILENTIUM! [1]

Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи,—
Любуйся ими — и молчи.

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь.
Взрывая, возмутишь ключи,—
Питайся ими — и молчи.

---

[1] Молчание! *(лат.)*

Лишь жить в себе самом умей —
Есть целый мир в душе твоей
Таинственно-волшебных дум;
Их оглушит наружный шум,
Дневные разгонят лучи,—
Внимай их пенью — и молчи!..

<Не позднее 1830>

* * *

Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает,
И огнь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает.

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразье нестерпимом!..

О небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

<Не позднее 1830>

* * *

Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло...
Бесцветный грунт небес, песчаная земля —
Все на душу раздумье наводило.

Я вспомнил о былом печальной сей земли —
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору.

И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,

«Вы,— мыслил я,— пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого!»

Так! вам одним лишь удалось
Дойти до нас с брегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!..

Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной,—
Так отрок, чар ночных свидетель быв случайный,
Про них и днем молчание хранит.

<Начало октября> 1830

* * *

Песок сыпучий по колени...
Мы едем — поздно — меркнет день,
И сосен, по дороге, тени
Уже в одну слилися тень.
Черней и чаще бор глубокий —
Какие грустные места!
Ночь хмурая, как зверь стоокий,
Глядит из каждого куста!

<Октябрь> 1830

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть:
Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно-сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветр порою,
Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья.

1830

ЛИСТЬЯ

Пусть сосны и ели
Всю зиму торчат,
В снега и метели
Закутавшись, спят.
Их тощая зелень,
Как иглы ежа,
Хоть ввек не желтеет,
Но ввек не свежа.

Мы ж, легкое племя,
Цветем и блестим
И краткое время
На сучьях гостим.
Все красное лето
Мы были в красе,
Играли с лучами,
Купались в росе!..

Но птички отпели,
Цветы отцвели,
Лучи побледнели,
Зефиры ушли.
Так что же нам даром
Висеть и желтеть?
Не лучше ль за ними
И нам улететь!

О буйные ветры,
Скорее, скорей!
Скорей нас сорвите
С докучных ветвей!
Сорвите, умчите,
Мы ждать не хотим,
Летите, летите!
Мы с вами летим!..

1830

* * *

Сей день, я помню, для меня
Был утром жизненного дня:
Стояла молча предо мною,
Вздымалась грудь ее волною,
Алели щеки, как заря,
Все жарче рдея и горя!
И вдруг, как солнце молодое,
Любви признанье золотое
Исторглось из груди ея...
И новый мир увидел я!..

1830

АЛЬПЫ

Сквозь лазурный сумрак ночи
Альпы снежные глядят;
Помертвелые их очи
Льдистым ужасом разят.
Властью некой обаянны,
До восшествия Зари
Дремлют, грозны и туманны,
Словно падшие цари!..

Но Восток лишь заалеет,
Чарам гибельным конец —
Первый в небе просветлеет
Брата старшего венец.
И с главы большого брата
На меньших бежит струя,
И блестит в венцах из злата
Вся воскресшая семья!..

1830

MAL'ARIA[1]

Люблю сей божий гнев! Люблю сие, незримо
Во всем разлитое, таинственное Зло —
В цветах, в источнике прозрачном, как стекло,
И в радужных лучах, и в самом небе Рима.
Все та ж высокая, безоблачная твердь,
Все так же грудь твоя легко и сладко дышит,
Все тот же теплый ветр верхи дерев колышет,
Все тот же запах роз, и это все есть Смерть!..

Как ведать, может быть, и есть в природе звуки,
Благоухания, цвета и голоса,
Предвестники для нас последнего часа
И усладители последней нашей муки.
И ими-то Судеб посланник роковой,
Когда сынов Земли из жизни вызывает,
Как тканью легкою свой образ прикрывает,
Да утаит от них приход ужасный свой!

1830

ВЕСЕННЕЕ УСПОКОЕНИЕ

О, не кладите меня
В землю сырую —
Скройте, заройте меня
В траву густую!

Пускай дыханье ветерка
Шевелит травою,
Свирель поет издалека,
Светло и тихо облака
Плывут надо мною!..

<Не позднее начала 1832>

* * *

На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом,
Воспитанный его чистейшим соком,
Развит чистейшим солнечным лучом!

---

[1] Зараженный воздух *(ит.)*.

С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал!
Пророчески беседовал с грозою
Иль весело с зефирами играл!

Не поздний вихрь, не бурный ливень летний
Тебя сорвал с родимого сучка:
Был многих краше, многих долголетней,
И сам собою пал, как из венка!

<1832>

PROBLÈME

С горы скатившись, камень лег в долине.
Как он упал? никто не знает ныне —
Сорвался ль он с вершины *сам* собой,
Иль был *низринут волею чужой?*
Столетье за столетьем пронеслося:
Никто еще не разрешил вопроса.

15 января 1833; 2 апреля 1857

СОН НА МОРЕ

И море и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы,
Окликалися ветры и пели валы.
Я в хаосе звуков лежал оглушен,
Но над хаосом звуков носился мой сон.
Болезненно-яркий, волшебно-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой.
В лучах огневицы развил он свой мир —
Земля зеленела, светился эфир,
Сады-лавиринфы, чертоги, столпы,
И сонмы кипели безмолвной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц,
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц,

По высям творенья, как бог, я шагал,
И мир подо мною недвижный сиял.
Но все грезы насквозь, как волшебника вой,
Мне слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалася пена ревущих валов.

<1833>

АРФА СКАЛЬДА

О арфа скальда! Долго ты спала
В тени, в пыли забытого угла;
Но лишь луны, очаровавшей мглу,
Лазурный свет блеснул в твоем углу,
Вдруг чудный звон затрепетал в струне,
Как бред души, встревоженной во сне.

Какой он жизнью на тебя дохнул?
Иль старину тебе он вспомянул —
Как по ночам здесь сладострастных дев
Давно минувший вторился напев,
Иль в сих цветущих и поднесь садах
Их легких ног скользил незримый шаг?

21 апреля 1834

* * *

Я лютеран люблю богослуженье,
Обряд их строгий, важный и простой —
Сих голых стен, сей храмины пустой
Понятно мне высокое ученье.

Не видите ль? Собравшися в дорогу,
В последний раз вам вера предстоит:
Еще она не перешла порогу,
Но дом ее уж пуст и гол стоит,—

Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь богу,
В последний раз вы молитесь теперь.

16 сентября 1834

* * *

Из края в край, из града в град
Судьба, как вихрь, людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!

Знакомый звук нам ветр принес:
Любви последнее прости...
За нами много, много слез,
Туман, безвестность впереди!..

«О, оглянися, о, постой,
Куда бежать, зачем бежать?..
Любовь осталась за тобой,
Где ж в мире лучшего сыскать?

Любовь осталась за тобой,
В слезах, с отчаяньем в груди...
О, сжалься над своей тоской,
Свое блаженство пощади!

Блаженство стольких, стольких дней
Себе на память приведи...
Все милое душе твоей
Ты покидаешь на пути!..»

Не время выкликать теней:
И так уж этот мрачен час.
Усопших образ тем страшней,
Чем в жизни был милей для нас.

Из края в край, из града в град
Могучий вихрь людей метет,
И рад ли ты, или не рад,
Не спросит он... Вперед, вперед!

<Между 1834 и апрелем 1836>

* * *

О чем ты воешь, ветр ночной?
О чем так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?

Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь и взрываешь в нем
Порой неистовые звуки!..

О, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвется он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

<Начало 30-х гг.>

* * *

Поток сгустился и тускнеет,
И прячется под твердым льдом,
И гаснет цвет, и звук немеет
В оцепененье ледяном,—
Лишь жизнь бессмертную ключа
Сковать всесильный хлад не может:
Она все льется — и, журча,
Молчанье мертвое тревожит.

Так и в груди осиротелой,
Убитой хладом бытия,
Не льется юности веселой,
Не блещет резвая струя,—
Но подо льдистою корой
Еще есть жизнь, еще есть ропот —
И внятно слышится порой
Ключа таинственного шепот.

<Начало 30-х гг.>

* * *

В душном воздуха молчанье,
Как предчувствие грозы,
Жарче роз благоуханье,
Звонче голос стрекозы...

Чу! за белой, дымной тучей
Глухо прокатился гром;
Небо молнией летучей
Опоясалось кругом...

Жизни некий преизбыток
В знойном воздухе разлит,
Как божественный напиток,
В жилах млеет и горит!

Дева, дева, что волнует
Дымку персей молодых?
Что мутится, что тоскует
Влажный блеск очей твоих?

Что, бледнея, замирает
Пламя девственных ланит?
Что так грудь твою спирает
И уста твои палит?..

Сквозь ресницы шелковые
Проступили две слезы...
Иль то капли дождевые
Зачинающей грозы?

<Начало 30-х гг.>

* * *

Что ты клонишь над водами,
Ива, макушку свою?
И дрожащими листами,
Словно жадными устами,
Ловишь беглую струю?..

Хоть томится, хоть трепещет
Каждый лист твой над струей...
Но струя бежит и плещет,
И, на солнце нежась, блещет,
И смеется над тобой...

<Начало 30-х гг.>

* * *

Вечер мглистый и ненастный...
Чу, не жаворонка ль глас?..
Ты ли, утра гость прекрасный,
В этот поздний, мертвый час?..
Гибкий, резвый, звучно-ясный,
В этот мертвый, поздний час,
Как безумья смех ужасный,
Он всю душу мне потряс!..

<Начало 30-х гг.>

* * *

И гроб опущен уж в могилу,
И все столпилося вокруг...
Толкутся, дышат через силу,
Спирает грудь тлетворный дух...

И над могилою раскрытой,
В возглавии, где гроб стоит,
Ученый пастор, сановитый,
Речь погребальную гласит...

Вещает бренность человечью,
Грехопаденье, кровь Христа...
И умною, пристойной речью
Толпа различно занята...

А небо так нетленно-чисто,
Так беспредельно над землей...
И птицы реют голосисто
В воздушной бездне голубой...

<Начало 30-х гг.>

* * *

Восток белел. Ладья катилась,
Ветрило весело звучало,—
Как опрокинутое небо,
Под нами море трепетало...

Восток алел. Она молилась,
С чела откинув покрывало,—
Дышала на устах молитва,
Во взорах небо ликовало...

Восток вспылал. Она склонилась,
Блестящая поникла выя,—
И по младенческим ланитам
Струились капли огневые...

<Начало 30-х гг.>

* * *

Как птичка, раннею зарей
Мир, пробудившись, встрепенулся...
Ах, лишь одной главы моей
Сон благодатный не коснулся!
Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах,
На мне, я чую, тяготеет
Вчерашний зной, вчерашний прах!..

О, как пронзительны и дики,
Как ненавистны для меня
Сей шум, движенье, говор, крики
Младого, пламенного дня!..
О, как лучи его багровы,
Как жгут они мои глаза!..
О ночь, ночь, где твои покровы,
Твой тихий сумрак и роса!..

Обломки старых поколений,
Вы, пережившие свой век!
Как ваших жалоб, ваших пеней
Неправый праведен упрек!

Как грустно полусонной тенью,
С изнеможением в кости,
Навстречу солнцу и движенью
За новым племенем брести!..

<Начало 30-х гг.>

* * *

Душа моя, Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни помыслам годины буйной сей,
Ни радостям, ни горю не причастных,—

Душа моя, Элизиум теней,
Что общего меж жизнью и тобою!
Меж вами, призраки минувших, лучших дней,
И сей бесчувственной толпою?..

<Начало 30-х гг.>

* * *

Над виноградными холмами
Плывут златые облака.
Внизу зелеными волнами
Шумит померкшая река.
Взор постепенно из долины,
Подъемлясь, всходит к высотам
И видит на краю вершины
Круглообразный светлый храм.

Там, в горнем неземном жилище,
Где смертной жизни места нет,
И легче и пустынно-чище
Струя воздушная течет.
Туда взлетая, звук немеет,
Лишь жизнь природы там слышна
И нечто праздничное веет,
Как дней воскресных тишина.

<Начало 30-х гг.>

* * *

Нет, моего к тебе пристрастья
Я скрыть не в силах, мать-Земля!
Духов бесплотных сладострастья,
Твой верный сын, не жажду я.
Что пред тобой утеха рая,
Пора любви, пора весны,
Цветущее блаженство мая,
Румяный свет, златые сны?..

Весь день, в бездействии глубоком,
Весенний, теплый воздух пить,
На небе чистом и высоком
Порою облака следить;
Бродить без дела и без цели
И ненароком, на лету,
Набресть на свежий дух синели
Или на светлую мечту...

<1835>

* * *

Как сладко дремлет сад темно-зеленый,
Объятый негой ночи голубой,
Сквозь яблони, цветами убеленной,
Как сладко светит месяц золотой!..

Таинственно, как в первый день созданья,
В бездонном небе звездный сонм горит,
Музыки дальной слышны восклицанья,
Соседний ключ слышнее говорит...

На мир дневной спустилася завеса;
Изнемогло движенье, труд уснул...
Над спящим градом, как в вершинах леса,
Проснулся чудный, еженочный гул...

Откуда он, сей гул непостижимый?..
Иль смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном?..

<1835>

* * *

Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства — мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

<1835>

* * *

Какое дикое ущелье!
Ко мне навстречу ключ бежит —
Он в дол спешит на новоселье...
Я лезу вверх, где ель стоит.

Вот взобрался я на вершину,
Сижу здесь, радостен и тих...
Ты к людям, ключ, спешишь в долину —
Попробуй, каково у них!

<1835>

* * *

С поляны коршун поднялся,
Высоко к небу он взвился;
Все выше, дале вьется он,
И вот ушел за небосклон.

Природа-мать ему дала
Два мощных, два живых крыла —
А я здесь в поте и в пыли,
Я, царь земли, прирос к земли!..

<1835>

* * *

Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край.
День вечерел; мы были двое;
Внизу, в тени, шумел Дунай.

И на холму, там, где, белея,
Руина замка вдаль глядит,
Стояла ты, младая фея,
На мшистый опершись гранит,

Ногой младенческой касаясь
Обломков груды вековой;
И солнце медлило, прощаясь
С холмом, и замком, и тобой.

И ветер тихий мимолетом
Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом
На плечи юные свевал.

Ты беззаботно вдаль глядела...
Край неба дымно гас в лучах;
День догорал; звучнее пела
Река в померкших берегах.

И ты с веселостью беспечной
Счастливый провожала день;
И сладко жизни быстротечной
Над нами пролетала тень.

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Там, где горы, убегая,
В светлой тянутся дали,
Пресловутого Дуная
Льются вечные струи...

Там-то, бают, в стары годы,
По лазуревым ночам,
Фей вилися хороводы
Под водой и по водам;

Месяц слушал, волны пели,
И, навесясь с гор крутых,
Замки рыцарей глядели
С сладким ужасом на них.

И лучами неземными,
Заключен и одинок,
Перемигивался с ними
С древней башни огонек.

Звезды в небе им внимали,
Проходя за строем строй,
И беседу продолжали
Тихомолком меж собой.

В панцирь дедовский закован,
Воин-сторож на стене
Слышал, тайно очарован,
Дальний гул, как бы во сне.

Чуть дремотой забывался,
Гул яснел и грохотал...
Он с молитвой просыпался
И дозор свой продолжал.

Все прошло, все взяли годы —
Поддался и ты судьбе,
О Дунай, и пароходы
Нынче рыщут по тебе.

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Сижу задумчив и один,
На потухающий камин
    Сквозь слез гляжу...
С тоскою мыслю о былом
И слов в унынии моем
    Не нахожу.

Былое — было ли когда?
Что ныне — будет ли всегда?..
    Оно пройдет —
Пройдет оно, как все прошло,
И канет в темное жерло
    За годом год.

За годом год, за веком век...
Что ж негодует человек,
    Сей злак земной!..
Он быстро, быстро вянет — так,
Но с новым летом новый злак
    И лист иной.

И снова будет все, что есть,
И снова розы будут цвесть,
    И терны тож...
Но ты, мой бедный, бледный цвет,
Тебе уж возрожденья нет,
    Не расцветешь!

Ты сорван был моей рукой,
С каким блаженством и тоской,
То знает бог!..
Останься ж на груди моей,
Пока любви не замер в ней
Последний вздох.

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Зима недаром злится,
Прошла ее пора —
Весна в окно стучится
И гонит со двора.

И все засуетилось,
Все нудит Зиму вон —
И жаворонки в небе
Уж подняли трезвон.

Зима еще хлопочет
И на Весну ворчит.
Та ей в глаза хохочет
И пуще лишь шумит...

Взбесилась ведьма злая
И, снегу захватя,
Пустила, убегая,
В прекрасное дитя...

Весне и горя мало:
Умылася в снегу
И лишь румяней стала
Наперекор врагу.

<Не позднее апреля 1836>

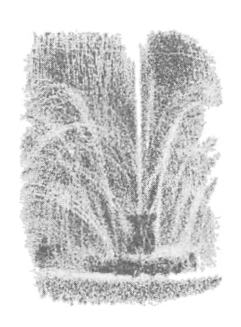
ФОНТАН

Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится;
Как пламенеет, как дробится
Его на солнце влажный дым.

Лучом поднявшись к небу, он
Коснулся высоты заветной —
И снова пылью огнецветной
Ниспасть на землю осужден.

О смертной мысли водомет,
О водомет неистощимый!
Какой закон непостижимый
Тебя стремит, тебя мятет?
Как жадно к небу рвешься ты!..
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.

<Не позднее апреля 1836>



* * *

Яркий снег сиял в долине,—
Снег растаял и ушел;
Вешний злак блестит в долине,—
Злак увянет и уйдет.

Но который век белеет
Там, на высях снеговых?
А заря и ныне сеет
Розы свежие на них!..

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в нёй есть язык...

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Вы зрите лист и цвет на древе:
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат
И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили
И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!

Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Увы, души в нем не встревожит
И голос матери самой!

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Еще земли печален вид,
А воздух уж весною дышит,
И мертвый в поле стебль колышет,
И елей ветви шевелит.
Еще природа не проснулась,
Но сквозь редеющего сна
Весну послышала она,
И ей невольно улыбнулась...

Душа, душа, спала и ты...
Но что же вдруг тебя волнует,
Твой сон ласкает и целует
И золотит твои мечты?..
Блестят и тают глыбы снега,
Блестит лазурь, играет кровь...
Или весенняя то нега?..
Или то женская любовь?..

<Не позднее апреля 1836>

* * *

И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе.

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении творца!
И смысла нет в мольбе!

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг...

Но есть сильней очарованья:
Глаза, потупленные ниц
В минуты страстного лобзанья,
И сквозь опущенных ресниц
Угрюмый, тусклый огнь желанья.

<Не позднее апреля 1836>

* * *

Вчера, в мечтах обвороженных,
С последним месяца лучом
На веждах, томно озаренных,
Ты поздним позабылась сном.

Утихло вкруг тебя молчанье,
И тень нахмурилась темней,
И груди ровное дыханье
Струилось в воздухе слышней.

Но сквозь воздушный завес окон
Недолго лился мрак ночной,
И твой, взвеваясь, сонный локон
Играл с незримою мечтой.

Вот тихоструйно, тиховейно,
Как ветерком занесено,
Дымно-легко, мглисто-лилейно
Вдруг что-то по́рхнуло в окно.

Вот невидимкой пробежало
По темно брезжущим коврам,
Вот, ухватясь за одеяло,
Взбираться стало по краям,—

Вот, словно змейка извиваясь,
Оно на ложе взобралось,
Вот, словно лента развеваясь,
Меж пологами развилось...

Вдруг животрепетным сияньем
Коснувшись персей молодых,
Румяным, громким восклицаньем
Раскрыло шелк ресниц твоих!

<Начало 1836>

29-ое ЯНВАРЯ 1837

Из чьей руки свинец смертельный
Поэту сердце растерзал?
Кто сей божественный фиал
Разрушил, как сосуд скудельный?
Будь прав или виновен он
Пред нашей правдою земною,
Навек он высшею рукою
В *«цареубийцы»* заклеймен.

Но ты, в безвременную тьму
Вдруг поглощенная со света,
Мир, мир тебе, о тень поэта,
Мир светлый праху твоему!..
Назло людскому суесловью
Велик и свят был жребий твой!..
Ты был богов орган живой,
Но с кровью в жилах... знойной кровью.

И сею кровью благородной
Ты жажду чести утолил —
И осененный опочил
Хоругвью горести народной.
Вражду твою пусть Тот рассудит,
Кто слышит пролитую кровь...
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

<Май — июль 1837>

1-ое ДЕКАБРЯ 1837

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости...
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!..

Прости... Чрез много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

<Декабрь 1837>

ИТАЛЬЯНСКАЯ VILLA

И распростясь с тревогою житейской,
И кипарисной рощей заслонясь,—
Блаженной тенью, тенью элисейской,
Она заснула в добрый час.

И вот, уж века два тому иль боле,
Волшебною мечтой ограждена,
В своей цветущей опочив юдоле,
На волю неба предалась она.

Но небо здесь к земле так благосклонно!..
И много лет и теплых южных зим
Провеяло над нею полусонно,
Не тронувши ее крылом своим.

По-прежнему в углу фонтан лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она... и сон ее глубок!..

И мы вошли... все было так спокойно!
Так все от века мирно и темно!..
Фонтан журчал... Недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

. . . .

Вдруг все смутилось: судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал,—
Фонтан замолк — и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.

Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,
Та жизнь,— увы! — что в нас тогда текла,
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

Декабрь 1837

* * *

Давно ль, давно ль, о Юг блаженный,
Я зрел тебя лицом к лицу —
И ты, как бог разоблаченный,
Доступен был мне, пришлецу?..
Давно ль — хотя без восхищенья,
Но новых чувств недаром полн —
И я заслушивался пенья
Великих Средиземных волн!

И песнь их, как *во время оно,*
Полна гармонии была,
Когда из их родного лона
Киприда светлая всплыла...
Они все те же и поныне —
Все так же блещут и звучат;
По их лазоревой равнине
Святые призраки скользят.

Но я, я с вами распростился —
Я вновь на Север увлечен...
Вновь надо мною опустился
Его свинцовый небосклон...
Здесь воздух колет. Снег обильный
На высотах и в глубине —
И холод, чародей всесильный,
Один здесь царствует вполне.

Но там, за этим царством вьюги,
Там, там, на рубеже земли,
На золотом, на светлом Юге,
Еще я вижу вас вдали:
Вы блещете еще прекрасней,
Еще лазурней и свежей —
И говор ваш еще согласней
Доходит до души моей!

Декабрь 1837

* * *

С какою негою, с какой тоской влюбленный
Твой взор, твой страстный взор изнемогал на нем!
Бессмысленно-нема... нема, как опаленный
Небесной молнии огнем!

Вдруг от избытка чувств, от полноты сердечной,
Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц...
Но скоро добрый сон, младенчески-беспечный,
Сходил на шелк твоих ресниц —

И на руки к нему глава твоя склонялась,
И, матери нежней, тебя лелеял он...
Стон замирал в устах... дыханье уравнялось —
И тих и сладок был твой сон.

А днесь... о, если бы тогда тебе приснилось,
Что будущность для нас обоих берегла...
Как уязвленная, ты б с воплем пробудилась,
Иль в сон иной бы перешла.

<Конец 1837>

* * *

Смотри, как запад разгорелся
Вечерним заревом лучей,
Восток померкнувший оделся
Холодной, сизой чешуей!
В вражде ль они между собою?

Иль солнце не одно для них
И, неподвижною средою
Деля, не съединяет их?

<Не позднее начала 1838>

ВЕСНА

Как ни гнетет рука судьбины,
Как ни томит людей обман,
Как ни браздят чело морщины
И сердце как ни полно ран;
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены,—
Что устоит перед дыханьем
И первой встречею весны!

Весна... она о вас не знает,
О вас, о горе и о зле;
Бессмертьем взор ее сияет,
И ни морщины на челе.
Своим законам лишь послушна,
В условный час слетает к вам,
Светла, блаженно-равнодушна,
Как подобает божествам.

Цветами сыплет над землею,
Свежа, как первая весна;
Была ль другая перед нею —
О том не ведает она:
По небу много облак бродит,
Но эти облака ея;
Она ни следу не находит
Отцветших весен бытия.

Не о былом вздыхают розы
И соловей в ночи поет;
Благоухающие слезы
Не о былом Аврора льет,—
И страх кончины неизбежной
Не свеет с древа ни листа:
Их жизнь, как океан безбрежный,
Вся в настоящем разлита.

Игра и жертва жизни частной!
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься, бодрый, самовластный,
В сей животворный океан!
Приди, струей его эфирной
Омой страдальческую грудь —
И жизни божеско-всемирной
Хотя на миг причастен будь!

<Не позднее 1838>

ДЕНЬ И НОЧЬ

На мир таинственный духов,
Над этой бездной безымянной,
Покров наброшен златотканный
Высокой волею богов.
День — сей блистательный покров —
День, земнородных оживленье,
Души болящей исцеленье,
Друг человеков и богов!

Но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
Ткань благодатную покрова,
Сорвав, отбрасывает прочь...
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами,
И нет преград меж ей и нами —
Вот отчего нам ночь страшна!

<Не позднее начала 1839>

* * *

Не верь, не верь поэту, дева;
Его своим ты не зови —
И пуще пламенного гнева
Страшись поэтовой любви!

Его ты сердца не усвоишь
Своей младенческой душой;
Огня палящего не скроешь
Под легкой девственной фатой.

Поэт всесилен, как стихия,
Не властен лишь в себе самом;
Невольно кудри молодые
Он обожжет своим венцом.

Вотще поносит или хвалит
Его бессмысленный народ...
Он не змиею сердце жалит,
Но, как пчела, его сосет.

Твоей святыни не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

<Не позднее начала 1839>

* * *

Живым сочувствием привета
С недостижимой высоты,
О, не смущай, молю, поэта!
Не искушай его мечты!

Всю жизнь в толпе людей затерян,
Порой доступен их страстям,
Поэт, я знаю, суеверен,
Но редко служит он властям.

Перед кумирами земными
Проходит он, главу склонив,
Или стоит он перед ними
Смущен и гордо-боязлив.

Но если вдруг живое слово
С их уст, сорвавшись, упадет
И сквозь величия земного
Вся прелесть женщины мелькнет,

И человеческим сознаньем
Их всемогущей красоты
Вдруг озарятся, как сияньем,
Изящно-дивные черты,—

О, как в нем сердце пламенеет!
Как он восторжен, умилен!
Пускай служить он не умеет,—
Боготворить умеет он!

<Октябрь> 1840

* * *

Глядел я, стоя над Невой,
Как Исаака-великана
Во мгле морозного тумана
Светился купол золотой.

Всходили робко облака
На небо зимнее, ночное,
Белела в мертвенном покое
Оледенелая река.

Я вспомнил, грустно-молчалив,
Как в тех странах, где солнце греет,
Теперь на солнце пламенеет
Роскошный Генуи залив...

О Север, Север-чародей,
Иль я тобою околдован?
Иль в самом деле я прикован
К гранитной полосе твоей?

О, если б мимолетный дух,
Во мгле вечерней тихо вея,
Меня унес скорей, скорее
Туда, туда, на теплый Юг...

21 ноября 1844

КОЛУМБ

Тебе, Колумб, тебе венец!
Чертеж земной ты выполнивший смело
И довершивший наконец
Судеб неконченное дело,
Ты завесу расторг божественной рукой —
И новый мир, неведомый, нежданный,
Из беспредельности туманной
На божий свет ты вынес за собой.

Так связан, съединен от века
Союзом кровного родства
Разумный гений человека
С творящей силой естества...
Скажи заветное он слово —
И миром новым естество
Всегда откликнуться готово
На голос родственный его.

1844

МОРЕ И УТЕС

И бунтует и клокочет,
Хлещет, свищет и ревет,
И до звезд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...

Ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
Огнь геенский разложила —
И пучину взворотила
И поставила вверх дном?

Волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
С ревом, свистом, визгом, воем
Бьет в утес береговой,—
Но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
Неподвижный, неизменный,
Мирозданью современный,
Ты стоишь, наш великан!

И озлобленные боем,
Как на приступ роковой,
Снова волны лезут с воем
На гранит громадный твой.
Но о камень неизменный
Бурный натиск преломив,
Вал отбрызнул сокрушенный,
И струится мутной пеной
Обессиленный порыв....

Стой же ты, утес могучий!
Обожди лишь час, другой —
Надоест волне гремучей
Воевать с твоей пятой...
Утомясь потехой злою,
Присмиреет вновь она —
И без вою, и без бою
Под гигантскою пятою
Вновь уляжется волна...

1848

* * *

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой —
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой...
Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

1848

* * *

Неохотно и несмело
Солнце смотрит на поля.
Чу, за тучей прогремело,
Принахмурилась земля.

Ветра теплого порывы,
Дальний гром и дождь порой...
Зеленеющие нивы
Зеленее под грозой.

Вот пробилась из-за тучи
Синей молнии струя —
Пламень белый и летучий
Окаймил ее края.

Чаще капли дождевые,
Вихрем пыль летит с полей,
И раскаты громовые
Все сердитей и смелей.

Солнце раз еще взглянуло
Исподлобья на поля,
И в сиянье потонула
Вся смятенная земля.

6 июня 1849

* * *

Итак, опять увиделся я с вами,
Места немилые, хоть и родные,
Где мыслил я и чувствовал впервые
И где теперь туманными очами,
При свете вечереющего дня,
Мой детский возраст смотрит на меня.

О бедный призрак, немощный и смутный,
Забытого, загадочного счастья!
О, как теперь без веры и участья
Смотрю я на тебя, мой гость минутный,
Куда как чужд ты стал в моих глазах,
Как брат меньшой, умерший в пеленах...

Ах нет, не здесь, не этот край безлюдный
Был для души моей родимым краем —
Не здесь расцвел, не здесь был величаем
Великий праздник молодости чудной.
Ах, и не в эту землю я сложил
Все, чем я жил и чем я дорожил!

13 июня 1849

* * *

Тихой ночью, поздним летом,
Как на небе звезды рдеют,
Как под сумрачным их светом
Нивы дремлющие зреют...

Усыпительно-безмолвны,
Как блестят в тиши ночной
Золотистые их волны,
Убеленные луной...

23 июля 1849

* * *

Когда в кругу убийственных забот
Нам все мерзит — и жизнь, как камней груда,
Лежит на нас,— вдруг, знает бог откуда,
Нам на душу отрадное дохнет,
Минувшим нас обвеет и обнимет
И страшный груз минутно приподнимет.

Так иногда, осеннею порой,
Когда поля уж пусты, рощи голы,
Бледнее небо, пасмурнее долы,
Вдруг ветр подует, теплый и сырой,
Опавший лист погонит пред собою
И душу нам обдаст как бы весною...

22 октября 1849

* * *

По равнине вод лазурной
Шли мы верною стезей,—
Огнедышащий и бурный
Уносил нас змей морской.

С неба звезды нам светили,
Снизу искрилась волна,
И метелью влажной пыли
Обдавала нас она.

Мы на палубе сидели,
Многих сон одолевал...
Все звучней колеса пели,
Разгребая шумный вал...

Приутих наш круг веселый,
Женский говор, женский шум...
Подпирает локоть белый
Много милых, сонных дум.

Сны играют на просторе
Под магической луной —
И баюкает их море
Тихоструйною волной.

29 ноября 1849

* * *

Вновь твои я вижу очи —
И один твой южный взгляд
Киммерийской грустной ночи
Вдруг рассеял сонный хлад...
Воскресает предо мною
Край иной — родимый край —
Словно прадедов виною
Для сынов погибший рай...

Лавров стройных колыханье
Зыблет воздух голубой,
Моря тихое дыханье
Провевает летний зной,
Целый день на солнце зреет
Золотистый виноград,
Баснословной былью веет
Из-под мраморных аркад...

Сновиденьем безобразным
Скрылся север роковой,
Сводом легким и прекрасным
Светит небо надо мной.
Снова жадными очами
Свет живительный я пью
И под чистыми лучами
Край волшебный узнаю.

<1849>

* * *

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,—
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

<Осень 1849>

* * *

Как он любил родные ели
Своей Савойи дорогой!
Как мелодически шумели
Их ветви над его главой!..
Их мрак торжественно-угрюмый
И дикий, заунывный шум
Какою сладостною думой
Его обворожали ум!..

<1849>

* * *

Как дымный столп светлеет в вышине!—
Как тень внизу скользит неуловима!..
«Вот наша жизнь,—промолвила ты мне,—
Не светлый дым, блестящий при луне,
А эта тень, бегущая от дыма...»

<1848 или 1849>

РУССКОЙ ЖЕНЩИНЕ

Вдали от солнца и природы,
Вдали от света и искусства,
Вдали от жизни и любви
Мелькнут твои младые годы,
Живые помертвеют чувства,
Мечты развеются твои...

И жизнь твоя пройдет незрима,
В краю безлюдном, безымянном,
На незамеченной земле,—
Как исчезает облак дыма
На небе тусклом и туманном,
В осенней беспредельной мгле...

<1848 или 1849>

НАПОЛЕОН

I

Сын Революции, ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил — и изнемог в борьбе...
Не одолел ее твой гений самовластный!..
Бой невозможный, труд напрасный!..
Ты всю ее носил в самом себе...

II

Два демона ему служили,
Две силы чудно в нем слились:
В его главе — орлы парили,
В его груди — змии вились...
Ширококрылых вдохновений
Орлиный, дерзостный полет,
И в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.
Но освящающая сила,
Непостижимая уму,
Души его не озарила
И не приблизилась к нему...
Он был земной, не божий пламень,
Он гордо плыл — презритель волн,—
Но о подводный веры камень
В щепы разбился утлый челн.

III

И ты стоял — перед тобой Россия!
И, вещий волхв, в предчувствии борьбы,
Ты сам слова промолвил роковые:
«Да сбудутся ее судьбы!..»

И не напрасно было заклинанье:
Судьбы откликнулись на голос твой!..
Но новою загадкою в изгнанье
Ты возразил на отзыв роковой...

Года прошли — и вот, из ссылки тесной
На родину вернувшийся мертвец,
На берегах реки, тебе любезной,
Тревожный дух, почил ты наконец...

Но чуток сон — и по ночам, тоскуя,
Порою встав, он смотрит на Восток,
И вдруг, смутясь, бежит, как бы почуя
    Передрассветный ветерок.

<Не позднее начала 1850>

* * *

Святая ночь на небосклон взошла,
И день отрадный, день любезный
Как золотой покров она свила,
Покров, накинутый над бездной.
И, как виденье, внешний мир ушел...
И человек, как сирота бездомный,
Стоит теперь, и немощен и гол,
Лицом к лицу пред пропастию темной.

На самого себя покинут он —
Упразднен ум, и мысль осиротела —
В душе своей, как в бездне, погружен,
И нет извне опоры, ни предела...
И чудится давно минувшим сном
Ему теперь все светлое, живое...
И в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье родовое.

<Между 1848 и мартом 1850>

ПОЭЗИЯ

Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре —
И на бунтующее море
Льет примирительный елей.

<Не позднее начала 1850>

РИМ НОЧЬЮ

В ночи лазурной почивает Рим.
Взошла луна и овладела им,
И спящий град, безлюдно-величавый,
Наполнила своей безмолвной славой...

Как сладко дремлет Рим в ее лучах!
Как с ней сроднился Рима вечный прах!..
Как будто лунный мир и град почивший —
Все тот же мир, волшебный, но отживший!..

<Не позднее начала 1850>

ВЕНЕЦИЯ

Дож Венеции свободной
Средь лазоревых зыбей,
Как жених порфирородный,
Достославно, всенародно
Обручался ежегодно
С Адриатикой своей.

И недаром в эти воды
Он кольцо свое бросал:
Веки целые, не годы
(Дивовалися народы),
Чудный перстень воеводы
Их вязал и чаровал...

И чета в любви и мире
Много славы нажила —
Века три или четыре,
Все могучее и шире,
Разрасталась в целом мире
Тень от *львиного крыла.*

А теперь?
                    В волнах забвенья
Сколько брошенных колец!..
Миновались поколенья,—
Эти кольца обрученья,
Эти кольца стали звенья
Тяжкой цепи наконец!..

<Не позднее начала 1850>

* * *

Кончен пир, умолкли хоры,
Опорожнены амфоры,
Опрокинуты корзины,
Не допиты в кубках вины,
На главах венки измяты,—
Лишь курятся ароматы
В опустевшей светлой зале...
Кончив пир, мы поздно встали —
Звезды на небе сияли,
Ночь достигла половины...

Как над беспокойным градом,
Над дворцами, над домами,
Шумным уличным движеньем
С тускло-рдяным освещеньем
И бессонными толпами,—
Как над этим дольным чадом,
В горнем выспреннем пределе
Звезды чистые горели,
Отвечая смертным взглядам
Непорочными лучами...

<Не позднее начала 1850>

* * *

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто в летний жар и зной
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по жаркой мостовой;

Кто смотрит вскользь через ограду
На тень деревьев, злак долин,
На недоступную прохладу
Роскошных, светлых луговин.

Не для него гостеприимной
Деревья сенью разрослись,
Не для него, как облак дымный,
Фонтан на воздухе повис.

Лазурный грот, как из тумана,
Напрасно взор его манит,
И пыль росистая фонтана
Главы его не освежит.

Пошли, господь, свою отраду
Тому, кто жизненной тропой
Как бедный нищий мимо саду
Бредет по знойной мостовой.

Июль 1850

НА НЕВЕ

И опять звезда ныряет
В легкой зыби невских волн,
И опять любовь вверяет
Ей таинственный свой челн.

И меж зыбью и звездою
Он скользит как бы во сне,
И два призрака с собою
Вдаль уносит по волне.

Дети ль это праздной лени
Тратят здесь досуг ночной?
Иль блаженные две тени
Покидают мир земной?

Ты, разлитая как море,
Пышноструйная волна,
Приюти в твоем просторе
Тайну скромного челна!

Июль 1850

* * *

Как ни дышит полдень знойный
В растворенное окно,
В этой храмине спокойной,
Где все тихо и темно,

Где живые благовонья
Бродят в сумрачной тени,
В сладкий сумрак полусонья
Погрузись и отдохни.

Здесь фонтан неутомимый
День и ночь поет в углу
И кропит росой незримой
Очарованную мглу.

И в мерцанье полусвета,
Тайной страстью занята,
Здесь влюбленного поэта
Веет легкая мечта.

<Июль 1850>

* * *

Не рассуждай, не хлопочи!..
Безумство ищет, глупость судит;
Дневные раны сном лечи,
А завтра быть чему, то будет.

Живя, умей все пережить:
Печаль, и радость, и тревогу.
Чего желать? О чем тужить?
День пережит — и слава богу!

<Июль 1850>

* * *

Под дыханьем непогоды,
Вздувшись, потемнели воды
И подернулись свинцом —
И сквозь глянец их суровый
Вечер пасмурно-багровый
Светит радужным лучом.

Сыплет искры золотые,
Сеет розы огневые
И уносит их поток.
Над волной темно-лазурной
Вечер пламенный и бурный
Обрывает свой венок...

12 августа 1850

* * *

Обвеян вещею дремотой,
Полураздетый лес грустит...
Из летних листьев разве сотый,
Блестя осенней позолотой,
Еще на ветви шелестит.

Гляжу с участьем умиленным,
Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным,
С их ветхим листьем изнуренным,
Молниевидный брызнет луч.

Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас,
Когда, что так цвело и жило,
Теперь, так немощно и хило,
В последний улыбнется раз!..

15 сентября 1850

ДВА ГОЛОСА

1

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Пусть в горнем Олимпе блаженствуют боги:
Бессмертье их чуждо труда и тревоги;
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

2

Мужайтесь, боритесь, о храбрые други,
Как бой ни жесток, ни упорна борьба!
Над вами безмолвные звездные круги,
Под вами немые, глухие гроба.

Пускай олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

<1850>

* * *

Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.

На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мете.

Все вместе — малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все — безразличны, как стихия,—
Сольются с бездной роковой!..

О, нашей мысли обольщенье,
Ты, человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя?

<Не позднее весны 1851>

* * *

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

Давно ль, гордясь своей победой,
Ты говорил: она моя...
Год не прошел — спроси и сведай,
Что уцелело от нея?

Куда ланит девались розы,
Улыбка уст и блеск очей?
Все опалили, выжгли слезы
Горючей влагою своей.

Ты помнишь ли, при вашей встрече,
При первой встрече роковой,

Ее волшебный взор, и речи,
И смех младенчески-живой?

И что ж теперь? И где все это?
И долговечен ли был сон?
Увы, как северное лето,
Был мимолетным гостем он!

Судьбы ужасным приговором
Твоя любовь для ней была,
И незаслуженным позором
На жизнь ее она легла!

Жизнь отреченья, жизнь страданья!
В ее душевной глубине
Ей оставались вспоминанья...
Но изменили и оне.

И на земле ей дико стало,
Очарование ушло...
Толпа, нахлынув, в грязь втоптала
То, что в душе ее цвело.

И что ж от долгого мученья,
Как пепл, сберечь ей удалось?
Боль, злую боль ожесточенья,
Боль без отрады и без слез!

О, как убийственно мы любим!
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!..

<Первая половина 1851>

* * *

Не знаю я, коснется ль благодать
Моей души болезненно-греховной,
Удастся ль ей воскреснуть и восстать,
Пройдет ли обморок духовный?

Но если бы душа могла
Здесь, на земле, найти успокоенье,
Мне благодатью ты б была —
Ты, ты, мое земное провиденье!..

<Апрель 1851>

ПЕРВЫЙ ЛИСТ

Лист зеленеет молодой.
Смотри, как листьем молодым
Стоят обвеяны березы,
Воздушной зеленью сквозной,
Полупрозрачною, как дым...

Давно им грезилось весной,
Весной и летом золотым,—
И вот живые эти грезы,
Под первым небом голубым,
Пробились вдруг на свет дневной...

О, первых листьев красота,
Омытых в солнечных лучах,
С новорожденною их тенью!
И слышно нам по их движенью,
Что в этих тысячах и тьмах
Не встретишь мертвого листа.

Май 1851

* * *

Не раз ты слышала признанье:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней...

Перед любовию твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюся тебе...

Когда, порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой

Невольно клонишь ты колено
Пред колыбелью дорогой,

Где спит *она* — твое рожденье —
Твой безымянный херувим,—
Пойми ж и ты мое смиренье
Пред сердцем любящим твоим.

<1851>

НАШ ВЕК

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней *не просит...*

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»

10 июня 1851

ВОЛНА И ДУМА

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья стихии одной:
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь — в заключении, там — на просторе,—
Тот же все вечный прибой и отбой,
Тот же все призрак тревожно-пустой.

14 июля 1851

* * *

Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала...
И над тусклою землею
Небо, полное грозою,
Все в зарницах трепетало...

Словно тяжкие ресницы
Подымались над землею,
И сквозь беглые зарницы
Чьи-то грозные зеницы
Загоралися порою...

14 июля 1851

* * *

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон — одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек...

6 августа 1851

* * *

Как весел грохот летних бурь,
Когда, взметая прах летучий,
Гроза, нахлынувшая тучей,
Смутит небесную лазурь
И опрометчиво-безумно
Вдруг на дубраву набежит,
И вся дубрава задрожит
Широколиственно и шумно!..

Как под незримою пятой,
Лесные гнутся исполины;
Тревожно ропщут их вершины,
Как совещаясь меж собой,—

И сквозь внезапную тревогу
Немолчно слышен птичий свист,
И кой-где первый желтый лист,
Крутясь, слетает на дорогу...

1851

* * *

День вечереет, ночь близка,
Длинней с горы ложится тень,
На небе гаснут облака...
Уж поздно. Вечереет день.

Но мне не страшен мрак ночной,
Не жаль скудеющего дня,—
Лишь ты, волшебный призрак мой,
Лишь ты не покидай меня!..

Крылом своим меня одень,
Волненья сердца утиши,
И благодатна будет тень
Для очарованной души.

Кто ты? Откуда? Как решить,
Небесный ты или земной?
Воздушный житель, может быть,—
Но с страстной женскою душой.

1 ноября 1851

ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Любовь, любовь — гласит преданье —
Союз души с душой родной —
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой...

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

<1851 или начало 1852>

* * *

Не говори: меня он, как и прежде, любит,
Мной, как и прежде, дорожит...
О нет! Он жизнь мою бесчеловечно губит,
Хоть, вижу, нож в руке его дрожит.

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя,
Увлечена, в душе уязвлена,
Я стражду, не живу... им, им одним живу я —
Но эта жизнь!.. О, как горька она!

Он мерит воздух мне так бережно и скудно...
Не мерят так и лютому врагу...
Ох, я дышу еще болезненно и трудно,
Могу дышать, но жить уж не могу.

<1851 или начало 1852>

* * *

О, не тревожь меня укорой справедливой!
Поверь, из нас из двух завидней часть твоя:
Ты любишь искренно и пламенно, а я —
Я на тебя гляжу с досадою ревнивой.

И, жалкий чародей, перед волшебным миром,
Мной созданным самим, без веры я стою —
И самого себя, краснея, сознаю
Живой души твоей безжизненным кумиром.

<1851 или начало 1852>

* * *

Чему молилась ты с любовью,
Что, как святыню, берегла,
Судьба людскому суесловью
На поруганье предала.

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв, доступных ей.

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

<1851 или начало 1852>

* * *

Я очи знал, — о, эти очи!
Как я любил их, — знает бог!
От их волшебной, страстной ночи
Я душу оторвать не мог.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалося горе,
Такая страсти глубина!

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье, утомленный
И, как страданье, роковой.

И в эти чудные мгновенья
Ни разу мне не довелось
С ним повстречаться без волненья
И любоваться им без слез.

<Не позднее начала 1852>

БЛИЗНЕЦЫ

Есть близнецы — для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Как брат с сестрою дивно сходных —
Она угрюмей, кротче он...

Но есть других два близнеца —
И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней,
Ей предающего сердца...

Союз их кровный, не случайный,
И только в роковые дни
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они.

И кто в избытке ощущений,
Когда кипит и стынет кровь,
Не ведал ваших искушений —
Самоубийство и Любовь!

<Не позднее начала 1852>

* * *

Mobile comme l'onde[1]

Ты, волна моя морская,
Своенравная волна,
Как, покоясь иль играя,
Чудной жизни ты полна!

Ты на солнце ли смеешься,
Отражая неба свод,
Иль мятешься ты и бьешься
В одичалой бездне вод,—

Сладок мне твой тихий шепот,
Полный ласки и любви;
Внятен мне и буйный ропот,
Стоны вещие твои.

Будь же ты в стихии бурной
То угрюма, то светла,

[1] Непостоянная, как волна *(фр.).*

Но в ночи твоей лазурной
Сбереги, что ты взяла.

Не кольцо, как дар заветный,
В зыбь твою я опустил,
И не камень самоцветный
Я в тебе похоронил.

Нет — в минуту роковую,
Тайной прелестью влеком,
Душу, душу я живую
Схоронил на дне твоем.

Апрель 1852

ПАМЯТИ В. А. ЖУКОВСКОГО

1

Я видел вечер твой. Он был прекрасен!
В последний раз прощаяся с тобой,
Я любовался им: и тих, и ясен,
И весь насквозь проникнут теплотой...
О, как они и грели и сияли —
Твои, поэт, прощальные лучи...
А между тем заметно выступали
Уж звезды первые в его ночи.

2

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья —
Он все в себе мирил и совмещал,
С каким радушием благоволенья
Он были мне Омировы читал...
Цветущие и радужные были
Младенческих первоначальных лет...
А звезды между тем на них сводили
Таинственный и сумрачный свой свет...

3

Поистине, как голубь, чист и цел
Он духом был; хоть мудрости змииной
Не презирал, понять ее умел,
Но веял в нем дух чисто голубиный.
И этою духовной чистотою
Он возмужал, окреп и просветлел.
Душа его возвысилась до строю:
Он стройно жил, он стройно пел...

4

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой,
Он завещал взволнованному миру...
Поймет ли мир, оценит ли его?
Достойны ль мы священного залога?
Иль не про нас сказало божество:
«Лишь сердцем чистые, те узрят бога!»

<Конец июня 1852>

* * *

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей...

28 июля 1852

* * *

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит —
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

И стоит он, околдован,—
Не мертвец и не живой —
Сном волшебным очарован,
Весь опутан, весь окован
Легкой цепью пуховой...

Солнце зимнее ли мещет
На него свой луч косой —
В нем ничто не затрепещет,
Он весь вспыхнет и заблещет
Ослепительной красой.

31 декабря 1852

НЕМАН

Ты ль это, Неман величавый?
Твоя ль струя передо мной?
Ты, столько лет, с такою славой,
России верный часовой?..
Один лишь раз, по воле бога,
Ты супостата к ней впустил —
И целость русского порога
Ты тем навеки утвердил...

Ты помнишь ли былое, Неман?
Тот день годины роковой,
Когда стоял он над тобой,
Он сам — могучий южный демон,
И ты, как ныне, протекал,
Шумя под вражьими мостами,
И он струю твою ласкал
Своими чудными очами?..

Победно шли его полки,
Знамена весело шумели,

На солнце искрились штыки,
Мосты под пушками гремели —
И с высоты, как некий бог,
Казалось, он парил над ними
И двигал всем и все стерег
Очами чудными своими...

Лишь одного он не видал...
Не видел он, воитель дивный,
Что там, на стороне противной,
Стоял *Другой* — стоял и ждал...
И мимо проходила рать —
Всё грозно-боевые лица,
И неизбежная Десница
Клала на них свою печать...

И так победно шли полки,
Знамена гордо развевались,
Струились молнией штыки,
И барабаны заливались...
Несметно было их число —
И в этом бесконечном строе
Едва ль десятое чело
Клеймо минуло роковое...

<5—7 сентября 1853>

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...
Сияй, сияй, прощальный свет
Любви последней, зари вечерней!

Полнеба обхватила тень,
Лишь там, на западе, бродит сиянье,—
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.

Пускай скудеет в жилах кровь,
Но в сердце не скудеет нежность...
О ты, последняя любовь!
Ты и блаженство и безнадежность.

<Между 1852 и началом 1854>

ЛЕТО 1854

Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?..

Гляжу тревожными глазами
На этот блеск, на этот свет...
Не издеваются ль над нами?
Откуда нам такой привет?..

Увы, не так ли молодая
Улыбка женских уст и глаз,
Не восхищая, не прельщая,
Под старость лишь смущает нас.

<Начало августа 1854>

* * *

Увы, что нашего незнанья
И беспомóщней и грустней?
Кто смеет молвить: *до свиданья*
Чрез бездну двух или трех дней?

11 сентября 1854

НА НОВЫЙ 1855 ГОД

Стоим мы слепо пред Судьбою,
Не нам сорвать с нее покров...
Я не свое тебе открою,
Но бред пророческий духов...

Еще нам далеко до цели,
Гроза ревет, гроза растет,—
И вот — в железной колыбели,
В громах родится Новый год...

Черты его ужасно строги,
Кровь на руках и на челе...
Но не одни войны тревоги
Несет он миру на земле!

Не просто будет он воитель,
Но исполнитель божьих кар,—
Он совершит, как поздний мститель,
Давно обдуманный удар...

Для битв он послан и расправы,
С собой несет он два меча:
Один — сражений меч кровавый,
Другой — секиру палача.

Но для кого?.. Одна ли выя,
Народ ли целый обречен?..
Слова неясны роковые,
И смутен замогильный сон...

<Конец 1854 или начало 1855>

* * *

Пламя рдеет, пламя пышет,
Искры брызжут и летят,
А на них прохладой дышит
Из-за речки темный сад.
Сумрак тут, там жар и крики,
Я брожу как бы во сне,—
Лишь одно я живо чую:
Ты со мной и вся во мне.

Треск за треском, дым за дымом,
Трубы голые торчат,
А в покое нерушимом
Листья веют и шуршат.
Я, дыханьем их обвеян,
Страстный говор твой ловлю...
Слава богу, я с тобою,
А с тобой мне — как в раю.

10 июля 1855

* * *

Так, в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной.
Все пошлое и ложное
Ушло так далеко,
Все мило-невозможное,
Так близко и легко.
И любо мне, и сладко мне,
И мир в моей груди,
Дремотою обвеян я —
О время, погоди!

<Июль 1855>

* * *

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

13 августа 1855

* * *

Вот от моря и до моря
Нить железная скользит,
Много славы, много горя
Эта нить порой гласит.

И, за ней следя глазами,
Путник видит, как порой
Птицы вещие садятся
Вдоль по нити вестовой.

Вот с поляны ворон черный
Прилетел и сел на ней,
Сел и каркнул, и крылами
Замахал он веселей.

И кричит он, и ликует,
И кружится все над ней:
Уж не кровь ли ворон чует
Севастопольских вестей?

13 августа 1855

* * *

О вещая душа моя!
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так, ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и страстный,

Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов...

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые —
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

1855

* * *

<Из Микеланджело>

Молчи, прошу, не смей меня будить.
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать — удел завидный...
Отрадно спать, отрадней камнем быть.

1855

* * *

Не богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые и злые,—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

<1855>

* * *

Все, что сберечь мне удалось,
Надежды, веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

8 апреля 1856

Н. Ф. ЩЕРБИНЕ

Вполне понятно мне значенье
Твоей болезненной мечты,
Твоя борьба, твое стремленье,
Твое тревожное служенье
Пред идеалом красоты...

Так узник эллинский, порою
Забывшись сном среди степей,
Под скифской вьюгой снеговою,
Свободой бредил золотою
И небом Греции своей.

4 февраля 1857

* * *

Над этой темною толпой
Непробужденного народа
Взойдешь ли ты когда, Свобода,
Блеснет ли луч твой золотой?..

Блеснет твой луч и оживит,
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет,—
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

15 августа 1857

* * *

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все — простор везде,—

Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь —
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

22 августа 1857

* * *

Смотри, как роща зеленеет,
Палящим солнцем облита,
А в ней какою негой веет
От каждой ветки и листа!

Войдем и сядем над корнями
Дерев, поимых родником,—
Там, где, обвеянный их мглами,
Он шепчет в сумраке немом.

Над нами бредят их вершины,
В полдневный зной погружены,
И лишь порою крик орлиный
До нас доходит с вышины...

<Конец> августа 1857

* * *

В часы, когда бывает
Так тяжко на груди,
И сердце изнывает,
И тьма лишь впереди;

Без сил и без движенья,
Мы так удручены,
Что даже утешенья
Друзей нам не смешны,—

Вдруг солнца луч приветный
Войдет украдкой к нам

И брызнет огнецветной
Струею по стенам;

И с тверди благосклонной,
С лазуревых высот
Вдруг воздух благовонный
В окно на нас пахнет...

Уроков и советов
Они нам не несут,
И от судьбы наветов
Они нас не спасут.

Но силу их мы чуем,
Их слышим благодать,
И меньше мы тоскуем,
И легче нам дышать...

Так мило-благодатна,
Воздушна и светла,
Душе моей стократно
Любовь твоя была.

<Не позднее апреля 1858>

* * *

Она сидела на полу
И груду писем разбирала,
И, как остывшую золу,
Брала их в руки и бросала.

Брала знакомые листы
И чудно так на них глядела,
Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело...

О, сколько жизни было тут,
Невозвратимо пережитой!
О, сколько горестных минут,
Любви и радости убитой!..

Стоял я молча в стороне
И пасть готов был на колени,—
И страшно грустно стало мне,
Как от присущей милой тени.

<Не позднее апреля 1858>

УСПОКОЕНИЕ

Когда, что звали мы своим,
Навек от нас ушло
И, как под камнем гробовым,
Нам станет тяжело,—

Пойдем и бросим беглый взгляд
Туда, по склону вод,
Куда стремглав струи спешат,
Куда поток несет.

Одна другой наперерыв
Спешат, бегут струи
На чей-то роковой призыв,
Им слышимый вдали...

За ними тщетно мы следим —
Им не вернуться вспять...
Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать...

И слезы брызнули из глаз —
И видим мы сквозь слез,
Как все, волнуясь и клубясь,
Быстрее понеслось...

Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.

15 августа 1858

* * *

Осенней позднею порою
Люблю я царскосельский сад,
Когда он тихой полумглою
Как бы дремотою объят
И белокрылые виденья,
На тусклом озера стекле,
В какой-то неге онеменья
Коснеют в этой полумгле...

И на порфирные ступени
Екатерининских дворцов
Ложатся сумрачные тени
Октябрьских ранних вечеров —
И сад темнеет, как дуброва,
И при звездах из тьмы ночной,
Как отблеск славного былого,
Выходит купол золотой...

22 октября 1858

НА ВОЗВРАТНОМ ПУТИ

I

Грустный вид и грустный час —
Дальний путь торопит нас...
Вот, как призрак гробовой,
Месяц встал — и из тумана
Осветил безлюдный край...
    Путь далек — не унывай...

Ах, и в этот самый час,
Там, где нет теперь уж нас,
Тот же месяц, но живой,
Дышит в зеркале Лемана...
Чудный вид и чудный край —
    Путь далек — не вспоминай...

II

Родной ландшафт... Под дымчатым навесом
    Огромной тучи снеговой
Синеет даль — с ее угрюмым лесом,

Окутанным осенней мглой...
Все голо так — и пусто-необъятно
В однообразии немом...
Местами лишь просвечивают пятна
Стоячих вод, покрытых первым льдом.

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья —
Жизнь отошла — и, покорясь судьбе,
В каком-то забытьи изнеможенья,
Здесь человек лишь снится сам себе.
Как свет дневной, его тускнеют взоры,
Не верит он, хоть видел их вчера,
Что есть края, где радужные горы
В лазурные глядятся озера...

<Конец> октября 1859

ДЕКАБРЬСКОЕ УТРО

На небе месяц — и ночная
Еще не тронулася тень,
Царит себе, не сознавая,
Что вот уж встрепенулся день, —

Что хоть лениво и несмело
Луч возникает за лучом,
А небо так еще всецело
Ночным сияет торжеством.

Но не пройдет двух-трех мгновений,
Ночь испарится над землей,
И в полном блеске проявлений
Вдруг нас охватит мир дневной...

Декабрь <1859>

Е. Н. АННЕНКОВОЙ

И в нашей жизни повседневной
Бывают радужные сны,
В край незнакомый, в мир волшебный,
И чуждый нам и задушевный,
Мы ими вдруг увлечены.

Мы видим: с голубого своду
Нездешним светом веет нам,
Другую видим мы природу,
И без заката, без восходу
Другое солнце светит там...

Все лучше там, светлее, шире,
Так от земного далеко...
Так разно с тем, что в нашем мире,—
И в чистом пламенном эфире
Душе так родственно-легко.

Проснулись мы,—конец виденью,
Его ничем не удержать,
И тусклой, неподвижной тенью,
Вновь обреченных заключенью,
Жизнь обхватила нас опять.

Но долго звук неуловимый
Звучит над нами в вышине,
И пред душой, тоской томимой,
Все тот же взор неотразимый,
Все та ж улыбка, что во сне.

1859

* * *

Хоть я и свил гнездо в долине,
Но чувствую порой и я,
Как животворно на вершине
Бежит воздушная струя,—
Как рвется из густого слоя,
Как жаждет горних наша грудь,
Как все удушливо-земное
Она хотела б оттолкнуть!

На недоступные громады
Смотрю по целым я часам,—
Какие росы и прохлады
Оттуда с шумом льются к нам!

Вдруг просветлеют огнецветно
Их непорочные снега:
По ним проходит незаметно
Небесных ангелов нога...

<Октябрь 1860>

НА ЮБИЛЕЙ КНЯЗЯ ПЕТРА АНДРЕЕВИЧА ВЯЗЕМСКОГО

У Музы есть различные пристрастья,
Дары ее даются не равно;
Стократ она божественнее счастья,
Но своенравна, как оно.

Иных она лишь на заре лелеет,
Целует шелк их кудрей молодых,
Но ветерок чуть жарче лишь повеет —
И с первым сном она бежит от них.

Тем у ручья, на луговине тайной,
Нежданная, является порой,
Порадует улыбкою случайной,
Но после первой встречи нет второй!

Не то от ней присуждено вам было:
Вас юношей настигнув в добрый час,
Она в душе вас крепко полюбила
И долго всматривалась в вас.

Досужая, она не мимоходом
Пеклась о вас, ласкала, берегла,
Растила ваш талант, и с каждым годом
Любовь ее нежнее все была.

И как с годами крепнет, пламенея,
Сок благородный виноградных лоз,—
И в кубок ваш все жарче и светлее
Так вдохновение лилось.

И никогда таким вином, как ныне,
Ваш славный кубок венчан не бывал.

Давайте ж, князь, подымем в честь богине
Ваш полный, пенистый фиал!

Богине в честь, хранящей благородно
Залог всего, что свято для души,
Родную речь... расти она свободно
И подвиг свой великий доверши!

Потом мы все, в молитвенном молчанье
Священные поминки сотворим,
Мы сотворим тройное возлиянье
Трем незабвенно-дорогим.

Нет отклика на голос, их зовущий,
Но в светлый праздник ваших именин
Кому ж они не близки, не присущи —
Жуковский, Пушкин, Карамзин!..

Так, верим мы, незримыми гостями
Теперь они, покинув горний мир,
Сочувственно витают между нами
И освящают этот пир.

За ними, князь, во имя Музы вашей,
Подносим вам заздравное вино,
И долго-долго в этой светлой чаше
Пускай кипит и искрится оно!..

<Конец февраля 1861>

* * *

Я знал ее еще тогда,
В те баснословные года,
Как перед утренним лучом
Первоначальных дней звезда
Уж тонет в небе голубом...

И все еще была она
Той свежей прелести полна,
Той дорассветной темноты,
Когда незрима, неслышна,
Роса ложится на цветы...

Вся жизнь ее тогда была
Так совершенна, так цела,
И так среде земной чужда,
Что, мнится, и она ушла
И скрылась в небе, как звезда.

27 марта 1861

* * *

Играй, покуда над тобою
Еще безоблачна лазурь;
Играй с людьми, играй с судьбою,
Ты — жизнь, назначенная к бою,
Ты — сердце, жаждущее бурь.

Как часто, грустными мечтами
Томимый, на тебя гляжу,
И взор туманится слезами...
Зачем? Что общего меж нами?
Ты жить идешь — я ухожу.

Я слышал утренние грезы
Лишь пробудившегося дня...
Но поздние, живые грозы,
Но взрыв страстей, но страсти слезы,—
Нет, это все не для меня!

Но, может быть, под зноем лета
Ты вспомнишь о своей весне...
О, вспомни и про время это,
Как о забытом до рассвета
Нам смутно грезившемся сне.

25 июля 1861

ПРИ ПОСЫЛКЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Не легкий жребий, не отрадный,
Был вынут для тебя судьбой,
И рано с жизнью беспощадной
Вступила ты в неравный бой.

Ты билась с мужеством немногих,
И в этом роковом бою
Из испытаний самых строгих
Всю душу вынесла свою.

Нет, жизнь тебя не победила,
И ты в отчаянной борьбе
Ни разу, друг, не изменила
Ни правде сердца, ни себе.

Но скудны все земные силы:
Рассвирепеет жизни зло —
И нам, как на краю могилы,
Вдруг станет страшно тяжело.

Вот в эти-то часы с любовью
О книге сей ты вспомяни —
И всей душой, как к изголовью,
К ней припади и отдохни.

1861

* * *

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой —
Они им чуют, слышат воды
И в темной глубине земной...

Великой Матерью любимый,
Стократ завидней твой удел —
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел...

14 апреля 1862

Н. И. КРОЛЮ

Сентябрь холодный бушевал,
С деревьев ржавый лист валился,
День потухающий дымился,
Сходила ночь, туман вставал.

И все для сердца и для глаз
Так было холодно-бесцветно,
Так было грустно-безответно,—
Но чья-то песнь вдруг раздалась...

И вот, каким-то обаяньем,
Туман, свернувшись, улетел,
Небесный свод поголубел
И вновь подернулся сияньем...

И все опять зазеленело,
Все обратилося к весне...
И эта греза снилась мне,
Пока мне птичка ваша пела.

<1863>

* * *

Утихла биза... Легче дышит
Лазурный сонм женевских вод —
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой,
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было...

11 октября 1864

* * *

Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней —
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет ее очей.

Земное ль в ней очарованье,
Иль неземная благодать?
Душа хотела б ей молиться,
А сердце рвется обожать...

3 ноября 1864

* * *

О, этот Юг, о, эта Ницца!..
О, как их блеск меня тревожит!
Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...
Нет ни полета, ни размаху —
Висят поломанные крылья,
И вся она, прижавшись к праху,
Дрожит от боли и бессилья...

21 ноября 1864

* * *

Весь день она лежала в забытьи,
И всю ее уж тени покрывали.
Лил теплый летний дождь — его струи
    По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она,
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу...

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила
(Я был при ней, убитый, но живой):
    «О, как все это я любила!»

. . . .

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось!
О господи!.. и это *пережить...*
И сердце на клочки не разорвалось...

<Октябрь — декабрь 1864>

* * *

Как хорошо ты, о море ночное,—
Здесь лучезарно, там сизо-темно...
В лунном сиянии, словно живое,
Ходит, и дышит, и блещет оно...

На бесконечном, на вольном просторе
Блеск и движение, грохот и гром...
Тусклым сияньем облитое море,
Как хорошо ты в безлюдье ночном!

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,
Чей это праздник так празднуешь ты?
Волны несутся, гремя и сверкая,
Чуткие звезды глядят с высоты.

В этом волнении, в этом сиянье,
Весь, как во сне, я потерян стою —
О, как охотно бы в их обаянье
Всю потопил бы я душу свою...

<Январь> 1865

* * *

Когда на то нет божьего согласья,
Как ни страдай она, любя,—
Душа, увы, не выстрадает счастья,
Но может выстрадать себя...

Душа, душа, которая всецело
Одной заветной отдалась любви
И ей одной дышала и болела,
Господь тебя благослови!

Он милосердый, всемогущий,
Он, греющий своим лучом
И пышный цвет, на воздухе цветущий,
И чистый перл на дне морском.

11 января 1865

* * *

Есть и в моем страдальческом застое
Часы и дни ужаснее других...
Их тяжкий гнет, их бремя роковое
Не выскажет, не выдержит мой стих.

Вдруг все замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и темно,
Минувшее не веет легкой тенью,
И под землей, как труп, лежит оно.

Ах, и над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
Не знающий, не помнящий о ней.

И я один, с моей тупой тоскою,
Хочу сознать себя и не могу—
Разбитый челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу.

О, господи, дай жгучего страданья
И мертвенность души моей рассей:
Ты взял *ее,* но муку вспоминанья,
Живую муку мне оставь по ней,—

По ней, по ней, свой подвиг совершившей
Весь до конца в отчаянной борьбе,
Так пламенно, так горячо любившей
Наперекор и людям и судьбе,—

По ней, по ней, судьбы не одолевшей,
Но и себя не давшей победить,
По ней, по ней, так до конца умевшей
Страдать, молиться, верить и любить.

<Конец> марта 1865

* * *

Est in arundineis modulatio musica ripis[1]

Певучесть есть в морских волнах,
Гармония в стихийных спорах,
И стройный мусикийский шорох
Струится в зыбких камышах.

Невозмутимый строй во всем,
Созвучье полное в природе,—
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем.

Откуда, как разлад возник?
И отчего же в общем хоре
Душа не то поет, что море,
И ропщет мыслящий тростник?

И от земли до крайних звезд
Все безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянной протест?

11 мая 1865

---

[1] Есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках *(лат.).*

ДРУГУ МОЕМУ Я. П. ПОЛОНСКОМУ

Нет боле искр живых на голос твой приветный —
Во мне глухая ночь, и нет для ней утра...
И скоро улетит — во мраке незаметный —
Последний, скудный дым с потухшего костра.

30 мая 1865

* * *

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

И вот уж год, без жалоб, без упреку,
Утратив все, приветствую судьбу...
Быть до конца так страшно одиноку,
Как буду одинок в своем гробу.

15 июля 1865

* * *

Молчит сомнительно Восток,
Повсюду чуткое молчанье...
Что это? Сон иль ожиданье,
И близок день или далек?
Чуть-чуть белеет темя гор,
Еще в тумане лес и долы,
Спят города и дремлют селы,
Но к небу подымите взор...

Смотрите: полоса видна,
И, словно скрытной страстью рдея,
Она все ярче, все живее —
Вся разгорается она —

Еще минута, и во всей
Неизмеримости эфирной
Раздастся благовест всемирный
Победных солнечных лучей.

<25 или 29> июля 1865

НАКАНУНЕ ГОДОВЩИНЫ 4 АВГУСТА 1864 г.

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня...
Тяжело мне, замирают ноги...
Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
Улетел последний отблеск дня...
Вот тот мир, где жили мы с тобою,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
Завтра память рокового дня...
Ангел мой, где б души ни витали,
Ангел мой, ты видишь ли меня?

3 августа 1865

* * *

Как неожиданно и ярко,
На влажной неба синеве,
Воздушная воздвиглась арка
В своем минутном торжестве!
Один конец в леса вонзила,
Другим за облака ушла —
Она полнеба обхватила
И в высоте изнемогла.

О, в этом радужном виденье
Какая нега для очей!
Оно дано нам на мгновенье,
Лови его — лови скорей!

Смотри — оно уж побледнело,
Еще минута, две — и что ж?
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь.

5 августа 1865

* * *

Ночное небо так угрюмо,
Заволокло со всех сторон.
То не угроза и не дума,
То вялый, безотрадный сон.
Одни зарницы огневые,
Воспламеняясь чередой,
Как демоны глухонемые,
Ведут беседу меж собой.

Как по условленному знаку,
Вдруг неба вспыхнет полоса,
И быстро выступят из мраку
Поля и дальние леса.
И вот опять все потемнело,
Все стихло в чуткой темноте —
Как бы таинственное дело
Решалось там — на высоте.

18 августа 1865

* * *

Нет дня, чтобы душа не ныла,
Не изнывала б о былом,
Искала слов, не находила,
И сохла, сохла с каждым днем,—

Как тот, кто жгучею тоскою
Томился по краю родном
И вдруг узнал бы, что волною
Он схоронен на дне морском.

23 ноября 1865

* * *

Как ни бесилося злоречье,
Как ни трудилося над ней,
Но этих глаз чистосердечье —
Оно всех демонов сильней.

Все в ней так искренно и мило,
Так все движенья хороши;
Ничто лазури не смутило
Ее безоблачной души.

К ней и пылинка не пристала
От глупых сплетней, злых речей;
И даже клевета не смяла
Воздушный шелк ее кудрей.

21 декабря 1865

* * *

Тихо в озере струится
Отблеск кровель золотых,
Много в озеро глядится
Достославностей былых.
Жизнь играет, солнце греет,
Но под нею и под ним
Здесь былое чудно веет
Обаянием своим.

Солнце светит золотое,
Блещут озера струи...
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи;
Дремлет сладко, беззаботно,
Не смущая дивных снов
И тревогой мимолетной
Лебединых голосов...

<Июль> 1866

* * *

Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,–

Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;

От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;

От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;

Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,–
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

<1–3> сентября 1866

* * *

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

28 ноября 1866

* * *

Как ни тяжел последний час —
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья,—
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...

14 октября 1867

* * *

Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.

Нет искр в небесной синеве,
Все стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.

Во сне ль все это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?

Июнь 1868

ПОЖАРЫ

Широко, необозримо,
Грозной тучею сплошной,
Дым за дымом, бездна дыма
Тяготеет над землей.

Мертвый стелется кустарник,
Травы тлятся, не горят,
И сквозит на крае неба
Обожженных елей ряд.

На пожарище печальном
Нет ни искры, дым один,—
Где ж огонь, злой истребитель,
Полномочный властелин?

Лишь украдкой, лишь местами,
Словно красный зверь какой,
Пробираясь меж кустами,
Пробежит огонь живой!

Но когда наступит сумрак,
Дым сольется с темнотой,
Он потешными огнями
Весь осветит лагерь свой.

Пред стихийной вражьей силой
Молча, руки опустя,
Человек стоит уныло,
Беспомóщное дитя.

16 июля 1868

* * *

В небе тают облака,
И, лучистая на зное,
В искрах катится река,
Словно зеркало стальное...

Час от часу жар сильней,
Тень ушла к немым дубровам,
И с белеющих полей
Веет запахом медовым.

Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

2 августа 1868

МОТИВ ГЕЙНЕ

Если смерть есть ночь, если жизнь есть день –
Ах, умаял он, пестрый день, меня!.
И сгущается надо мною тень,
Ко сну клонится голова моя...

Обессиленный, отдаюсь ему...
Но все грезится сквозь немую тьму –
Где-то там, над ней, ясный день блестит
И незримый хор о любви гремит...

<1868 или начало 1869>

* * *

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется –
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

27 февраля 1869

* * *

Две силы есть – две роковые силы,
Всю жизнь свою у них мы под рукой,
От колыбельных дней и до могилы, –
Одна есть Смерть, другая – Суд людской.

И та и тот равно неотразимы,
И безответственны и тот и та,
Пощады нет, протесты нетерпимы,
Их приговор смыкает всем уста...

Но Смерть честней – чужда лицеприятью,
Не тронута ничем, не смущена,
Смиренную иль ропщущую братью –
Своей косой равняет всех она.

Свет не таков: борьбы, разноголосья –
Ревнивый властелин – не терпит он,
Не косит сплошь, но лучшие колосья
Нередко с корнем вырывает вон.

И горе ей — увы, двойное горе,—
Той гордой силе, гордо-молодой,
Вступающей с решимостью во взоре,
С улыбкой на устах — в неравный бой.

Когда она, при роковом сознанье
Всех прав своих, с отвагой красоты,
Бестрепетно, в каком-то обаянье
Идет сама навстречу клеветы,

Личиною чела не прикрывает,
И не дает принизиться челу,
И с кудрей молодых, как пыль, свевает
Угрозы, брань и страстную хулу,—

Да, горе ей — и чем простосердечней,
Тем кажется виновнее она...
Таков уж свет: он там бесчеловечней,
Где человечно-искренней вина.

Март 1869

* * *

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Август 1869

* * *

Как нас ни угнетай разлука,
Но покоряемся мы ей —
Для сердца есть другая мука,
Невыносимей и больней.

Пора разлуки миновала,
И от нее в руках у нас
Одно осталось покрывало,
Полупрозрачное для глаз.

И знаем мы: под этой дымкой
Все то, по чем душа болит,
Какой-то странной невидимкой
От нас таится — и молчит.

Где цель подобных искушений?
Душа невольно смущена,
И в колесе недоумений
Вертится нехотя она.

Пора разлуки миновала,
И мы не смеем, в добрый час,
Задеть и сдернуть покрывало,
Столь ненавистное для нас!

14 октября 1869

Ю. Ф. АБАЗЕ

Так — гармонических орудий
Власть беспредельна над душой,
И любят все живые люди
Язык их темный, но родной.

В них что-то стонет, что-то бьется,
Как в узах заключенный дух,
На волю просится, и рвется,
И хочет высказаться вслух...

Не то совсем при вашем пенье,
Не то мы чувствуем в себе:
Тут полнота освобожденья,
Конец и плену и борьбе...

Из тяжкой вырвавшись юдоли
И все оковы разреша,
На всей своей ликует воле
Освобожденная душа...

По всемогущему призыву
Свет отделяется от тьмы,
И мы не звуки — *душу живу,*
В них вашу душу слышим мы.

22 декабря 1869

К. Б.

Я встретил вас — и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло...

Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенется в нас, —

Так, весь обвеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,
С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты...

Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, —
И вот — слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

26 июля 1870

* * *

Брат, столько лет сопутствовавший мне,
И ты ушел, куда мы все идем,
И я теперь на голой вышине
Стою один, — и пусто все кругом.

И долго ли стоять тут одному?
День, год-другой — и пусто будет там,
Где я теперь, смотря в ночную тьму
И — что со мной, не сознавая сам...

Бесследно все — и так легко не быть!
При мне иль без меня — что нужды в том?
Все будет то ж — и вьюга так же выть,
И тот же мрак, и та же степь кругом.

Дни сочтены, утрат не перечесть,
Живая жизнь давно уж позади,
Передового нет, и я, как есть,
На роковой стою очереди.

11 декабря 1870

* * *

От жизни той, что бушевала здесь,
От крови той, что здесь рекой лилась,
Что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана, видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,
Раскинувшись и широко и смело.
Красуются, шумят, — и нет им дела,
Чей прах, чью память роют корни их.

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

17 августа 1871

* * *

Все отнял у меня казнящий бог:
    Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил он,
    Чтоб я ему еще молиться мог.

1873

II

НА НОВЫЙ 1816 ГОД

Уже великое небесное светило,
Лиюще с высоты обилие и свет,
Начертанным путем годичный круг свершило
И в ново поприще в величии грядет! —
И се! Одеянный блистательной зарею,
Пронзив эфирных стран белеющийся свод,
    Слетает с урной роковою
    Младый сын Солнца — Новый год!..

Предшественник его с лица земли сокрылся,
И по течению вратящихся времен,
Как капля в океан, он в вечность погрузился!
Сей год равно пройдет!.. Устав небес священ...
О Время! Вечности подвижное зерцало! —
Все рушится, падет под дланию твоей!..
    Сокрыт предел твой и начало
    От слабых смертного очей!..

Века рождаются и исчезают снова,
Одно столетие стирается другим;
Что может избежать от гнева Крона злого?
Что может устоять пред грозным богом сим?
Пустынный ветр свистит в руинах Вавилона!
Стадятся звери там, где процветал Мемфис!
    И вкруг развалин Илиона
    Колючи терны обвились!..

А ты, сын роскоши! о смертный
                                        сладострастный,
Беспечна жизнь твоя средь праздности и нег
Спокойно катится!.. Но ты забыл, несчастный:
Мы все должны узреть Коцита грозный брег!..
Возвышенный твой сан, льстецы твои и злато
От смерти не спасут! Ужель ты не видал,
    Сколь часто гром огнекрылатый
    Разит чело высоких скал?..

И ты еще дерзнул своей рукою жадной
Отъять насущный хлеб у вдов и у сирот;
Изгнать из родины семейство безотрадно!..
Слепец! стезя богатств к погибели ведет!..
Разверзлась пред тобой подземная обитель!
О жертва Тартара! о жертва Евменид,
    Блеск пышности твоей, грабитель!
    Богинь сих грозных не пленит!..

Там вечно будешь зреть секиру изощренну,
На тонком волоске висящу над главой;
Покроет плоть твою, всю в язвах изможденну,
Не ткани пурпурны — червей кипящий рой!..
Возложишь не на одр растерзанные члены,
Где б неге льстил твоей приятный мягкий пух,
    Но нет — на жупел раскаленный, —
    И вечный вопль пронзит твой слух!

Но что? сей страшный сонм! сии кровавы тени
С улыбкой злобною, они к тебе спешат!..
Они прияли смерть от варварских гонений!
От них и ожидай за варварство наград! —
Страдай, томись, злодей, ты жертва адской
                                        мести! —
Твой гроб забвенный здесь покрыла мурава! —
    И навсегда со гласом лести
    Умолкла о тебе молва!

<Конец 1815 — начало 1816>

ДВУМ ДРУЗЬЯМ

В сей день, блаженный день, одна из вас прияла
И добродетели и имя девы той,
        Котора споборала
        Религии святой;
Другой же бытие Природа даровала.

Она обеих вас на то произвела,
        Чтоб ваши чувства и дела
        Взаимно счастье составляли
И полу нежному пример бы подавали.

Разлука угнетает вас,
О верные друзья! Настанет вскоре час —
Приятный, сладостный, блаженный час
свиданья.
И в излиянии сердец
Вы узрите ее конец
И позабудете минувшие страданья!..

4 декабря 1816

* * *

Пускай от зависти сердца зоилов ноют.
Вольтер! Они тебе вреда не нанесут...
Питомца своего Пиериды покроют
И *Дивного* во храм бессмертья проведут!

8 мая 1818

ПОСЛАНИЕ ГОРАЦИЯ К МЕЦЕНАТУ, В КОТОРОМ ПРИГЛАШАЕТ ЕГО К СЕЛЬСКОМУ ОБЕДУ

Приди, желанный гость, краса моя и радость!
Приди,— тебя здесь ждет и кубок круговой,
И розовый венок, и песней нежных сладость!
Возженны не льстеца рукой,
Душистый анемон и крины
Лиют на брашны аромат,
И полные плодов корзины
Твой вкус и зренье усладят.
Приди, муж правоты, народа покровитель,
Отчизны верный сын и строгий друг царев,
Питомец счастливый кастальских чистых дев,
Приди в мою смиренную обитель!
Пусть велелепные столпы,
Громады храмин позлащенны
Прельщают алчный взор несмысленной толпы:

Оставь на время град, в заботах погруженный,
Склонись под тень дубрав; здесь ждет тебя
покой.
Под кровом сельского Пената,
Где все красуется, все дышит простотой,
Где чужд холодный блеск и пурпура и злата,–
Там сладок кубок круговой!
Чело, наморщенное думой,
Теряет здесь свой вид угрюмый;
В обители отцов все льет отраду нам!
Уже небесный лев тяжелою стопою
В пределах зноя стал – и пламенной стезею
Течет по светлым небесам!..
В священной рощице Сильвана,
Где мгла таинственна с прохладою слиянна,
Где брезжит сквозь листов дрожащий, тихий
свет
Игривый ручеек едва-едва течет
И шепчет в сумраке с прибрежной осокою;
Здесь в знойные часы, пред рощею густою,
Спит стадо и пастух под сению прохлад,
И в розовых кустах зефиры легки спят.
А ты, Фемиды жрец, защитник беззащитных,
Проводишь дни свои под бременем забот;
И счастье сограждан – благий, достойный плод
Твоих стараний неусыпных! –
Для них желал бы ты познать судьбы предел;
Но строгий властелин земли, небес и ада
Глубокой, вечной тьмой грядущее одел.
Благоговейте, персти чада! –
Как! прах земной объять небесное посмеет?
Дерзнет ли разорвать таинственный покров?
Быстрейший самый ум, смутясь, оцепенеет,
И буйный сей мудрец – посмешище богов! –
Мы можем, странствуя в тернистой сей
пустыне,
Сорвать один цветок, ловить летящий миг;
Грядущее не нам – судьбине;
Так предадим его на произвол благих! –
Что время? Быстрый ток, который в долах мирных,
В брегах, украшенных обильной муравой,
Катит кристалл валов сапфирных;
И по сребру зыбей свет солнца золотой
Играет и скользит; но час – и бурный вскоре,

Забыв свои брега, забыв свой мирный ход,
Теряется в обширном море,
В безбрежной пустоте необозримых вод!
Но час — и вдруг нависших бурь громады
Извергли дождь из черных недр;
Поток возвысился, ревет, расторг преграды,
И роет волны ярый ветр!..
Блажен, стократ блажен, кто может в умиленье,
Воззревши на Вождя светил,
Текущего почить в Нептуновы владенья,
Кто может, радостный, сказать себе: *я жил!*
Пусть завтра тучею свинцовой
Всесильный бог громов вкруг ризою багровой
Эфир сгущенный облечет,
Иль снова в небесах рассыплет солнца свет,—
Для смертных все равно; и что крылаты годы
С печального лица земли
В хранилище времен с собою увлекли,
Не пременит того и сам Отец природы.
Сей мир — игралище Фортуны злой.
Она кичливый взор на шар земной бросает
И всей вселенной потрясает
По прихоти слепой!..
Неверная, меня сегодня осенила;
Богатства, почести обильно мне лиет,
Но завтра вдруг простерла крыла,
К другим склоняет свой полет!
Я презрен — не ропщу,— и, горестный свидетель
И жертва роковой игры,
Ей отдаю ее дары
И облекаюсь в добродетель!..
Пусть бурями увитый Нот
Пучины сланые крутит и воздымает,
И черные холмы морских кипящих вод
С громовой тучею сливает,
И бренных кораблей
Рвет снасти, все крушит в свирепости своей...
Отчизны мирныя покрытый небесами,
Не буду я богов обременять мольбами;
Но дружба и любовь, среди житейских волн,
Безбедно приведут в пристанище мой челн.

<1819>

* * *

Всесилен я и вместе слаб,
Властитель я и вместе раб,
Добро иль зло творю — о том не рассуждаю,
Я много отдаю, но мало получаю,
И в имя же свое собой повелеваю,
И если бить хочу кого,
То бью себя я самого.

<Вторая половина 10-х гг.>

УРАНИЯ

Открылось! — Не мечта ль? Свет новый!
Нова сила
Мой дух восторженный, как пламень, облекла!
Кто, отроку, мне дал парение орла! —
Се муз бесценный дар — се вдохновенья
крыла!
Несусь, — и дольный мир исчез передо мной, —
Сей мир, туманною и тесной
Волнений и сует обвитый пеленой, —
Исчез! — Как солнца луч златой,
Коснулся вежд эфир небесный...
И свеял прах земной...
Я зрю превыспренних селения чудесны...
Отсель — отверзшимся таинственным вратам —
Благоволением судьбины
Текут к нам дщери Мнемозины,
Честь, радость и краса народам и векам!..

Безбрежное море лежит под стопами,
И в светлой лазури спокойных валов
С горящими небо пылает звездами,
Как в чистом сердце — лик богов;
Как тихий трепет — ожиданье;
Окрест священное молчанье.

И се! Как луна из-за облак, встает
Урании остров из сребряной пены;
Разлился вокруг немерцающий свет,
Богинь улыбкою рожденный...
Несутся свыше звуки лир;
В очарованьях тонет мир!..

Эфирного тени сложив покрывала
И пояс волшебный всесильных харит,
Здесь образ *Урания* свой восприяла,
И звездный венец на богине горит!
Что нас на земле *мечтою* пленяло,
Как *Истина,* то нам и здесь предстоит!

Токмо здесь под ясным небосклоном
Прояснится жизни мрачный ток;
Токмо здесь, забытый Аквилоном,
Льется он, и светел и глубок!
Токмо здесь прекрасен жизни гений,
Здесь, где вечны розы чистых наслаждений,
Вечно юн Поэзии венок!..

Как Фарос для душ и умов освященных,
Высоко воздвигнут *Небесныя* храм;—
И *Мудрость* приветствует горним плененных
Вкусить от трапезы питательной там.
Окрест благодатной в зарях златоцветных,
На тронах высоких, в сиянье богов,
Сидят велелепно спасители смертных,
Создатели блага, устройства, градов;
Се *Мир* вечно-юный, златыми цепями
Связавший семейства, народы, царей;
Суд правый с недвижными вечно весами;
Страх божий, хранитель святых алтарей;
И ты, *Благосердие,* скорби отрада!
Ты, *Верность,* на якорь склоненна челом,
Любовь ко отчизне—отчизны ограда,
И хладная *Доблесть* с горящим мечом;
Ты, с светлыми вечно очами, *Терпенье,*
И *Труд,* неуклонный твой врач и клеврет...
Так вышние силы свой держат совет!..

Средь них, вкруг них в святом благоговенье
Свершает по холмам облаковидных гор
    В кругах таинственных теченье
    Наук и знаний светлый хор...
Урания одна, как солнце меж звездами,
Хранит Гармонию и правит их путями:
По манию ее могущего жезла
Из края в край течет благое просвещенье;

Где прежде мрачна ночь была,
Там светозарна дня явленье;
Как звезд река, по небосклону вкруг
Простершися, оно вселенну обнимает
И блага жизни изливает
На Запад, на Восток, на Север и на Юг...
Откройся предо мной, протекших лет вселенна!
Урания, вещай, где первый был твой храм,
Твой трон и твой народ, учитель всем векам? —
Восток таинственный! — Чреда твоя
свершенна!..
Твой ранний день протек! Из ближних Солнце
врат
Рожденья своего обителью надменно
Исходит и течет, царь томный и сомненный...
Где Вавилоны здесь, где Фивы? — где мой
град?
Где славный Персеполь? — где Мемнон, мой
глашатай?
Их нет! — Лучи его теряются в степях,
Где скорбно встретит их ловец или оратай,
Бесплодно роющий во пламенных песках;
Или, стыдливые, скользят они печально
По мшистым ребрам пирамид...
Сокройся, бренного величья мрачный вид!..
И солнце в путь стремится дальный:
Эгея на брегах приветственной главой
К нему склонился лавр; и на холмах Эллады
Его алтарь обвил зеленый мирт Паллады;
Его во гимнах звал Певец к себе слепой,
Кони и всадники, вожди и колесницы,
Оставивших Олимп собрание богов;
Удары гибельны Ареевой десницы,
И сладки песни пастухов; —
Рим встал, — и Марсов гром и песни
сладкогласны
Стократ на Тибровых раздалися холмах;
И лебедь Мантуи, взрыв Трои пепл
злосчастный,
Вознесся и разлил свет вечный на морях!..
Но что сретает взор? — Куда, куда ты
скрылась,
Небесная! — Бежит, как бледный в мгле
призрак,

Денница света закатилась,
Везде хаос и мрак!
«Нет! вечен свет наук; его не обнимает
Бунтующая мгла; его нетленен плод
И не умрет!..» —
Рекла *Урания* и скиптром помавает,
И бледную, изъязвленну главу
Италия от склеп железных свобождает,
Рвет узы лютых змей, на выю ставши льву!..
Всего начало здесь!.. Земля благословенна,
Долины, недра гор, источники, леса
И ты, Везувий сам! ты, бездна раскаленна,
Природы грозныя ужасная краса!
Все возвратили вы, что в ярости несытой!
Неистовый Сатурн укрыть от нас хотел!
Эллады, Рима цвет из пепела исшел!
И солнце потекло вновь в путь свой даровитый!..
Феррарскому Орлу ни грозных боев ряд,
Ни чарования, ни прелести томимы,
Ни полчищ тысячи, ни злобствующий ад
Превыспренних путей нигде не воспретят:
На пламенных крылах принес он в храм
Солимы
Победу и венец; —
Там нимфы Тага, там валы Гвадалквивира
Во сретенье текут тебе, младой Певец,
Принесший песни к нам с брегов другого
мира; —
Но кто сии два гения стоят?
Как светоносны серафимы,
Хранители Эдемских врат
И тайн жрецы непостижимых? —
Един с Британских вод, другой с Альпийских гор,
Друг другу подают чудотворящи длани;
Земного чуждые, возносят к небу взор
В огне божественных мечтаний!..
Почто горит лицо морских пучин?
Куда восторженны бегут Тамизы воды?
Что в трепете святом вы, Альпы, Апеннин!..
Благоговей, земля! Склоните слух, народы!
Певцы бессмертные вещают бога вам:
Един, как громов сын, гремит средь вас
паденье;
Другой, как благодать, благовестит спасенье
И путь, ведущий к небесам.

И се! среди снегов Полуночи глубокой,
Под блеском хладных зорь, под свистом
льдистых вьюг,
Восстал от Холмогор,— как сильный кедр,
высокой,
Встает, возносится и все объемлет вкруг
Своими крепкими ветвями;
Подъемлясь к облакам, глава его блестит
Бессмертными плодами.
И тамо, где металл блистательный сокрыт,
Там роет землю он глубокими корнями,—
Так Росский Пиндар встал! — взнес руку
к небесам,
Да воспретит пылающим громам;
Минервы копием бьет недра он земные —
И истекли сокровища златые;
Он повелительный простер на море взор —
И свет его горит, как Поллюкс и Кастор!..

Певец, на гроб *отца, царя-героя,*
Он лавры свежие склонил
И дни бесценные блаженства и покоя
Елизаветы озарил!

Тогда, разлившись, свет от северных сияний
Дал отблеск на крутых Аракса берегах;
И гении туда простерли взор и длани,
И Фивы новые зарделися в лучах...
Там, там, в стране денницы,
Возник *Певец Фелицы*!..

Таинственник судеб пророк
Царя-героя в колыбели...
Он с нами днесь! *Он* с неба к нам притек,
Соборы гениев с *ним* царственных слетели;
Престол *его* обстали вкруг;
Над *ним* почиет божий дух!
И музы радостно воспели
Тебя, о царь сердец, на троне Человек!

Твоей всесильною рукою
Закрылись Януса врата!
Ты оградил нас тишиною,
Ты слава наша, красота!
Смиренно к *твоему* склоняяся престолу,
Перуны спят горé и долу.

И здесь, где все — от благости *твоей,*
    Здесь паки гений просвещенья,
    Блистая светом обновленья,
    Блажит своих веселье дней! —
    Здесь клятвы он дает священны,
    Что, постоянный, неизменный,
    В своей блестящей высоте,
Монарха следуя заветам и примеру,
    Взнесется, опершись на Веру,
    К своей божественной мете.

<Не позднее июня 1820>

* * *

Неверные преодолев пучины,
Достиг пловец желанных берегов;
И в пристани, окончив бег пустынный,
С веселостью знакомится он вновь!..
Ужель тогда челнок свой многомощный,
Восторженный, цветами не увьет?..
Под блеском их и зеленью роскошной
Следов не скроет мрачных бурь и вод?..

И ты рассек с отважностью и славой
Моря обширные своим рулем,—
И днесь, о друг, спокойно, величаво
Влетаешь в пристань с верным торжеством.
Скорей на брег — и дружеству на лоно
Склони, певец, склони главу свою —
Да ветвию от древа Аполлона
    Его питомца я увью!..

14 сентября 1820

К ОДЕ ПУШКИНА НА ВОЛЬНОСТЬ

Огнем свободы пламенея
И заглушая звук цепей,
Проснулся в лире дух Алцея —
И рабства пыль слетела с ней.
От лиры искры побежали
И вседробящею струей,
Как пламень божий, ниспадали
На чела бледные царей.

Счастлив, кто гласом твердым, смелым,
Забыв их сан, забыв их трон,
Вещать тиранам закоснелым
Святые истины рожден!
И ты великим сим уделом,
О муз питомец, награжден!

Воспой и силой сладкогласья
Разнежь, растрогай, преврати
Друзей холодных самовластья
В друзей добра и красоты!
Но граждан не смущай покою
И блеска не мрачи венца,
Певец! Под царскою парчою
Своей волшебною струною
Смягчай, а не тревожь сердца!

<1820>

ХАРОН И КАЧЕНОВСКИЙ

<Отрывок>

Харон

Неужто, брат, из царства ты живых —
Но ты так сух и тощ. Ей-ей, готов божиться
Что дух нечистый твой давно в аду томится!

Каченовский

Так, друг Харон. Я сух и тощ от книг...
Притом (что долее таиться?)
Я полон желчи был — отмстителен и зол,
Всю жизнь свою я пробыл спичкой...

<1820>

ВЕСНА

(Посвящается друзьям)

Любовь земли и прелесть года,
Весна благоухает нам! —
Творенью пир дает природа,
Свиданья пир дает сынам!..

Дух жизни, силы и свободы
Возносит, обвевает нас!..
И радость в душу пролилась,
Как отзыв торжества природы,
Как бога животворный глас!..

Где вы, Гармонии сыны?..
Сюда!.. и смелыми перстами
Коснитесь дремлющей струны,
Нагретой яркими лучами
Любви восторга и весны!..

Как в полном, пламенном расцвете,
При первом утра юном свете,
Блистают розы и горят;
Как зефир в радостном полете
Их разливает аромат,—

Так, разливайся, жизни сладость,
Певцы!.. за вами по следам!..
Так по́рхай наша, други, младость
По светлым счастия цветам!..
Вам, вам сей бедный дар признательной любви,
Цветок простой, не благовонный,

Но вы, наставники мои,
Вы примете его с улыбкой благосклонной.
Так слабое дитя, любви своей в залог,
Приносит матери на лоно
В лугу им сорванный цветок!..

<1821—1822>

А. Н. М<УРАВЬЕВУ>

Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок всё опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников — их обнажил;
Ту жизнь до дна он иссушил,
Что в дерево вливала душу,
Давала тело бестелесным!..

Где вы, о древние народы!
Ваш мир был храмом всех богов,
Вы книгу Матери-природы
Читали ясно, без очков!..
Нет, мы не древние народы!
Наш век, о други, не таков.

О раб ученой суеты
И скованный своей наукой!
Напрасно, критик, гонишь ты
Их златокрылые мечты;
Поверь — сам опыт в том порукой,—
Чертог волшебный добрых фей
И в сновиденье — веселей,
Чем наяву — томиться скукой
В убогой хижине твоей!..

13 декабря 1821

ОДИНОЧЕСТВО

<Из Ламартина>

Как часто, бросив взор с утесистой вершины,
Сажусь задумчивый в тени древес густой,
И развиваются передо мной
Разнообразные вечерние картины!
Здесь пенится река, долины красота,
И тщетно в мрачну даль за ней стремится око;
Там дремлющая зыбь лазурного пруда
Светлеет в тишине глубокой.
По темной зелени дерев
Зари последний луч еще приметно бродит,
Луна медлительно с полуночи восходит
На колеснице облаков,
И с колокольни одинокой
Разнесся благовест протяжный и глухой;
Прохожий слушает,—и колокол далекий
С последним шумом дня сливает голос свой.
Прекрасен мир! Но восхищенью
В иссохшем сердце места нет!..
По чуждой мне земле скитаюсь сирой тенью,
И мертвого согреть бессилен солнца свет.
С холма на холм скользит мой взор унылый
И гаснет медленно в ужасной пустоте;
Но, ах, где встречу то, что б взор остановило?
И счастья нет, при всей природы красоте!..
И вы, мои поля, и рощи, и долины,
Вы мертвы! И от вас дух жизни улетел!
И что мне в вас теперь, бездушные картины!.
Нет в мире одного — и мир весь опустел!
Встает ли день, нощные ль сходят тени,
И мрак и свет противны мне...
Моя судьба не знает изменений —
И горесть вечная в душевной глубине!
Но долго ль страннику томиться в заточенье?
Когда на лучший мир покину дольний прах,
Тот мир, где нет сирот, где вере исполненье,
Где солнцы истины в нетленных небесах?..
Тогда, быть может, прояснится
Надежд таинственных спасительный предмет,
К чему душа и здесь еще стремится,
И токмо там, в отчизне, обоймет...

Как светло сонмы звезд пылают надо мною,
Живые мысли божества!
Какая ночь сгустилась над землею,
И как земля, в виду небес, мертва!..
Встают гроза и вихрь и лист крутят пустынный!
И мне, и мне, как мертвому листу,
Пора из жизненной долины,—
Умчите ж, бурные, умчите сироту!..

<Между 1820 и маем 1822>

ГЕКТОР И АНДРОМАХА

(Из Шиллера)

Андромаха

Снова ль, Гектор, мчишься в бурю брани,
Где с булатом в неприступной длани
Мстительный свирепствует Пелид?..
Кто же призрит Гекторова сына,
Кто научит долгу властелина,
Страх к богам в младенце поселит?..

Гектор

Мне ль томиться в тягостном покое?..
Сердце жаждет прохлажденья в бое,
Мести жаждет за Пергам!..
Древняя отцов моих обитель!
Я паду!.. но, родины спаситель,
Сниду весел к Стиксовым брегам...

Андромаха

Суждено ль мне в сих чертогах славы
Видеть меч твой праздный и заржавый?—
Осужден ли весь Приамов род?..
Скоро там, где нет любви и света,—
Там, где льется сумрачная Лета,
Скоро в ней любовь твоя умрет!..

Гектор

Все души надежды, все порывы,—
Все поглотят воды молчаливы,—
Но не Гектора любовь!..

Слышишь?.. Мчатся... Пламя пышет боя!..
Час ударил!.. Сын, супруга, Троя!..
Бесконечна Гектора любовь!..

<Не позднее июня 1822>

* * *

На камень жизни роковой
Природою заброшен,
Младенец пылкий и живой
Играл — неосторожен,
Но Муза сирого взяла
Под свой покров надежный,
Поэзии разостлала
Ковер под ним роскошный.
Как скоро Музы под крылом
Его созрели годы —
Поэт, избытком чувств влеком,
Предстал во храм Свободы,—
Но мрачных жертв не приносил,
Служа ее кумиру,—
Он горсть цветов ей посвятил
И пламенную лиру.
Еще другое божество
Он чтил в младые лета —
Амур резвился вкруг него
И дани брал с поэта.
Ему на память стрелку дал,
И в сладкие досуги
Он ею повесть начертал
Орфеевой супруги.
И в мире сем, как в царстве снов,
Поэт живет, мечтая,—
Он так достиг земных венцов
И так достигнет рая...
Ум скор и сметлив, верен глаз,
Воображенье — быстро...
А спорил в жизни только раз —
На *диспуте магистра.*

<1822>

* * *

«Не дай нам духу празднословья!»
Итак, от нынешнего дня
Ты в силу нашего условья
Молитв не требуй от меня.

<Начало 20-х гг.>

ПРОТИВНИКАМ ВИНА

(Яко и вино веселит сердце человека)

1

О, суд людей неправый,
Что пьянствовать грешно!
Велит рассудок здравый
Любить и пить вино.

2

Проклятие и горе
На спорщиков главу!
Я помощь в важном споре
Святую призову.

3

Наш прадед, обольщенный
Женою и змием,
Плод скушал запрещенный
И прогнан поделом.

4

Ну как не согласиться,
Что дед был виноват:
Чем яблоком прельститься,
Имея виноград?

5

Но честь и слава Ною,—
Он вел себя умно,
Рассорился с водою
И взялся за вино.

6

Ни ссоры, ни упреку
Не нажил за бокал.
И часто гроздий соку
В него он подливал.

7

Благие покушенья
Сам бог благословил —
И в знак благоволенья
Завет с ним заключил.

8

Вдруг с кубком не слюбился
Один из сыновей.
О, изверг! Ной вступился,
И в ад попал злодей.

9

Так станемте ж запоем
Из набожности пить,
Чтоб в божье вместе с Ноем
Святилище вступить.

<Начало 20-х гг.>

ПОСЛАНИЕ К А. В. ШЕРЕМЕТЕВУ

Насилу добрый гений твой,
Мой брат по крови и по лени,
Увел тебя под кров родной
От всех маневров и учений,
Казарм, тревог и заточений,
От жизни мирно-боевой.

В кругу своих, в халате, дома,
И с службой согласив покой,
Ты праздный меч повесил свой
В саду героя-агронома.
Но что ж? Ты мог ли на просторе
Мечте любимой изменить?
Ты знаешь, друг, что праздность – горе,
Коль не с кем нам ее делить.
Прими ж мой дружеский совет
(Оракул говорил стихами
И убеждал, бывало, свет):
Между московскими красами
Найти легко, сомненья нет,
Красавицу в пятнадцать лет,
С умом, душою и душами.
Оставь на время плут Толстого,
Забудь химеры и чины,
Женись и в полном смысле слова
Будь адъютант своей жены.
Тогда предамся вдохновенью,
Разбудит Музу Гименей,
Своей пожертвую я ленью,
Лишь ты свою преодолей!

Январь 1823

ПЕСНЬ РАДОСТИ

(Из Шиллера)

Радость, первенец творенья,
Дщерь великого Отца,
Мы, как жертву прославленья,
Предаем тебе сердца!
Все, что делит прихоть света,
Твой алтарь сближает вновь,
И душа, тобой согрета,
Пьет в лучах твоих любовь!

Хор

В круг единый, божьи чада!
Ваш отец глядит на вас!

Свят его призывный глас,
И верна его награда!

Кто небес провидел сладость,
Кто любил на сей земли,
В милом взоре черпал радость,—
Радость нашу раздели.
Все, чье сердце сердцу друга
В братской вторило груди;
Кто ж не мог любить — из круга
Прочь с слезами отойди!..

Хор

Душ родство! о, луч небесный!
Вседержащее звено!
К небесам ведет оно,
Где витает *Неизвестный!*

У грудей благой природы
Все, что дышит, Радость пьет!
Все созданья, все народы
За собой она влечет;
Нам друзей дала в несчастье —
Гроздий сок, венки харит,
Насекомым — сладострастье,
Ангел — богу предстоит.

Хор

Что, сердца, благовестите?
Иль творец сказался вам?
Здесь лишь тени — солнце там,—
Выше звезд его ищите!..

Душу божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
В солнцы — хаос развила
И в пространствах — звездочету
Неподвластных — разлила!

Хор

Как миры катятся следом
За вседвижущим перстом,
К нашей цели потечем —
Бодро, как герой к победам!

В ярком истины зерцале
Образ *твой* очам блестит;
В горьком опыта фиале
Твой алмаз на дне горит.
Ты, как облак прохлажденья,
Нам предходишь средь трудов,
Светишь утром возрожденья
Сквозь расселины гробов!

Хор

Верьте правящей деснице! —
Наши скорби, слезы, вздох
В ней хранятся как залог
И искупятся сторицей!

Кто постигнет провиденье?
Кто явит стези его?
В сердце сыщем откровенье,
Сердце скажет божество!
Прочь вражда с земного круга!
Породнись душа с душой!
Жертвой мести — купим друга,
Пурпур — вретища ценой.

Хор

Мы врагам своим простили,
В книге жизни нет долгов;
Там, в святилище миров,
Судит *бог*, как *мы* судили!..

Радость грозды наливает,
Радость кубки пламенит,

Сердце дикого смягчает,
Грудь отчаянья живит!
В искрах к небу брызжет пена,
Сердце чувствует полней;
Други, братья,— на колена!
Всеблагому кубок сей!..

Хор

Ты, чья мысль духов родила,
Ты, чей взор миры зажег!
Пьем тебе, великий бог!
Жизнь миров и душ светило!

Слабым — братскую услугу,
Добрым — братскую любовь,
Верность клятв — врагу и другу,
Долгу в дань — всю сердца кровь!
Гражданина голос смелый
На совет к земным богам;
Торжествуй святое дело —
Вечный стыд его врагам.

Хор

Нашу длань к твоей, отец,
Простираем в бесконечность!
Нашим клятвам даруй вечность,
Наши клятвы — гимн сердец!

Февраль 1823

СЛЕЗЫ

O lacrimarum fons...[1]
Gray

Люблю, друзья, ласкать очами
Иль пурпур искрометных вин,
Или плодов между листами
Благоухающий рубин.

---

[1] О источник слез... *(лат.).*

Люблю смотреть, когда созданье
Как бы погружено в весне,
И мир заснул в благоуханье
И улыбается во сне!..

Люблю, когда лицо прекрасной
Весенний воздух пламенит,
То кудрей шелк взвевает сладострастный,
То в ямочки впивается ланит!

Но что все прелести пафосския царицы,
И гроздий сок, и запах роз
Перед тобой, святой источник слез,
Роса божественной денницы!..

Небесный луч играет в них
И, преломясь о капли огневые,
Рисует радуги живые
На тучах жизни громовых.

И только смертного зениц
Ты, ангел слез, дотронешься крылами —
Туман рассеется слезами
И небо серафимских лиц
Вдруг разовьется пред очами.

21 июля 1823

ДРУЗЬЯМ ПРИ ПОСЫЛКЕ «ПЕСНИ РАДОСТИ» — ИЗ ШИЛЛЕРА

Что пел божественный, друзья,
В порыве пламенном свободы
И в полном чувстве Бытия,
Когда на пиршество Природы
Певец, любимый сын ея,
Сзывал в единый круг народы;

И с восхищенною душей,
Во взорах — луч животворящий,
Из чаши Гения кипящей
Он пил за здравие людей; —

И мне ли петь сей гимн веселый,
От близких сердцу вдалеке,
В неразделяемой тоске, —
Мне ль Радость петь на лире онемелой?
Веселье в ней не сыщет звука,
Его игривая струна
Слезами скорби смочена, —
И порвала ее Разлука!

Но вам, друзья, знакомо вдохновенье!
На краткий миг в сердечном упоенье
Я жребий свой невольно забывал
(Минутное, но сладкое забвенье!),
К протекшему душою улетал
И Радость пел — пока о вас мечтал.

<1823 или 1824>

С ЧУЖОЙ СТОРОНЫ

(Из Гейне)

На севере мрачном, на дикой скале
Кедр одинокий под снегом белеет,
И сладко заснул он в инистой мгле,
И сон его вьюга лелеет.

Про юную пальму все снится ему,
Что в дальных пределах Востока,
Под пламенным небом, на знойном холму
Стоит и цветет, одинока...

<1823 или 1824>

* * *

(Из Гейне)

Друг, откройся предо мною —
Ты не призрак ли какой,
Как выводит их порою
Мозг поэта огневой!..

Нет, не верю: этих щечек,
Этих глазок милый свет,
Этот ангельский роточек —
Не создаст сего поэт.

Василиски и вампиры,
Конь крылат и змий зубаст —
Вот мечты его кумиры,
Их творить поэт горазд.

Но тебя, твой стан эфирный,
Сих ланит волшебный цвет,
Этот взор лукаво-смирный —
Не создаст сего поэт.

<Между 1823 и 1830>

К НИСЕ

Ниса, Ниса, бог с тобою!
Ты презрела дружний глас,
Ты поклонников толпою
Оградилася от нас.

Равнодушно и беспечно,
Легковерное дитя,
Нашу дань любви сердечной
Ты отвергнула шутя.

Нашу верность променяла
На неверный блеск, пустой,—
Наших чувств тебе, знать, мало,—
Ниса, Ниса, бог с тобой!

<Не позднее осени 1825>

ПЕСНЬ СКАНДИНАВСКИХ ВОИНОВ

<Из Гердера>

Хладен, светел,
День проснулся —
Ранний петел
  Встрепенулся,—
Дружина, воспрянь!
Вставайте, о други!
  Бодрей, бодрей
  На пир мечей,
    На брань!..

Пред нами наш вождь!
Мужайтесь, о други,
И вслед за могучим
  Ударим грозой!..
  Вихрем помчимся
  Сквозь тучи и гром
  К солнцу победы
  Вслед за орлом!...

Где битва мрачнее, воители чаще,
Где срослися щиты, где сплелися мечи,
Туда он ударит — перун вседробящий —
И след огнезвездный и кровью горящий
Пророет дружине в железной ночи.
За ним, за ним — в ряды врагов,
  Смелей, друзья, за ним!..
Как груды скал, как море льдов —
  Прорвем их и стесним!..

Хладен, светел,
День проснулся —
Ранний петел
Встрепенулся,—
Дружина, воспрянь!...

Не кубок кипящий душистого меда
Румяное утро героям вручит;
Не сладостных жен любовь и беседа
Вам душу согреет и жизнь оживит;
Но вас, обновленных прохладою сна,—
Кровавыя битвы подымет волна!..

Дружина, воспрянь!..
Смерть иль победа!..
На брань!..

<Не позднее осени 1825>

В АЛЬБОМ ДРУЗЬЯМ

(Из Байрона)

Как медлит путника вниманье
На хладных камнях гробовых,
Так привлечет друзей моих
Руки знакомой начертанье!..

Чрез много, много лет оно
Напомнит им о прежнем друге:
«Его уж нету в вашем круге;
Но сердце здесь погребено!..»

<Не позднее середины 1826>

САКОНТАЛА

(Из Гете)

Что юный год дает цветам —
Их девственный румянец;
Что зрелый год дает плодам —
Их царственный багрянец;
Что нежит взор и веселит,
Как перл, в морях цветущий;
Что греет душу и живит,
Как нектар всемогущий:
Весь цвет сокровищниц мечты,
Весь полный цвет творенья,
И, словом, небо красоты
В лучах воображенья, —
Все, всё Поэзия слила
В тебе одной — *Саконтала́.*

<Не позднее середины 1826>

14-ое ДЕКАБРЯ 1825

Вас развратило Самовластье,
И меч его вас поразил,—
И в неподкупном беспристрастье
Сей приговор Закон скрепил.
Народ, чуждаясь вероломства,
Поносит ваши имена—
И ваша память от потомства,
Как труп в земле, схоронена.

О жертвы мысли безрассудной,
Вы уповали, может быть,
Что станет вашей крови скудной,
Чтоб вечный полюс растопить!
Едва, дымясь, она сверкнула
На вековой громаде льдов,
Зима железная дохнула,—
И не осталось и следов.

<1826, не ранее августа>

* * *

(Из Гейне)

Как порою светлый месяц
Выплывает из-за туч,—
Так, один, в ночи былого
Светит мне отрадный луч.

Все на палубе сидели,
Вдоль по Реину неслись,
Зеленеющие бреги
Перед нами раздались.

И у ног прелестной дамы
Я в раздумии сидел,
И на милом, бледном лике
Тихий вечер пламенел.

Дети пели, в бубны били,
Шуму не было конца,

И лазурней стало небо,
И просторнее сердца.

Сновиденьем пролетали
Горы, замки на горах —
И светились, отражаясь,
В милых спутницы очах.

*<Не ранее 1827
и не позднее 1829>*

ПРИВЕТСТВИЕ ДУХА

(Из Гете)

На старой башне, у реки,
Дух рыцаря стоит
И, лишь завидит челноки,
Приветом их дарит:

«Кипела кровь и в сей груди,
Кулак был из свинца,
И богатырский мозг в кости,
И кубок до конца!

Пробушевал полжизни я,
Другую проволок:
А ты плыви, плыви, ладья,
Куда несет поток!»

*<Не ранее 1827
и не позднее 1829>*

* * *

(Из Гейне)

Закралась в сердце грусть,— и смутно
Я вспомянул о старине:
Тогда все было так уютно
И люди жили как во сне.

А нынче мир весь как распался;
Все кверху дном, все сбились с ног,—
Господь-бог на небе скончался
И в аде сатана издох.

Живут как нехотя на свете,
Везде брюзга, везде раскол,—
Не будь крохи любви в предмете,
Давно б из мира вон ушел.

<Между 1826 и 1830>

ВОПРОСЫ

(Из Гейне)

Над морем, диким полуночным морем
    Муж-юноша стоит —
В груди тоска, в уме сомненья —
И, сумрачный, он вопрошает волны:
«О, разрешите мне загадку жизни,
Мучительно-старинную загадку,
Над коей сотни, тысячи голов —
В египетских, халдейских шапках,
Гиероглифами ушитых,
В чалмах, и митрах, и скуфьях,
И с париками и обритых —
Тьмы бедных человеческих голов
Кружилися, и сохли, и потели,—
Скажите мне, что значит человек?
    Откуда он, куда идет,
И кто живет над звездным сводом?»
По-прежнему шумят и ропщут волны,
    И дует ветр, и гонит тучи,
    И звезды светят холодно и ясно,—
    Глупец стоит — и ждет ответа!

<Между 1827 и 1830>

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

(Из Гейне)

Надежда и любовь — все, все погибло!..
И сам я, бледный, обнаженный труп,
Изверженный сердитым морем,
Лежу на берегу,
На диком, голом берегу!..
Передо мной — пустыня водяная,
За мной лежат и горе и беда,
А надо мной бредут лениво тучи,
Уродливые дщери неба!
Они в туманные сосуды
Морскую черпают волну,
И с ношей вдаль, усталые, влекутся,
И снова выливают в море!..
Нерадостный и бесконечный труд!
И суетный, как жизнь моя!..
    Волна шумит, морская птица стонет!
Минувшее повеяло мне в душу —
Былые сны, потухшие виденья
Мучительно-отрадные встают!
    Живет на севере жена!
Прелестный образ, царственно-прекрасный!
Ее, как пальма, стройный стан
Обхвачен белой сладострастной тканью;
Кудрей роскошных темная волна,
Как ночь богов блаженных, льется
С увенчанной косами головы
И в легких кольцах тихо веет
Вкруг бледного, умильного лица,
И из умильно-бледного лица
Отверсто-пламенное око
Как черное сияет солнце!..
    О черно-пламенное солнце,
О, сколько, сколько раз в лучах твоих
Я пил восторга дикий пламень,
И пил, и млел, и трепетал, —
И с кротостью небесно-голубиной
Твои уста улыбка обвевала,
И гордо-милые уста
Дышали тихими, как лунный свет, речами
И сладкими, как запах роз...

И дух во мне, оживши, воскрылялся
И к солнцу, как орел, парил!..
    Молчите, птицы, не шумите, волны,
Все, все погибло — счастье и надежда,
Надежда и любовь!.. Я здесь один,—
На дикий брег заброшенный грозою,
Лежу простерт — и рдеющим лицом
Сырой песок морской пучины рою!

<Между 1827 и 1830>

* * *

<Из «Вильгельма Мейстера» Гете>

I

Кто с хлебом слез своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями.

Они нас в бытие манят —
Заводят слабость в преступленья
И после муками казнят:
Нет на земли проступка без отмщенья!

II

Кто хочет миру чуждым быть,
Тот скоро будет чужд,—
Ах, людям есть кого любить,
Что им до наших нужд!

    Так! что вам до меня?
    Что вам беда моя?
    Она лишь про меня,—
    С ней не расстанусь я!

Как крадется к милой любовник тайком:
«Откликнись, друг милый, одна ль?»
    Так бродит ночию и днем
    Кругом меня тоска,
    Кругом меня печаль!..

Ах, разве лишь в гробу
От них укрыться мне —
В гробу, в земле сырой —
Там бросят и оне!

<Между 1827 и 1830>

* * *

(Из Гетева «Западо-Восточного дивана»)

Запад, Норд и Юг в крушенье,
Троны, царства в разрушенье,—
На Восток укройся дальный
Воздух пить патриархальный!..
В играх, песнях, пированье
Обнови существованье!..

Там проникну, в сокровенных,
До истоков потаенных
Первородных поколений,
Гласу божиих велений
Непосредственно внимавших
И ума не надрывавших,

Память праотцев святивших,
Иноземию противших,
Где во всем хранилась мера,
Мысль — тесна, пространна вера,
Слово — в силе и почтенье,
Как живое откровенье!..

То у пастырей под кущей,
То в оазисе цветущей
С караваном отдохну я,
Ароматами торгуя:
Из пустыни в поселенья
Исслежу все направленья.

Песни Гафица святые
Усладят стези крутые:
Их вожатый голосистый,
Распевая в тверди чистой,

В позднем небе звезды будит
И шаги верблюдов нудит.

То упьюся в банях ленью,
Верен Гафица ученью:
Дева-друг фату бросает,
Амвру с кудрей отрясает,—
И поэта сладкопевность
В девах райских будет ревность!..

И сие высокомерье
Не вменяйте в суеверье;
Знайте: все слова поэта
Легким роем, жадным света,
У дверей стучатся рая,
Дар бессмертья вымоляя!

<Между 1827 и 1830>

БАЙРОН

(Отрывок <Из Цедлица>)

1

Войди со мной — пуста сия обитель,
Сего жилища одичали боги,
Давно остыл алтарь их — и без смены
На страже здесь молчанье. На пороге
Не встретит нас с приветствием служитель,
На голос наш откликнутся лишь стены.
Зачем, о сын Камены
Любимейший,— ты, наделенный даром
Неугасимо-пламенного слова,
Зачем бежал ты собственного крова,
Зачем ты изменил отцовским ларам?
Ах, и куда, безвременно почивший,
Умчал тебя сей вихрь, тебя носивший!..

2

Так некогда здесь был жилец могучий,
Здесь песнями дышал он — и дыханье
Не ветерка в черемухе душистой
Казалося игривое журчанье,—

Нет, песнь его грозней гремящей тучи,
Как божий гнев, то мрачный, то огнистый,
   Неслась по тверди мглистой,—
Вдруг над зеленой нивой или садом
Невыцветшим заклепы расторгала
И мрак, и лед, и пламень извергала,
Огнем палила, бороздила градом,—
Местами лишь, где туча разрывалась,
Лазурь небес прелестно улыбалась!

3

Духов, гласят, неистовое пенье
Внимающих безумьем поражало,—
Так и его, как неземная сила,
Все пропасти душевные взрывало,
На самом дне будило преступленье,
Дыханье замирало, сердце ныло;
   И нечто грудь теснило,
Как бы кругом воздушный слой, редея,
Земную кровь сосал из нашей жилы,
И нам, в борьбе, недоставало силы
Стряхнуть с себя господство чародея,
Пока он сам, как бы для посмеянья,
Своим жезлом не рушил обаянья!

4

И мудрено ль, что память о высоком
Невольной грустью душу осенила!..
Не лебедем ты создан был судьбою,
Купающим в волне румяной крыла,
Когда закат пылает над потоком
И он плывет, любуясь сам собою,
   Между двойной зарею,—
Ты был орел — и со скалы родимой,
Где свил гнездо — и в нем, как в колыбели,
Тебя качали бури и метели,
Во глубь небес нырял, неутомимый,
Над морем и землей парил высоко,
Но трупов лишь твое искало око!..

5

Злосчастный дух! Как в зареве пожара
Твое кроваво-тусклое зерцало,
Блестящее в роскошном, свежем цвете,
И мир и жизнь так дико отражало!..
С печатью на челе святого дара
И скиптром власти в неземном совете
Любил ты в мутном свете
Земную жизнь виденьями тревожить!..
В тебе самом, как бы в иносказанье,
Для нас воскресло грозное преданье,—
Но распознать наш взор тебя не может—
Титан ли ты, чье сердце снедью врана,
Иль сам ты вран, терзающий титана!..

6

Своих отцов покинул он обитель,
Где тени их скитаются безмолвны,
Где милые осталися залоги,—
И как весь день метет крылами волны
Морская птица, скал пустынных житель,—
Так и ему по жизненной дороге
Пройти судили боги,
Нигде не встретив мирной, светлой кущи!—
И тщетно он, в борьбе с людьми, с собою,
Рвался схватить земное счастье с бою.
Над ним был Рок, враждебный, всемогущий!
Всходил за ним на снежные вершины,
Спускался в дол, переплывал пучины!..

7

То мчится бард, беглец родного края,
На встречу солнца, по стихии бурной,
Где Лиссабон, на жарком небе рдея,
Златым венцом объял залив лазурный,—
Там, где земля горит, благоухая,
И где плоды, на пыльных ветвях зрея,
Душистей и свежее,—
Тебя потом он огласил приветом,
Страна любви, геройства, приключений,

Где и поднесь их сладкопевный гений
Как бы волшебным обвевает светом
Узорчатой Альгамбры колоннады
Иль рощи благовонные Гренады!

8

То совершитель тризны благочестной,
Теней погибших окруженный роем,
Равнину ту обходит он с тоскою,
Где жребий мира выпал славным боем,
Где был судим сей страшный суд железный!..
Сия земля, клейменная судьбою,
  Под чуткою стопою
Дрожит еще невольно и поныне,
Как тундра крови,— здесь, в мученьях
страшных,
Притоптаны ряды сердец отважных,
И слоем лег их пепел по равнине,—
Враждебные, они затихли вместе,
Те с жаждою, те в упоенье мести!..

9

Но дале бард — и видит пред собою
Гроздоносящий вечно-юный Реин,—
И там и сям, на выси виноградной
Мелькает замок, и поднесь обвеян
Волшебной былью, мглисто-золотою!..
И вот, вдали, сияющий и хладный,
  Возник титан громадный —
Швейцария!.. Там мир как за оградой;
Звучит рожок, поют вольней потоки,
В горах, как в чаше, озера глубоки,
Свет на холмах, в долинах тень с прохладой
И надо всем вершины ледяные,
То бледные, то огненно-живые!..

10

Потом с высот, где, разлучаясь, воды
В широкие, полдневные равнины,
Как бы на пир, стремят свое теченье,

Отколь не раз, как льдистые лавины,
Полночные срывалися народы,—
В Италию, родимое владенье,
Он сводит вдохновенье —
Небесный дух сей край чудес обходит,
Высокий лавр и темный мирт колышет,
Под сводами чертогов светлых дышит,
С цветущих персей запах роз уводит
И шевелит прозрачной пеленою
Над дремлющей в руинах стариною!..

11

Но на Восток цветущий и пустынный
Влекло певца всесильное пристрастье,
В любимый край его воображенья!..
Сей мир насильства, лени, сладострастья
Он зрел еще перед его кончиной —
Где обнялись в роскошном запустенье
И жизнь и разрушенье
И дружески цвели в вечернем свете
Вершины гор, где жил разбой веселый,
Там, за скалой, пирата парус белый,
Здесь рог луны, горящий на мечети,
И чистые остатки Парфенона
На девственном румянце небосклона.

12

Но ты расторг союз сего творенья,
Дух вольности, бессмертная стихия!
И бой вспылал Отчаяния с Силой!..
Кровь полилась, как воды ключевые,
В ночи земля пила их без зазренья,
Лишь зарево, как светоч над могилой,
Горé над ней светило,—
И скоро ли — то провиденье знает —
Взойдет заря и бурный мрак развеет!..
Но юный день с любовью да светлеет
На месте том, где дух певца витает,
Где в сумраке болезненной надежды
Сомкнула смерть его земные вежды!..

13

Певец угас пред жертвенником брани!..
Но песнь его нигде не умолкала,—
Хоть из груди, истерзанной страстями,
Она нередко кровью вытекала,
Волшебный жезл не выпадал из длани,
Но двигал он лишь адскими властями!..
    В распре с небесами
Высокая божественность мученья
Была ему загадкою враждебной —
И, упиваясь чашею врачебной,
Отравы жаждал он, не исцеленья,—
Вперенные в подземный ужас очи
Он отвращал от звездной славы ночи!..

14

Таков он был, могучий, величавый,
Восторженный хулитель мирозданья!..
Но зависти ль удел его достоин?..
Родительским добром существованья
Он приобрел даруемое славой!
Но был ли он, сим демоном присвоен,
    Иль счастлив, иль спокоен?
Сиянье звезд, денницы луч веселый
Души его, где вихри бушевали,
Лишь изредка угрюмость провевали.
Он стихнул днесь, вулкан перегорелый.
И позднее бессмертия светило
С ночных небес глядит в него уныло...

<Между 1828 и 1830>

ОЛЕГОВ ЩИТ

1

«Аллах! пролей на нас твой свет!
Краса и сила правоверных!
Гроза гяуров лицемерных!
   Пророк твой – Магомет!..»

2

«О наша крепость и оплот!
Великий бог! веди нас ныне,
Как некогда ты вел в пустыне
   Свой избранный народ!..»

Глухая полночь! Все молчит!
Вдруг... из-за туч луна блеснула –
И над воротами Стамбула
   Олегов озарила щит.

<Не позднее первой половины 1829; начало 50-х гг.>

* * *

<Из Мандзони>

Высокого предчувствия
Порывы и томленье,
Души, господства жаждущей,
Кипящее стремленье
И замыслов событие
Несбыточных, как сон,–

Все испытал он! – счастие,
Победу, заточенье,
И все судьбы пристрастие,
И все ожесточенье! –
Два раза брошен был во прах
И два раза на трон!..

Явился: два столетия
В борении жестоком,
Его узрев, смирились вдруг,
Как пред всесильным роком.
Он повелел умолкнуть им
И сел меж них судьей!

Исчез — и в ссылке довершил
Свой век неимоверный —
Предмет безмерной зависти
И жалости безмерной,
Предмет вражды неистовой,
Преданности слепой!..

Как над главою тонущих
Растет громадой пенной
Сперва игравший ими вал —
И берег вожделенный
Вотще очам трепещущим
Казавший свысока, —

Так память над душой его,
Скопившись, тяготела!..
Как часто высказать себя
Душа сия хотела,
И, обомлев, на лист начатый
Вдруг падала рука!

Как часто пред кончиной дня —
Дня безотрадной муки, —
Потупив молнии очей,
Крестом сложивши руки,
Стоял он — и минувшее
Овладевало им!..

Он зрел в уме: подвижные
Шатры, равнины боев,
Рядов пехоты длинный блеск,
Потоки конных строев —
Железный мир и дышащий
Велением одним!..

О, под толиким бременем
В нем сердце истомилось
И дух упал... Но сильная
К нему рука спустилась —
И к небу, милосердая,
Его приподняла!..

<Конец 20-х гг.>

* * *

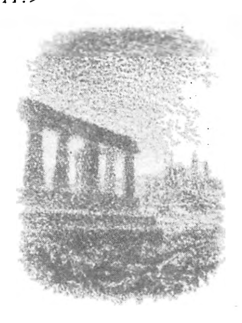
<Из «Федры» Расина>

Едва мы вышли из Трезенских врат,
Он сел на колесницу, окруженный
Своею, как он сам, безмолвной стражей.
Микенскою дорогой ехал он,
Отдав коням в раздумии бразды.
Сии живые, пламенные кони,
Столь гордые в обычном их пылу,
Днесь, с головой поникшей, мрачны, тихи,
Казалося, согласовались с ним.
Вдруг из морских пучин исшедший крик
Смутил кругом воздушное молчанье,
И в ту ж минуту страшный некий голос
Из-под земли ответствует стенаньем.
В груди у всех оледенела кровь,
И дыбом стала чутких тварей грива.
Но вот, белея над равниной влажной,
Подъялся вал, как снежная гора,—
Возрос, приблизился, о брег расшибся
И выкинул чудовищного зверя.
Чело его ополчено рогами,
Хребет покрыт желтистой чешуей.
Ужасный вол, неистовый дракон,
В бесчисленных изгибах вышел он.
Брег, зыблясь, стонет от его рыканья;
День, негодуя, светит на него,
Земля подвиглась; вал, его извергший,
Как бы объятый страхом, хлынул вспять.
Все скрылося, ища спасенья в бегстве,—
Лишь Ипполит, героя истый сын,
Лишь Ипполит, боязни недоступный,

Остановил коней, схватил копье
И, меткою направив сталь рукою,
Глубокой язвой зверя поразил.
Взревело чудо, боль копья почуя,
Беснуясь, пало под ноги коням
И, роя землю, из кровавой пасти
Их обдало и смрадом и огнем!
Страх обуял коней — они помчались,
Не слушаясь ни гласа, ни вожжей,—
Напрасно с ними борется возница,
Они летят, багря удила пеной:
Бог некий, говорят, своим трезубцем
Их подстрекал в дымящиеся бедра...
Летят по камням, дебрям... ось трещит
И лопнула... Бесстрашный Ипполит
С изломанной, разбитой колесницы
На землю пал, опутанный вожжами,—
Прости слезам моим!.. сей вид плачевный
Бессмертных слез причиной будет мне!
Я зрел, увы! как сына твоего
Влекли, в крови, им вскормленные кони!
Он кличет их... но их пугает клик —
Бегут, летят с истерзанным возницей.
За ним вослед стремлюся я со стражей,—
Кровь свежая стезю нам указует.
На камнях кровь... на терниях колючих
Клоки волос кровавые повисли...
Наш дикий вопль равнину оглашает!
Но наконец неистовых коней
Смирился пыл... они остановились
Вблизи тех мест, где прадедов твоих
Прах царственный в гробах почиет древних!..
Я прибежал, зову... с усильем тяжким
Он, вежды приподняв, мне подал руку:
«Всевышних власть мой век во цвете губит.
Друг, не оставь Ариции моей!
Когда ж настанет день, что мой родитель,
Рассеяв мрак ужасной клеветы,
В невинности сыновней убедится,
О, в утешенье сетующей тени,
Да облегчит он узнице своей
Удел ее!.. Да возвратит он ей...»

При сих словах героя жизнь угасла,
И на руках моих, его державших,
Остался труп, свирепо искаженный,
Как знаменье богов ужасной кары,
Не распознаемый и для отцовских глаз!

<Конец 20-х гг.>



* * *

<Из «Путевых картин» Гейне>

«Прекрасный будет день»,— сказал товарищ,
Взглянув на небо из окна повозки.—
Так, день прекрасный будет,— повторило
За ним мое молящееся сердце
И вздрогнуло от грусти и блаженства!..
Прекрасный будет день! Свободы солнце
Живей и жарче будет греть, чем ныне
Аристократия светил ночных!
И расцветет счастливейшее племя,
Зачатое в объятьях произвольных,—
Не на одре железном принужденья,
Под строгим, под таможенным надзором
Духовных приставов,— и в сих душах
Вольнорожденных вспыхнет смело
Чистейший огнь идей и чувствований —
Для нас, рабов природных, непостижный!

Ах, и для них равно непостижима
Та будет ночь, в которой их отцы
Всю жизнь насквозь томились безотрадно
И бой вели отчаянный, жестокий,
Противу гнусных сов и ларв подземных,
Чудовищных Ерева порождений!..

Злосчастные бойцы, все силы духа,
Всю сердца кровь в бою мы истощили —
И бледных, преждевременно одряхших,
Нас озарит победы поздний день!..
Младого солнца свежее бессмертье
Не оживит сердец изнеможенных,
Ланит потухших снова не зажжет!
Мы скроемся пред ним, как бледный месяц!

Так думал я и вышел из повозки
И с утренней усердною молитвой
Ступил на прах, бессмертьем освященный!..

Как под высоким триумфальным сводом
Громадных облаков всходило солнце,
Победоносно, смело и светло,
Прекрасный день природе возвещая.
Но мне при виде сем так грустно было,
Как месяцу, еще заметной тенью
Бледневшему на небе.—Бедный месяц!
В глухую полночь, одиноко, сиро,
Он совершил свой горемычный путь,
Когда весь мир дремал — и пировали
Одни лишь совы, призраки, разбой;
И днесь пред юным днем, грядущим в славе,
С звучащими веселием лучами
И пурпурной разлитою зарей,
Он прочь бежит... еще одно воззренье
На пышное всемирное светило —
И легким паром с неба улетит.

Не знаю я и не ищу предвидеть,
Что мне готовит Муза! Лавр поэта
Почтит иль нет мой памятник надгробный?
Поэзия душе моей была
Младенчески-божественной игрушкой —
И суд чужой меня тревожил мало.
Но меч, друзья, на гроб мой положите!
Я воин был! я ратник был свободы
И верою и правдой ей служил
Всю жизнь мою в ее священной брани!

<1830>

* * *

<Из «Эрнани» В. Гюго>

Великий Карл, прости! — Великий,
незабвенный,
Не сим бы голосом тревожить эти стены —
И твой бессмертный прах смущать, о исполин,
Жужжанием страстей, живущих миг один!
Сей европейский мир, руки твоей созданье,
Как он велик, сей мир! Какое обладанье!..
С двумя избранными вождями над собой —
И весь багрянородный сонм — под их стопой!..
Все прочие державы, власти и владенья —
Дары наследия, случайности рожденья, —
Но папу, кесаря сам бог земле дает,
И промысл через них нас случаем блюдет.
Так соглашает он устройство и свободу!
Вы все, позорищем служащие народу,
Вы, курфюрсты, вы, кардиналы, сейм, синклит, —
Вы все ничто! Господь решит, господь велит!..
Родись в народе мысль, зача́тая веками,
Сперва растет в тени и шевелит сердцами —
Вдруг воплотилася и увлекла народ!..
Князья куют ей цепь и зажимают рот,
Но день ее настал, — и смело, величаво
Она вступила в сейм, явилась средь конклава,
И, с скипетром в руках иль митрой на челе,
Пригнула все главы венчанные к земле...
Так папа с кесарем всесильны — все земное
Лишь ими и чрез них. Как таинство живое
Явило небо их земле, — и целый мир —
Народы и цари — им отдан был на пир!..
Их воля строит мир и зданье замыкает,
Творит и рушит. — Сей решит, тот рассекает.
Сей Истина, тот Сила — в них самих
Верховный их закон, другого нет для них!
Когда из алтаря они исходят оба —
Тот в пурпуре, а сей в одежде белой гроба —
Мир, цепенея, зрит в сиянье торжества
Сию чету, сии две полы божества!
И быть одним из них, одним! О, посрамленье
Не быть им!.. и в груди питать сие стремленье!

О, как, как сча́стлив был почивший в сем гробу
Герой! Какую бог послал ему судьбу!
Какой удел! и что ж? Его сия могила.
Так вот куда идет — увы! — все то, что было
Законодатель, вождь, правитель и герой,
Гигант, все времена превысивший главой!
Как тот, кто в жизни был Европы всей
владыкой,
Чье титло было кесарь, имя Карл Великий,
Из славимых имен славнейшее поднесь,
Велик — велик, как мир,— а все вместилось
здесь!
Ищи ж владычества и взвесь пригоршни пыли
Того, кто все имел, чью власть как божью
чтили.
Наполни грохотом всю землю, строй, возвысь
Свой столп до облаков, все выше, высь на
высь —
Хотя б бессмертных звезд твоя коснулась
слава,
Но вот ее предел!.. О царство, о держава,
О, что вы? все равно — не власти ль жажду я?
Мне тайный глас сулит: твоя она — моя —
О, если бы моя! Свершится ль предвещанье? —
Стоять на высоте и замыкать созданье,
На высоте — один — меж небом и землей
И видеть целый мир в уступах под собой:
Сперва цари, потом — на степенях
различных —
Старейшины домов удельных и владычных,
Там доги, герцоги, церковные князья,
Там рыцарских чинов священная семья,
Там духовенство, рать,— а там, в дали
туманной,
На самом дне — народ, несчетный,
неустанный,
Пучина, вал морской, терзающий свой брег,
Стозвучный гул, крик, вопль, порою горький
смех,
Таинственная жизнь, бессмертное движенье,
Где, что ни брось во глубь, и все они в
броженье —
Зерцало грозное для совести царей,
Жерло, где гибнет трон, всплывает мавзолей!

О, сколько тайн для нас в твоих пределах
темных!
О, сколько царств на дне — как остовы
огромных
Судов, свободную теснивших глубину,
Но ты дохнул на них — и груз пошел ко дну!
И мой весь этот мир, и я схвачу без страха
Мироправленья жезл! Кто я? Исчадье праха!

<1830>

ПЕВЕЦ

(Из Гете)

«Что там за звуки пред крыльцом,
За гласы пред вратами?..
В высоком тереме моем
Раздайся песнь пред нами!..»
Король сказал, и паж бежит,
Вернулся паж, король гласит:
«Скорей впустите старца!..»

«Хвала вам, витязи, и честь,
Вам, дамы, обожанья!..
Как звезды в небе перечесть!
Кто знает их названья!..
Хоть взор манит сей рай чудес,
Закройся взор — не время здесь
Вас праздно тешить, очи!»

Седой певец глаза смежил
И в струны грянул живо —
У смелых взор смелей горит,
У жен — поник стыдливо.
Пленился царь его игрой
И шлет за цепью золотой —
Почтить певца седого!..

«Златой мне цепи не давай,
Награды сей не стою,
Ее ты рыцарям отдай,
Бесстрашным среди бою;

Отдай ее своим дьякам,
Прибавь к их прочим тяготам
Сие златое бремя!..

На божьей воле я пою,
Как птичка в поднебесье,
Не чая мзды за песнь свою —
Мне песнь сама возмездье!..
Просил бы милости одной,
Вели мне кубок золотой
Вином наполнить светлым!»

Он кубок взял и осушил
И слово молвил с жаром:
«Тот дом сам бог благословил,
Где это — скудным даром!..
Свою вам милость он пошли
И вас утешь на сей земли,
Как я утешен вами!..»

<1830>

* * *

За нашим веком мы идем,
Как шла Креуза за Энеем:
Пройдем немного — ослабеем,
Убавим шагу — отстаем.

<Не позднее 1830>

ЗАВЕТНЫЙ КУБОК

(Из Гете)

Был царь, как мало их ныне,—
По смерть он верен был:
От милой, при кончине,
Он кубок получил.

Ценил его высоко
И часто осушал,—
В нем сердце сильно билось,
Лишь кубок в руки брал.

Когда ж сей мир покинуть
Пришел его черед,
Он делит все наследство,—
Но кубка не дает.

И в замок, что над морем,
Друзей своих созвал
И с ними на прощанье,
Там сидя, пировал.

В последний раз упился
Он влагой огневой,
Над бездной наклонился
И в море — кубок свой...

На дно пал кубок морское,—
Он пал, пропал из глаз,
Забилось ретивое,
Царь пил в последний раз!..

<1830>

* * *

<Из «Фауста» Гете>

I

Звучит, как древле, пред тобою
Светило дня в строю планет
И предначертанной стезею,
Гремя, свершает свой полет!
Ему дивятся серафимы,
Но кто досель его постиг?
Как в первый день, непостижимы
Дела, всевышний, рук твоих!

И быстро, с быстротой чудесной,
Кругом вратится шар земной,
Меняя тихий свет небесный
С глубокой ночи темнотой.

Морская хлябь гремит валами
И роет каменный свой брег,
И бездну вод с ее скалами
Земли уносит быстрый бег!

И беспрерывно бури воют,
И землю с края в край метут,
И зыбь гнетут, и воздух роют,
И цепь таинственную вьют.
Вспылал предтеча-истребитель,
Сорвавшись с тучи, грянул гром,
Но мы во свете, вседержитель,
Твой хвалим день и мир поем.
Тебе дивятся серафимы!
Тебе гремит небес хвала!
Как в первый день, непостижимы,
Господь! руки твоей дела!

II

«Кто звал меня?» —
«О страшный вид!» —
«Ты сильным и упрямым чаром
Мой круг волшебный грыз недаром —
И днесь...» —
«Твой взор меня мертвит!» —
«Не ты ль молил, как исступленный,
Да узришь лик и глас услышишь мой?
Склонился я на клич упорный твой
И, се предстал! Какой же страх презренный
Вдруг овладел, титан, твоей душой?..
Та ль эта грудь, чья творческая сила
Мир целый создала, взлелеяла, взрастила
И, в упоении отваги неземной,
С неутомимым напряженьем
До нас, духов, возвыситься рвалась?
Ты ль это, Фауст? И твой ли был то глас,
Теснившийся ко мне с отчаянным моленьем?
Ты, Фауст? Сей бедный, беспомощный прах,
Проникнутый насквозь моим дхновеньем,
Во всех души своей дрожащий глубинах?..» —
«Не удручай сим пламенным презреньем
Главы моей! Не склонишь ты ея!
Так, Фауст я, дух, как ты! твой равный я!..» —

«Событий бурю и вал судеб
Вращаю я,
Воздвигаю я,
Вею здесь, вею там, и высок и глубок!
Смерть и Рождение, Воля и Рок,
Волны в боренье,
Стихии во пренье,
Жизнь в измененье —
Вечный, единый поток!..
Так шумит на стану моем ткань роковая,
И богу прядется риза живая!» —
«Каким сродством неодолимым,
Бессмертный дух! влечешь меня к себе!» —
«Лишь естествам, тобою постижимым,
Подобен ты — не мне!..»

III

Чего вы от меня хотите,
Чего в пыли вы ищете моей,
Святые гласы, там звучите,
Там, где сердца и чище и нежней.
Я слышу весть — но веры нет для ней!
О вера, вера, мать чудес родная,
Дерзну ли взор туда поднять,
Откуда весть летит благая!
Ах, но к нему с младенчества привычный,
Сей звук родимый, звук владычный,—
Он к бытию манит меня опять!
Небес, бывало, лобызанье
Срывалось на меня в воскресной тишине,
Святых колоколов я слышал содроганье
В моей душевной глубине,
И сладостью живой была молитва мне!
Порыв души в союзе с небесами
Меня в леса и долы уводил —
И, обливаясь теплыми слезами,
Я новый мир себе творил.
Про игры юности веселой,
Про светлую весну благовестил сей глас —
Ах, и в торжественный сей час
Воспоминанье их мне душу одолело!
Звучите ж, гласы, вторься, гимн святой!
Слеза бежит! Земля, я снова твой!

IV

Зачем губить в унынии пустом
Сего часа благое достоянье?
Смотри, как хижины с их зеленью кругом
Осыпало вечернее сиянье.
День пережит,— и к небесам иным
Светило дня несет животворенье.
О, где крыло, чтоб взвиться вслед за ним,
Прильнуть к его лучам, следить его теченье?
У ног моих лежит прекрасный мир
И, вечно вечереющий, смеется...
Все выси в зареве, во всех долинах мир,
Сребристый ключ в златые реки льется.
Над цепью диких гор, лесистых стран
Полет богоподобный веет,
И уж вдали открылся и светлеет
С заливами своими океан.
Но светлый бог главу в пучины клонит,
И вдруг крыла таинственная мощь
Вновь ожила и вслед за уходящим гонит,
И вновь душа в потоках света тонет.
Передо мною день, за мною нощь.
В ногах равнина вод, и небо над главою.
Прелестный сон!.. и суетный!.. прости!..
К крылам души, парящим над землею,
Не скоро нам телесные найти.
Но сей порыв, сие и ввыспрь и вдаль
стремленье,
Оно природное внушенье,
У всех людей оно в груди...
И оживает в нас порою,
Когда весной, над нашей головою,
Из облаков песнь жаворонка звенит,
Когда над крутизной лесистой
Орел, ширяяся, парит,
Поверх озер иль степи чистой
Журавль на родину спешит.

V

Державный дух! ты дал мне, дал мне все,
О чем молил я! Не вотще ко мне
Склонил в лучах сияющий свой лик!

Дал всю природу во владенье мне
И вразумил ее любить. Ты дал мне
Не гостем праздно-изумленным быть
На пиршестве у ней, но допустил
Во глубину груди ее проникнуть,
Как в сердце друга! Земнородных строй
Провел передо мной и научил —
В дуброве ль, в воздухе иль в лоне вод —
В них братий познавать и их любить!
Когда ж в бору скрыпит и свищет буря,
Ель-великан дерев соседних с треском
Крушит в паденье ветви, глухо гул
Встает окрест и, зыблясь, стонет холм,
Ты в мирную ведешь меня пещеру,
И самого меня являешь ты
Очам души моей — и мир ее,
Чудесный мир, разоблачаешь мне!
Подымется ль, всеуслаждая, месяц
В сиянье кротком, и ко мне летят
С утеса гор, с увлаженного бора,
Сребристые веков минувших тени
И строгую утеху созерцанья
Таинственным влияньем умиляют!

<Конец 20-х — начало 30-х гг.>

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

(Из Гете)

Вы мне жалки, звезды-горемыки!
Так прекрасны, так светло горите,
Мореходцу светите охотно,
Без возмездья от богов и смертных!
Вы не знаете любви — и ввек не знали!
Неудержно вас уводят Оры
Сквозь ночную беспредельность неба.
О! какой вы путь уже свершили
С той поры, как я в объятьях милой
Вас и полночь сладко забываю!

<Конец 20-х — начало 30-х гг.>

* * *

(Из Шекспира)

I

Любовники, безумцы и поэты
Из одного воображенья слиты!..
Тот зрит бесов, каких и в аде нет
(Безумец то есть); сей, равно безумный,
Любовник страстный видит, очарован,
Елены красоту в цыганке смуглой.
Поэта око, в светлом исступленье,
Круговращаясь, блещет и скользит
На землю с неба, на небо с земли —
И, лишь создаст воображенье виды
Существ неведомых, поэта жезл
Их претворяет в лица и дает
Теням воздушным местность и названье!..

II

ПЕСНЯ

Заревел голодный лев,
И на месяц волк завыл;
День с трудом преодолев,
Бедный пахарь опочил.

Угли гаснут на костре,
Дико филин прокричал
И больному на одре
Скорый саван провещал.

Все кладбища, сей порой,
Из зияющих гробов,
В сумрак месяца сырой
Высылают мертвецов!..

<Конец 20-х — начало 30-х гг.>

* * *

«Все бешеней буря, все злее и злей,
Ты крепче прижмися к груди моей».—
«О милый, милый, небес не гневи,

Ах, время ли думать о грешной любви!» —
«Мне сладок сей бури порывистый глас,
На ложе любви он баюкает нас».—
«О, вспомни про море, про бедных пловцов,
Господь милосердый, будь бедным покров!» —
«Пусть там, на раздолье, гуляет волна,
В сей мирный приют не ворвется она».—
«О милый, умолкни, о милый, молчи,
Ты знаешь, кто на море в этой ночи?!»
И голос стенящий дрожал на устах,
И оба, недвижны, молчали впотьмах.
Гроза приутихла, ветер затих,
Лишь маятник слышен часов стенных,—
Но оба, недвижны, молчали впотьмах,
Над ними лежал таинственный страх...
Вдруг с треском ужасным рассыпался гром
И дрогнул в основах потрясшийся дом.
Вопль детский раздался, отчаян и дик,
И кинулась мать на младенческий крик.
Но в детский покой лишь вбежала она,
Вдруг грянулась об пол, всех чувств лишена.
Под молнийным блеском, раздвинувшим мглу,
Тень мужа над люлькой сидела в углу.

<Между 1831 и апрелем 1836>

* * *

<Из Беранже>

Пришлося кончить жизнь в овраге:
Я слаб и стар — нет сил терпеть!
«Пьет, верно», — скажут о бродяге,—
Лишь бы не вздумали жалеть!
Те, уходя, пожмут плечами,
Те бросят гривну бедняку!
Счастливый путь, друзья! Бог с вами!
Я и без вас мой кончить век могу!

Насилу годы одолели,
Знать, люди с голода не мрут.
Авось,— я думал,— на постели
Они хоть умереть дадут.

Но их больницы и остроги —
Все полно! Силой не войдешь!
Ты вскормлен на большой дороге —
Где жил и рос<?>, старик, там и умрешь.

Я к мастерам ходил сначала,
Хотел кормиться ремеслом.
«С нас и самих работы мало!
Бери суму да бей челом».
К вам, богачи, я потащился,
Грыз кости с вашего стола,
Со псами вашими делился,—
Но я, бедняк, вам не желаю зла.

Я мог бы красть, я — Ир убогой,
Но стыд мне руки оковал;
Лишь иногда большой дорогой
Я дикий плод с дерев сбивал...
За то, что нищ был, между вами
Век осужден на сиротство...
Не раз сидел я за замками,
Но солнца свет — кто продал вам его?

Что мне до вас и вашей славы,
Торговли, вольностей, побед?
Вы все передо мной неправы —
Для нищего отчизны нет!
Когда пришлец вооруженный
Наш пышный город полонил,
Глупец, я плакал, раздраженный,
Я клял врага, а враг меня кормил!

Зачем меня не раздавили,
Как ядовитый гад какой?
Или зачем не научили —
Увы! — полезной быть пчелой!
Из ваших, смертные, объятий
Я был извержен с первых лет,
Я в вас благословил бы братий,—
Днесь при смерти бродяга вас клянет!

<Между 1833 и апрелем 1836>

* * *

(Из Гейне)

В которую из двух влюбиться
Моей судьбой мне суждено?
Прекрасна дочь и мать прекрасна,
Различно милы, но равно.

Неопытно-младые члены
Как сладко ум тревожат мой! —
Но гениальных взоров прелесть
Всесильна над моей душой.

В раздумье, хлопая ушами,
Стою, как Буриданов друг
Меж двух стогов стоял, глазея:
Который лакомей из двух?..

<Между 1834 и апрелем 1836>

К ГАНКЕ

Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам
И подать друг другу руки,
Нашим кровным и друзьям?

Веки мы слепцами были,
И, как жалкие слепцы,
Мы блуждали, мы бродили,
Разбрелись во все концы.

А случалось ли порою
Нам столкнуться как-нибудь, —
Кровь не раз лилась рекою,
Меч терзал родную грудь.

И вражды безумной семя
Плод сторичный принесло:

Не одно погибло племя
Иль в чужбину отошло.

Иноверец, иноземец
Нас раздвинул, разломил:
Тех обезъязычил немец,
Этих — турок осрамил.

Вот среди сей ночи темной,
Здесь, на пражских высотах,
Доблий муж рукою скромной
Засветил маяк впотьмах.

О, какими вдруг лучами
Озарились все края!
Обличилась перед нами
Вся Славянская земля!

Горы, степи и поморья
День чудесный осиял,
От Невы до Черногорья,
От Карпатов за Урал.

Рассветает над Варшавой,
Киев очи отворил,
И с Москвой золотоглавой
Вышеград заговорил!

И наречий братских звуки
Вновь понятны стали нам,—
Наяву увидят внуки
То, что снилося отцам!

<Приписка>

Так взывал я, так гласил я.
Тридцать лет с тех пор ушло —
Все упорнее усилья,
Все назойливее зло.

Ты, стоящий днесь пред богом,
Правды муж, святая тень,

Будь вся жизнь твоя залогом,
Что придет желанный день.

За твое же постоянство
В нескончаемой борьбе
Первый праздник *Всеславянства*
Приношеньем будь тебе!..

26 августа 1841; 1867

ЗНАМЯ И СЛОВО

В кровавую бурю, сквозь бранное пламя,
Предтеча спасенья — русское Знамя
К бессмертной победе тебя провело.
Так диво ль, что в память союза святого
За Знаменем русским и русское Слово
К тебе, как родное к родному, пришло?

25 июня 1842

* * *

Не знаешь, что лестней для мудрости людской:
Иль вавилонский столп немецкого единства,
Или французского бесчинства
Республиканский хитрый строй.

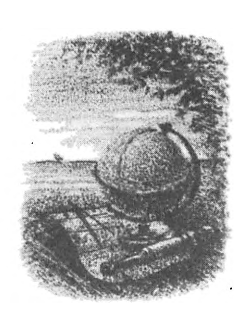
<1848>

РУССКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Москва и град Петров, и Константинов град —
Вот царства русского заветные столицы...
Но где предел ему? и где его границы —
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат...

Семь внутренних морей и семь великих рек...
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек.

<1848 или 1849>



РАССВЕТ

Не в первый раз кричит петух;
Кричит он живо, бодро, смело;
Уж месяц на небе потух,
Струя в Босфоре заалела.

Еще молчат колокола,
А уж восток заря румянит;
Ночь бесконечная прошла,
И скоро светлый день настанет.

Вставай же, Русь! Уж близок час!
Вставай Христовой службы ради!
Уж не пора ль, перекрестясь,
Ударить в колокол в Царьграде?

Раздайся благовестный звон,
И весь Восток им огласися!
Тебя зовет и будит он,—
Вставай, мужайся, ополчися!

В доспехи веры грудь одень,
И с богом, исполин державный!..
О Русь, велик грядущий день,
Вселенский день и православный!

Ноябрь 1849

ПРОРОЧЕСТВО

Не гул молвы прошел в народе,
Весть родилась не в нашем роде —
То древний глас, то свыше глас:
«Четвертый век уж на исходе,—
Свершится он — и грянет час!

И своды древние Софии,
В возобновленной Византии,
Вновь осенят Христов алтарь».
Пади пред ним, о царь России,—
И встань как всеславянский царь!

1 марта 1850

* * *

Уж третий год беснуются язы́ки,
Вот и весна — и с каждою весной,
Как в стае диких птиц перед грозой,
Тревожней шум, разноголосней крики.

В раздумье тяжком князи и владыки
И держат вожжи трепетной рукой,
Подавлен ум зловещею тоской —
Мечты людей, как сны больного, дики.

Но с *нами бог!* Сорвавшися со дна,
Вдруг, одурев, полна грозы и мрака,
Стремглав на нас рванулась глубина,—

Но твоего не помутила зрака!..
Ветр свирепел. Но... «Да не будет тако!» —
Ты рек,— и вспять отхлынула волна.

<Между 1 и 6> марта 1850

* * *

Нет, карлик мой! трус беспримерный!..
Ты, как ни жмися, как ни трусь,
Своей душою маловерной
Не соблазнишь Святую Русь...

Иль, все святые упованья,
Все убежденья потребя,
Она от своего призванья
Вдруг отречется для тебя?..

Иль так ты дорог провиденью,
Так дружен с ним, так заодно,
Что, дорожа твоею ленью,
Вдруг остановится оно?..

Не верь в Святую Русь кто хочет,
Лишь верь она себе самой,—
И бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.

То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей,—

То, что Олеговы дружины
Ходили добывать мечом,
То, что орел Екатерины
Уж прикрывал своим крылом,—

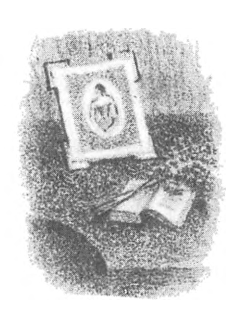
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России —
Нет, вам ее не запрудить!..

Май 1850

* * *

Тогда лишь в полном торжестве
В славянской мировой громаде
Строй вожделенный водворится,
Как с Русью Польша помирится,—
А помирятся ж эти две
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и в Цареграде...

1850



ГРАФИНЕ Е. П. РОСТОПЧИНОЙ

(в ответ на ее письмо)

Как под сугробом снежным лени,
Как околдованный зимой,
Каким-то сном усопшей тени
Я спал, зарытый, но живой!

И вот, я чую, надо мною,
Не наяву и не во сне,
Как бы повеяло весною,
Как бы запело о весне...

Знакомый голос... голос чудный...
То лирный звук, то женский вздох...
Но я, ленивец беспробудный,
Я вдруг откликнуться не мог...

Я спал в оковах тяжкой лени,
Под осьмимесячной зимой,
Как дремлют праведные тени
Во мгле стигийской роковой.

Но этот сон полумогильный
Как надо мной ни тяготел,
Он сам же, чародей всесильный,
Ко мне на помощь подоспел.

Приязни давней выраженья
Их для меня он уловил —
И в музыкальные виденья
Знакомый голос воплотил...

Вот вижу я, как бы сквозь дымки,
Волшебный сад, волшебный дом —
И в замке феи-*Нелюдимки*
Вдруг очутились мы вдвоем!..

Вдвоем! — И песнь ее звучала,
И от заветного крыльца
Гнала и буйного нахала,
Гнала и пошлого льстеца.

1850

ПОМИНКИ

(Из Шиллера)

Пала царственная Троя,
Сокрушен Приамов град,
И ахеяне, устроя
Свой на родину возврат,
На судах своих сидели,
Вдоль эгейских берегов,
И пэан хвалебный пели,
Громко славя всех богов...
«Раздавайся, глас победный!
Вы к брегам родной земли
Окрыляйтесь, корабли,
В путь возвратный,
в путь безбедный!»

И сидели в длинном строе —
Грустно-бледная семья —
Жены, девы падшей Трои,
Голося и слезы лья,
В горе общем и великом
Плача о себе самих,
И с победным, буйным кликом
Дико вопль сливался их...
   «Ждет нас горькая неволя
   Там, вдали, в стране чужой.
   Ты прости, наш край родной!
   Как завидна мертвых доля!»

И воздвигся, жертвы ради,
Приноситель жертв, Калхас,
Градозиждущей Палладе,
Градорушащей молясь,
Посейдона силе грозной,
Опоясавшего мир,
И тебе, эгидоносный
Зевс, сгущающий эфир!
   «Опрокинут, уничтожен
   Град великий Илион!
   Долгий, долгий спор решен,—
   Суд бессмертных непреложен».

Грозных полчищ воевода,
Царь царей, Атреев сын,
Обозрел толпы народа,
Уцелевший строй дружин.
И внезапною тоскою
Омрачился царский взгляд:
Много их пришло под Трою,
Мало их пойдет назад.
   «Так возвысьте ж глас хвалебный!
   Пой и радуйся стократ,
   У кого златой возврат
   Не похитил рок враждебный!»

«Но не всем сужден от бога
Мирный, радостный возврат:
У домашнего порога
Многих Керы сторожат...
Жив и цел вернулся с бою —
Гибнет в храмине своей!..»

Рек Афиной всеблагою
Вдохновенный Одиссей...
«Тот лишь дом и тверд и прочен,
Где семейный свят устав:
Легковерен женский нрав,
И изменчив, и порочен».

И супругой, взятой с бою,
Снова счастливый Атрид,
Пышный стан обвив рукою,
Страстный взор свой веселит.
«Злое злой конец приемлет!
За нечестьем казнь следит —
В небе суд богов не дремлет!
Право царствует Кронид...
Злой конец началу злому!
Правоправящий Кронид
Вероломцу страшно мстит —
И семье его и дому».

«Хорошо любимцам счастья,—
Рек Аякса брат меньшой,—
Олимпийцев самовластье
Величать своей хвалой!..
Неподвластно высшей силе
Счастье в прихотях своих:
Друг Патрокл давно в могиле,
А Терсит еще в живых!..
Счастье жеребии сеет
Своевольною рукой.
Веселись и песни пой
Тот, кого светило греет!

Будь утешен, брат любимый!
Память вечная тебе!..
Ты — оплот несокрушимый
Чад ахейских в их борьбе!..
В день ужасный, в день кровавый
Ты один за всех стоял!
Но не сильный, а лукавый
Мзду великую стяжал...
Не врага рукой победной —
От руки ты пал своей...
Ах, и лучших из людей
Часто губит гнев зловредный!

И твоей теперь державной
Тени, доблестный Пелид,
Сын твой, Пирр, воитель славный,
Возлияние творит...»
«Как тебя, о мой родитель,
Никого,— он возгласил,—
Зевс, великий промыслитель,
На земле не возносил!
    На земле, где все изменно,
    Выше славы блага нет.
    Нашу персть — земля возьмет,
    Имя славное — нетленно».

«Хоть о падших, побежденных
И молчит победный клик,
Но и в родах отдаленных,
Гектор, будешь ты велик!..
Вечной памяти достоин,—
Сын Тидеев провещал,
Кто как честный, храбрый воин,
Край отцов спасая, пал...
    Честь тому, кто, не робея,
    Жизнь за братий положил!
    Победитель — победил,
    Слава падшего святее!»

Старец Нестор днесь, маститый
Брашник, кубок взяв, встает
И сосуд, плющом обвитый,
Он Гекубе подает:
«Выпей, мать, струи целебной
И забудь весь свой урон!
Силен Вакха сок волшебный,
Дивно нас врачует он...
    Мать, вкуси струи целебной
    И забудь судеб закон.
    Дивно нас врачует он,
    Бога Вакха дар волшебный».

И Ниобы древней сила
Горем злым удручена,
Соку дивного вкусила —
И утешилась она.
«Лишь сверкнет в застольной чаше
Благодатное вино,

В Лету рухнет горе наше
И пойдет, как ключ, на дно.
Да, пока играет в чаше
Всемогущее вино,
Горе в Лету снесено,
В Лете тонет горе наше!»

И воздвиглась на прощанье
Провозвестница-жена,
И исполнилась вещанья
Вдохновенного она;
И пожарище родное
Обозрев в последний раз:
«Дым и пар — здесь все земное,
Вечность, боги, лишь у вас!
Как уходят клубы дыма,
Так уходят наши дни!
Боги, вечны вы одни,—
Все земное идет мимо!»

<Конец 1850—начало 1851>

* * *

(Из Гете)

Kennst du das Land?..[1]

Ты знаешь край, где мирт и лавр растет,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветет лимон и апельсин златой
Как жар горит под зеленью густой?..
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Хотела б я укрыться, милый мой.

Ты знаешь высь с стезей по крутизнам?
Лошак бредет в тумане по снегам,
В ущельях гор отродье змей живет,
Гремит обвал и водопад ревет...
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Лежит наш путь — уйдем, властитель мой.

---

[1] Ты знаешь край?.. *(нем.)*

Ты знаешь дом на мраморных столпах?
Сияет зал и купол весь в лучах;
Глядят кумиры, молча и грустя:
«Что, что с тобою, бедное дитя?..»
  Ты был ли там? Туда, туда с тобой
  Уйдем скорей, уйдем, родитель мой.

<Не позднее октября 1851>

* * *

(Из Шиллера)

Es lächelt der See...[1]

С озера веет прохлада и нега,—
Отрок заснул, убаюкан у брега.
  Блаженные звуки
  Он слышит во сне;
  То ангелов лики
  Поют в вышине.

И вот он очнулся от райского сна,—
Его, обнимая, ласкает волна,
  И слышит он голос,
  Как ропот струи:
  «Приди, мой красавец,
  В объятья мои!»

<1851>

* * *

Недаром милосердым богом
Пугливой птичка создана —
Спасенья верного залогом
Ей робость чуткая дана.

И нет для бедной пташки проку
В свойстве с людьми, с семьей людской...
Чем ближе к ним, тем ближе к Року —
Несдобровать под их рукой...

Вот птичку девушка вскормила
От первых перышек, с гнезда,

[1] Смеется озеро... *(нем.)*

Взлелеяла ее, взрастила
И не жалела, не щадила
Для ней ни ласки, ни труда.

Но как, с любовию тревожной,
Ты дева, ни пеклась о ней,
Наступит день, день непреложный —
Питомец твой неосторожный
Погибнет от руки твоей...

1851

СПИРИТИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Дни настают борьбы и торжества,
Достигнет Русь завещанных границ,
    И будет старая Москва
Новейшею из трех ее столиц.

<Между осенью 1853 и весной 1854>

* * *

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...

Ложь воплотилася в булат;
Каким-то божьим попущеньем
Не целый мир, но целый ад
Тебе грозит ниспроверженьем...

Все богохульные умы,
Все богомерзкие народы
Со дна воздвиглись царства тьмы
Во имя света и свободы!

Тебе они готовят плен,
Тебе пророчат посрамленье,—
Ты — лучших, будущих времен
Глагол, и жизнь, и просвещенье!

О, в этом испытанье строгом,
В последней, в роковой борьбе,
Не измени же ты себе
И оправдайся перед богом...

24 октября 1854

ПО СЛУЧАЮ ПРИЕЗДА АВСТРИЙСКОГО ЭРЦГЕРЦОГА НА ПОХОРОНЫ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

Нет, мера есть долготерпенью,
Бесстыдству также мера есть!..
Клянусь его венчанной тенью,
Не все же можно перенесть!

И как не грянет отовсюду
Один всеобщий клич тоски:
Прочь, прочь австрийского Иуду
От гробовой его доски!

Прочь с их предательским лобзаньем,
И весь апостольский их род
Будь заклеймен одним прозваньем:
Искариот, Искариот!

1 марта 1855

ГРАФИНЕ РОСТОПЧИНОЙ

О, в эти дни — дни роковые,
Дни испытаний и утрат
Отраден будь для ней возврат
В места, душе ее родные!

Пусть добрый, благосклонный гений
Скорей ведет навстречу к ней
И горсть живых еще друзей,
И столько милых, милых теней!

16 октября 1855

* * *

Тому, кто с верой и любовью
Служил земле своей родной —
Служил ей мыслию и кровью,
Служил ей словом и душой,
И кто — недаром — провиденьем,
На многотрудном их пути,
Поставлен новым поколеньям
В благонадежные вожди...

4 января 1856

* * *

(Из Шиллера)

С временщиком Фортуна в споре
К убогой Мудрости летит:
«Сестра, дай руку мне — и горе
Твоя мне дружба облегчит.

Дарами лучшими моими
Его осыпала, как мать,—
И что ж? Ничем не насытимый,
Меня скупой он смел назвать!..

София, верь мне, будем дружны!
Смотри: вот горы серебра —
Кинь заступ твой, теперь ненужный,—
С нас будет, милая сестра».—

«Лети! — ей Мудрость отвечала.—
Не слышишь? Друг твой жизнь клянет —
Спаси безумца от кинжала,
А мне в Фортуне нужды нет...»

1857 <до 2 апреля>

* * *

Прекрасный день его на Западе исчез,
Полнеба обхватив бессмертною зарею,
А он из глубины полуночных небес —
Он сам глядит на нас пророческой звездою.

11 апреля 1857

* * *

Когда *осьмнадцать лет* твои
И для тебя уж будут сновиденьем,—
С любовью, с тихим умиленьем
И их и *нас* ты помяни...

23 февраля 1858

* * *

Есть много мелких, безымянных
Созвездий в горней вышине,
Для наших слабых глаз, туманных,
Недосягаемы оне...

И как они бы ни светили,
Не нам о блеске их судить,
Лишь телескопа дивной силе
Они доступны, может быть.

Но есть созвездия иные,
От них иные и лучи:
Как солнца пламенно-живые,
Они сияют нам в ночи.

Их бодрый, радующий души,
Свет путеводный, свет благой
Везде, и в море и на суше,
Везде мы видим пред собой.

Для мира дольнего отрада,
Они — краса небес родных,
Для *этих звезд* очков не надо,
И близорукий видит их...

20 декабря 1859

* * *

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой —
Теперь ты сделалась лакейской.

<50-е гг.>

MEMENTO[1]

Vevey 1859 — Genève 1860[2]

Ее последние я помню взоры
На этот край — на озеро и горы,
В роскошной славе западных лучей, —
Как сквозь туман болезни многотрудной,
Она порой ловила призрак чудный,
Весь этот мир был так сочувствен ей...

Как эти горы, волны и светила
И в смутных очерках она любила
Своею чуткой, любящей душой —
И под грозой, уж близкой, разрушенья
Какие в ней бывали умиленья
Пред этой жизнью вечно молодой...

Светились Альпы, озеро дышало —
И тут же нам, сквозь слез, понятно стало,
Что чья душа так царственно светла,
Кто до конца сберег ее живую —
И в страшную минуту роковую
Все той же будет, чем была...

<Конец октября> 1860

* * *

Когда-то я была майором,
Тому уж много, много лет,
И вы мне в будущем сулили
Блеск генеральских эполет.
В каком теперь служу я чине,
Того не ведаю сама,
Но к вам прошусь я в ординарцы,
Фельдмаршал русского ума.

<Начало марта 1861>

---

[1] Помни *(лат.)*.
[2] Веве 1859 — Женева 1860 *(фр.)*.

* * *

Недаром русские ты с детства помнил звуки
И их сберег в себе сочувствием живым —
Теперь для двух миров, на высоте науки,
Посредником стоишь ты мировым...

<Март 1861>

* * *

Он прежде мирный был казак,
Теперь он попечитель дикий;
Филиппов сын — положим, так,
А все не Александр Великий.

<1861>

КНЯЗЮ П. А. ВЯЗЕМСКОМУ

Теперь не то, что за полгода,
Теперь не тесный круг друзей —
Сама великая природа
Ваш торжествует юбилей...

Смотрите, на каком просторе
Она устроила свой пир —
Весь этот берег, это море,
Весь этот чудный летний мир...

Смотрите, как, облитый светом,
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом
Великолепный этот день...

Фонтаны плещут тиховейно,
Прохладой сонной дышит сад —
И так над вами юбилейно
Петровы липы здесь шумят...

12 июля 1861

А. А. ФЕТУ

Тебе сердечный мой поклон
И мой, каков ни есть, портрет,
И пусть, сочувственный поэт,
Тебе хоть молча скажет он,
Как дорог был мне твой привет,
Как им в душе я умилен.

14 апреля 1862

* * *

Затею этого рассказа
Определить мы можем так:
То грязный русский наш кабак
Придвинут к высотам Кавказа.

<Февраль 1863>

ЕГО СВЕТЛОСТИ КНЯЗЮ А. А. СУВОРОВУ

Гуманный внук воинственного деда,
Простите нам, наш симпатичный князь,
Что русского честим мы людоеда,
Мы, русские, Европы не спросясь!..

Как извинить пред вами эту смелость?
Как оправдать сочувствие к тому,
Кто отстоял и спас России целость,
Всем жертвуя призванью своему,—

Кто всю ответственность, весь труд и бремя
Взял на себя в отчаянной борьбе,
И бедное, замученное племя,
Воздвигнув к жизни, вынес на себе,—

Кто, избранный для всех крамол мишенью,
Стал и стоит, спокоен, невредим,
Назло врагам, их лжи и озлобленью,
Назло, увы, и пошлостям родным.

Так будь и нам позорною уликой
Письмо к нему от нас, его друзей!
Но нам сдается, князь, ваш дед великий
Его скрепил бы подписью своей.

12 ноября 1863

* * *

Как летней иногда порою
Вдруг птичка в комнату влетит
И жизнь и свет внесет с собою,
Все огласит и озарит;

Весь мир, цветущий мир природы,
В наш угол вносит за собой —
Зеленый лес, живые воды
И отблеск неба голубой,—

Так мимолетной и воздушной
Явилась гостьей к нам она,
В наш мир и чопорный и душный,
И пробудила всех от сна.

Ее присутствием согрета,
Жизнь встрепенулася живей,
И даже питерское лето
Чуть не оттаяло при ней.

При ней и старость молодела,
И опыт стал учеником,
Она вертела, как хотела,
Дипломатическим клубком.

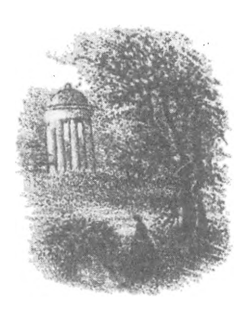
И самый дом наш будто ожил,
Ее жилицею избрав,
И нас уж менее тревожил
Неугомонный телеграф.

Но кратки все очарованья,
Им не дано у нас гостить,
И вот сошлись мы для прощанья,—
Но долго, долго не забыть

Нежданно-милых впечатлений,
Те ямки розовых ланит,
Ту негу стройную движений
И стан, оправленный в магнит,

Радушный смех и звучный голос,
Полулукавый свет очей
И этот длинный, тонкий волос,
Едва доступный пальцам фей.

1863



19-ое ФЕВРАЛЯ 1864

И тихими последними шагами
Он подошел к окну. День вечерел,
И чистыми, как благодать, лучами
На западе светился и горел.
И вспомнил он годину обновленья —
Великий день, новозаветный день,—
И на лице его от умиленья
Предсмертная вдруг озарилась тень.

Два образа, заветные, родные,
Что как святыню в сердце он носил,
Предстали перед ним — царь и Россия,
И от души он их благословил.

Потом главой припал он к изголовью,
Последняя свершалася борьба,—
И сам спаситель отпустил с любовью
Послушного и верного раба.

<Между 19 и 21 февраля 1864>

* * *

Не всё душе болезненное снится:
Пришла весна — и небо прояснится.

12 апреля 1864

* * *

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней,
Душою чистой иль греховной
Ты вдруг почувствуешь живей,
Что есть мир лучший, мир духовный.

<Ноябрь> 1864

ENCYCLICA

Был день, когда господней правды молот
Громил, дробил ветхозаветный храм
И, собственным мечом своим заколот,
В нем издыхал первосвященник сам.

Еще страшней, еще неумолимей
И в наши дни — дни божьего суда —
Свершится казнь в отступническом Риме
Над лженаместником Христа.

Столетья шли, ему прощалось много,
Кривые толки, темные дела,
Но не простится правдой бога
Его последняя хула...

Не от меча погибнет он земного,
Мечом земным владевший столько лет,—
Его погубит роковое слово:
«Свобода совести есть бред!»

21 декабря 1864

КНЯЗЮ ГОРЧАКОВУ

Вам выпало призванье роковое,
Но тот, кто призвал вас, и соблюдет.
Все лучшее в России, все живое
Глядит на вас, и верит вам, и ждет.

Обманутой, обиженной России
Вы честь спасли,—и выше нет заслуг;
Днесь подвиги вам предстоят иные:
Отстойте мысль ее, спасите дух...

1864

ОТВЕТ НА АДРЕС

Себя, друзья, морочите вы грубо —
Велик с Россией ваш разлад.
Куда вам в члены Английских палат?
Вы просто члены *Английского клуба...*

<Вторая половина января 1865>

* * *

Он, умирая, сомневался,
Зловещей думою томим...
Но бог недаром в нем сказался —
Бог верен избранным своим...

Сто лет прошло в труде и горе —
И вот, мужая с каждым днем,
Родная Речь уж на просторе
Поминки празднует по нем...

Уж не опутанная боле,
От прежних уз отрешена,
На всей своей разумной воле
Его приветствует она...

И мы, признательные внуки,
Его всем подвигам благим
Во имя Правды и Науки
Здесь *память вечную* гласим.

Да, велико его значенье —
Он, верный Русскому уму,
Завоевал нам Просвещенье,
Не нас поработил ему,—

Как тот борец ветхозаветный,
Который с Силой неземной
Боролся до звезды рассветной
И устоял в борьбе ночной.

<Начало апреля 1865>

12-ое АПРЕЛЯ 1865

Все решено, и он спокоен,
Он, претерпевший до конца,—
Знать, он пред богом был достоин
Другого, лучшего венца —

Другого, лучшего наследства,
Наследства бога своего,—
Он, наша радость с малолетства,
Он был не наш, он был его...

Но между ним и между нами
Есть связи естества сильней:
Со всеми русскими сердцами
Теперь он молится о ней,—

О ней, чью горечь испытанья
Поймет, измерит только та,
Кто, освятив собой страданья,
Стояла, плача, у креста...

12 апреля 1865

* * *

Как верно здравый смысл народа
Значенье слов определил:
Недаром, видно, от «ухода»
Он вывел слово «уходил».

30 апреля 1865

* * *

Велели вы — хоть, может быть, и в шутку —
Я исполняю ваш приказ.
Тут места нет раздумью, ни рассудку,
И даже мудрость без ума от вас,—

И даже он — ваш дядя достославный —
Хоть всю Европу переспорить мог,
Но уступил и он в борьбе неравной
И присмирел у ваших ног...

5 июня 1865

КНЯЗЮ ВЯЗЕМСКОМУ

Есть телеграф за неименьем ног,
Неси он к вам мой стих полубольной.
Да сохранит вас милосердый бог
От всяких дрязг, волнений и тревог,
И от бессонницы ночной.

28 июня 1865

* * *

Бедный Лазарь, Ир убогой,
И с усильем, и с тревогой
К вам пишу, с одра привстав,
И привет мой хромоногой
Окрылит пусть телеграф.

Пусть умчит его, играя,
В дивный, светлый угол тот,
Где весь день, не умолкая,
Словно буря дождевая
В купах зелени поет.

29 июня 1865

ГРАФИНЕ А. Д. БЛУДОВОЙ

Как жизнь ни сделалась скуднее,
Как ни пришлось нам уяснить
То, что нам с каждым днем яснее,
Что *пережить* — не значит *жить*, —

Во имя милого былого,
Во имя вашего отца
Дадим же мы друг другу слово:
Не изменяться до конца.

1 марта 1866

* * *

Когда сочувственно на наше слово
    Одна душа отозвалась —
Не нужно нам возмездия иного,
    Довольно с нас, довольно с нас...

12 апреля 1866

КНЯЗЮ СУВОРОВУ

Два разнородные стремленья
В себе соединяешь ты:
Юродство без душеспасенья
И шутовство без остроты.

Сама природа, знать, хотела
Тебя устроить и обречь
На безответственное дело,
На безнаказанную речь.

Апрель 1866

* * *

И в божьем мире то ж бывает,
И в мае снег идет порой,
А все ж Весна не унывает
И говорит: «Черед за мной!..»

Бессильна, как она ни злися,
Несвоевременная дурь,—
Метели, вьюги улеглися,
Уж близко время *летних* бурь.

11 мая 1866

* * *

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на мели сидит,
Сидит себе как рак,—
Кто ж тут спасет, кто пособит?
Ну кто ж, коль не моряк.

3 июня 1866

* * *

Небо бледно-голубое
Дышит светом и теплом
И приветствует Петрополь
Небывалым сентябрем.

Воздух, полный теплой влаги,
Зелень свежую поит
И торжественные флаги
Тихим веяньем струит.

Блеск горячий солнце сеет
Вдоль по невской глубине —
Югом блещет, югом веет,
И живется как во сне.

Все привольней, все приветней
Умаляющийся день,—
И согрета негой летней
Вечеров осенних тень.

Ночью тихо пламенеют
Разноцветные огни...
Очарованные ночи,
Очарованные дни.

Словно строгий чин природы
Уступил права свои
Духу жизни и свободы,
Вдохновениям любви.

Словно, ввек ненарушимый,
Был нарушен вечный строй
И любившей и любимой
Человеческой душой.

В этом ласковом сиянье,
В этом небе голубом
Есть улыбка, есть сознанье,
Есть сочувственный прием.

И святое умиленье
С благодатью чистых слез
К нам сошло как откровенье
И во всем отозвалось...

Небывалое доселе
Понял вещий наш народ,
И *Дагмарина* неделя
Перейдет из рода в род.

17 сентября 1866

НА ЮБИЛЕЙ Н. М. КАРАМЗИНА

Великий день Карамзина
Мы, поминая братской тризной,
Что скажем здесь перед отчизной,
На что б откликнулась она?

Какой хвалой благоговейной,
Каким сочувствием живым
Мы этот славный день почтим —
Народный праздник и семейный?

Какой пошлем тебе привет —
Тебе, наш добрый, чистый гений,
Средь колебаний и сомнений
Многотревожных этих лет?

При этой смеси безобразной
Бессильной правды, дерзкой лжи,
Так ненавистной для души
Высокой и ко благу страстной,—

Души, какой твоя была,
Как здесь она еще боролась,
Но на призывный божий голос
Неудержимо к цели шла?

Мы скажем: будь нам путеводной,
Будь вдохновительной звездой —
Свети в наш сумрак роковой,
Дух целомудренно-свободный,

Умевший все совокупить
В ненарушимом, полном строе,
Все человечески-благое,
И русским чувством закрепить,—

Умевший, не сгибая выи
Пред обаянием венца,
Царю быть другом до конца
И верноподданным России...

30 ноября — 1 декабря 1866

* * *

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?

Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда —
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись — теперь иль никогда...

20 декабря 1866

В РИМЕ

(С французского)

Средь Рима древнего сооружалось зданье —
То Нерон воздвигал дворец свой золотой.
Под самою дворца гранитною пятой
Былинка с кесарем вступила в состязанье:
«Не уступлю тебе, знай это, бог земной,
И ненавистное твое я сброшу бремя».—
«Как, мне не уступить? Мир гнется
подо мной!» —
«Весь мир тебе слуга, а мне слугою — Время».

<Конец> декабря 1866

* * *

Над Россией распростертой
Встал внезапною грозой
Петр, по прозвищу *четвертый,*
Аракчеев же *второй.*

<1866 или 1867>

* * *

Как этого посмертного альбома
Мне дороги заветные листы,
Как все на них так родственно-знакомо,
Как полно все душевной теплоты!

Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеяла былым!
Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым.

1 марта 1867

ДЫМ

Здесь некогда, могучий и прекрасный,
Шумел и зеленел волшебный лес,—
Не лес, а целый мир разнообразный,
Исполненный видений и чудес.

Лучи сквозили, трепетали тени;
Не умолкал в деревьях птичий гам;
Мелькали в чаще быстрые олени,
И ловчий рог взывал по временам.

На перекрестках, с речью и приветом,
Навстречу нам, из полутьмы лесной,
Обвеянный каким-то чудным светом,
Знакомых лиц слетался целый рой.

Какая жизнь, какое обаянье,
Какой для чувств роскошный, светлый пир!
Нам чудились нездешние созданья,
Но близок был нам этот дивный мир.

И вот опять к таинственному лесу
Мы с прежнею любовью подошли.
Но где же он? Кто опустил завесу,
Спустил ее от неба до земли?

Что это? Призрак, чары ли какие?
Где мы? И верить ли глазам своим?
Здесь дым один, как пятая стихия,
Дым — безотрадный, бесконечный дым!

Кой-где насквозь торчат по обнаженным
Пожарищам уродливые пни,
И бегают по сучьям обожженным
С зловещим треском белые огни...

Нет, это сон! Нет, ветерок повеет
И дымный призрак унесет с собой...
И вот опять наш лес зазеленеет,
Все тот же лес, волшебный и родной.

25 апреля 1867

СЛАВЯНАМ

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!

Вы дома здесь, и больше дома,
Чем там, на родине своей,—
Здесь, где господство незнакомо
Иноязыческих властей,
Здесь, где у власти и подданства
Один язык, один для всех,
И не считается Славянство
За тяжкий первородный грех!

Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но все же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но все же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России — не прощают вас!

Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: — Это я!
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!

Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их как наследие славян.

И то, что длилося веками,
Не истощилось и поднесь
И тяготеет и над нами —
Над нами, собранными здесь...
Еще болит от старых болей
Вся современная пора...
Не тронуто Коссово поле,
Не срыта Белая Гора!

А между нас, — позор немалый, —
В славянской, всем родной среде,
Лишь тот ушел от их опалы
И не подвергся их вражде,
Кто для своих всегда и всюду
Злодеем был передовым:
Они лишь нашего Иуду
Честят лобзанием своим.

Опально-мировое племя,
Когда же будешь ты народ?
Когда же упразднится время
Твоей и розни и невзгод,
И грянет клич к объединенью,
И рухнет то, что делит нас?..
Мы ждем и верим провиденью —
Ему известны день и час...

И эта вера в правду бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди...
Он жив — верховный промыслитель,
И суд его не оскудел,
И слово *царь-освободитель*
За русский выступит предел...

<Начало мая 1867>

СЛАВЯНАМ

Man muß die Slaven an die Mauer drücken[1]

Они кричат, они грозятся:
«Вот к стенке мы славян прижмем!»
Ну, как бы им не оборваться
В задорном натиске своем!..

Да, стенка есть — стена большая,—
И вас не трудно к ней прижать.
Да польза-то для них какая?
Вот, вот что трудно угадать.

Ужасно та стена упруга,
Хоть и гранитная скала,—
Шестую часть земного круга
Она давно уж обошла...

[1] Славян надо прижать к стене *(нем.)*.

Ее не раз и штурмовали —
Кой-где сорвали камня три,
Но напоследок отступали
С разбитым лбом богатыри...

Стоит она, как и стояла,
Твердыней смотрит боевой:
Она не то чтоб угрожала,
Но... каждый камень в ней живой...

Так пусть же бешеным напором
Теснят вас немцы и прижмут
К ее бойницам и затворам,—
Посмотрим, что они возьмут!

Как ни бесись вражда слепая,
Как ни грози вам буйство их,—
Не выдаст вас стена родная,
Не оттолкнет она своих.

Она расступится пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

11—16 мая 1867

* * *

Напрасный труд — нет, их не вразумишь,—
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.

Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы.

Май 1867

НА ЮБИЛЕЙ КНЯЗЯ А. М. ГОРЧАКОВА

В те дни кроваво-роковые,
Когда, прервав борьбу свою,
В ножны вложила меч Россия —
Свой меч, иззубренный в бою, —
Он волей призван был державной
Стоять на страже, — и он стал,
И бой отважный, бой неравный
Один с Европой продолжал.

И вот двенадцать лет уж длится
Упорный поединок тот;
Иноплеменный мир дивится,
Одна лишь Русь его поймет.
Он первый угадал, в чем дело,
И им впервые русский дух
Союзной силой признан смело, —
И вот венец его заслуг.

13 июня 1867

* * *

Свершается заслуженная кара
За тяжкий грех, тысячелетний грех...
Не отвратить, не избежать удара —
И правда божья видима для всех...

То божьей правды праведная кара,
И, ей в отпор чью помощь ни зови,
Свершится суд... и папская тиара
В последний раз купается в крови.

А ты, ее носитель неповинный, —
Спаси тебя господь и отрезви —
Молись ему, чтобы твои седины
Не осквернились в пролитой крови.

27 октября 1867

ПО ПРОЧТЕНИИ ДЕПЕШ ИМПЕРАТОРСКОГО КАБИНЕТА, НАПЕЧАТАННЫХ В «JOURNAL DE ST.-PÉTERSBOURG»

Когда свершится искупленье
И озарится вновь Восток,—
О, как поймут тогда значенье
Великолепных этих строк!

Как первый яркий луч денницы,
Коснувшись, их воспламенит
И эти вещие страницы
Озолотит и освятит!

И в излиянье чувств народных,
Как божья чистая роса,
Племен признательно-свободных
На них затеплится слеза!

На них записана вся повесть
О том, что было и что есть;
Изобличив Европы совесть,
Они спасли России честь!

5 декабря 1867

МИХАИЛУ ПЕТРОВИЧУ ПОГОДИНУ

Стихов моих вот список безобразный —
Не заглянув в него, дарю им вас,
Не совладал с моею ленью праздной,
Чтобы она хоть вскользь им занялась...

В наш век стихи живут два-три мгновенья,
Родились утром, к вечеру умрут...
О чем же хлопотать? Рука забвенья
Как раз свершит свой корректурный труд.

<Конец августа> 1868

ПАМЯТИ Е. П. КОВАЛЕВСКОГО

И вот в рядах отечественной рати
Опять не стало смелого бойца —
Опять вздохнут о горестной утрате
Все честные, все русские сердца.

Душа живая, он необоримо
Всегда себе был верен и везде —
Живое пламя, часто не без дыма
Горевшее в удушливой среде...

Но в правду верил он, и не смущался,
И с пошлостью боролся весь свой век,
Боролся — и ни разу не поддался...
Он на Руси был редкий человек.

И не Руси одной по нем сгрустнется —
Он дорог был и там, в земле чужой,
И там, где кровь так безотрадно льется,
Почтут его признательной слезой.

21 сентября 1868

* * *

Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит ее — но вот беда,
Что дело не дойдет до рвоты.

<1868>

* * *

Вы не родились поляком,
Хоть шляхтич вы по направленью,
А русский вы — сознайтесь в том —
По Третьему лишь отделенью.

Слуга влиятельных господ,
С какой отвагой благородной
Громите речью вы свободной
Всех тех, кому зажали рот!

Недаром вашим вы пером
Аристократии служили —
В какой лакейской изучили
Вы этот рыцарский прием?

<Середина января> 1869

* * *

«Нет, не могу я видеть вас...» —
Так говорил я в самом деле,
И не один, а сотню раз,
А вы — и верить не хотели.

В одном доносчик мой неправ —
Уж если доносить решился,
Зачем же, речь мою прервав,
Он *досказать* не потрудился?

И нынче нудит он меня —
Шутник и пошлый и нахальный —
Его затею устраня,
Восстановить мой текст буквальный.

Да, говорил я, и не раз —
То не был случай одинокий —
Мы все не можем видеть вас —
Без той сочувственно-глубокой

Любви сердечной и святой,
С какой — как в этом не сознаться? —
Своею лучшею звездой
Вся Русь привыкла любоваться.

5 февраля 1869

* * *

Великий день Кирилловой кончины —
Каким приветствием сердечным и простым
Тысячелетней годовщины
Святую память мы почтим?

Какими этот день запечатлеть словами,
Как не словами, сказанными им,
Когда, прощаяся и с братом и с друзьями,
Он нехотя свой прах тебе оставил, Рим...

Причастные его труду,
Чрез целый ряд веков, чрез столько поколений,
И мы, и мы его тянули борозду
Среди соблазнов и сомнений.

И в свой черед, как он, не довершив труда,
И мы с нее сойдем и, словеса святые
Его воспомянýв, воскликнем мы тогда:
«Не изменяй себе, великая Россия!

Не верь, не верь чужим, родимый край,
Их ложной мудрости иль наглым их обманам,
И, как святой Кирилл, и ты не покидай
Великого служения славянам»...

13 февраля 1869

11-ое МАЯ 1869

Нас всех, собравшихся на общий праздник снова,
Учило нынче нас евангельское слово
В своей священной простоте:
«Не утаится Град от зрения людского,
Стоя на горней высоте».

Будь это и для нас возвещено не всуе —
Заветом будь оно и нам,
И мы, великий день здесь братски торжествуя,
Поставим наш союз на высоту такую,
Чтоб всем он виден был — всем братским племенам.

11 мая 1869

* * *

Как насаждения Петрова
В Екатерининской долине
Деревья пышно разрослись,—
Так насаждаемое ныне
Здесь русское живое слово
Расти и глубже коренись.

Май 1869

АНДРЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ МУРАВЬЕВУ

Там, где на высоте обрыва
Воздушно-светозарный храм
Уходит ввыспрь — очам на диво,
Как бы парящий к не́бесам;
Где Первозванного Андрея
Еще поднесь сияет крест,
На небе киевском белея
Святой блюститель этих мест,—

К стопам его свою обитель
Благоговейно прислоня,
Живешь ты там — не праздный житель,—
На склоне трудового дня.
И кто бы мог без умиленья
И ныне не почтить в тебе
Единство жизни и стремленья
И твердость стойкую в борьбе?

Да, много, много испытаний
Ты перенес и одолел...
Живи ж не в суетном сознанье
Заслуг своих и добрых дел;
Но для любви, но для примера,
Да убеждаются тобой,
Что́ может действенная вера
И мысли неизменный строй.

Август 1869

В ДЕРЕВНЕ

Что за отчаянные крики,
И гам, и трепетанье крыл?
Кто этот гвалт безумно-дикий
Так неуместно возбудил?

Ручных гусей и уток стая
Вдруг одичала и летит.
Летит — куда, сама не зная,
И, как шальная, голосит.

Какой внезапною тревогой
Звучат все эти голоса!
Не пес, а бес четвероногой,
Бес, обернувшийся во пса,
В порыве буйства, для забавы,
Самоуверенный нахал.
Смутил покой их величавый
И их размыкал, разогнал!

И словно сам он, вслед за ними,
Для довершения обид,
С своими нервами стальными,
На воздух взвившись, полетит!
Какой же смысл в движенье этом?
Зачем вся эта трата сил?
Зачем испуг таким полетом
Гусей и уток окрылил?

Да, тут есть цель! В ленивом стаде
Замечен страшный был застой,
И нужен стал, прогресса ради,
Внезапный натиск роковой.
И вот благое провиденье
С цепи спустило сорванца,
Чтоб крыл своих предназначенье
Не позабыть им до конца.

Так современных проявлений
Смысл иногда и бестолков,
Но тот же современный гений
Всегда их выяснить готов.
Иной, ты скажешь, просто лает,
А он свершает высший долг —
Он, осмысляя, развивает
Утиный и гусиный толк.

16 августа 1869

ЧЕХАМ ОТ МОСКОВСКИХ СЛАВЯН

На ваши, братья, празднества,
Навстречу вашим ликованьям,
Навстречу вам идет Москва
С благоговейным упованьем.

В среду восторженных тревог,
В разгар великого волненья,
Приносит вам она залог,
Залог любви и единенья.

Примите же из рук ея
То, что и *вашим* прежде было,
Что старочешская семья
Такой ценой себе купила,—

Такою страшною ценой,
Что память эта и поныне —
И вашей лучшею святыней
И вашей жизненной струей.

Примите Чашу! Вам звездой
В ночи судеб она светила
И вашу немощь возносила
Над человеческой средой.

О, вспомните, каким она
Была вам знаменьем любимым,
И что в костре неугасимом
Она для вас обретена.

И этой-то великой мзды,
Отцов великих достоянья,
За все их тяжкие труды,
За все их жертвы и страданья,

Себя лишать даете вы
Иноплеменной дерзкой ложью,
Даете ей срамить, увы,
И честь отцов и правду божью!

И долго ль, долго ль этот плен,
Из всех тягчайший, плен духовный,
Еще сносить ты осужден,
О чешский люд единокровный?

Нет, нет, недаром благодать
На вас призвали предки ваши,
И будет вам дано понять,
Что нет спасенья вам без Чаши.

Она лишь разрешит вконец
Загадку вашего народа:
В ней и духовная свобода,
И единения венец.

Придите ж к дивной Чаше сей,
Добытой лучшей вашей кровью,
Придите, приступите к ней
С надеждой, верой и любовью.

<Около 24> августа 1869

СОВРЕМЕННОЕ

Флаги веют на Босфоре,
Пушки празднично гремят,
Небо ясно, блещет море,
И ликует Цареград.

И недаром он ликует:
На волшебных берегах
Ныне весело пирует
Благодушный падишах.

Угощает он на славу
Милых западных друзей —
И свою бы всю державу
Заложил для них, ей-ей.

Из премудрого далека
Франкистанской их земли
Погулять на счет пророка
Все они сюда пришли.

Пушек гром и мусикия!
Здесь Европы всей привал,
Здесь все силы мировые
Свой справляют карнавал.

И при криках исступленных
Бойкий западный разгул
И в гаремах потаенных
Двери настежь распахнул.

Как в роскошной этой раме
Дивных гор и двух морей
Веселится об исламе
Христианский съезд князей!

И конца нет их приветам,
Обнимает брата брат...
О, каким отрадным светом
Звезды Запада горят!

И всех ярче и милее
Светит тут звезда одна,
Коронованная фея,
Рима дочь, *его* жена.

С пресловутого театра
Всех изяществ и затей,
Как вторая Клеопатра
В сонме царственных гостей,

На Восток она явилась,
Всем на радость, не на зло,
И пред нею все склонилось:
Солнце с Запада взошло!

Только там, где тени бродят
По долинам и горам
И куда уж не доходят
Эти клики, этот гам,—

Только там, где тени бродят,
Там, в ночи, из свежих ран
Кровью медленно исходят
Миллионы христиан...

<Первая половина октября> 1869

А. Ф. ГИЛЬФЕРДИНГУ

Спешу поздравить с неудачей:
Она — блистательный успех,
Для вас почетна наипаче
И назидательна для всех.

Что русским словом столько лет
Вы славно служите России,
Про это знает целый свет,
Не знают немцы лишь родные.

Ах нет, то знают и они;
И что в славянском вражьем мире
Вы совершили — вы одни, —
Все ведают, et inde irae![1]

Во всем обширном этом крае
Они встречали вас не раз,
В Балканах, Чехах, на Дунае —
Везде, везде встречали вас.

И как же мог бы без измены,
Высокодоблестный досель,
В академические стены,
В заветную их цитадель,

Казною русской содержимый
Для этих славных оборон,
Вас, вас впустить — непобедимый
Немецкий храбрый гарнизон?

17 декабря 1869

* * *

Так провидение судило,
Чтоб о величии грядущем
Великого славянского царя
Возвещено вселенной было
Не гласом грома всемогущим,
А звучным писком комара.

<60-е гг.>

---

[1] Отсюда — гнев *(лат.)*.

* * *

<Из Гете>

Радость и горе в живом упоенье,
Думы и сердце в вечном волненье,
В небе ликуя, томясь на земли,
   Страстно ликующей,
   Страстно тоскующей
Жизни блаженство в одной лишь любви...

Февраль 1870

ГУС НА КОСТРЕ

Костер сооружен, и роковое
Готово вспыхнуть пламя; все молчит,—
Лишь слышен легкий треск, и в нижнем слое
Костра огонь предательски сквозит.

Дым побежал — народ столпился гуще;
Вот все они — весь этот темный мир:
Тут и гнетомый люд, и люд гнетущий,
Ложь и насилье, рыцарство и клир.

Тут вероломный кесарь, и князей
Имперских и духовных сонм верховный,
И сам он, римский иерарх, в своей
Непогрешимости греховной.

Тут и она — та старица простая,
Не позабытая с тех пор,
Что принесла, крестясь и воздыхая,
Вязанку дров, как лепту, на костер.

И на костре, как жертва пред закланьем,
Вам праведник великий предстоит:
Уже обвеян огненным сияньем,
Он молится — и голос не дрожит...

Народа чешского святой учитель,
Бестрепетный свидетель о Христе
И римской лжи суровый обличитель
В своей высокой простоте,—

Не изменив ни богу, ни народу,
Боролся он — и был необорим —
За правду божью, за ее свободу,
За все, за все, что бредом назвал Рим.

Он духом в небе — братскою ж любовью
Еще он здесь, еще в среде своих,
И светел он, что собственною кровью
Христову кровь он отстоял для них.

О чешский край! О род единокровный!
Не отвергай наследья своего!
О, доверши же подвиг свой духовный
И братского единства торжество!

И, цепь порвав с юродствующим Римом,
Гнетущую тебя уж так давно,
На Гусовом костре неугасимом
Расплавь ее последнее звено.

15—17 марта 1870

* * *

Над русской Вильной стародавной
Родные теплятся кресты —
И звоном меди православной
Все огласились высоты.

Минули веки искушенья,
Забыты страшные дела —
И даже мерзость запустенья
Здесь райским крином расцвела.

Преданье ожило святое
Первоначальных лучших дней,
И только позднее былое
Здесь в царство отошло теней.

Оттуда смутным сновиденьем
Еще дано ему порой
Перед всеобщим пробужденьем
Живых тревожить здесь покой.

В тот час, как с неба месяц сходит,
В холодной, ранней полумгле,
Еще какой-то призрак бродит
По оживающей земле.

<Начало июля> 1870

ДВА ЕДИНСТВА

Из переполненной господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! —
Славянский мир, сомкнись тесней...

«Единство,— возвестил оракул наших дней,—
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью,—
А там увидим, что прочней...

<Сентябрь> 1870

* * *

Веленью высшему покорны,
У *мысли* стоя на часах,
Не очень были мы задорны,
Хотя и с штуцером в руках.

Мы им владели неохотно,
Грозили редко и скорей
Не *арестантский,* а *почетный*
Держали караул при ней.

27 октября 1870

* * *

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

И увядание земное
Цветов не тронет неземных,
И от полуденного зноя
Роса не высохнет на них.

И эта вера не обманет
Того, кто ею лишь живет,
Не все, что здесь цвело, увянет,
Не все, что было здесь, пройдет!

Но этой веры *для немногих*
Лишь тем доступна благодать,
Кто в искушеньях жизни строгих,
Как вы, умел, любя, страдать,

Чужие врачевать недуги
Своим страданием умел,
Кто душу положил за други
И до конца все претерпел.

<Начало ноября> 1870

* * *

Да, вы сдержали ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

И нам завещанное море
Опять свободною волной,
О кратком позабыв позоре,
Лобзает берег свой родной.

Счастлив в наш век, кому победа
Далась не кровью, а умом,
Счастлив, кто точку Архимеда
Умел сыскать в себе самом,—

Кто, полный бодрого терпенья,
Расчет с отвагой совмещал —
То сдерживал свои стремленья,
То своевременно дерзал.

Но кончено ль противоборство?
И как могучий ваш рычаг
Осилит в умниках упорство
И бессознательность в глупцах?

<Ноябрь> 1870

* * *

Впросонках слышу я — и не могу
Вообразить такое сочетанье,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье.

<Январь или февраль> 1871

ЧЕРНОЕ МОРЕ

Пятнадцать лет с тех пор минуло,
Прошел событий целый ряд,
Но вера нас не обманула —
И севастопольского гула
Последний слышим мы раскат.

Удар последний и громовый,
Он грянул вдруг, животворя;
Последнее в борьбе суровой
Теперь лишь высказано слово;
То слово — русского царя.

И все, что было так недавно
Враждой воздвигнуто слепой,
Так нагло, так самоуправно,
Пред честностью его державной
Все рушилось само собой.

И вот: *свободная стихия,* —
Сказал бы наш поэт родной, —
Шумишь ты, как во дни былые,
И катишь волны голубые,
И блещешь гордою красой!..

Пятнадцать лет тебя держало
Насилье в западном плену;
Ты не сдавалась и роптала,
Но час пробил — насилье пало:
Оно пошло как ключ ко дну.

Опять зовет и к делу нудит
Родную Русь твоя волна,
И к распре той, что бог рассудит,
Великий Севастополь будит
От заколдованного сна.

И то, что ты во время оно
От бранных скрыла непогод
В свое сочувственное лоно,
Отдашь ты нам — и без урона —
Бессмертный черноморский флот.

Да, в сердце русского народа
Святиться будет этот день,—
Он — наша внешняя свобода,
Он Петропавловского свода
Осветит гробовую сень...

<Начало марта> 1871

ВАТИКАНСКАЯ ГОДОВЩИНА

Был день суда и осужденья —
Тот роковой, бесповоротный день,
Когда для вящего паденья
На высшую вознесся он ступень,—

И, божьим промыслом теснимый
И загнанный на эту высоту,
Своей ногой непогрешимой
В бездонную шагнул он пустоту,—

Когда, чужим страстям послушный,
Игралище и жертва темных сил,
Так богохульно-добродушно
Он божеством себя провозгласил...

О новом богочеловеке
Вдруг притча создалась — и в мир вошла,
И святотатственной опеке
Христова церковь предана была.

О, сколько смуты и волнений
С тех пор воздвиг непогрешимый тот,
И как под бурей этих прений
Кощунство зреет и соблазн растет.

В испуге ищут *правду божью,*
Очнувшись вдруг, все эти племена,
И как тысячелетней ложью
Она для них вконец отравлена.

И одолеть она не в силах
Отравы той, что в жилах их течет,
В их самых сокровенных жилах,
И долго будет течь,— и где исход?

. . . .

Но нет, как ни борись упрямо,
Уступит ложь, рассеется мечта,
И ватиканский далай-лама
Не призван быть наместником Христа.

6 июля 1871

* * *

Враг отрицательности узкой,
Всегда он в уровень шел с веком:
Он в человечестве был русский,
В науке был он человеком.

29 декабря 1871

ПАМЯТИ М. К. ПОЛИТКОВСКОЙ

Elle a été douce devant la mort [1]

Многозначительное слово
Тобою оправдалось вновь:
В крушении всего земного
Была ты — кротость и любовь.

В самом преддверье тьмы могильной
Не оскудел в последний час
Твоей души любвеобильной
Неисчерпаемый запас...

И та же любящая сила,
С какой, себе не изменя,
Ты до конца переносила
Весь жизни труд, всю злобу дня,—

Та ж торжествующая сила
Благоволенья и любви,
Не отступив, приосенила
Часы последние твои.

---

[1] Она была кроткой перед лицом смерти *(фр.)*.

И ты, смиренна и послушна,
Все страхи смерти победив,
Навстречу ей шла благодушно,
Как на отеческий призыв.

О, сколько душ, тебя любивших,
О, сколько родственных сердец —
Сердец, твоею жизнью живших,
Твой ранний поразит конец!

Я поздно встретился с тобою
На жизненном моем пути,
Но с задушевною тоскою
Я говорю тебе: прости.

В наш век отчаянных сомнений,
В наш век, неверием больной,
Когда все гуще сходят тени
На одичалый мир земной,—

О, если в страшном раздвоенье,
В котором жить нам суждено,
Еще одно есть откровенье,
Есть уцелевшее звено

С великой тайною загробной,
Так это — видим, верим мы —
Исход души, тебе подобной,
Ее исход из нашей тьмы.

<Начало марта 1872>

* * *

День православного Востока,
Святись, святись, великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

Но и святой Руси пределом
Его призыва не стесняй:
Пусть слышен будет в мире целом,
Пускай он льется через край,

Своею дальнею волною
И ту долину захватя,
Где бьется с немощию злою
Мое родимое дитя,—

Тот светлый край, куда в изгнанье
Она судьбой увлечена,
Где неба южного дыханье
Как врачевство лишь пьет она...

О, дай болящей исцеленье,
Отрадой в душу ей повей,
Чтобы в Христово воскресенье
Всецело жизнь воскресла в ней...

16 апреля 1872

* * *

Тебе, болящая в далекой стороне,
Болящему и страждущему мне
Пришло на мысль отправить этот стих,
Чтобы с веселым плеском волн морских
Влетел бы <он к> тебе в окно,
Далекий отголосок вод родных,
И слово русское, хоть на одно мгновенье,
Прервало для тебя волн средиземных пенье...
Из той среды, далеко не чужой,
Которой ты была любовью и душой,
Где и поднесь с усиленным вниманьем
Следят твою болезнь <с> сердечным состраданьем,
Будь ближе, чем когда, душе твоей присущ
Добрейший из людей, чистейшая из душ,
Твой милый, добрый, незабвенный муж!
Душа, с которою твоя была слита,
Хранившая тебя от всех соблазнов зла,
С которой заодно всю жизнь ты перешла,
Свершая честно трудный подвиг твой
Примерно-христианскою вдовой!

Привет еще тебе от тени той,
Обоим нам и милой и святой,
Которая так мало здесь гостила,
Страдала храбро так и горячо любила,
Ушла стремглав из сей юдоли слез,
Где ей, увы, ничто не удалось,
По долгой, тяжкой, истомительной борьбе,
Прощая все и людям и судьбе.
И свой родимый край так пламенно любила,
Что, хоть она и воин не была,
Но жизнь свою отчизне принесла;
Вовремя с нею не могла расстаться,
Когда б иная жизнь спасти ее могла.

Январь 1873

ИТАЛЬЯНСКАЯ ВЕСНА

Благоуханна и светла
Уж с февраля весна в сады вошла,
И вот миндаль мгновенно зацвела,
И белизна всю зелень облила.

<Февраль 1873>

БЕССОННИЦА

(Ночной момент)

Ночной порой в пустыне городской
Есть час один, проникнутый тоской,
Когда на целый город ночь сошла,
И всюду водворилась мгла,
Все тихо и молчит; и вот луна взошла,
И вот при блеске лунной сизой ночи
Лишь нескольких церквей, потерянных вдали,
Блеск золоченых глав, унылый, тусклый зев
Пустынно бьет в недремлющие очи,
И сердце в нас подкидышем бывает,
И так же плачется, и так же изнывает,
О жизни и любви отчаянно взывает.
Но тщетно плачется и молится оно:
Все вкруг него и пусто и темно!
Час и другой все длится жалкий стон,
Но наконец, слабея, утихает он.

Апрель 1873

* * *

Бывают роковые дни
Лютейшего телесного недуга
И страшных нравственных тревог:
И жизнь над нами тяготеет
И душит нас, как кошемар.
Счастлив, кому в такие дни
Пошлет всемилосердый бог
Неоценимый, лучший дар —
Сочувственную руку друга,
Кого живая, теплая рука
Коснется нас, хотя слегка,
Оцепенение рассеет
И сдвинет с нас ужасный кошемар
И отвратит судеб удар,—
Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь,
И верит сердце в правду и любовь.

<Не позднее мая> 1873

СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

* * *

Nous avons pu tous deux, fatigués du voyage,
Nous asseoir un instant sur le bord du chemin —
Et sentir sur nos fronts flotter le même ombrage,
Et porter nos regards vers l'horizon lointain.

Mais le temps suit son cours et sa pente inflexible
A bientôt séparé ce qu'il avait uni,—
Et l'homme, sous le fouet d'un pouvoir invisible,
S'enfonce, triste et seul, dans l'espace infini.

Et maintenant, ami, de ces heures passées,
De cette vie à deux, que nous est-il resté?
Un regard, un accent, des débris de pensées.—
Hélas, ce qui n'est plus a-t-il jamais été?

4 апреля 1838

Устали мы в пути, и оба на мгновенье
Присели отдохнуть, и ощутить смогли,
Как прикоснулись к нам одни и те же тени,
И тот же горизонт мы видели вдали.

Но времени поток бежит неумолимо.
Соединив на миг, нас разлучает он.
И скорбен человек, и силою незримой
Он в бесконечное пространство погружен.

И вот теперь, мой друг, томит меня тревога:
От тех минут вдвоем какой остался след?
Обрывок мысли, взгляд... Увы, совсем немного!
И было ли все то, чего уж больше нет?

(Перевод М. П. Кудинова)

* * *

Que l'homme est peu réel, qu'aisément il s'efface! —
Présent, si peu de chose, et rien quand il est loin.
Sa présence, ce n'est qu'un point,—
Et son absence — tout l'espace.

<1842>

Как зыбок человек! Имел он очертанья —
Их не заметили. Ушел — забыли их.
Его присутствие — едва заметный штрих.
Его отсутствие — пространство мирозданья.

(Перевод М. П. Кудинова)

UN RÊVE

«Quel don lui faire au déclin de l'année?
Le vent d'hiver a brûlé le gazon,
La fleur n'est plus et la feuille est fanée,
Rien de vivant dans la morte saison...»

Et consultant d'une main bien-aimée
De votre herbier maint doux et cher feuillet,
Vous réveillez dans sa couche embaumée
Tout un Passé d'amour qui sommeillait...

Tout un Passé de jeunesse et de vie,
Tout un Passé qui ne peut s'oublier...
Et dont la cendre un moment recueillie
Reluit encore dans ce fidèle herbier...

Vous y cherchez quelque débris de tige —
Et tout à coup vous y trouvez deux fleurs...
Et dans ma main par un secret prodige
Vous les voyez reprendre leurs couleurs.

C'étaient deux fleurs: l'une et l'autre était belle,
D'un rouge vif, d'un éclat peu commun...
La rose brille et l'oeillet étincelle,
Tous deux baignés de flamme et de parfum...

Et maintenant de ce mystère étrange
Vous voudriez reconnaître le sens...
Pourquoi faut-il vous l'expliquer, cher ange?..
Vous insistez. Eh bien soit, j'y consens.

Lorsqu'une fleur, ce frêle et doux prestige,
Perd ses couleurs, languit et se flétrit,
Que du brasier on approche sa tige,
La pauvre fleur aussitôt refleurit...

Et c'est ainsi que toujours s'accomplissent
Au jour fatal et rêves et destins...
Quand dans nos cœurs les souvenirs pâlissent,
La Mort les fait refleurir dans ses mains...

7 октября 1847

МЕЧТА

«Что подарить в такое время года?
Холодный вихрь обрушился на луг —
И нет цветов. Безмолвствует природа.
Пришла зима. Все вымерло вокруг».

И взяв гербарий милой мне рукою,
Перебирая хрупкие цветы,
Вы извлекли из сонного покоя
Все прошлое любви и красоты.

Вы разбудили то, что незабвенно,
Вы воскресили молодость и пыл
Минувших дней, чей пепел сокровенный
Гербарий этот бережно хранил.

На два цветка ваш выбор пал случайный,
И вот они, без влаги и земли,
В моей руке, подвластны силе тайной,
Былые краски снова обрели.

Цветы живут и шепчут: «Посмотри-ка,
Красивы мы, и ярок наш наряд...»
Сверкает роза, искрится гвоздика,
И вновь от них струится аромат.

Кто два цветка живой наполнил силой?
В чем тут секрет,— спросили вы меня.
Открыть его? Зачем же, ангел милый?
Вы просите? Ну что ж, согласен я.

Когда цветок, дар мимолетный, тленный,
Утратил краски, сник и занемог —
К огню его приблизьте, и мгновенно
Вновь расцветет зачахнувший цветок.

Такими же мечты и судьбы станут,
Когда часы последний час пробьют...
В душе у нас воспоминанья вянут,
Приходит смерть — и вновь они цветут.

(Перевод М. П. Кудинова)

* * *

Un ciel lourd que la nuit bien avant l'heure assiège,
Un fleuve, bloc de glace et que l'hiver ternit —
Et des filets de poussière de neige
Tourbillonnent sur des quais de granit...

La mer se ferme enfin... et le monde recule,
Le monde des vivants, orageux, tourmenté...
Et, bercée aux lueurs d'un vague crépuscule,
Le pôle attire à lui sa fidèle cité...

6 ноября 1848

Безвременная ночь восходит безнадежно
На небо низкое; река, померкнув, спит,
Как груда мертвых льдов, и нити пыли снежной
Кружатся и звездят береговой гранит.

Нет выхода! Весь мир исчез в тумане этом,
Тот мир, где место есть живым, грозе, борьбе!
И, убаюканный тем смутным полусветом,
О полюс! — город твой влечется вновь к тебе!

(Перевод В. Я. Брюсова)

LAMARTINE

La lyre d'Apollon, cet oracle des dieux,
N'est plus entre ses mains que la harpe d'Eole,
Et sa pensée — un rêve ailé, mélodieux
Qui flotte dans les airs bercé par sa parole.

< 1849>

ЛАМАРТИН

Божественной Фебовой лиры струны
В руках его арфой Эола звучат.
А мысли — певучие, легкие сны,
Что в безднах, лелеемы словом, парят.

(Перевод М. Тюнькиной)

* * *

Comme en aimant le cœur devient pusillanime,
Que de tristesse au fond et d'angoisse et d'effroi!
Je dis au temps qui fuit: arrête, arrête-toi,
Car le moment qui vient pourrait comme un abîme
S'ouvrir entre elle et moi.

C'est là l'affreux souci, la terreur implacable,
Qui pèse lourdement sur mon cœur oppressé.
J'ai trop vécu, trop de passé m'accable,
Que du moins son amour ne soit pas du passé.

<Конец 40-х — начало 50-х гг.>

Как любящую грудь печаль и ужас гложат,
Как сердце робкое сжимается тоской!
Я времени шепчу: остановись, постой,
Ведь предстоящий миг, подобно бездне, может
Зиять меж ней и мной.

Неумолимый страх, предчувствие потери
На сердце налегли; я прошлым удручен,
Я слишком долго жил, но пусть, по крайней мере,
Не канет в прошлое ее любовь, как сон.

(Перевод С. М. Соловьева)

* * *

Vous, dont on voit briller, dans les nuits azurées,
L'eclat immaculé, le divin élément,
Etoiles, gloire à vous! Splendeurs toujours sacrées!
Gloire à vous qui durez incorruptiblement!

L'homme, race éphémère et qui vit sous la nue,
Qu'un seul et même instant voit naître et défleurir,
Passe, les yeux au ciel.— Il passe et vous salue!
C'est l'immortel salut de ceux qui vont mourir.

23 августа 1850

Огни, блестящие во глуби светло-синей,
О непорочный блеск небесного венца!
О звезды! Слава вам! Божественной святыней
Зажглись вы над землей,— и длитесь без конца.

А люди, жалкий род, несчастный и мгновенный,
Которому дано единый миг дышать,
В лазурь глаза вперив, поет вам гимн священный,—
Торжественный привет идущих умирать.

(Перевод В. Я. Брюсова)

* * *

Des premiers ans de votre vie
Que j'aime à remonter le cours,
Ecoutant d'une âme ravie
Ces récits, les mêmes toujours...

Que de fraîcheur et de mystère,
En remontant ces bords heureux!
Quelle douce et tendre lumière
Baignait ce ciel si vaporeux!

Combien la rive était fleurie,
Combien le flot était plus pur!
Que de suaves rêveries
Se reflétait dans son azur!..

Quand de votre enfance incomprise
Vous m'avez quelque temps parlé,
Je crois sentir dans une brise
Glisser comme un printemps voilé...

12 апреля 1851

О, как люблю я возвращаться
К истоку первых дней твоих
И, внемля сердцем, восхищаться
Рассказом — тем же все — о них!

Как много свежести и тайны
На тех встречаю берегах!
Что за рассвет необычайный
Сквозил в тех дымных облаках!

В каких цветах был луг прибрежный,
Ручья как чисто было дно,
Как много дум с улыбкой нежной
Лазурью той отражено!

О детстве, понятом так мало,
Чуть упомянешь ты порой,—
И мнилось мне, что овевало
Меня незримою весной.

(Перевод А. А. Фета)

* * *

<Из Микеланджело>

Oui, le sommeil m'est doux! plus doux — de n'être pas!
Dans ces temps de malheur et de honte suprême
Ne rien voir, rien sentir, c'est la volupté même!..
Craignez de m'éveiller... de grâce, parlez bas...[1]

<1855>

* * *

Il faut qu'une porte
Soit ouverte ou fermée —
Vous m'embêtez, ma bien-aimée,
Et que le diable vous emporte.

<Ноябрь 1856>

Иль откройте дверь, мой дружок,
Или плотно ее притворите.
Моя милая, вы меня злите,
Хоть бы дьявол вас уволок.

(Перевод М. Тюнькиной)

Е. Н. АННЕНКОВОЙ

D'une fille du Nord, chétive et languissante,
Eclose à l'ombre des forêts,
Vous, en qui tout rayonne et tout rit et tout chante,
Vous voulez emprunter les traits?

Eh bien, pardonnez-moi mon doute involontaire,
Je crains que l'on ne dise, en voyant ce tableau:
«C'est l'oranger en fleur, tout baigné de lumière,
Qui veut simuler un bouleau».

Март 1858

[1] Перевод Тютчева см. на с. 108 («Молчи, прошу, не смей меня будить...»).

Неужто томною, болезненной девицей,
Что в северных лесах живет,
Стать захотелось вам, в которой все искрится,
Сверкает, блещет и поет?

Простите мне, мой друг, невольное сомненье:
Не будут ли тогда все говорить вокруг
О том, что южное, цветущее растенье
Березой притворилось вдруг?

(Перевод М. П. Кудинова)

* * *

De ces frimas, de ces déserts
Là-bas, vers cette mer qui brille,
Allez-vous en, mes pauvres vers,
Allez-moi saluer ma fille.

5 марта 1860

От лютых зим, полей пустых
К блистанью моря, в край иной,
Лети, лети, мой скромный стих,
С приветом дочери родной.

(Перевод М. Тюнькиной)

* * *

La vieille Hécube, hélas, trop longtemps éprouvée,
Après tant de revers et de calamités,
Se réfugie enfin, reposée et lavée,
Sous l'abri protecteur de vos jeunes bontés.

23 февраля 1861

Гекуба древняя, гонимая судьбой,
Пройдя чрез беды все и испытанья,
Теперь, в обличье новом, обрела покой,
Обласканная вами, юное созданье.

(Перевод М. Тюнькиной)

* * *

Lorsqu'un noble prince, en ces jours de démence,
Décort de sa main le bourreau des chrétiens,—
Pourrait-on dire encore, ainsi qu'aux temps anciens:
«Honni soit qui mal y pense»?

<Середина июля 1867>

Христианский король перед всем белым светом
Решил палача христиан наградить.
Так можно ли, как в старину, говорить:
«Стыдись, подумавший плохо об этом»?

(Перевод М. П. Кудинова)

* * *

Ah, quelle méprise —
Incroyable et profonde!
Ma fille rose, ma fille blonde
Qui veut se faire *sœur grise.*

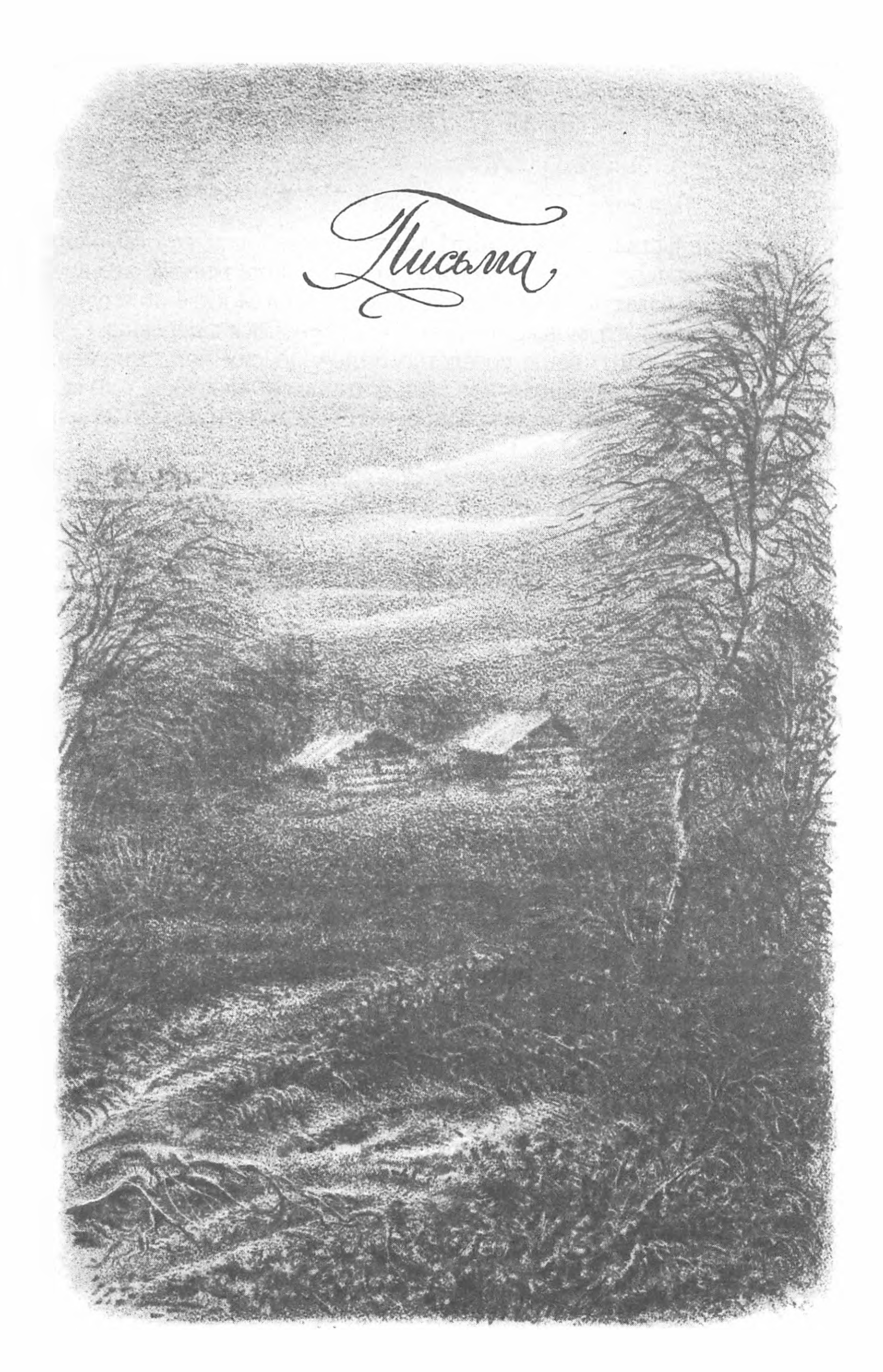
<Ноябрь — начало декабря 1870>

Ах, нелепый каприз какой,
Непостижимо, нежданно.
Моя дочь, златовласа, румяна,
Пожелала быть *серой сестрой*[1].

(Перевод М. Тюнькиной)

---

[1] В подлиннике игра слов: «soeur grise» — сестра милосердия — букв.: серая сестра.


Письма

1. М. П. Погодину

Троицкое. 8 августа <1820>.

Обстоятельства, любезнейший Михайло Петрович, эта самодержавная власть в нашем бедном мире, не позволили мне все это время видеться с вами. Я прожил недели полторы в Москве по случаю сестриной болезни и только на этих днях воротился в деревню. Сердечно сожалею, что ваше соседство более, до сих пор, для меня удовольствие отвлеченное, чем положительное. Надеюсь, однако, что не замедлю приятную мысль превратить в приятную существенность.

Если вы кончили «Историю инквизиции», то, пожалуйста, пришлите мне ее. Эта книга абонированная, и я должен ее немедленно возвратить книгопродавцу. Смею также напомнить вам и о других вами мне обещанных, особенно о вашем сочинении.—Если не могу иметь вас самих, то буду очень рад иметь ваш силуэт.

Ф. Тютчев

2. М. П. Погодину

<Москва. Осень 1820.>

Вот вам и Тик и «Руслан»... Сделайте одолжение пришлите завтра с «Древностями» и «Pensées» de Pascal, буде вы их кончили.

Прощайте—смотрите: не возненавидьте красоты—

Тютчев.

3. М. П. Погодину

<Москва. 1820—1821.>

Отсылаю к вам, любезнейший Михайло Петрович, с моею полною благодарностию том Мерзлякова и два Жуковского и с покорнейшею просьбою одолжить меня, если можно, присылкою следующего тома Ж<у>к<о>в<ского> сочинений. Остальные ваши книги не замедлю вам доставить.

Вы, шуткою, просили у меня стихов. Я, чтобы отшутиться, посылаю вам их. Они, как увидите, довольно вздорны, но я утешаюсь по

крайней мере тем, что это последние. Впредь ограничусь прозою, тем охотнее, что она весьма достаточна для изъявления вам моей преданности и уважения, с коими пребываю

ваш покорный слуга

Ф. Тютчев.

4. М. П. Погодину

<Москва. Осень 1821.>

Покорно благодарю вас за «Элоизу» — и прошу вас — «Confessions»... Какой том лексикона нужен вам? Что знаете об этом сочинении *Свиньина «Петербург и его окрестности»?..*

5. М. П. Погодину

<Москва. Осень — начало зимы 1821.>

Говорил я, любезнейший Михайло Петрович, о Горации с Раичем. Он согласен уступить вам свою часть. И когда вам будет время, зайдите к нему.— Живет он, как вы, я думаю, знаете, в доме Муравьева на Дмитревке.— Сделайте одолжение — утолите мою жажду. Пришлите продолжение «Исповеди». Никогда с таким рвением и удовольствием я еще не читывал.— Сочинение это всякому должно быть занимательно. Ибо, поистине, Руссо прав: кто может сказать о себе: *я лучше этого человека?*

Ваш покорный —
Тютчев.

6. И. С. Гагарину

Мюнхен. 7/19 июля 1836.

Любезнейший Гагарин, вы заслуживаете премию добродетели за вашу снисходительную и неизменную дружбу ко мне и за то, как вы ее доказываете. По сделанному подсчету я получил от вас за последнее время два добрых и прекрасных письма, доставивших мне все то удовольствие, какое я могу получить от писем, и две русские

книги, просмотренные мной со всем интересом, какой я способен еще проявлять к печатному слову. И за все эти благодеяния я не выразил вам своей признательности, не подал даже ни малейшего признака жизни. Сознаюсь,— это низко, но пусть это вас не расхолаживает. Пусть ваша дружба окажется выше моего молчания, ибо это молчание, как вам хорошо известно, так мало соответствует моему *я,* что скорее служит его отрицанием.

Ваше последнее письмо доставило мне особое удовольствие,— не удовольствие тщеславия или самолюбия (такого рода радости отжили для меня свой век), но удовольствие, которое испытываешь, находя подтверждение своим мыслям в сочувствии ближнего. В сущности как только человек расстался со сферой чувств, для него, пожалуй, не остается иной реальности, кроме этого сочувствия, этой умственной симпатии. На этом основаны все религии, все общества, все языки. И тем не менее, любезный друг, я сильно сомневаюсь, чтобы бумагомаранье, которое я вам послал, заслуживало чести быть напечатанным, в особенности отдельной книжкой. Теперь в России каждое полугодие печатаются бесконечно лучшие произведения. Еще недавно я с истинным наслаждением прочитал три повести *Павлова*[1], главным образом последнюю. Кроме художественного таланта, достигающего тут редкой зрелости, я был в особенности поражен возмужалостью, совершеннолетием русской мысли. И она сразу коснулась самой сердцевины общества. Свободная мысль сразилась с роковыми общественными вопросами и, однако, не утратила художественного беспристрастия. Картина верна, и в ней нет ни пошлости, ни карикатуры. Поэтическое чувство не исказилось напыщенностью выражений... Мне приятно воздать честь русскому уму, по самой сущности своей чуждающемуся риторики, которая составляет язву или скорее первородный грех французского ума. Вот отчего *Пушкин*[2] так высоко стоит над всеми современными французскими поэтами... Но возвращаюсь к моим *виршам:* делайте с ними что хотите, без всякого ограничения или *оговорок,* ибо они — ваша собственность... То, что я вам послал, составляет лишь крошечную частицу *вороха,* накопленного временем, но погибшего по воле судьбы или, вернее, некоего предопределения. По моем возвращении из Греции, принявшись как-то в сумерки разбирать свои бумаги, я уничтожил большую часть моих поэтических упражнений и заметил это лишь много спустя. В первую минуту я был несколько раздосадован, но скоро утешил себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки. Тут был, между про-

---

[1, 2] В оригинале фамилии — по-русски.— *Ред.*

чим, перевод всего первого действия второй части «Фауста». Может статься, это было лучшее из всего.

Однако ежели вы настаиваете на печатании, обратитесь к *Раичу*[1], проживающему в Москве; пусть он передаст вам все, что я когда-то отсылал ему и что частью было помещено им в довольно пустом журнале, который он выпускал под названием «Бабочка»[2].

Но довольно об этом предмете... Подробности, сообщенные вами о нашей прекрасной Есфири и ее Мардохее, доставили мне большое удовольствие... На всякого, кто знает его как вы и как вы имеет возможность наблюдать его в новом его положении, он несомненно должен производить весьма забавное впечатление. Сколько хлопот доставит он себе по-пустому! Как тщательно будет он зашифровывать то, что можно безнаказанно поместить в с.-петербургской газете. Надеюсь, однако, что вся эта затрата проницательности и осмотрительности не поставит его в неловкое положение. Впрочем, обаяние, природное обаяние его жены, сумеет, в случае надобности, предохранить его от последствий его осторожности. Будь у него друзья, они должны бы почаще обращаться к нему с наставлениями, какими напутствуют путешествующих по горам на маленьких горных лошадках, поступь коих столь верна и осторожна. Мне, само собою разумеется, до смерти хочется написать госпоже Амалии, но мешает глупейшее препятствие. Я просил ее об одном одолжении, и теперь мое письмо могло бы показаться желанием о нем напомнить. Ах, что за напасть! И в какой надо было мне быть нужде, чтобы так испортить дружеские отношения! Все равно, как если бы кто-нибудь, желая прикрыть свою наготу, не нашел для этого иного способа, как выкроить панталоны из холста, расписанного Рафаэлем... И, однако, из всех известных мне в мире людей она, бесспорно, единственная, по отношению к которой я с наименьшим отвращением чувствовал бы себя обязанным.

Ваш дядюшка уехал дней десять тому назад в Карлсбад, оставив меня в довольно большом затруднении. Уезжая, он пожелал уполномочить меня в качестве поверенного в делах при Гизе, увещевая меня в то же время не сообщать об этом в Петербург, в министерство. Это все равно что отправить письмо на почту, не подписав на нем адреса. Несмотря на всю охоту, я не мог исполнить этого желания, так как на другой же день по его отъезде получил бумаги, кои принужден был переслать в департамент. Таким образом его инкогнито в Карлсбаде грозит серьезная опасность.

Мюнхен опустел. В прошлом месяце я ездил курьером в Вену, где провел недели две. Моя жена еще не вернулась. Ожидаю ее на

---

[1] В оригинале фамилия — по-русски.— *Ред.*
[2] В оригинале это слово — по-русски.— *Ред.*

этой неделе. В Мюнхене видишь либо беременных, либо только что разрешившихся женщин. В числе первых красивая госпожа Анна, которая поселилась в доме *Майо* в Английском саду. Сейчас это единственное обитаемое место Мюнхена. Скоро и оно будет недоступным... Принц Карл уже принялся молиться, а Вебер почти закончил приданое для новорожденного... Не пишу вам про свадьбу Бургуэна с мадемуазель Идой, так же как про покушение Алибо. Подобные нелепости всегда слишком рано узнаются... Почти все верхи дипломатического корпуса разъехались, здесь двигаются лишь membra disjecta[1] животного, что, однако, не мешает погоде быть уже две недели исключительно прекрасной. Госпожа де Сетто находится в Эглоссгейме вдвоем с нунцием, и уж конечно не я стану нарушать их tête-à-tête. Что касается... но довольно собственных имен. Простите.

Ф. Тютчев

7. П. А. Вяземскому

<Петербург.> 11 июня 1837.

Благоволите, князь, простить меня за то, что, не имея положительно никаких *местных знакомств,* я беру на себя смелость обратиться к вам с просьбой не отказаться вручить кому следует причитающиеся с меня 25 рублей за подписку на 4 тома «Современника»[2]. В первом из них есть вещи прекрасные и грустные. Это поистине *замогильная* книга, как говорил Шатобриан, и я могу добавить с полной искренностью, что то обстоятельство, что я получил ее из ваших рук, придает ей новую цену в моих глазах.

Примите, князь, уверение в моем особом уважении.

Ф. Тютчев

8. И. Н. и Е. Л. Тютчевым

Турин. 1/13 ноября 1837.

Любезнейшие папенька и маменька, полагаю, что теперь вы уже получили первое письмо, написанное мной отсюда, и это письмо,

---

[1] разрозненные части *(лат.).*
[2] В оригинале название журнала — по-русски.— *Ред.*

надеюсь, вполне успокоило вас на мой счет. Еще раз простите за беспокойство, которое я мог вам причинить.— Вот уже около месяца как я в Турине, и этого времени было достаточно для составления мнения о нем, вероятно, окончательного. Как место, как служба, словом, как средство к существованию — Турин несомненно один из лучших служебных постов. Во-первых, что касается дел, то их нет. Любезность Обрезкова по отношению ко мне не оставляет желать ничего лучшего — и вот тут я не смогу в достаточной мере загладить свою вину за предубеждения, которые возымел против него, доверившись общественному злословию. Жалованье, не будучи значительным, все же составляет 8000 р., что же касается здешних цен, то они таковы, что, обладая этой суммой в двойном размере, семья может кое-как просуществовать. Сверх того я имею надежду с будущей осени остаться поверенным в делах в течение целого года. Это положительная сторона дела. Но, как местопребывание, можно считать, что Турин — один из самых унылых и угрюмых городов, сотворенных богом. Никакого общества. Дипломатический корпус малочислен, не объединен и, вопреки всем его усилиям, совершенно отчужден от местных жителей. Поэтому мало кто из дипломатических чиновников не почитает себя здесь в изгнании,— например, Обрезков, который — после пятилетнего пребывания здесь и несмотря на превосходные обеды, которые он дает, на три бала в неделю во время сезона и на свою хорошенькую жену,— не смог привлечь достаточно народу, чтобы составить себе партию в вист. Так же обстоит дело со всеми его коллегами. Одним словом, в отношении общества и общительности, Турин совершенная противоположность Мюнхену. Но, повторяю, это, может статься, самый удобный способ заработать 8000 р. в год.

Сегодня утром, в то время, как я писал вам это, ко мне в комнату вошел человек и передал мне от вашего имени пачку русских книг и ваше письмо от 24 сентября. Весьма благодарен за то и за другое. Что касается тревоги, выраженной в вашем письме по поводу моего запоздалого прибытия в Турин, мне кажется, я уже достаточно успокоил вас на этот счет.

Теперь позвольте мне побеседовать с вами о том, что озабочивает меня более всего на свете и — я могу по справедливости сказать это — ежеминутно в течение целого дня. Я хочу поговорить с вами о жене. Я узнал из письма, полученного от нее дней десять тому назад, об ее окончательном решении провести зиму в Петербурге. Конечно, и для нее, и для меня это тяжкая, весьма тяжкая необходимость, более тяжкая и более жестокая, нежели я могу это высказать и нежели кто бы то ни было может себе представить. Но не было возможности колебаться... Было бы явным безумием с таким слабым здоровьем, как у нее, и с тремя детьми на руках предпри-

нять подобное путешествие в это время года. Она хорошо сделала, что осталась. Я это одобряю и благодарю всех, кто ей это посоветовал. Что же касается меня, то лишь одно может облегчить мне горечь разлуки. Это уверенность, что в Петербурге она в наименее неблагоприятных условиях. Поэтому, любезнейшие папенька и маменька, еще раз весьма настоятельно поручаю ее вам. Было бы бесполезно стараться объяснить вам, каковы мои чувства к ней. Она их знает, и этого достаточно. Позвольте сказать вам лишь следующее: малейшее добро, оказанное ей, в моих глазах будет иметь во сто крат более ценности, нежели самые большие милости, оказанные мне лично.— Вот что я решил относительно ее содержания в Петербурге на время ее пребывания там, и я буду бесконечно благодарен вам, если вы дадите на то свое согласие.

Если она будет ожидать возобновления судоходства для того, чтобы ехать сюда, следует полагать, что ей удастся пуститься в путь никак не ранее последних чисел мая месяца. Таким образом, считая с 1 декабря, это составит ровно шесть месяцев. Папенька был так добр, что выдал ей 1600 р. Само собой разумеется — эти деньги пойдут в счет моего пенсиона будущего года. Таким образом мне приходится дополучить еще 4400 р. И вот я только что написал жене, что эту сумму в 4400 р. я предоставляю в ее распоряжение на шесть месяцев ее пребывания в Петербурге. Это составит немного более 700 р. в месяц и конечно, принимая во внимание тамошнюю дороговизну, едва хватит на жизнь. Сверх того мне хотелось бы, чтобы первая половина упомянутой суммы была вручена ей в будущем декабре, а другая половина в марте месяце. Так пусть папенька скажет мне, считает ли он возможным такое соглашение. Ибо на случай, если он его не примет, я послал Нелли доверенность для министерства с тем, чтобы ей на месте выплачивали мое жалованье и всякие другие деньги, которые могут мне причитаться. Но она воспользуется этой доверенностью, только если в том представится необходимость, так как, признаюсь вам, по многим причинам я гораздо более предпочитал бы предложенное мной соглашение. Таким образом мы избежали бы бесполезных хлопот и многих лишних издержек. Что касается меня, умоляю вас не беспокоиться обо мне. Мои собственные денежные дела в самом блестящем состоянии. У меня в настоящую минуту 3000 р. ровным счетом. В январе я получу треть моего жалованья, составляющую 2500 р. Расходуя по 800 р. в месяц на свое содержание, я из этой суммы в 5500 р. могу без труда отложить по крайней мере 2000 на вторую половину будущего года, а в течение этой второй половины я могу почти с уверенностью рассчитывать на четырехмесячное жалованье поверенного в делах. Итак, повторяю, обо мне не беспокойтесь. Существенное для меня, и самое для меня существенное — это упрочить для

Нелли на время ее пребывания в Петербурге мало-мальски сносное существование, и вы не сможете оказать мне большего благодеяния, как содействуя мне в исполнении моего желания. Благоволите, умоляю вас, переговорить с ней, чтобы она знала, как ей поступать и представится ей или нет необходимость пользоваться посланной мною доверенностью.

В письме, которое я написал ей вчера, я забыл поручить ей нечто, довольно существенное для меня, и я буду весьма обязан вам, если вы возьметесь передать ей это. Я желаю, чтобы, как только она узнает о приезде в Петербург тетушки г-жи Обрезковой, графини *Соллогуб,* с которой та в постоянной переписке — она не преминула бы познакомиться с ней и сказала бы ей, как я благодарен Обрезковым за оказанный мне прием. Признаюсь, я непременно хочу, чтобы мои чувства к ним были известны в Петербурге. Я почитаю это как бы долгом своей совести по отношению к ним.

Это письмо, любезнейшая маменька, теперь, когда судоходство прекратилось, а дороги отвратительны, придет незадолго до именин ваших и моей дочери. Обнимите и благословите ее за меня. Мысль, что вы все в сборе,— все, кого я люблю более всего на свете, что вы вместе и иногда говорите обо мне — эта мысль одна утешает меня минутами в моем теперешнем одиночестве. Но она же временами заставляет меня еще острее чувствовать его. Как поживают Дашенька и ее ребенок? Самый сердечный привет Николаю Васильевичу[1]. А что делает Николай? Приедет ли он к вам этой зимой? Ах, если еще он дополнит ваше общество — тогда — но что тогда? Я-то все-таки останусь в Турине — с несколько бо́льшим огорчением, и грустью, и завистью — но останусь.

Самый сердечный привет всем, кто меня помнит.

Вернулся ли Жуковский[2]? Наверное нет. Но как только он приедет, постарайтесь сблизиться с ним ради меня и посоветуйте также Нелли познакомиться с ним и поддерживать это знакомство.

Оканчивая письмо, я замечаю, что почти ничего не сказал вам об образе жизни, который здесь веду. Это лишь потому, что нечего о нем сказать. Утром я читаю и гуляю. Окрестности Турина великолепны, и погода пока стоит прекрасная. Каждый день голубое небо, и на деревьях есть еще листья. Затем я обедаю у Обрезковых. Это самое приятное время дня. Я беседую с ними до 8—9 вечера, потом возвращаюсь к себе, опять читаю и ложусь спать — что собираюсь сделать и сейчас,— а назавтра то же самое. Я завел несколько знакомств среди дипломатического корпуса и даже среди местного общества, но все это так бессвязно, так бестолково.

---

[1] В оригинале имя — по-русски.— *Ред.*

[2] В оригинале фамилия — по-русски.— *Ред.*

Скажите, для того ли родился я в Овстуге, чтобы жить в Турине? Жизнь, жизнь человеческая, куда какая нелепость! — Ох, простите — целую ваши ручки от всего сердца.

Ф. Тютчев[1]

9. И. Н. и Е. Л. Тютчевым

Мюнхен. 17/29 июня <1838>.

Когда вы получите это письмо, любезнейшие папенька и маменька, со времени гибели «Николая» минет полтора месяца... Поэтому не будем о ней говорить... Я уверен, что когда вы получили первое сообщение об этом, вы сердцем были со мной и ощутили хоть долю того, что пришлось испытать мне.

Не знаю, известны ли вам подробности этой катастрофы. Газеты всячески умалчивали о них. Эти подробности ужасны. Из десяти был один шанс на спасение. Помимо бога, сохранением жизни Нелли и детей я обязан ее присутствию духа и ее мужеству. Можно сказать по справедливости, что дети были дважды обязаны жизнью своей матери.

Я спокойно сидел в своей комнате в Турине — это было 11-го сего месяца — когда мне пришли *просто-напросто* сообщить, что «Николай», вышедший 14/26 мая из С.-Петербурга, сгорел в море. И действительно, так сообщали французские газеты, которые первые дали нам сведения об этом происшествии. К счастью, я имел возможность тотчас же выехать из Турина. Я смог сделать это без ущерба для службы ввиду того, что Обрезков еще там и пробудет там до конца июля. Он послал свою жену в Берлин ходатайствовать за него перед государем и ждет ее возвращения в Турин, чтобы окончательно его покинуть. При этих обстоятельствах он отнесся ко мне с большой теплотой. Какой это благородный человек! Только прибыв в Мюнхен, я узнал, как все было, и неделю спустя смог успокоиться, убедившись, что Нелли не столь измучена и разбита, как я опасался.

Вы знаете теперь, что мы потеряли *всё*. 4000 рублей, кои государь соблаговолил пожаловать моей жене, хватило на приобретение самого необходимого и на покрытие дорожных расходов. Приехав в Турин, я с первых же шагов окажусь перед лицом крайней нужды. Я знаю вашу любовь ко мне. Я достаточно часто испытывал ее. Потому, вместо всяких просьб, скажу вам только, в каком за-

[1] В оригинале последний абзац и подпись — по-русски.— *Ред.*

труднительном положении я нахожусь. С другой стороны, я желал бы быть вам как можно меньше в тягость. Подумайте, что вы могли бы для нас сделать. Не могли бы ли вы, без особого осложнения для ваших денежных дел, выдать мне мой пенсион сразу за *два года* вперед. Ибо, поскольку министерство по-видимому склонно оставить меня поверенным в делах больше, чем на год, я смогу со временем свободнее обойтись без вашей помощи — сейчас она мне необходима. Простите. Целую ваши ручки.

Ф. Т.

P. S. Что Дашенька? Где она и как ее здоровье? Я написал ей около трех недель тому назад из Турина — тотчас после того, как получил грустное сообщение о смерти ее ребенка. Но, по словам жены, письмо мое уже не застало ее в Петербурге. Бедная Дашенька! Я от всего сердца разделяю скорбь ее и ее мужа. Не того ожидал я для него и для нее, когда известие о рождении их ребенка разбудило меня ночью на пароходе, который в очередной раз увозил меня от вас. Как это время ясно сохранилось в моей памяти и сколько событий произошло с тех пор! Ах жизнь, какой это сон! Простите, любезнейшие папенька и маменька, когда же наконец свидимся мы, с тем чтобы более не разлучаться? Куда как часто мне хочется отдохнуть под вашею кровлею, чтобы память про детство, про лучшее время жизни, не совсем выдохлась из души.— Простите. От Николушки жена получила письмо по приезде. Он очень был встревожен известием — до такой степени встревожен, что написал целых две страницы с половиною[1].

10. В. А. Жуковскому

Турин. 6/18 октября 1838.

Милостивый государь

Василий Андреевич.

Отправляя в Вену нашего постоянного трехмесячного курьера, я долгом поставил послать его в *Комо,* для принятия приказаний его императорского высочества. Не имея сношения ни с кем из окружающих великого князя, простите ли вы мне, милостивый го-

[1] В оригинале конец письма, начиная со слов: «Куда как часто...»,— по-русски.— *Ред.*

сударь, что я вас осмеливаюсь обеспокоить просьбою дать знать, как и кому следует, о посылаемом курьере?

Я сам, известившись вчера только о прибытии великого князя в *Комо,* не замедлю туда явиться в надежде, что он не лишит меня счастия или, лучше сказать, вернее, согласнее с моим теперешним положением, не лишит меня утешения его видеть.

И от вас,— простите ли вы мне это требование,— и от вас я, вам чужой, почти вовсе не знакомый, жду и надеюсь утешения. Некогда, милостивый государь, я пользовался вашею благосклонностию. И в последнее время, я знаю через князя Вяземского и других ваших петербургских друзей, вы не раз отзывались обо мне с участием.

Проездом через Милан вы известились, может быть, о моем несчастии, о моей потере?.. И та, которой нет... сколько раз по возвращении своем из Петербурга и рассказывая мне про свою тамошнюю жизнь, упоминала она мне про вас... Вот почему, не будучи ни суевером, ни сумасбродом, я от свидания с вами жду некоторого облегчения...

Есть ужасные годины в существовании человеческом... Пережить все, чем мы *жили — жили* в продолжение целых двенадцати лет... Что обыкновеннее этой судьбы — и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить... Есть слова, которые мы всю нашу жизнь употребляем, не понимая... и вдруг поймем... и в одном слове, как в провале, как в пропасти, все обрушится.

В несчастии сердце верит, т. е. понимает. И потому я не могу не верить, что свидание с вами в эту минуту, самую горькую, самую нестерпимую минуту моей жизни,— не слепого случая милость. Вы недаром для меня перешли Альпы... Вы принесли с собою то, что после нее я более всего любил в мире: отечество и поэзию... Не вы ли сказали где-то: *в жизни много прекрасного и кроме счастия.* В этом слове есть целая религия, целое откровение... Но ужасно, несказанно ужасно для бедного человеческого сердца отречься навсегда от счастия. Простите. Вера моя не обманет меня. Я увижусь с вами...

Ф. Тютчев

11. И. Н. и Е. Л. Тютчевым

Мюнхен. 18/30 марта 1843.

Мы с живейшим нетерпением ждем известий о разрешении Дашеньки. Дай бог, чтобы эта минута была уже в прошлом и чтоб вы освободились, любезнейшие папенька и маменька, от тяжелого чув-

ства беспокойства, сопровождающего подобное ожидание. Я по опыту знаю, сколь оно тяжело, и, хотя это было не раз, никак не могу к этому привыкнуть. Через четыре или пять недель, т. е. в первых числах мая месяца нового стиля, мы с братом рассчитываем пуститься в путь. Я б уехал даже раньше, если бы не прибытие великой княгини Марии Николаевны, которую ожидают здесь в будущем месяце и которую досадно было бы не повидать. В свое время она очень благожелательно отнеслась и ко мне, и к моим детям, а позже мне стало известно, что даже в Петербурге она с большой благосклонностью отзывалась обо мне. Сверх того недели через две я ожидаю Мальтицев, которые должны привезти мне Анну; она настоятельно требует, чтобы я поместил ее в Институт, дабы находиться поближе ко мне и быть вместе с сестрами. После некоторого колебания я, по совету самих Мальтицев, уступил ее желанию, которое в конце концов не заключает в себе ничего неразумного. Но к первым числам мая все мои дела будут закончены, и я очень надеюсь, что к этому времени смогу пуститься в путь. Теперь, любезнейшие папенька и маменька, мне надобно знать, где я вас застану? Должен вам сказать, что был бы очень рад, если бы вы могли решиться месяца на два продлить свое пребывание в Москве. Само собою разумеется, я обращаюсь к вам с этой просьбой лишь в том предположении, что она не будет чересчур противоречить вашим планам и что, согласившись на нее, вы не причините себе ни малейшего стеснения. Для меня подобная договоренность имела бы много преимуществ, из коих самым важным была бы возможность больше времени провести с вами. В таком случае я поеду через Петербург, где по приезде остановлюсь всего на несколько дней, ровно настолько, сколько потребуется для того, чтобы нащупать почву, а главное, явиться к тем лицам, кому мне надлежит показаться. Сделав это, я смогу с полным душевным спокойствием весь отдаться счастью свидеться с вами и некоторое время пожить у вас. Да, для меня будет большим счастьем увидеться с вами после этой пятилетней разлуки, исполненной стольких событий, среди коих были такие жестокие.

Немалым также удовольствием будет для меня попасть в Москву, я не был в ней 18 лет, и мне будет приятно найти кое-какие жалкие остатки молодости, уже столь отдаленной. Не подлежит сомнению, что, будь я еще на этой исходной точке, я совсем иначе устроил бы свою судьбу,—но кто не говорит того же о своей.

Хоть я и не привык жить в России, но думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится. И я заранее радуюсь тому, что снова окажусь там.

Но еще раз, любезнейшие папенька и маменька, умоляю вас лишь в том случае принять во внимание просьбу, которую я вам выразил и к коей Николушка заявляет, что и он присоединяется, если она не доставит вам никаких значительных неудобств. Надеюсь, что это письмо придет вовремя, и я успею получить от вас ответ до моего отъезда. Самый сердечный и нежный привет Дашеньке и ее мужу, взамен я жду от них добрых известий. Ожидаю их с беспокойством, и очень рад буду от него избавиться. Простите, любезнейшие папенька и маменька. Целую ваши дорогие ручки. Жена поручает передать вам ее почтение. Здоровье ее было довольно хорошо в течение всей зимы, которая, как время года, была из самых необычайных на памяти людей. Николушка намеревается присовокупить несколько слов к моему письму, и я жертвую ему четвертой страницей.

Простите.— До свидания.

12. Вацлаву Ганке

Мюнхен. Сего 16/28 апреля 1843[1].

Милостивый государь.

Как мне достойно благодарить вас за вашу память и за ваш драгоценный подарок? При виде этой пресловутой книжицы в ее новом щегольском наряде, этих многоразличных, многозначительных письмен одной Великой Семьи — особливо при виде вашего имени, я снова очутился в Праге, над золотистыми струями вашей именитой Молдавы, на высотах Градчина, в тихой и минутной беседе с вами, милостивый государь.

Волшебный город эта Прага! — Я, москвич, должен сознаться, что ничего не видывал краше ее... Ни один город не оставил во мне такой живой памяти. Ни один город не смотрит на посетителя такими чудными, человечески-понятливыми глазами... В них столько жизни настоящей и столько пророческого... Вероятно, у вашей пророчицы Ванды были такие же глаза.— В самом деле, нельзя, посетив Прагу, нельзя не чувствовать на каждом шагу, что на этих горах, под полупрозрачною пеленою великого былого, неотразимо и неизбежно зреет еще большая будущность!

Простите. На днях я отправляюсь на несколько месяцев в Россию. По расстоянию я буду далее от вас, по чувству — ближе... Ибо я буду там, где ваше имя, милостивый государь, не просто ценится,

---

[1] В автографе — Минхен.— *Ред.*

как европейская именитость, но где дорожат им, как родовым достоянием,— где с каждым днем, по мере развития народного самопознания, растет и крепнет сочувствие с вами и с *вашими.*

Простите, будьте счастливы и действуйте долго и успешно на пользу и благо вашей родины и всего славянского мира. Urbi et orbi[1].

Поручая себя вашей памяти и дружбе, с искренним почтением и преданностию честь имею быть,

милостивый государь,

ваш покорный слуга
Ф. Тютчев

13. Э. Ф. Тютчевой

Москва. 14 июля <1843>.

Милая моя кисанька, ах, зачем я уже не на четвертой странице моего письма! Как тяжко гнетет мое сознание мысль о страшном расстоянии, разделяющем нас! Мне кажется, будто, для того чтобы говорить с тобою, я должен приподнять на себе целый мир. Вот у меня под рукою, перед глазами, твой милый почерк, а любимая рука, что начертала эти буквы,— что делает она в эту минуту? Разлука представляется необъяснимой загадкой тому, кто умеет ее чувствовать...

Вчера, 13-го, между 2 и 3 часами пополудни я дорого дал бы за то, чтобы ты оказалась возле меня. Я был в Кремле. Как бы ты восхитилась и прониклась тем, что открывалось моему взору в тот миг! Беру в свидетели самого господина де Кюстина, которого, разумеется, нельзя заподозрить в пристрастии. Это единственное во всем мире зрелище. Отсылаю тебя к третьему тому его труда. Если тебе нравится Прага, то что же сказала бы ты о Кремле!

Оттуда я отправился посмотреть на дом, который принадлежал некогда моему отцу и где протекло все мое детство. Он представился мне как во сне, и каким постаревшим и изнуренным я почувствовал себя очнувшись! Мне пришлось вспомнить, что я обладаю тобою, дабы мое сердце не изнемогло и не растаяло. Однако нелепо пытаться передать эти ощущения. А как иные из них тягостны! Всякий раз, когда мне предстоит встреча со старым знакомцем, меня охватывает невыразимая тревога. Нет, я и не воображал, какие разрушения может произвести в бедном человеческом механизме два-

[1] Городу и миру *(лат.).*

дцатилетний срок! Какое отвратительное колдовство! Люди, воспоминание о которых здешние места оживили во мне до такой остроты, что мне стало казаться, будто я только накануне расстался с ними, предстали передо мною почти неузнаваемыми от разрушений времени. О, что за ужас! Не могу не верить в некое страшное колдовство, когда вижу эти сморщенные, поблекшие лица, эти беззубые рты. Еще вчера мне попался на глаза такой пример. Это мой учитель русского языка; я расстался с ним двадцать лет тому назад, когда он был во цвете лет, а нынче это лишенный почти всех зубов человечек, со старческой физиономией, представляющей, так сказать, карикатуру на его прежнее лицо. Я никак не могу опомниться от этого удара.

Излишне говорить, что при каждом таком потрясении сердце во мне сжимается и устремляется к тебе. Но и ты постареешь... И мне кажется, что без меня ты больше во власти этого недуга, именуемого временем.

Бедная моя кисанька, чего бы ни дал я, чтобы увидеть тебя хоть на единый краткий миг. Как бы это успокоило меня!

Покончив с призраками, могу с радостью уверить тебя, что у меня есть все основания быть довольным своим путешествием. Все устраивается как нельзя лучше, и даже лучше, нежели я смел надеяться. Со стороны родителей я встретил прежнюю привязанность ко мне; они, право, трогательны своею преданностью и покорностью. Они входят во все мои намерения, во все мои светские обязанности; они со всем соглашаются, со всем примиряются.— Что касается дел, то вот что предложил мне отец. Он теперь же передает нам в полную собственность две трети своего состояния, предоставляя поделить по своему усмотрению доходы с земель, которыми мы будем владеть сообща. Само собой разумеется, что, так как на брате будут лежать все обязанности и все бремя управления — я не премину предоставить ему значительную часть дохода, скажем — две трети. Остающаяся часть составит, по словам тех, кто знаком с нашими делами, никак не меньше 10—12 тысяч рублей в год. Такой порядок, впрочем, останется в силе лишь впредь до окончательной передачи наследства, которое, разумеется, будет разделено по совсем иному принципу — по принципу полного равенства.— Вот как обстоят дела. Для завершения и закрепления предложенных условий остается только разрешить несколько чисто формальных и несложных вопросов. Теперь все зависит от доброй воли и умения брата. Пока что, мне кажется, он воодушевлен самыми лучшими намерениями. Он готов пожертвовать собой и целый год, а если нужно будет, то и больше, безвыездно прожить в деревне. Подчас он старается изменить свое отношение к отцу, лучше которого, право, нет человека на свете. И не сочти за тщеславие или самообольщение, если я ска-

жу тебе, что для их примирения мое присутствие здесь было далеко не бесполезно. Оно дало и другой, не менее приятный результат,— а именно — я изменил мнение о моем зяте. Право, я повинен перед ним; я ошибался на его счет. Это было вызвано, вероятно, тогдашними обстоятельствами и состоянием моего здоровья. Он далеко не интриган, как я думал раньше; два года назад он погубил себя во мнении правительства излишней прямотой и независимостью характера. В подтверждение моих слов следовало бы привести некоторые подробности, но достаточно тебе знать, что сейчас, а также в отношении всех предстоящих хлопот, его поведение со всех точек зрения безупречно. Вот тебе добрые вести, не так ли? — Прощай, моя милая кисанька. Складываю это письмо, если только не вздумаю потом его продолжить.

14. П. А. Вяземскому

<Петербург.> Четверг. <Ноябрь — декабрь 1844.>

Вот, князь, статья в неизувеченном виде. Осмелюсь только просить вас прочесть ее поскорее, дабы я мог незамедлительно вернуть книгу владельцу, который ее требует.— Читайте только последние три главы: поляки, русские и общий обзор, все остальное находится почти без изменений в вашем экземпляре.— Но не прискорбно ли видеть, что иностранец, почти враг, имеет о нас,— о том, что мы есть и чем можем быть,— такое точное понятие и такой ясный исторический на нас взгляд, чего мы совершенно лишены; доказательством этому служит то, что у нас весьма многие, даже из числа наиболее передовых людей, прочтут эту статью и ничего в ней не поймут... Скажу больше: в ненависти этого иностранца заключается не только больше понимания, но и больше симпатии. Сравните, прошу вас, его столь поэтический и, однако же, столь верный очерк карты России с теми гнусными мелкими карикатурами, якобы народными, коими мы принялись с некоторых пор прославлять нашу страну...

Одна из наиболее прискорбных наклонностей, замечаемых у нас, это — наклонность подходить ко всем вопросам с их самой мелочной и гнусной стороны, потребность проникать в хоромы через задний двор. Это в тысячу раз хуже невежества. Ибо в простой здоровой натуре невежество простодушно и забавно, тогда как эта наклонность изобличает и всегда будет изобличать одну лишь злость.

Читая некоторые из наших новых произведений, вдохновленных этой исключительной любовью к карикатуре, приходится зачастую сознаваться, что у нас карикатура — гораздо менее плод творческой

фантазии, чем потребность самой натуры, а это совсем не одно и то же. Тут такая же разница, как между остроумием Аристофана и тем родом остроумия, которое, за неимением подходящего иносказания, можно бы назвать просто-напросто площадным...

Если бы я не знал, князь, как вы не любите одолжать книги, я решился бы попросить у вас несколько русских книг, например: один или два тома Гоголя, последнего издания, где находятся отдельные произведения, с которыми я еще не знаком. В каком положении ваша заметка о Крылове? Где можно видеть вас сегодня вечером? Я предполагаю отправиться вечером к Карамзиным.

Тысяча почтительных приветствий.

Ф. Т.

15. Е. Л. Тютчевой

Овстуг. Августа 31-го. Суббота. 1846.

Простите меня, любезнейшая маменька, что я не писал вам раньше, но почтовый день совпал как раз с днем нашего приезда, и в первую минуту я не мог бы написать вам хоть сколько-нибудь последовательно. Нечего говорить вам почему.

Я пишу вам из его кабинета, в двух шагах от дивана... окруженный вещами, которые ему принадлежали.

На другой день нашего приезда был праздник[1] Иоанна Постника. После обедни мы слушали панихиду на его могиле. Народу было довольно, и все были тронуты, глядя на Николушку, который горько плакал. Он в самый тот день получил письмо руки покойного, которое отправлено было к нему в Вену и не нашло его там.

Нечего говорить вам, как я был взволнован, очутившись здесь после двадцатишестилетнего отсутствия. Но из всего моего овстугского прошлого я нашел лишь два обломка, которые еще кое-как держатся: старый дом и Матвея Ивановича. Но человек более крепок и лучше сохранился, чем строение.

Что до нового дома, то он, право, весьма хорош, и вид со стороны сада очень красив. Я буду чрезвычайно счастлив, уверяю вас, видеть здесь всех моих будущим летом. Это будет также весьма удачливо и для Овстуга, который нуждается для своего оживления в присутствии существ более живых и более веселых, нежели мы с братом.

---

[1] От слов «Простите меня...» до «был праздник» и от слов «Нечего говорить вам...» до «мы с братом» написано по-французски, остальное по-русски.— *Ред.*

Вчера мы были у *Небольсиных,* которые гораздо живее были у меня в памяти, чем я думал. С первого взгляда мне все припомнилось. Тот же Николай Павлович, немного пожелтее и постарее, но так же отменно-добродушно-вежлив и гостеприимен, с некоторою изысканностью в языке и приемах, та же старушка сестра с своим угощением вареньями — и их умная, всеми и всем заведывающая кузина. Прежде них мы были у их брата, что женат на Озеровой. Тут уж не то... Нет того патриархального лоску, что на старших.

Завтра, в воскресенье, мы пируем у Яковлева, а сегодня поутру явился к нам старичок Правиков.

О Варваре Андреевне я и не говорю. Она по вечерам — наша отрада, наше провидение, наше все.

Часов угрюмых облегчает бремя,
Живит беседу, окриляет время.

Но, несмотря на это окриление, вечера невыносимо скучны, и день в этом отношении малым чем уступает вечеру, так что по этой и по многим другим причинам я в будущую середу, т. е. пятого числа, ровно через неделю по приезде, решился — еду отсюда, как, впрочем, мне ни жаль Николушки... Следственно, я надеюсь быть с вами к 10-му или, поздно, 12-му числу сентября. Посему и прошу любезнейшего, деятельнейшего, всевспомоществующего Николая Васильевича приказать взять для меня два места в новой почтовой карете *extra post* к 18-му, если можно.

Ваше письмо, любезнейшая маменька, получили мы вчера. Очень рад и очень вам благодарен, что вы отменили поездку вашу к Троице. Надеюсь найти вас совершенно оправившимися. Брат будет писать к вам после.

Дашеньку и Николая Васильевича обнимаю и еще раз благодарю за их прошлое и будущее гостеприимство.

Простите. Целую ваши ручки.

Ф. Тютчев

16. П. Я. Чаадаеву

С.-Петербург. 13 апреля 1847.

Наконец-то, любезный Чаадаев[1], в моих руках прекрасный подарок, вручаемый мне вашей дружбой. Я был польщен и тронут более, чем могу то выразить. В самом деле, я мог ждать только скром-

[1] В оригинале фамилия — по-русски.— *Ред.*

ной литографии; судите же, с каким признательным удивлением я получил от вас прекрасный портрет, столь удовлетворяющий всем желаниям и обращенный... столь обязательно именно ко мне... Говоря по-здешнему, я уподобился человеку, ожидавшему простого Станислава и вдруг увидевшему себя украшенным Анной на шее с бриллиантами... Еще раз примите выражения моей сердечнейшей благодарности. Портрет очень хорош, очень похож, и притом это сходство такого рода, что делает великую честь уму художника. Это поразительное сходство навело меня на мысль, что есть такие типы людей, которые словно медали среди человечества: настолько они кажутся делом рук и вдохновения Великого Художника и настолько отличаются от обычных образцов ходячей монеты...

Ваш портрет, любезнейший друг мой, вполне удовлетворил бы всем моим желаниям, если бы вдобавок мог сообщить мне сведения, которые я желал бы иметь о вас,— о теперешнем состоянии вашего здоровья и вообще обо всем, что имеет отношение к вашему телесному и духовному существу. Почему бы вам в один из свободных часов не прийти к нему на помощь и не дать мне возможность узнать о вас все, что скрыто от меня его вынужденным безмолвием... несмотря на все его сходство?

Последние известия о вас, если не ошибаюсь, были нам доставлены *Поповым* при его возвращении в Москву и оказались далеко не так удовлетворительны, как я бы того желал, по крайней мере в отношении вашего здоровья... Не решитесь ли вы предпринять наступающим летом что-нибудь более существенное, нежели все, что делали до сих пор в этом направлении? Почему, например, серьезно не подумаете вы о том, чтобы с возвращением хорошей погоды испробовать немецкие воды, если только хорошая погода в этом году намерена возвратиться к нам?.. Я убежден, что при вашем состоянии здоровья путешествие, то есть просто перемена места и настроения, было бы добрым началом поправки и, может быть, само по себе послужило бы уже исцелением. Подумайте об этом, любезный Чаадаев[1], и сделайте мужественное усилие во имя лучшего из благ — здоровья...

Теперь, сказавши все существенное, я охотно поболтал бы с вами вволю о литературных и других наших занятиях прошедшей зимы, каковы «Переписка» *Гоголя,* ваш огромный «Московский сборник»[2] и т. п., но увы! трудно беседовать на расстоянии шестисот верст, и что бы там ни говорили, а письменная беседа утомляет почти так же, как партия в шахматы по переписке... К тому же у меня есть надежда, что так или иначе мы свидимся в продолжение этого

---

[1] В оригинале фамилия — по-русски. — *Ред.*
[2] Слово «сборник» в оригинале — по-русски.— *Ред.*

лета; вот почему прошу вас смотреть на это письмо более как на свидетельство о получении сделанного вами прекрасного подарка, чем как на выражение, хотя бы и не полное, дружественных чувств и неизменной любви преданного вам

Ф. Тютчева.

17. П. А. Вяземскому

<Петербург.> Пятница. <Март 1848.>

Ваша книга, князь, доставила мне истинное наслаждение, ибо действительно испытываешь наслаждение, читая европейскую книгу, написанную по-русски, книгу, к чтению которой приступаешь, не спускаясь, так сказать, с уровня Европы, тогда как почти всё, что печатается у нас, как правило, стоит несколькими ступенями ниже.

А между тем именно потому, что она европейская, ваша книѓа — в высокой степени русская. Взятая ею точка зрения есть та колокольня, с которой открывается вид на город. Проходящий по улице не видит его. Для него город, как таковой, не существует. Вот чего не хотят понять эти господа, воображающие, что творят национальную литературу, утопая в мелочах. Наибольшего, чего можно пожелать — не вашей книге, а публике, которая будет ее читать,— это, чтобы она сумела уразуметь то, что пишется между строк. Достигнув этого, она уже достигнет многого.

Очень большое неудобство нашего положения заключается в том, что мы принуждены называть *Европой* то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: *Цивилизация.* Вот в чем кроется для нас источник бесконечных заблуждений и неизбежных недоразумений. Вот что искажает наши понятия... Впрочем, я более и более убеждаюсь, что всё, что могло сделать и могло дать нам *мирное подражание* Европе,— всё это мы уже получили. Правда, это очень немного. Это не разбило лед, а лишь прикрыло его слоем мха, который довольно хорошо имитирует растительность. Теперь никакой действительный прогресс не может быть достигнут без борьбы. Вот почему враждебность, проявляемая к нам Европой, есть, может быть, величайшая услуга, которую она в состоянии нам оказать. Это, положительно, не без промысла. Нужна была эта, с каждым днем все более явная враждебность, чтобы принудить нас углубиться в самих себя, чтобы заставить нас осознать себя. А для общества, так же как и для отдельной личности,— первое условие всякого прогресса есть самопознание.

Есть, я знаю, между нами люди, которые говорят, что в нас нет ничего, что стоило бы познавать. Но в таком случае единственное, что следовало бы предпринять, это перестать существовать, а между тем, я думаю, никто не придерживается такого мнения.

Прощайте, князь. Еще раз благодарю вас. Рассчитываете ли вы отправиться сегодня вечером к госпоже Смирновой?
С глубочайшим почтением.

Ф. Тютчев

18. М. П. Погодину

<Петéрбург. Март 1850.>

В числе сообщенных вам пьес была одна с пропуском четырех стихов. Вот вам она сполна.

Вы меня балуете вашими одобрениями и могли бы опять пристрастить к виршам, но какой может быть прок в гальванизированной музе?

Весь ваш преданный
Ф. Тютчев

19. П. А. Вяземскому

<Петербург. Начало января 1851.>

Хорошенько сообразив все, я полагаю, что лучше будет в стихе: «И нет конца твоим стрелам» — поставить так: «И счету нет твоим стрелам», по той причине, что *конец* стрел может, пожалуй, означать *острие* стрел, и в таком случае фраза оказалась бы несколько двусмысленной.

Если в последней строфе вас смущает повторение слов *душа* и *духовный,* нельзя ли сказать так:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И вся проникнута она (т. е. жизнь)
Святым огнем духовной силы.

Весь ваш Ф. Т.

Или еще так:

В себе отвел ты уголок
Для жизни, чувствами обильной,
И жизнь твоя была полна
Духовной свежести и силы

и т. д.[1]

20. Н. В. Сушкову

<Петербург.> 27 октября 1851.

Николай Васильевич, я сердечно умилился при виде вашего писания: в вас поистине избыток христианской любви — неутомимая, неистощимая, всеобъемлющая попечительность... от кедра до иссопа,— от братниных поручений до моих стихов-подкидышей — благоговею — и молчу...

Итак, роковой 52-й год ознаменуется новым раутом.— Он всплывет как розовый листок над этим всемирным водоворотом — в этой мысли есть нечто несказанно трогательное, и я с умилением приношу вам мою лепту...

Романс из Гете несколько раз переведен был у нас,— но так как эта пьеса из числа тех, которые почти обратились в литературную поговорку, то она навсегда останется пробным камнем для охотников.

Но, переходя от рифм к поэзии, прошу при случае сказать графине Ростопчиной, что я все еще сетую о том, что не попал к ней прошлым летом в Вороново — и против всякого чаяния чаю ее приезда в Петербург.

Поручение ваше касательно Попова выполню, буде реченный Попов здесь, в чем сомневаюсь.— От князя Вяземского теперь довольно трудно будет добиться стихов — даже и известия о нем весьма скудны и редки. То же самое и с братом Николаем Ивановичем. Я только и жду известия об его приезде в Париж, чтобы писать к нему, но в Париже ли он? Напишите.— Дашеньку от всей души обнимаю.

21. Э. Ф. Тютчевой

<Петербург.> Среда 10 декабря 1852.

Милая моя кисанька, прежде чем писать тебе, я перечитал твое последнее письмо от 30 ноября. Последнее полученное от тебя пись-

[1] Цитаты из стихотворения в оригинале — по-русски.— *Ред.*

мо всегда при мне до прибытия следующего. Ах, до чего жалки эти временные облегчения, как все ничтожно и бессильно перед отсутствием. Что за нелепость и что за измена по отношению к нам самим — эта разлука... Ну, что же, пусть... Нам доказано теперь, что мы можем жить недели, даже целые месяцы, в разлуке друг с другом. Остается предположить, что в кармане у нас обещание, подписанное господом богом, что мы проживем по меньшей мере сто лет... Судьба, судьба!.. И что́ в особенности раздражает меня, что́ в особенности возмущает меня в этой ненавистной разлуке, так это мысль, что только с одним существом на свете, при всем моем желании, я ни разу не расставался, и это существо — я сам... Ах, до чего же наскучил мне и утомил меня этот унылый спутник.

И я также думал, что 6 декабря принесет нам окончательное решение. Однако этого не случилось... А между тем наиболее осведомленные лица уверяют меня, что дело бесспорно, что оно решено. Да будет так. Тем более что эти отсрочки, по-видимому, тебя устраивают.

Впрочем милости так и сыпались в этот день. Из наших знакомых милейший граф Блудов получил портрет при чрезвычайно милостивом рескрипте. Наш бедный Северин получил ленту св. Александра Невского, что заставило его сразу же перейти от жалостливого тона к торжествующему, от элегии к дифирамбу... Сверх того, четыре барышни получили шифр, что доставило мне истинное удовольствие, так как теперь четырьмя конкурентками меньше. Эти 4 избранницы: дочь князя Михаила Голицына — Елена, мадемуазель Пушкина, старшая дочь поэта,— вторая же — Наталья, выходит замуж за сына генерала Дуббельта,— затем мадемуазель Давыдова, дочь моего приятеля Давыдова, и наконец старшая дочь г-жи Смирновой. Таким образом, устранены четыре конкурентки... Но раз уж я вступил на путь летописца, вот тебе несколько новостей, с которыми ты можешь делать что тебе заблагорассудится. Бедная графиня Воронцова, со времени своего возвращения сюда, чуть было не умерла от чего-то, похожего на оспу, которую она подхватила в дороге. За ее жизнь теперь уже не опасаются, но далеко не известно, каковы будут последствия болезни для ее кожи и цвета лица. И ведь не прошло десяти лет с того времени, как она последний раз привила оспу. Другая история.— Быть может, ты помнишь князя Трубецкого, которого мы знали в Мюнхене и о котором говорили, что он женат на Тальони. Женат он не был, но в течение многих лет открыто жил с нею и, так же открыто, имел от нее ребенка; в настоящее время этому мальчику десять-одиннадцать лет. Так вот, этот князь Трубецкой приезжал сюда и, проведя все лето в Петербурге,

добился, не без труда, разрешения вернуться за границу на четыре месяца. А сейчас он только что известил правительство, что собирается вступить в законный брак не с мадемуазель Тальони, но с ее дочерью — шестнадцатилетней девушкой, говорят, очень хорошенькой, которая благодаря этой своеобразной комбинации станет мачехой собственного брата. Мне не сказали только, пригласят ли по этому случаю Жорж Санд председательствовать на этой свадьбе в качестве *посаженной матери.* Впрочем, этот Трубецкой — славный малый. Он брат того, который так неудачно увез Жадимировскую[1].— Написанная сплетня имеет то неудобство, что поглощает много бумаги. Вот почему опускаю другие, и даже получше... Но вот одна небольшая новость совершенно невинного свойства, это — свадьба мадемуазель Анолиды Виельгорской с неким князем Шаховским[2]. Благочестивая девушка, говорят, решилась на этот брак только для того, чтобы несколько успокоить свою умирающую мать. Она не осталась невознагражденной за это доброе дело, ибо по сравнению с прошлой зимой ее шевелюра стала удивительно густой.— Что касается раутов, они продолжаются обычным порядком. Вчера, во вторник, был раут у госпожи Зеебах. Я не был ни на этом, ни на предпоследнем. Сегодня вечером большая сутолока у Разумовских. Завтра я обедаю у Карамзиных (Андрея) с г-жой Калерджи и ее кузиной, послезавтра — у моего приятеля Давыдова. И если бы я был путешественником-англичанином, приехавшим в Петербург на полтора месяца, я бы, вернувшись вечером *в свою комнату в гостинице,* нашел такое времяпрепровождение сносным, но в моем положении я нахожу его бестолковым и тошнотворным. Кстати о Калерджи,— это одна из тех натур, которую ты превосходно поняла бы и оценила бы с первого разу и которая заинтересовала бы тебя не столько сама по себе, сколько по тем воспоминаниям, которые вызвала бы в тебе ее манера держаться. Она любит рассказывать, и ее слушаешь с удовольствием. Но бедняжка привыкла к своей парижской жизни и должна подчас задыхаться в пустоте, которая ее теперь окружает.

Я сам вручил кнж. С. Мещерской твое письмо, оно ее восхитило, и она тотчас же передала его г-же Мальцовой, чтобы поделиться с ней любезностями, содержащимися в этом письме по ее адресу. Она не утаила от меня и того, что ты с некоторой добротой отозвалась в нем обо мне... Бедная старая дева очень серьезно озабочена предстоящим приездом *Виардо,* она ревниво опасается того влияния, которое та, даже на расстоянии, оказывает на ее милого Тургенева.— Каждой старой деве полагается быть немножко людоед-

[1,2] В оригинале фамилии — по-русски.— *Ред.*

кой.— Кстати о Тургеневе, я так и думал, что ты сумеешь оценить его книгу.— Полнота жизни и мощь таланта в ней поразительны. Редко встречаешь в такой мере и в таком полном равновесии сочетание двух начал: чувство глубокой человечности и чувство художественное; с другой стороны, не менее поразительно сочетание реальности в изображении человеческой жизни со всем, что в ней есть сокровенного, и сокровенного природы со всей ее поэзией. И когда подумаешь, что вследствие какого-то грубого недоразумения... Надо пожелать ему как художнику найти в своем таланте достаточно воздуха и света, чтобы не дать в нем задохнуться человеку... Если он вас навестит, чего я вам желаю от всего сердца, передай ему от меня душевный привет.

Ах, милая моя киска, я кончаю тем, чем начал... Мы никогда не должны были бы соглашаться на эту разлуку. Я сильно виноват перед Анной. Между тем она мне очень дорога, и я счастлив говорить о ней с людьми, которые ее любят.

22. Э. Ф. Тютчевой

<Петербург.> Среда. 25 февраля 1853.

Милая моя киска, вот уже неделя, как я тебе не писал, и она показалась мне вечностью. С тех пор, как я отослал тебе свое последнее письмо, я получил от тебя два. Но эти полумеры не приносят больше облегчения. Нет, я решительно не могу привыкнуть, не сумею привыкнуть к нелепой бессмыслице нашей разлуки. Она в равной мере и огорчает, и выводит меня из себя. Я отношу ее к категории досадных случайностей, которые тем более раздражают, что представляются в высшей степени беспричинными. Теперь ты понимаешь, как должна была подействовать на меня фраза из твоих последних писем, где ты говоришь о том, какое удовлетворение я должен испытывать, возвратившись в Петербург, от того, что вернулся к своим привычкам, и вернулся с ощущением сделанного мной доброго дела, и это доброе дело состоит в том, что я повидался с тобой... И мне не должно быть ненавистно положение, которое доводит тебя до подобных мыслей... ибо каждое слово, сказанное тобой, исполнено смысла.

Нелепое твое предложение прислать сюда Китти прежде себя я не принял всерьез, как оно того и заслуживало. Нет надобности объяснять тебе, что́ более всего в этом предложении вызвало мое раздражение; не то, что оно само по себе нелепо, но глупое твое упорство постоянно подчинять соображениям, сравнительно второ-

степенным, то, что в высшей степени для меня необходимо. Как же меня измучило такое непонимание!

Надеюсь, что то, что я написал по этому поводу сестре, отобьет у них охоту досаждать тебе своими дурацкими советами. Но сейчас я обращаюсь к тебе, и обращаюсь с великой просьбой принять к сведению то, что я тебе скажу. От одного человека, прибывшего из Орла, я узнал, что зима в наших местах совсем кончилась — реки вскрылись и дороги стали непроезжими... Так вот, умоляю тебя, милая моя киска,— раз это так,— не рисковать и не пускаться в путь, пока дорога не установится и пока ты не будешь уверена, что ехать до Москвы стало *совершенно безопасно...* Я так настоятельно это советую, только чтобы удержать тебя от шага, на который тебя может толкнуть опасение, что ваше опоздание на две недели уменьшит шансы Китти на успех. Прежде всего, посуди сама, шансы Китти пока остаются чем-то неясным и трудно поддающимся оценке, и, уж во всяком случае, опоздание на две недели не сможет, по-видимому, ничего изменить в худшую сторону. Да к тому же, если уж *я, я* сам, жертвуя своими интересами во имя твоей безопасности, прошу тебя задержаться с отъездом, я требую, чтобы другие также этому покорились. Так значит, решено, ты поедешь лишь тогда, когда сможешь совершить поездку с *наибольшей безопасностью...*

Судя по письму Тургенева к княжне Софи Мещерской, содержание которого, по своему обыкновению, она мне сообщила, он сейчас, вот уже неделя, как должен был прибыть в Овстуг. Таким образом, комната для него, по-видимому, была выделена и приготовлена не напрасно. Не решаюсь допускать вероятность этого события, пока не узнаю, что оно произошло. Однако, допустив его вероятность, я очень хотел бы узнать от тебя подробно, как все было. Такой человек, каким я его, как мне кажется, знаю, не может не испытать к тебе живейшей симпатии. Способность чувствовать прекрасное, благодаря которой ему открыта вся интимная поэзия природы даже там, где эта поэзия не выступает явно, как в наших краях, с их грустной и неяркой красотой, эта же способность поможет ему понять и оценить тебя... Я о нем достаточно высокого мнения и потому убежден, что он в полной мере испытает твое очарование.

Только что получил приглашение на обед сегодня к великой княгине Елене Павловне. Это третья моя попытка выйти в свет со времени моего возвращения. Надеюсь, она будет удачной.— Праздники здесь сейчас в самом разгаре. В трех театрах идет по два спектакля в день. Ежедневно балы, как и следовало ожидать. Но за подробностями отсылаю тебя к Анне. Пришел цирюльник и лезвием бритвы обрезает нить нашего с тобой разговора.

После полуночи. Вот чем я занимался с момента, как расстался с тобой. Отправился повидать Анну и застал ее за обедом вдвоем

с маленькой Смирновой. Мне довольно часто случается бывать у нее во время ее обеда, но участвовать в нем довелось только раз, и с тех пор я дал себе слово не повторять подобной ошибки... К 6 часам меня доставили к великой княгине Елене, у нее были только две гостьи: старая Апраксина и Антуанетта Блудова. Легкий обед был подан в той самой гостиной, где в прошлом году мы были на импровизированном вечере, значение которого мы, как нас потом в этом обвиняли, не сумели оценить. Во время обеда много говорили о бале, который великая княгиня решила назначить на последнее воскресенье масленицы к великому отчаянию Андрея-Авроры, которые намечали в этот день устроить веселье у себя и теперь вынуждены перенести его на день раньше. Наверное, мне очень хотелось усилить их растерянность, ибо, выйдя из Михайловского дворца, я отправился в особняк г-жи Авроры и застал ее в хлопотах из-за вынужденного соперничества. Закончил я вечер у Карамзиных-Мещерских, где опять много говорилось о тебе и о том, когда ты всего вероятнее можешь вернуться. По правде сказать, подобные благожелательные толки о тебе мне совсем разонравились, ибо совершенно ясно, что все эти добрые души уже рассматривают тебя как нечто почти несуществующее, как поэтическое воспоминание — и в этом существенная разница между их и моей точкой зрения... Ах, милая моя киска, когда же ты станешь для меня реальностью!

23. Э. Ф. Тютчевой

С.-Петербург. Суббота. < 3/15 октября 1853.>

С сегодняшней почтой пишу тебе лишь несколько слов. И знаешь почему? Потому что мне крайне стыдно, что хотя я и пишу из Петербурга, но не могу тебе сказать, будем мы воевать или нет. Ах, в какой странной среде я живу! Бьюсь об заклад, что в день Страшного суда в Петербурге найдутся люди, которые станут притворяться, что они об этом и не подозревают. Вот, впрочем, что кажется достоверным: князем Горчаковым только что получено от Турции требование очистить *княжества* в кратчайший срок. Это было бы, конечно, очень смешно, если бы не являлось началом событий столь важных и столь роковых, что никому из живущих ныне не охватить умом ни значения их, ни размаха... Я вернулся из *Царского,* куда ездил за новостями, но все, что мне удалось узнать, это — подробности, правда, очень любопытные, о вертящихся и *пишущих* столах; по-видимому, только одни столы и занимаются текущими

событиями, ибо именно стол, отвечая на мой вопрос, написал мне самым красивым своим почерком, что в *будущий четверг,* то есть 8/20-го этого месяца, появится манифест с объявлением войны. Итак, два важных вопроса должны будут сразу разрешиться самое позднее через пять дней (ибо сегодня 3/15 октября): во-первых,— вопрос о войне, а затем о том,— правду ли говорят столы. Хотелось бы мне прибавить к ним и третий, разрешение коего не перестает занимать меня посреди катастроф и чудес, но когда я спросил у стола насчет тебя, он набросал под моей рукой лишь фестоны и арабески, что меня вовсе не удовлетворило. Льщу себя надеждой, что в течение ближайшей недели я буду лучше осведомлен более обычным, но зато более точным путем — посредством письма, полученного по почте.

Здесь,— в салонах, разумеется,— беспечность, равнодушие и косность умов феноменальны. Можно сказать, что эти люди так же способны судить о событиях, готовящихся потрясти мир, как мухи на борту трехпалубного корабля могут судить об его качке... К счастью, это только пена, плавающая на поверхности, и так или иначе мы скоро увидим, что таится в глубине.

24. Э. Ф. Тютчевой

С.-Петербург. Понедельник. 16/28 ноября 1853.

Значит, верно, милая моя кисанька, что я мог пропустить две недели, не написав тебе. Каким образом это произошло? Был ли я болен? Нет. Перестал ли хоть на одно мгновенье думать о тебе? Ничуть не бывало,— ты можешь мне поверить. Но для меня становится все более и более невозможным писать тебе *безразличные* письма, говорить тебе о чем-либо другом, кроме того, что таится в недрах моей души. А это уже *было сказано,* и повторения в таких случаях кажутся чем-то иссушающим и оскорбляющим. По-видимому, изверившись во всем, я сделался недостоин выражать настоящие чувства, а может быть, даже и ощущать их. И вот почему, милая моя кисанька, все самое затаенное и самое искреннее, что я мог писать тебе раньше в минуты тоски, не могло производить на тебя иного впечатления, чем то, под влиянием которого ты говорила, что я принимаю все слишком трагически. Да, в недрах моей души — трагедия, ибо часто я ощущаю глубокое отвращение к себе самому и в то же время ощущаю, насколько бесплодно это чувство отвращения, так как эта беспристрастная оценка самого себя исходит исключительно от ума; сердце тут ни при чем, ибо тут не примешива-

ется ничего, что походило бы на порыв христианского раскаяния. Тем не менее состояние внутренней тревоги, сделавшееся для меня почти привычным, мне достаточно тягостно, поэтому я с благодарностью и нежностью принимаю все, что ты говоришь мне доброго и ласкового. Мне в самом деле хочется верить, что мое присутствие все еще представляется для тебя желанным как необходимое посредничество между миром и тобою, что оно еще сохранило для тебя нечто от своей прежней привлекательности. Это не только мне льстит, это меня успокаивает,— ибо если я еще способен погрузиться в стихию мира и внутреннего удовлетворения, так это только через тебя и около тебя, только тогда, когда ты в самом деле вновь станешь богом-ларом этого домашнего очага... Но, кисанька моя милая, не в упрек тебе будь сказано и не с намерением насиловать твою волю, этот бог-лар, как мне кажется, не слишком торопится возвратиться в свое жилище...

Спасибо, большое спасибо за два твоих последних письма,— последнее, от 6/18 ноября, очень меня позабавило, уверяю тебя. Знаешь ли, в твоем стиле проявляется подчас первостепенный талант, как, например, в сделанном тобою изображении мюнхенского общества, которое ты нашла все таким же, если не считать нескольких лишних морщин и этого неуловимого налета плесени, заметного лишь в первую минуту. Ты, действительно, должна была ощутить в этой среде то же, что спящая красавица в момент пробуждения. То, что ты говоришь мне о твоей домашней обстановке и образе жизни, представляется мне, увы, слишком уютным, слишком согласным с твоими вкусами и стремлениями. Благодетельное отсутствие забот и треволнений и сколько угодно воспоминаний, чтобы рассеять подчас смутную тревогу сердца... ах, милая моя киска...

С тобой ли Вяземские? Мне бы очень этого хотелось. Я прочел недавно его стихи о Венеции, которые действительно очень хороши. Своей нежностью и гармоничностью они напоминают движение гондолы. Что это за язык, русский язык! А по поводу русского, меня, конечно, нисколько не удивляет то, что ты говоришь о затаенном и чисто немецком недоброжелательстве, с каким наши лучшие друзья в Германии не преминули встретить новое свидетельство наших бедствий... Ах добряки, как это для них характерно!.. Это словно местное наречие, и я бы чувствовал себя в Германии непривычно, если бы не находил его во всех проявлениях их отношения к нам... Что же касается этой другой Европы, еще более западной, что касается Англии и Франции, что касается этой печати, органа общественного сознания, ставшей на сторону турок и полной бешенства и лжи,— в этом призвании к низости, в этом грязном *Labarum,* воздвигнутом против креста мнимыми христианскими обществами, во всем этом заключается нечто ужасающе роковое.

Этот скандал должен был произойти, я знаю, но горе тому, кто его вызвал. Что же касается до нас, находящихся здесь, против которых направлено все это бешенство, нам также придется сводить свои счеты с Провидением, и расплата может оказаться тяжелой... Я был, кажется, одним из первых, предвидевших настоящий кризис; ну так вот, я глубоко убежден, что этот кризис, столь медленно приближавшийся, будет гораздо страшнее и гораздо длительнее, нежели я предполагал. Остатка этого века едва хватит для его разрешения. Россия выйдет из него торжествующей, я знаю, но многое в теперешней России погибнет. То, что теперь началось, это не война, это не политика, это целый мир, который образуется и который для этого должен прежде всего обрести свою потерянную совесть... И по этому случаю, если бы я не боялся, моя киска, внушить тебе опасение за мой рассудок, я должен был бы рассказать тебе о некоторых явлениях, свидетелем коих я был вместе с несколькими другими лицами,— явлениях, которые следовало бы иметь смелость назвать их именем, но смелости этой мне недостает. Я видел, я осязал это чудо, столь же действительное, столь же неоспоримое, как и всякая другая действительность. Чтобы ему не верить, я должен был бы отвергнуть свидетельство своих внешних чувств, но *боязнь людского мнения* еще сильнее, чем очевидность. Но вот я уже дошел до конца своего письма. Откладываю до следующего тысячу вещей, которые я собирался еще тебе сказать. Кисанька, кисанька моя милая, веришь ли ты еще в мое существование?

25. Э. Ф. Тютчевой

С.-Петербург. Суббота. 19/31 декабря 1853.

Итак, наступил последний день года... Я запрещаю себе размышлять о чем-либо, возвращаться мысленно к каким-либо своим ощущениям, воздерживаюсь от предположений. Но бывают минуты, когда я невольно испытываю потребность во что бы то ни стало стряхнуть с себя дурной сон и не могу помешать себе думать, что странным образом распорядились мы с тобой нашим существованием и что не часто видишь двух людей, пользующихся вполне любовью друг друга, которые без всякой необходимости забавлялись бы игрой в разлуку. Но, еще раз, в сторону эти огорчительные размышления, и если уж мы вступаем в новый год, то позволь мне свести все мои пожелания к одному: пусть он не походит на тот, который скоро завершится.— Сегодня день св. Сильвестра, ты, может быть, вспомнила об одном бале у Дёнгофов в Мюнхене? Через двена-

дцать дней я, в свою очередь, буду вспоминать о моем прошлогоднем прибытии в Овстуг. Сколько связей между этими двумя датами! И однако ж, для меня по крайней мере, это все *та же жизнь.*

Со времени последнего письма, которое я тебе написал, я получил два твоих; из них одно, пришедшее последним, на две недели старее только что полученного мною письма от 5/17 числа этого месяца, ибо оно помечено 21 ноября/3 декабря. Это замешкавшееся письмо, находя, по-видимому, что недостаточно путешествовало, вздумало искать меня в Москве и вернулось ко мне оттуда. Это то письмо, в котором ты рассказываешь о твоем представлении королю и королеве баварским... И я также хотел бы вновь повидать их, и сколько других людей и вещей в Мюнхене, и Шлагинтвейта также. А больше всего мне хотелось бы отнять у них тебя.

Здесь наконец зима в полном разгаре, ибо у нас эти дни мороз доходил до пятнадцати градусов. Снег уже заскрипел и засвистел под полозьями, и извозчики[1] разрумянились по-зимнему... Должен тебе сказать, моя киска, что с каждым днем я все больше наслаждаюсь приятными чарами новой шубы, подаренной мне и позволяющей в 15-градусный мороз испытывать блаженное состояние, которое, конечно, можно по справедливости назвать *пошлой* негой... Но при всем том какое это ужасное время года!

Что касается сезона салонов, то он обещает нынешней зимой быть блестящим. Для меня уже в течение многих лет эти сезоны похожи один на другой, вопреки известной поговорке. Впрочем, есть нечто, что в этом году придает обществу более определенный характер, и конечно, это нечто — не безделица. Это озабоченность настоящим политическим положением, чувство, что так долго сдерживаемая борьба, несмотря на все усилия, разрывает одно за другим последние связывающие ее путы... На этих днях распространился слух, что союзные флоты вошли в Черное море. Этот слух был преждевременным, но он может и должен подтвердиться с минуты на минуту, ибо действительное примирение сталкивающихся интересов с каждым днем все более становится невозможным. Давно уже война висела в воздухе, теперь она сорвалась и все более и более разгорается в людях. Ничто не выражает так ясно всю меру ненависти к России, как это смехотворное бешенство французских и, в особенности, английских газет после наших последних успехов. Они самым серьезным образом вменяют ей в преступление и относят на ее счет столь известное изречение по поводу какого-то животного: оно было столь свирепо, что защищалось, когда на него нападали.— Что же до вероятного исхода борьбы, весь вопрос для меня сводится к следующему: окажется ли ненависть к нам Запада,

---

[1] В оригинале это слово — по-русски.— *Ред.*

как Запада католического, так и Запада революционного, в конечном счете сильнее ненависти, которая их разделяет? Весь вопрос в этом...

Вчера я обедал у г-жи Карамзиной, жены Андрея, с несколькими мужчинами, между прочим *Фонтоном,* советником нашего посольства в Вене, тем самым, который был прошлым летом в Сербии и, говорят, возвращается туда. Это умный и решительный человек, показавший себя именно таким недавно в черногорском деле, которое обязано своим спасением его своевременному и энергическому вмешательству перед венским кабинетом. Обед был очень оживленным, и никому бы не пришло в голову, что за два-три дня до того дом, где мы обедали, чуть было не сгорел. Огонь вспыхнул в первом этаже, в гостиной между бальным и малахитовым залами. Гостиная эта была совершенно испорчена: зеркала, мебель, обои, картины,— все повреждено... Но, к счастью, огонь тем и ограничился.

Говорил ли я тебе, киска, что изгнанник Тургенев вернулся в Петербург и живет по соседству со мной? Я часто и с удовольствием вижусь с ним. Он усиленно меня просил передать тебе от него поклон.— Я получил также посылку от Яковлева, который прислал мне в подарок свою непонятную книгу... А затем мне хотелось бы сказать тебе: до чего удовлетворительно мое письмо, не правда ли?..

26. Э. Ф. Тютчевой

С.-Петербург. Среда. 18 августа 1854.

Все, исходящее от тебя, моя милая кисанька, освежает меня и благотворно на меня действует; поэтому и твое милое письмо от 10 сего месяца (правда, немного запоздавшее) тотчас пролило бальзам на мою душу. Ах, покоя, покоя, во что бы то ни стало! Все царства мира за каплю покоя. Но, видимо, все окружающее сговорилось его у меня отнять. А тут еще древнее устаревшее пугало — холера — возникает с новой силой, точно она обижена общим, установившимся по отношению к ней равнодушием. Что значит это внезапное ее вторжение, вновь охватившее всю Европу? Но, как ты сама понимаешь, меня беспокоит не Европа вообще, а лишь одна ее точка, Москва, где, говорят, болезнь распространяется с невообразимой силой. Вот почему я окончательно решился скорей туда отправиться, чтобы быть там раньше тебя. Итак, я выеду отсюда, как только мне можно будет отлучиться, и хочу надеяться, что это станет осуществимо на будущей неделе, то есть через восемь или де-

сять дней. Очутившись в Москве, я несколько успокоюсь за тебя и увижу, что надо делать... Я не сомневался, что ты дотянешь свое пребывание в Овстуге до половины сентября, и теперь, ввиду этой чертовской холеры, такой довольно поздний срок меня как-то ободряет. До тех пор ее пыл немного утихнет, и кроме того, так как я буду на месте гораздо раньше этого времени, то и увижу, что тебе предписать. А вдруг эта подлая холера вздумает проникнуть к вам! Ведь в этом не было бы ничего удивительного! Как же при этих условиях сохранить хотя бы относительное спокойствие и свободу мысли! Ах, моя милая кисанька, ты никогда не узнаешь, сколько крови испортили мне продолжительные разлуки! Как я завидую твоему брату, который в эту бедственную эпоху может по желанию выбирать себе наиболее подходящий приют, увозя с собою тех, кто ему дороже всего! Но должен признаться, что он более достоин этого счастья, нежели я. Воспоминание о его семейном быте также принадлежит к числу вещей, наиболее благоприятно действующих на мое настроение. Я бы уж давно ответил ему, если бы мог на минуту преодолеть невыразимое отвращение, омерзение, смешанное с бешенством, которое вызывает во мне зрелище всего происходящего. О, негодяи! Бывают мгновения, когда я задыхаюсь от своего бессильного ясновидения, как заживо погребенный, который внезапно приходит в себя. Но, к несчастью, мне даже не надо приходить в себя, ибо более пятнадцати лет я постоянно предчувствовал эту страшную катастрофу,—к ней неизбежно должны были привести вся эта глупость и все это недомыслие. И одна лишь чрезмерность катастрофы минутами заставляла меня сомневаться в том, что мы осуждены видеть ее осуществление. Мальтиц совершенно прав, говоря в письме, которое я только что от него получил и тебе пересылаю, что хотелось бы умереть от избытка печали и отвращения. А это еще только начало! На этих днях мы узнали из иностранных газет, стало быть враждебных, об окончательном занятии Аландских островов, вследствие сдачи крепости. Теперь надо читать газеты... Читая их, понимаешь *флагеллантов* и тот род удовольствия, которое они испытывают, заставляя себя бичевать...

Ах, давай поговорим о другом. Ты можешь считать квартиру, о коей шла речь, прочно и крепко за нами. Но все это станет несколько более реальным в моих глазах только тогда, когда ты будешь здесь и сама ее увидишь. А мне кажется, что целые века отделяют меня от этого момента... Ну, что бог даст. Я все еще одной ногой в городе, другой на Островах и останусь в этом неопределенном положении до моего отъезда в Москву.

Я уж с неделю не видел Анны и не могу отправиться к ней завтра, как предполагал, ибо завтра обедаю у княгини Салтыковой, а вечер проведу у Юсуповой. Но как все это пусто и доставляет ма-

ло удовлетворения! На днях у нас был ужасный пожар в части города, смежной с царскосельской железной дорогой. Более ста домов стали добычей пламени; в огне погибли несколько женщин, детей и кое-кто из пожарных. Это уж, право, лишняя роскошь в данном положении <*нрзб*>.

Смирнова, о которой ты мне пишешь, еще не приехала,— по крайней мере я этого не слышал,— а что касается Вяземских, никто из тех, кто мог бы иметь о них известия, ничего о них не знает. Что до письма княгине, оно было отправлено тотчас по получении...

Предоставляю Анне заботу держать вас в известности относительно возможного назначения Дарьи. Судя по тому, что Анна узнала от Воейковой об одном разговоре по этому поводу, есть основание думать, что дело решено, по крайней мере в принципе, но решение это держат про себя, предполагая огласить его лишь после того, как увидят Дарью по ее возвращении сюда. Вот почему Анна настаивает на желательности этого возвращения *до* 15 сентября, т. е. до переезда из Петергофа.

Моя милая кисанька, я, конечно, напишу твоему брату, но все-таки ты и сама расскажи ему обо мне и о моем чрезвычайном желании как можно скорее поехать к нему с тобой куда угодно — хотя бы опять на *Риги-Кульм,* к вершине которого ты, по-видимому, навсегда почувствовала такое же влечение, как и я, и была столь добра, что отпраздновала годовщину своего пребывания там. То, что ты мне пишешь про бедного Яковлева[1] (какой переход!), так же грустно, как и все прочее. Постарайся уверить его, не слишком упирая на его несчастье, в моем горестном ему сочувствии. Ах, бедный, милый человек, столь безобидный, что сделал он, чтоб заслужить подобную судьбу! И будут еще говорить, что это ему на благо! Что касается моего блага — то это ты, и я хочу, чтобы все это знали.

27. Э. Ф. Тютчевой

<С.-Петербург.> Суббота. 17 сентября <1855>.

Милая моя кисанька, итак с прошлого вторника я снова водворился в Петербурге,— ровно через шесть недель после того, как покинул это приятное местопребывание. На этот раз я совершил путешествие в многочисленном обществе знакомых. Кроме княгини Юсуповой[2], тут были Муравьевы[3], граф Перовский[4], бывший ми-

[1], [2], [3], [4] В оригинале фамилии — по-русски.— *Ред.*

нистр внутренних дел, со своим племянником графом Алексеем Толстым, голландский посланник г-н Дюбуа, и т. д. и т. д. Это было не так скучно, как путешествие по ту сторону Москвы, однако все-таки весьма утомительно, и я порядком измучился, но не столько по причине неудобств для себя лично, сколько в предвидении того, как потом измучаешься ты. И, однако, чего бы я ни дал, чтобы знать, что ты уже на этой пресловутой железной дороге и первая часть путешествия, полная всяких передряг, которые трудно предусмотреть и преодолеть, осталась для тебя позади.

Приехав сюда, я нашел квартиру наводненной малярами и мусорщиками, уже окончившими половину работы (твои комнаты уже отделаны) и собирающимися приняться за мою комнату, так что на первые ночи я перенес свое временное ложе в твою спальню.

В данную минуту мое писание прервано Щукой, который подал мне твое письмо. Поэтому позволь мне на мгновение тебя покинуть, чтобы тебя прочитать...

Благодарю, моя киска, ты пишешь, как никто другой, и невозможно лучше тебя излагать свои мысли... Твой слог почти столь же выразителен, и выразительность его почти столь же приятна, сколь приятно выражение твоего милого и прелестного лица... Что касается содержания твоего письма, помеченного 11-м, то известия, полученные с тех пор, раскрыли перед тобой все значение севастопольской катастрофы... О да, ты вполне права,— наш ум, наш бедный человеческий ум захлебывается и тонет в потоках крови, по-видимому,— по крайней мере так кажется,— столь бесполезно пролитой... И это ужасное бедствие, вероятно, только исходная точка, первое звено целой цепи еще более страшных бедствий... Я считаю Крым потерянным и армию князя Горчакова поставленной в очень тяжелые условия. Здесь почти все разделяют это мнение — и действительно нельзя обманывать себя относительно огромной опасности положения. Ибо что может быть серьезнее такого положения, когда даже некоторые успехи — в той мере, в какой они возможны — только продлили бы, как это было под Севастополем, агонию защитников и, самое большее, заставили бы противника направить на другое место свой удар, хотя и там не было бы ни малейшей надежды отвести или отразить его. Никогда еще, быть может, не происходило ничего подобного в истории мира: империя, великая, как мир, имеющая так мало средств защиты и лишенная всякой надежды, всяких видов на более благоприятный исход.

Чтобы получить более ясное понятие о сущности этой борьбы, следует представить себе Россию, обреченную только одной рукой отбиваться от гигантского напора объединившихся Франции и Англии, тогда как другая ее рука сдавлена в тисках Австрии, к которой тотчас примкнет вся Германия, как только нам вздумается вы-

свободить эту руку, чтобы попытаться схватить теснящего нас врага... Для того чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злосчастного человека, который в течение своего тридцатилетнего царствования, находясь постоянно в самых выгодных условиях, ничем не воспользовался и все упустил, умудрившись завязать борьбу при самых невозможных обстоятельствах. Если бы кто-нибудь, желая войти в дом, сначала заделал бы двери и окна, а затем стал пробивать стену *головой*, он поступил бы не более безрассудно, чем это сделал два года тому назад незабвенный покойник. Это безрассудство так велико и предполагает такое ослепление, что невозможно видеть в нем заблуждение и помрачение ума одного человека и делать его одного ответственным за подобное безумие. Нет, конечно, его ошибка была лишь роковым последствием совершенно ложного направления, данного задолго до него судьбам России,— и именно потому, что это отклонение началось в столь отдаленном прошлом и теперь так глубоко, я и полагаю, что возвращение на верный путь будет сопряжено с долгими и весьма жестокими испытаниями. Что же касается конечного исхода борьбы в пользу России, то, мне кажется, он сомнителен менее, чем когда-либо.

Все эти общие соображения не мешают мне глубоко сочувствовать весьма законным тревогам твоего брата, который, конечно, имел право ожидать более удовлетворительного результата от стольких поистине изумительных усилий, упорства и самоотверженности на пользу своей семьи.

Но вот бумага кончается, а я еще ничего тебе не сказал. Вчера я обедал у Блудовых с Козловой и т. д. Все тебе очень кланяются и очень желают твоего возвращения. Сегодня я послал за Дмитрием, который чувствует себя прекрасно. Сейчас он обедает у Мельниковых, а вечером поедет в сопровождении Палагеи[1] к Анне в Царское, где я рассчитываю встретиться с ним завтра, в воскресенье. Там ожидают сегодня императрицу-мать; государь возвращается 28-го.

Город в отношении общества еще довольно безлюден. Кое-кто еще на Островах; Вяземские, кажется, еще в Лесном и т. д. и т. д.

Но как могу я говорить с тобой на расстоянии тысячи верст? Раз и навсегда я требую, чтобы ты вернулась,— слышишь ли?

---

[1] В оригинале имя — по-русски.— *Ред.*

28. А. Д. Блудовой

<Петербург.> Суббота. 28 сентября <1857>.

Возвращаю вам ваш дневник, дорогая графиня. Если бы я не опасался пышных слов, то сказал бы вам, что прочел его не только с восхищением и интересом, но с благоговейным умилением, и это не было бы преувеличением... Да, конечно, если бы дух, которым проникнуты эти несколько листков, мог каким-либо чудом переселиться во всех нас, сделаться душой власти, администрации, высших классов,— одним словом, всей официальной России,— тогда, быть может, нам и удалось бы спастись, то есть Святая Русь смогла бы осуществить преобразования, ставшие неизбежными, не проходя через все испытания, столь ею заслуженные.

В истории человеческих обществ существует роковой закон, который почти никогда не изменял себе. Великие кризисы, великие кары наступают обычно не тогда, когда беззаконие доведено до предела, когда оно царствует и управляет во всеоружии силы и бесстыдства. Нет, взрыв разражается по большей части при первой робкой попытке возврата к добру, при первом искреннем, быть может, но неуверенном и несмелом поползновении к необходимому исправлению. Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются за Людовиков пятнадцатых и Людовиков четырнадцатых.

По всей вероятности, то же самое постигнет и нас в том страшном кризисе, который — немного раньше или немного позже, но неминуемо — мы должны будем пережить. С моей точки зрения, все будущее задуманной реформы сводится к одному вопросу: сто́ит ли власть, призванная ее осуществить,— власть, которая вследствие этой реформы сделается как бы верховным посредником между двумя классами, взаимоотношение коих ей надлежит упорядочить,— сто́ит ли она выше двух классов в нравственном отношении? И здесь — поймите меня правильно — я говорю не о нравственности ее представителей, более или менее подначальных, и не о нравственности ее внешних органов, составляющих ее руки и ноги... Я говорю о самой власти во всей сокровенности ее убеждений, ее нравственного и религиозного credo[1], одним словом — во всей сокровенности ее совести. Отвечает ли власть в России всем этим требованиям? Какую веру она исповедует и какому правилу следует? Только намеренно закрывая глаза на очевидность, дорогая графиня, можно не замечать того, что власть в России — такая, какою ее образовало ее собственное прошедшее своим полным разрывом со страной и ее историческим прошлым, что эта власть не признает

---

[1] исповедания веры *(лат.)*.

и не допускает иного права, кроме своего, что это право — не в обиду будь сказано официальной формуле — исходит не от бога, а от материальной силы самой власти, и что эта сила узаконена в ее глазах уверенностью в превосходстве своей весьма спорной просвещенности. Переберите одного за другим всех наших государственных и правительственных деятелей, прислушайтесь к их словам, вникните в самую суть их убеждений, и вы найдете, за одним или двумя исключениями, что у всех, даже у лучших, по-видимому, нет иного credo, кроме того, о котором я только что сказал... Одним словом, власть в России на деле *безбожна*, ибо неминуемо становишься безбожным, если не признаешь существования живого непреложного закона, стоящего выше нашего мнимого права, которое по большей части есть не что иное, как скрытый произвол. В особенности грустно и безнадежно в настоящем положении то, что у нас все общество — я говорю об обществе привилегированном и официальном — благодаря направлению, усвоенному им в течение нескольких поколений, не имеет и не может иметь другого катехизиса, кроме катехизиса самой власти.

Вот почему мне кажется неизбежным, что в продолжение первого времени по крайней мере,— а долго ли они продлятся, эти первые времена, господь ведает,— истинное значение задуманной реформы сведется к тому, что произвол в действительности более деспотический, ибо он будет облечен во внешние формы законности, заменит собою произвол отвратительный, конечно, но гораздо более простодушный и, в конце концов, быть может, менее растлевающий... И вот почему, графиня, слово ваших крестьян есть, может быть, последний крик всей исторической России: *мы не хотим быть казенными*[1].

И тем не менее никто лучше меня не сознает того, что мы пройдем через эту фазу,— мы обязаны через нее пройти, чтобы понести в пути все наказания, столь нами заслуженные.

Целую ваши ручки, такие честные, и еще раз благодарю вас за удовольствие, доставленное мне чтением вашего дневника.

Тютчев

29. Э. Ф. Тютчевой

Москва. Понедельник. 27 апреля 1859.

Ну, моя милая кисанька, получила ли ты мою телеграфическую депешу, вызванную моим желудочным заболеванием? Пока что мне кажется, будто прошел целый век с тех пор, как я тебя покинул,

---

[1] Начиная со слов: «И вот почему, графиня...», написано по-русски.— *Ред.*

и если бы это зависело только от меня, я тотчас, не откладывая на завтра, уехал бы к тебе — до того меня подгоняет уверенность в несомненности шестого числа будущего месяца и неуверенность в моем собственном отъезде. Льщу себя надеждой, что письмо, которое я рассчитываю наверняка получить сегодня же,— *сегодня же получить*, прольет какой-нибудь свет на этот последний вопрос. Полагаясь на письма Дарьи, которые, думаю, достаточно подробно изложили наше предыдущее времяпрепровождение, я расскажу тебе только о состоявшемся третьего дня у Сушковых полурауте из лиц частью мне знакомых, частью неизвестных и завершившемся ужином, а также и о вчерашнем публичном заседании некоего литературного общества, только что воскресшего после более чем тридцатилетнего перерыва,— общества, к которому, помнится, я, увы, когда-то принадлежал в качестве члена-сотрудника. На этот раз я совершил невероятный подвиг, так как был *вполне* готов к часу дня, дабы присутствовать на этом заседании с многочисленной публикой (даже дамами), но, должен признаться, более многочисленной, чем нарядной. Мне пришлось занять место действительного члена за длинным столом, покрытым красным сукном, где я и восседал, подобно другим, в кротком величии, под благожелательными взглядами общего любопытства. Председатель *Хомяков*[1] на сей раз был во фраке и, скорчившись на своем кресле, представлял самую забавную из когда-либо виденных мною фигур председателей. Он открыл заседание чтением весьма остроумной речи, написанной прекрасным языком, на вечную тему о значении Москвы и Петербурга. Затем читали письмо приятеля моего Павлова, все трепещущее злободневностью и которому очень рукоплескали, затем стихи об Италии и т. д. Я сидел между *Шевыревым*[2] и *Погодиным*[3]. Все вместе взятое носило отпечаток безмятежной торжественности, слегка умерявшейся чуть приметным оттенком смешного. Женская половина слушателей в целом показалась мне некрасивой, но преисполненной сочувствия и интереса к заседанию, на коем она присутствовала. Положительно Москва архилитературный город, где все эти писатели и читатели принимаются, как нечто весьма серьезное, и где, само собой разумеется, господствует и управляет кружок,— я имею в виду литературный кружок, самый невиносимый из всех. Я был бы не в состоянии жить здесь, в этой среде, столь мнящей о себе и чуждой всем отголоскам извне. Так, например, я не уверен, чтобы ребяческий интерес к вчерашнему заседанию не пре-

---

[1,2,3] В оригинале фамилии — по-русски.— *Ред.*

обладал в мыслях здешней публики над интересом к грозным событиям, готовящимся за рубежом. Сегодня я обедаю с *Сушковым*[1] у друга моего Павлова[2], где будет редактор «Русского вестника»[3]. Вчера, на заседании, я видел Ал. *Карамзина*, который очень настаивал на том, чтобы я навестил его жену, живущую, увы, в Замоскворечье. У меня набралась тысяча подобных поездок, которые я, быть может, и попытался бы осуществить, если бы не невероятное нагромождение на улицах булыжников и камней, которые положительно мешают движению. Я ничего не сказал тебе из того, что хотел сказать, но я жду твоего письма. От души целую мою дорогую Мари. А тебя, моя милая кисанька?

30. Е. Ф. Тютчевой

<Петербург. Конец ноября 1859.>

Спасибо, моя милая дочь, за твое сердечное внимание. Как было бы мне приятно, моя добрая, дорогая Китти, поблагодарить тебя за более удовлетворительные вести о твоем здоровье! Ах, твое злосчастное здоровье составляет не меньшую из моих забот, и я предупреждаю тебя, что решительно не согласен разделять ту чересчур героическую покорность, с которой ты принимаешь свое теперешнее состояние как нечто непоправимое. Нет, конечно, так не должно быть и нельзя в твоем возрасте считать себя обязанной уступать поле битвы болезни.

Ах, моя милая дочь, конечно, много добрых фей являлось одарить вас при рождении, но вслед за ними какая-то старая колдунья — все та же — старалась испортить их лучшие дары. Эта злая фея была, по-видимому, старой девой!

Здесь сейчас мы прямо-таки закружились в балах. Танцуем не то что на вулкане, скорее на болоте, и возможно, кончится тем, что оно нас поглотит. В будущем, разумеется, ничего радостного, ничего утешительного, куда ни посмотри.

А что наша милая Дарья, когда мы ее увидим? Дружески кланяюсь твоим дядюшке и тетушке и нежно обнимаю тебя.

[1,2] В оригинале фамилии — по-русски.— *Ред.*

[3] В оригинале название журнала — по-русски.— *Ред.*

31. А. И. Георгиевскому

С.-Петербург. 8 августа <1864>.

Александр Иваныч!

Все кончено — вчера мы ее хоронили...

Что это такое? Что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенным идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти — не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто — мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно — невыносимо. Писать более не в силах, да и что писать?..

Ф. Тчв.

32. А. И. Георгиевскому

С.-Петербург. Четверг. 13 августа <1864>.

О, приезжайте, приезжайте, ради бога, и чем скорее, тем лучше! Благодарю, от души благодарю вас!

Авось либо удастся вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня... Самое невыносимое в моем теперешнем положении есть то, что я с всевозможным напряжением мысли, неотступно, неослабно, все думаю и думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее... Простое сумасшествие было бы отраднее...

Но... писать об этом я все-таки не могу, не хочу,— как высказать эдакий ужас!

Но приезжайте, друг мой, Александр Иваныч! Сделайте это доброе христианское дело. Жду вас к воскресенью. Вы, разумеется, будете жить у меня. Привозите с собою ее последние письма к вам...

Обнимаю милую, родную Марью Александровну и детей ваших.

Страшно, невыносимо тяжело.

Весь ваш Ф. Тютчев

33. Я. П. Полонскому

<Петербург.> Суббота. 15 августа <1864>.

Что с вами, друг мой Яков Петрович, что ваше здоровье? — О, как мне больно, и за вас и за себя, что вы нездоровы.

Мне с каждым днем хуже. Надо ехать, бежать — и не могу решиться. — Воля убита, все убито.

Знаете ли, что мне пришло в голову в моем тупом отчаянии? — Что, если бы вы мне дали увезти себя за границу — хоть на несколько недель? Отпуск получить не трудно, а вы бы спасли меня — в буквальном смысле спасли? — Подумайте и отвечайте. Еще почти неделя до моего отъезда.

Вам от души преданный

Ф. Тютчев

34. Д. Ф. Тютчевой

Женева. 8/20 сентября <1864>.

Благодарю, моя милая дочь, — я получил почти одновременно оба твои письма от начала этого месяца, а также и то, в котором ты писала обо мне госпоже Петровой... Дочь моя... я хотел бы написать тебе слезами, а не чернилами. В твоих словах, в их интонации я ощутил нечто столь нежное, столь искренно, столь глубоко прочувствованное, что — знаешь ли — мне почудилось, будто я слышу отзвук другого голоса... никогда в течение четырнадцати лет не говорившего со мной без душевного волнения, того голоса, что и посейчас еще звучит в моих ушах и которого я никогда, никогда более не услышу... Спасибо, дочь моя, спасибо, что так со мной говорила... Глубоко растрогало меня в твоих словах и соответствие наших мыслей... Ибо в ту минуту, как ты писала мне, что с нетерпением ожидаешь, когда-то я скажу тебе, что *ты мне можешь быть на что-нибудь полезна,* — я говорил сам себе, я даже сказал это Анне, что если б что и могло меня подбодрить, создать мне по крайней мере видимость жизни, так это сберечь себя для тебя, посвятить себя тебе, мое бедное, милое дитя, — тебе, столь любящей и столь одинокой, внешне столь мало рассудительной и столь глубоко искренней, — тебе, кому я, быть может, передал по наследству это ужасное свойство, не имеющее названия, нарушающее всякое равновесие в жизни, эту жажду любви, которая у тебя, мое бедное дитя, осталась неутоленной. Ах, да, если бы я мог, за неимением лучшего и в ожидании лучшего, быть чем-нибудь в твоей жизни, создать те-

бе по крайней мере некое обманчивое подобие жизни в пустоте и тщете твоего существования, так вот, может статься,— это и меня вывело бы из того безнадежного оцепенения, в коем я нахожусь и которое лишает меня даже способности подыскать слова для его выражения. Одним словом, я желал бы, дочь моя, чтобы эти оставшиеся во мне осколки жизни души и сердца, ни к чему более не пригодные, были пригодны тебе. Избави меня боже быть неблагодарным, но никто не может себе представить моего состояния — оцепенение оно или мука, но оно всегда отчаяние...

Говеть я буду на будущей неделе и именно здесь, а не в другом месте; до сих пор я чувствовал, что моя душа — как бы тебе сказать — слишком неустойчива, дабы приступить к этому таинству,— помолись обо мне...

Скажи Китти, что я обнимаю ее от всего сердца и благодарю. Я знаю, я понимаю, сколько горячего чувства таится за ее рассудительностью, и как подчас нелегко дается ей эта рассудительность... Да сохранит вас обеих господь, и да воздаст он вам за вашу любовь к вашему бедному отцу.

Ф. Т.

35. М. А. Георгиевской

Женева. 6/18 октября 1864.

Милый, дорогой друг! Позвольте мне сказать вам то, что, впрочем, вы слишком хорошо знаете,— что с тех пор, как ее нет, ничто не существует для меня, кроме того, что было связано с ней, что имеет до нее отношение. Предоставляю вам судить после этого, какое место занимаете вы в моем сердце... Ах, чего бы только я не дал, чтобы быть с вами и с вашим мужем! Ах, да, для меня существуют только те, кто знал ее и любил. Сейчас *все* говорят со мной о ней с большим участием — слишком поздно — увы! — слишком поздно. С очень большой теплотой говорила со мной о ней недавно великая княгиня Елена, она обещала мне даже поддержку для моей маленькой *Лёли*, которую она увидит у m-lle Труба по возвращении в Петербург... Ах, если бы не *ее* дети, я знаю, где бы я теперь был. Как видите,— ничто не изменилось, я все еще чувствую себя как на другой день после ее смерти... Умоляю вас и вашего мужа, если у него есть на это время,— пишите мне в Ниццу, до востребования... Обнимаю и благословляю ваших милых детей. Ах, милый друг мой, я очень несчастлив.

Вам обоим несказанно преданный

Ф. Тютчев[1]

---

[1] Последнее предложение и подпись — по-русски.— *Ред.*

36. Я. П. Полонскому

Ницца. 8/20 декабря 1864.

Друг мой, Яков Петрович! Вы просили меня в вашем последнем письме, чтобы я написал вам, когда мне будет легче, и вот почему я не писал к вам до сегодня. Зачем я пишу к вам теперь, не знаю, потому что на душе все то же, а что это — то же — для этого нет слов. Человеку дан был крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает...

С той минуты, как я прошлым летом встретил вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед вами о том, что мне претило,— и до сей минуты, если бы год тому назад все мною пережитое и перечувствованное приснилось бы мне с некоторой живостью, то — мне кажется — я, не просыпаясь, тут же бы на месте и умер от испуга.— Не было, может быть, человеческой организации, лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений.— Еще при ее жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у нее, живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, нашего общего прошедшего,— я помню, какою страшною тоскою отравлялась тогда вся душа моя — и я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — все это, что и теперь уже так страшно, придется одному из нас повторять одинокому, переживши другого», но эта мысль пронизывала душу — и тотчас же исчезала. А теперь?

Друг мой, теперь все испробовано — ничто не помогло, ничто не утешило,— не живется — не живется — не живется...

Одна только потребность еще чувствуется. Поскорее торопиться к вам, туда, где что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею,— так что за этот бы день, прожитый с нею тогдашнею моею жизнью, я охотно бы купил, но ценою — ценою чего?.. Этой пытки, ежеминутной пытки — этого удела — чем стала теперь для меня жизнь... О друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело. Я знаю, часть этого вы на себе самом испытали, часть, но не все,— вы были молоды, вы не четырнадцать лет...

Еще раз меня тянет в Петербург, хотя и знаю и предчувствую, что и там... но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь... Здесь даже некуда и приютить своего горя.

Мне бы почти хотелось, чтобы меня *вытребовали* в Петербург именем нашего комитета, к чему, кажется, есть и причины — вследствие нездоровья г-на Комаровского — что он, бедный?

Очень, очень отрадно будет мне с вами увидеться, милый мой Яков Петрович. Скажите то же от меня и Майкову.— Обоих вас от души благодарю за вашу дружбу, и много, много дорожу ею... Господь с вами.— Простите и до близкого свидания.

Ф. Тютчев

37. А. И. Георгиевскому

Ницца. 13/25 декабря <1864.>

Друг мой Александр Иваныч, вы знаете, как я всегда гнушался этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв сердечных... Боже мой, боже мой, да что общего между стихами, прозой, литературой — целым внешним миром — и тем... страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит,— этою жизнию, которою вот уже пятый месяц я живу и о которой я столько же мало имел понятия, как о нашем загробном существовании. И *она*-то — вспомните, вспомните же о ней — она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить — так легко — и так отрадно — она — она обрекла-то теперь меня на эти невыразимые адские муки.

Но дело не в том.

Вы знаете, она, при всей своей высоко поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих — ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней — выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня — в этом заключалось ее высшее — не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее...

Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя — не имя, которого она не любила, но она. И что же — поверите ли вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование *не совсем великодушно*, что, зная, до какой степени я весь ее («ты *мой собственный*», как она говаривала), ей нечего, незачем было желать еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех

сцен, слишком вам известных, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие. Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал — и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы — и так пошло, так подло — на все ее вопли и стоны — отвечал ей этою глупою фразой: «Ты хочешь невозможного...»

Теперь вы меня поймете, почему не эти бедные, ничтожные вирши, а мое полное имя под ними я посылаю к вам, друг мой Александр Иваныч, для помещения хоть бы, например, в «Русском вестнике».

Весь ваш Ф. Тютчев

38. И. С. Аксакову

С.-Петербург. 8 декабря 1865.

Много благодарны, почтеннейший Иван Сергеевич, за вашу последнюю передовую статью. Это настоящее *argumentum ad hominem*[1] или, по-русски, она угодила нам не в бровь, а прямо в глаз.— Надеюсь, что в следующем № вы оговоритесь и положительно объявите, что при невыполненном условии вы отказываетесь от всякой полемики.

Но все это, увы,— пока ни к чему не поведет. Недоразумение, непонимание вопроса — не в одних правительственных лицах, но в самой общественной среде. Я третьего дня обедал у князя Горчакова. Нас было человек девять — людей, считающихся весьма образованными и либеральными. И что же? Из них из всех один только понимал как следует значение так верно вами поставленного вопроса, а именно, что всякое вмешательство Власти в дело Мысли не разрешает, а затягивает узел, что будто бы пораженное ею ложное учение — тотчас же, под ее ударами,— изменяет, так сказать, свою сущность и вместо своего *специфического* содержания приобретает вес, силу и достоинство угнетенной мысли. Но еще раз — этого им не

---

[1] довод, рассчитанный на данное лицо *(лат.)*.

скоро понять, так как даже и их учители в Западной Европе не могли еще этого совершенно в толк взять...

Нас опять и по этому вопросу привела к абсурду наша нелепая бестолковая подражательность.— Я тогда еще им старался выяснить, что пересадка на нашу почву французской системы предостережений составит колоссальную нелепость. Во Франции это мера чисто полицейская, выработанная обстоятельствами для прикрытия личности теперь господствующей партии от слишком рьяного напора соперничествующих партий. Тут есть смысл и толк, как во всяком деле необходимости,— вот почему французское avertissement[1] заключило себя в определенной, довольно тесной сфере, оставляя вне оной все, что собственно может назваться *доктриной,* ученьем... Между тем как у нас, с первых же пор, эта система предостережений присвоила себе безграничную юрисдикцию по всем вопросам — и решает, как ей угодно, все *познаваемое* и изглаголанное... И все эти нравственные чудовищности и вопиющие нелепости проявляются у нас с таким милым, детским простодушием.— И вот почему, дорогой Иван Сергеевич, ваш «День», *во что бы то ни стало,* не должен ни на минуту сходить с нашего горизонта. Значение ваше не в рати, а в знамени. Знамя это создаст себе рать, лишь бы оно не сходило с поля битвы.— Не бросайте и не передавайте его.— Это мое задушевное убеждение.

Ф. Тютчев

39. А. Ф. Аксаковой

Петербург. Пятница. 25 февраля 1866.

Моя милая дочь, моя добрая и счастливая Анна, ради бога, прости мне мое молчание и, главное, не истолковывай его в дурном смысле. Видит бог, это не равнодушие, это даже не лень, это нечто... о чем бесполезно говорить. Я чувствую вас, вижу вас в полном обладании жизнью, той жизнью, к которой ты не переставала стремиться и которую так заслуживала... Что же касается меня, то моя жизнь положительно кончена, *мертва и погребена.* Но надо испытать это состояние, чтобы понять, что это такое, и как в этом случае, перед лицом живой жизни, совершенно естественно становишься скованным и молчаливым, как мертвец...

Тем не менее, верь мне, дочь моя, что я читаю твои письма с полным сердечным удовлетворением. Я словно присутствую при

[1] предостережение *(фр.).*

осуществлении чу́дного сна и не могу достаточно возблагодарить бога за его на то соизволение. В твоем счастье есть нечто, удовлетворяющее меня вполне и отвечающее всем моим убеждениям, ибо ты хорошо знаешь, что твой муж всегда принадлежал к числу моих лучших убеждений. Я так ему признателен за то, что он есть, а главное, за то, что он обладает характером, столь отличным, со всех точек зрения, от моего... Ты тоже должна ценить это. О да, мне очень хотелось бы увидеть, как вы живете — ясным весенним днем, когда распускается первая листва — под той самой кровлей, которая столь часто давала приют милым и мыслящим людям. Немало значит — наследовать такое прошлое. И все-таки, дочь моя, — смею ли я вам в этом признаться, — даже при всем вашем теперешнем счастье я не перестаю жалеть о «Дне»[1] и желаю от всей души, чтобы у вас было и то и другое... И не мне одному так сильно недостает «Дня». Его недостает русской современной мысли, и недостаток этот не может не вызвать в скором времени понижения ее уровня.

У нас здесь полный кризис внешней политики, из-за Дунайских княжеств, и как раз сегодня государь должен сделать выбор между Горчаковым и Будбергом, который находится здесь. Точно определить, в чем состоят разногласия между этими двумя господами, дело нелегкое. Во всяком случае тут больше личных мотивов, чем политических. Пикантной подробностью дела является сверхрусский патриотизм Будберга, он не признает никакой осмотрительности, никакого промедления и решительно стремится стать русским Бисмарком. Нет ничего страшнее русского патриотизма у немца. Это все равно что взбунтовавшийся трус... а между тем *необдуманные выходки* более чем когда-либо явились бы нелепостью в нашей политике, каковой, для достижения успеха, нужно лишь понимание самой себя и предоставление дела времени и силе вещей. — Мне очень бы хотелось воспользоваться обеими этими вспомогательными силами для восстановления здоровья нашей дорогой Дарьи. Бедняжка — по милости неясно какого органического изъяна в ее моральном существе, — уже сейчас дошла до того, что *жизнь ей в тягость,* состояние, на которое жаловался некто, достигнув столетнего возраста. Она поставила себя в такое положение, что, право, не знаешь, как к ней подступиться.

Но, прежде чем кончить, вот поручение к твоему мужу, за которое мне пришлось взяться. Оно исходит от молодого князя Волконского, коему твой муж обещал прислать несколько экземпляров своей заметки по поводу кончины его отца.

А теперь, еще раз, да хранит вас обоих господь.

Сердечно ваш *Ф. Т.*

[1, 2] В оригинале название газеты — по-русски. — *Ред.*

40. Ю. Ф. Самарину

<Петербург.> Понедельник. 15 мая <1867.>

Дорогой Юрий Федорович[1].

Полонский[2] недавно прочел мне стихотворение, написанное им для настоящего случая и которое он хотел сообщить вам. Я полагаю, что эти стихи могли бы вполне с честью появиться на одном из ваших собраний.— Кстати, о стихах: соблаговолите, пожалуйста, при чтении моих — если они будут прочитаны — восстановить зачеркнутую строфу, предпочтительно перед другой. Простите мне эту мелочность стихотворца.— Amor nugarum[3]...

Я еще не осведомлен о том, что происходило вчера в Царском. Знаю только, что государь говорил с ними по-русски, а это — главное. Петербург хорошо справился со своим делом, теперь очередь за Москвой.

Чем больше я думаю, тем более прихожу к убеждению, что, помимо вопросов о подробностях и их применении, существует одна точка зрения, одна *Grundansicht,* которую надо особенно выдвинуть как в официальных речах, так и частных беседах. И хотя, взятая отвлеченно, эта точка зрения кажется лишь общим местом, тем не менее, в ней заключается разрешение задачи. Все зависит от того, *как* славяне понимают и чувствуют свои отношения к России. В самом деле, если они — а к этому весьма склонны некоторые из них,— если они видят в России лишь силу — дружескую, союзную, вспомогательную, но, так сказать, *внешнюю,* то ничего не сделано и мы далеки от цели. А цель эта будет достигнута лишь тогда, когда они искренно поймут, что составляют *одно* с Россией, когда почувствуют, что связаны с нею той зависимостью, той органической общностью, которые соединяют между собой все составные части единого целого, действительно живого. Увы, через сколько бедствий вероятно придется им пройти прежде, чем они примут эту точку зрения, целиком и со всеми ее последствиями. Однако, и в настоящее время ясное и точное провозглашение этой истины в виде философской формулы было бы, по-моему, весьма кстати; и, конечно, никто, кроме вас, милый друг, не в состоянии сообщить этому провозглашению большей полноты, значения и — авторитетности.

---

[1] В оригинале имя — по-русски.— *Ред.*
[2] В оригинале фамилия — по-русски.— *Ред.*
[3] Любовь к мелочам *(лат.).*

Я вполне сознаю, что для того, чтобы наша проповедь оказалась последовательной и действенной, нам следовало бы сначала обратить ее к тем, кто нами правят и являются официальными представителями России. Это их бы надо было сперва научить, каковы истинные их отношения к ней,— смотрите, мол, что происходит. Смотрите, с какой безрассудной поспешностью мы хлопочем о примирении держав, которые могут прийти к соглашению лишь для того, чтобы обратиться против нас. А почему такая оплошность? Потому, что до сих пор мы еще не научились различать наше *я* от нашего *не я*. Как же называют человека, который потерял сознание своей личности? Его называют *кретином*. Так вот сей кретин — это наша политика.

Простите, дорогой Юрий Федорович[1], за всю эту болтовню — и счастливого пути.

Ф. Тютчев

41. М. Ф. Бирилевой

<Петербург. Вторая половина августа 1867.>

Обращаюсь теперь к тебе, моя милая Мари, чтобы поблагодарить тебя за письмо, несколько успокоившее и очень заинтересовавшее меня. Что касается моих опасений, которые могли бы быть устранены лишь личным присутствием, отсылаю тебя к тому, что я только что написал мама́, умоляя тебя *никогда ничего не скрывать* от меня под предлогом оберегания моих нервов, не стоящих того, чтобы о них заботились, да к тому же ничто не могло бы лучше успокоить и наладить их, как полная уверенность в том, что я точно осведомлен...

Что касается подробностей, которые ты сообщаешь мне относительно того, что происходит у тебя на глазах, то твое свидетельство представляет для меня такую цену, что я хочу сообщить эту часть твоего письма Аксакову для его личного сведения.

Увы! ничто не позволяет думать, чтобы факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде, являлись исключением. *Разложение* повсюду. Мы двигаемся к пропасти не от излишней пылкости, а просто по нерадению. В правительственных сферах бессознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя по-

---

[1] В оригинале имя — по-русски.— *Ред.*

стичь, не убедившись воочию. По словам людей наиболее осведомленных, благодаря нелепым переговорам о последнем займе, постыдным образом потерпевшим неудачу, банкротство возможно более чем когда-либо и станет неминуемым в тот день, когда мы будем призваны подать признак жизни. И тем не менее, даже в виду подобного положения вещей, произвол, как и прежде, дает себе полную волю. Вчера я узнал от Мельникова подробность, поистине ошеломляющую. Во время последнего путешествия императрицы ей предстояло проехать на лошадях триста пятьдесят верст между двумя железными дорогами, причем на каждый перегон требовалось двести лошадей, которых пришлось пригнать за несколько сот верст и содержать в течение недель в местности, лишенной всего и куда надо все доставлять. Ну так вот, знаешь ли, во что обошлось государству это расстояние в триста пятьдесят верст? В сущую безделицу: *полмиллиона* рублей! Это баснословно, и, конечно, я никогда не счел бы это возможным, если бы цифра не была засвидетельствована мне таким человеком, как *Мельников,* который узнал об этом от одесского генерал-губернатора.

Вот когда можно сказать вместе с Гамлетом: *что-то прогнило в королевстве датском.*

Теперь вот что происходит в области внешней политики. Фуад-паша приезжал в Ливадию и отбыл оттуда с лентой святого Александра. Что же случилось? Согласилась ли Турция на наши предложения, подписала ли наш меморандум? Ничуть не бывало. Я читал депешу Игнатьева, который дает отчет канцлеру в том, что произошло. Хоть сквозь землю провались при виде подобной глупости и несостоятельности... Одни фразы, одни неясные обещания; ни одного обязательства, имеющего хоть сколько-нибудь серьезное значение. Бедный Горчаков[1] протестует против ленты святого Александра, и на сей раз снова его мнение не принимается во внимание. С ним не считаются, не находя нужным предугадывать моральное впечатление, какое неминуемо произведет подобная *несообразность* не только на общественное мнение России, но и всего христианского Востока, а также и всех остальных стран.

Тысячу дружеских приветствий твоему милейшему мужу.

---

[1] В оригинале фамилия — по-русски.— *Ред.*

42. А. Ф. Аксаковой

Петербург. 2 февраля < 1868 >.

Теперь, когда свадьба Оттона — свершившийся факт, ничто, надеюсь, не помешает тебе, моя милая дочь, отпраздновать завтра день твоего ангела со всей возможной сосредоточенностью, к чему присоединяюсь и я всеми моими пожеланиями всяческого довольства в будущем тебе и твоему дорогому мужу. После испытаний, перенесенных нами за последнее время, мне кажется, рассуждая по-человечески, вы имеете право на удачи, первой из которых я считаю, само собой разумеется, исполнение главного желания всей твоей жизни.

В настоящее время все здесь с головой ушли в празднества, балы и концерты... и это благодаря голоду. Подобный способ проявлять свое милосердие к людям равносилен занимательному труду, придуманному для обучения детей, и результат его почти тот же. Невероятно, до чего легкомысленна человеческая природа! И среди всей этой сумятицы пляшущей благотворительности и широко напоказ развернутой подписки так и не будет установлено, хотя бы в виде предостережения на будущее, какая же доля ответственности падает на непредусмотрительность и нерадивость администрации в этом бедствии, постигшем страну.

Бедный Валуев[1] все еще хворает и вынужден находиться в темной комнате из-за своих больных глаз. Смена, ожидавшаяся в министерстве иностранных дел, отложена на неопределенное время. Я имею основания думать, что личные предпочтения были в пользу Игнатьева, — человека несомненно способного и более проницательного, чем другие, но неудобства подобной возни в виду не доверяющей и встревоженной Европы не были бы достаточно возмещены выгодами, проистекающими из нее. При нынешних обстоятельствах наше самое целесообразное действие заключается в бездействии, но в бездействии разумном. Следует продолжать держаться, чтобы дать другим время распасться. Бесспорно, в настоящую минуту лучшим посредником в наших международных отношениях является наша печать, — и наибольшая доля услуг, оказываемых ею, может быть, конечно, приписана Аксакову. Решительно не понимаю, что ты говоришь о недостатке сочувствия в тех, кто непосредственно его окружает, и на что ему приходится сетовать. Ибо здесь сочувствие общее и весьма ясно выраженное. Скажи своему мужу, что я прошу его серьезно отнестись к некоему соображению, которое я недавно ему сообщил. Он может поверить мне на слово, мне, находящемуся в крепости, когда я обращаю его внимание на слабое

[1] В оригинале фамилия — по-русски. — *Ред.*

место обороны. Дело печати внушить доверие к этой точке зрения и добиться того, чтобы она одержала верх, и ничто не может способствовать этому так, как ваша газета... бедная газета, к которой ты проявляешь так мало нежности. Да хранит вас бог.

Ф. Т.

43. И. С. Аксакову

Петербург. Понедельник. 18 ноября <1868>.

Друг мой, Иван Сергеич, если вам не суждено сказать с Вергилием: *Deus mihi haec otia fecit*[1], то вы можете утешить себя мыслию, что то, что принудило вас на этот невольный досуг, сильнее всяких богов. По свидетельству другого великого поэта — Шиллера, кажется, — gegen die *Dummheit* kämpfen die Götter vergebens...[2] Да, *Dummheit,* — вот она, роковая сила, которая в данную минуту заведывает нашими судьбами, но не одно *личное* скудоумие, а воспитанное, так сказать, и завершающее собою целое вековое ложное направление. Мы верим и надеемся, однако, — мы все, ваши здешние друзья и почитатели, — что и невольные досуги ваши останутся не бесплодны. Знаете ли, какое здесь общее желание? Это чтобы вы собрали все те передовые статьи *«Дня»* и *«Москвы»,* которые заключают в себе положительный пребывающий интерес, — а эдаких статей наберется очень много, — и издали бы их особою книгою; во главе же этой книги, в виде предисловия, вы могли бы поместить вашу *отповедь* на все те постыдно-бестолковые преследования, которые заставили вас прекратить вашу публицистическую деятельность. И достаточно будет одного спокойного изложения вашего учения об основных началах русского общества, чтобы выставить во всем его осязательном безобразии все это немыслимое *тупоумие,* подвизавшееся противу него во имя *консерватизма...* Тут есть возможность высказать много *поучительного* и тем возможнее, что так как в книге будет более *десяти* листов, то ее нельзя остановить иначе, как судебным преследованием. За этим изданием последовало бы то, что вы сбирались поместить в *«Москве»* по поводу Римского собора и что так органически и последовательно вязалось с вашими статьями о свободе совести, потому что решительнее и сознательнее, нежели когда-либо, мы должны во всех наших препирательствах с римским католицизмом усвоить себе нашим *лозунгом* этот им отрицаемый принцип. Любопытно очень будет прочесть уже вышедшую брошюру орлеанского епископа *Dupanloup* о предстоящем соборе и дру-

---

[1] Бог предоставил мне эти досуги *(лат.).*
[2] Боги напрасно борются против глупости *(нем.).*

гую, еще до своего появления обруганную ультрамонтанами, брошюру некоего мне лично знакомого епископа *Maret.* Пока посылаю вам, буде у вас ее нет, книгу Николая Тургенева, которую, по-моему, нельзя читать без сердечного умиления.

Простите. Обнимите Анну.

Вам душевно преданный

Ф. Тчв.

44. И. С. Аксакову

Петербург. 2-го января 1869.

Избегая всякой торжественности, убедительно прошу вас, любезнейший Иван Сергеич, придать этим строкам самое серьезное значение. Речь идет не о малом...

Вы, вероятно, уже известились, что Тимашев, после долгих колебаний, решился наконец внести дело *«Москвы»* в 1-й департамент сената. Эта выходка поразила здесь всех или своею крайнею нелепостью, или своею крайнею наглостью. В самом деле, предложить сенату объявить преступным направление такого издания, которое постоянно и энергичнее всякого другого защищало все основные начала русского общества, те начала, гласное отрицание которых равнялось бы *государственной измене,*—это нечто близкое к безумию. Но что бы то ни было, сознательно или бессознательно, в вашем лице—и вы вполне достойны этой чести—брошен самый наглый вызов всему русскому общественному чувству и убеждению тою шайкой людей, которая так безнаказанно тяготеет над Россией и позорит государя, и вы, конечно, не усумнитесь поднять брошенной перчатки—*насколько это от вас зависит.* Мы все, друзья ваши, все люди, разделяющие ваш образ мыслей, мы все убеждены, что в этом деле, которое становится государственным вопросом первой важности, счастливый исход дела много и очень много зависит от вашего здесь присутствия, а потому просим вас приехать сюда *безотлагательно.*

Я знаю достоверным образом, что члены первого департамента страшно озадачены тем положением, в которое они поставлены. Они очень хорошо понимают, чего от них требуют. Но давление сверху сильно, и очень сомнительно, чтобы все они, под этим натиском все они усидели на своих курульских креслах, но и одного протеста достаточно, чтобы дело перенесено было в общее собрание, и вот на этот случай присутствие ваше в Петербурге оказывается необходимым. Князь Оболенский вам тоже пишет, и, конечно, об-

стоятельнее и убедительнее моего. Есть для каждого ложного направления роковая необходимость довести себя до самоубийственного абсурда, не только словом, но и на деле — *наша* же обязанность этим *воспользоваться.*

45. Е. Ф. Тютчевой

Петербург. 3 января <1869>.

Спасибо, милая моя дочь, за столь приятный подарок, каким была для меня новость о твоем скором приезде. Ничто не могло мне быть более приятным, ибо со времени нашего последнего свидания в Москве мне тебя постоянно недоставало...

Вчера вечером я получил также письмо от Анны, и так как в настоящую минуту она и ее муж, должно быть, уже получили послание, которое повез им Ваня, я стараюсь угадать, что из этого получится. Но я решительно настаиваю на всех утверждениях, которые содержатся в моем письме к ним. Положение вещей таково, каким я его изложил.

Что касается нашей повседневной жизни, то мы вертимся в обычном кругу развлечений начавшегося карнавала. Вчера было первое представление Патти, которое, разумеется, дало повод к вспышке всяких расточительных сумасбродств, являющихся отличительной чертой художественных оценок русской публики. Но я не хочу впадать в тон газетного фельетона.

Здесь получено известие о несчастном случае, едва не постигшем великую княгиню Марию Николаевну и сопровождавшее ее общество на железной дороге между Венецией и Флоренцией. Весь свадебный поезд едва не погиб от столкновения двух железнодорожных составов. Впрочем, я получил это известие от старой княгини Вяземской, а в газетах об этом не читал еще... Что касается самого князя, то он болен и лежит в постели, — по словам его жены, вследствие доблестных подвигов в день Нового года. Намедни мы были у него на литературном вечере; нам прочли статью, которую он написал по поводу романа Толстого и которая должна появиться в журнале Бартенева. Это довольно любопытно с точки зрения воспоминаний и личных впечатлений и весьма неудовлетворительно со стороны литературной и философской оценки. Но натуры столь колючие, как Вяземский, являются по отношению к новым поколениям тем, чем для малоисследованной страны является враждебно настроенный и предубежденный посетитель-иностранец. Это *Кюстины* новых поколений.

А кстати о Бартеневе: доставь мне удовольствие, дочь моя, поблагодари его, когда ты его увидишь, за его щедрость ко мне.

В настоящее время здесь находится князь Черногорский, приехавший, как я полагаю, искать помощи и совета. Пока что он получил шубу, которую государь подарил ему в день Нового года... Это, кажется, все, что мы можем предложить в настоящую минуту христианству Востока...

До скорого свидания, милая моя дочь. Тысячу дружеских приветствий в настоящем, а на будущее — столько же несбыточных пожеланий всему семейству, начиная, как всегда, с моего брата, которого я очень хотел бы снова повидать.

Сердечно твой
Ф. Т.

46. А. Ф. Аксаковой

Тёплиц. 31 июля/12 августа <1870>.

То, что происходит перед нашими глазами, уже не действительность. Это как бы сценическое представление большой драмы, задуманной и поставленной по всем правилам искусства. Все так ясно, так хорошо обосновано, так последовательно. Кажется, будто читаешь на афише какое-нибудь знакомое заглавие: «Наказанный плут» или нечто в этом роде... С другой стороны, размах событий ускользает от всех людских оценок.

Война началась ровно *восемь* дней назад, и вот уже судьба Франции поставлена в зависимость от случайности одного сражения, которое, быть может, разыгрывается в настоящую минуту. И дело идет не о чем ином, как о падении, явном и очевидном падении страны, общества — целого мира, каким является Франция. Думается, будто грезишь.

Прежде всего вот французская армия; она всегда почиталась чем-то из ряда вон выходящим и совершенным, а не лучше австрийцев сопротивляется превосходству прусских армий. Происходит нашествие в обратном порядке: французская земля заполонена, столица, Париж, объявлена на осадном положении, отчизна в опасности, и императрица Евгения, подобно второй Жанне д'Арк в кринолине, вызывается взять на себя спасение Франции. Эта примесь смешного в событиях наиболее трагических всегда бывала признаком великих явлений и завершающихся судеб.

Благодаря тому, что Вторая наполеоновская империя представляет собой как бы подделку под Первую, можно точной историче-

ской формулой определить фазис, в какой она вступила: это Сто дней Наполеона III. Поэтому каждый, у кого в памяти сохранились гнусные подробности той эпохи, читает как бы по *либретто* все, что должно произойти теперь: борьба партий не на живот, а на смерть, и подлое предпочтение низких выгод. Хорошо, если б я ошибался в своих предвидениях! Ведь падение Франции, сколь ни заслужено оно глубоким внутренним разложением нравственного чувства, было бы тем не менее огромным бедствием со всех точек зрения, особливо же с точки зрения нашей собственной будущности... Ибо насколько соперничество сил, образующих Западную Европу, составляет главнейшее условие этой будущности, настолько же окончательное преобладание одной из них явится страшным камнем преткновения на открывшемся перед нами пути, и пуще всего на свете – неминуемое осуществление объединения Германии, этого пробуждения легендарного Фридриха Барбароссы, которого мы увидим живьем выходящим из его пещеры. Зрелище величественное и прекрасное, должен с этим согласиться, но я был бы в отчаянии оказаться его зрителем... И подумать только, что постановке этого великолепного спектакля способствовал скоморох, именующийся Наполеоном III! В результате он явится *восстановителем империи,* но только не своей, а империи вражеской. Не пройдет и месяца, как все эти вопросы будут решены. Еще раз – это сон...

Пока что я начал ванны, и это лечение, по-видимому, принесет пользу. Тысячу нежностей Аксакову. Ах, если бы он был здесь!..

До скорого свидания, моя милая дочь. Право, мне немного совестно, что у тебя такой болтливый отец. Да хранит вас бог.

47. А. Ф. Аксаковой

<Петербург.> Четверг. 14 января <1871>.

Благодарю, моя милая Анна, за твою искреннюю заботу о ребенке. Я не могу сказать, как я тронут. Отсылаю тебе при сем заранее засвидетельствованную у нотариуса доверенность на свободное пользование документами, которые у вас находятся. Я храню также отложенные для тебя триста рублей за пансион Феди и жду лишь твоего извещения, чтобы тебе их переслать. Но думаю, что раньше надо решить, вернется ли он в Катковский лицей или будет помещен в какое-нибудь другое учреждение. Здоровье его почти восстановилось, можно было бы отправить его немедленно, если бы не

сильные холода, стоящие в данный момент, а также и необходимость решить вопрос об его окончательном устройстве. Жду от тебя известий. Меня беспокоит то, что я, наконец, узнал о твоем здоровье, и очень опасаюсь, как бы частые выходы по этому холоду не оказались для тебя весьма пагубными. А я добился минутной передышки, но враг все еще не отступил, и я ежеминутно ожидаю возобновления атаки. Мое состояние напоминает немножко положение бедного города Парижа, который, однако, болен еще сильнее, нежели я, так что, по всем вероятиям, его сдача неизбежна, но я весьма ошибаюсь, если этому падению не будет предшествовать какая-либо ужасающая катастрофа.

Вся эта война приведет к пропасти, в которую будут увлечены дальнейшие поколения. Английская демократия волнуется и ждет лишь сигнала, дабы разразиться демонстрациями в пользу Франции против Пруссии. Все демократии материка, составляющие в сущности одну-единую демократию, последуют ее примеру.

Нынешняя война, жестокая война, столкнется с внутренней войной партий, настоящей социальной войной. Не в обиду будь сказано императору Вильгельму, его империя не будет империей мира и прогресса под сенью свободы, если б он даже того желал. Будет совсем иное. Эта война, каков бы ни был ее исход, более чем когда-либо расколет Европу на два лагеря: социальную революцию и военный абсолютизм. Все остальное, что между ними, будет раздавлено...

Что касается конференции, это — лишь одна комедия. Дело уже решено, и мы положительно в выигрыше.

Тысячу приветствий Аксакову.

Весь ваш *Ф. Т.*

48. Е. Ф. Тютчевой

Петербург. Страстная суббота. <27 марта 1871.>

Здравствуй, моя милая Китти. Всего лучше будет, если я прерву наше долгое эпистолярное молчание сердечным поздравлением с завтрашним великим праздником. Ах, если бы Христос воистину воскрес в мире,— ибо спасение этого мира, хотя бы временное, может быть достигнуто лишь такой ценой.

А как твое здоровье? Ты, конечно, понимаешь, что оно ни минуты не переставало меня заботить, хотя с некоторого времени я и получаю о нем благоприятные известия от очевидцев, но вполне успо-

коенным себя не чувствую и успокоюсь, лишь когда увижу тебя своими глазами. И потом, что это за болезнь, которую мне ни разу не сумели определить,— столь похожая на оспу, и, однако же, не оспа? И, наконец, как рассчитываешь ты воспользоваться будущим летом в интересах своего здоровья, ибо, разумеется, следует что-то предпринять? Подумай об этом, дочь моя, и напиши мне.

Здесь холера начинает ослабевать. Ее медовый месяц прошел. Умирать еще умирают, но больше выздоравливают. Правда, нам обещают другие болезни, столь же смертельные,— когда мы слишком привыкнем к этой.

Ты, вероятно, узнала от самой Дарьи о минутной тревоге, которую она нам причинила на днях. Но, слава богу, это обошлось без последствий, и я видел ее вчера столь же оживленной и полной жизни, как обычно. Надо сознаться, что пример Дарьи из наиболее поучительных. Он показывает, как важно для здоровья твердо принятое решение хорошо себя чувствовать.

Сегодня вечером я рассчитываю отправиться к заутрене в Зимний дворец, хотя *местный колорит* совершающегося там богослужения, несомненно, менее всего способен напомнить об истинном значении события, в честь которого совершается это богослужение. Ибо можно ли представить себе господа нашего восстающего из своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскресением Христовым, а совсем иным — переходящим из рук в руки указом о назначениях и наградах, который и является для них *благой вестью* во всем значении этого слова.

Сказано, что человек, старея, делается своей собственной карикатурой. То же происходит и с вещами самыми священными, с верованиями самыми светлыми: когда дух, животворящий их, отлетел, они становятся пародией на самих себя. Но современный мир вступил в такую фазу своего существования, когда живая жизнь в конце концов восторжествует над омертвевшими формами.

Да хранит тебя бог, дочь моя, и — тысячу нежностей всей семье.

49. Д. Ф. Тютчевой

<Петербург. 1 апреля 1873.>

Вчера я испытал минуту жгучего волнения вследствие моего свидания с графиней Адлерберг, моей доброй Амалией Крюденер, которая пожелала в последний раз повидать меня на этом свете

и приезжала проститься со мной. В ее лице прошлое лучших моих лет явилось дать мне прощальный поцелуй.

50. А. Ф. Аксаковой

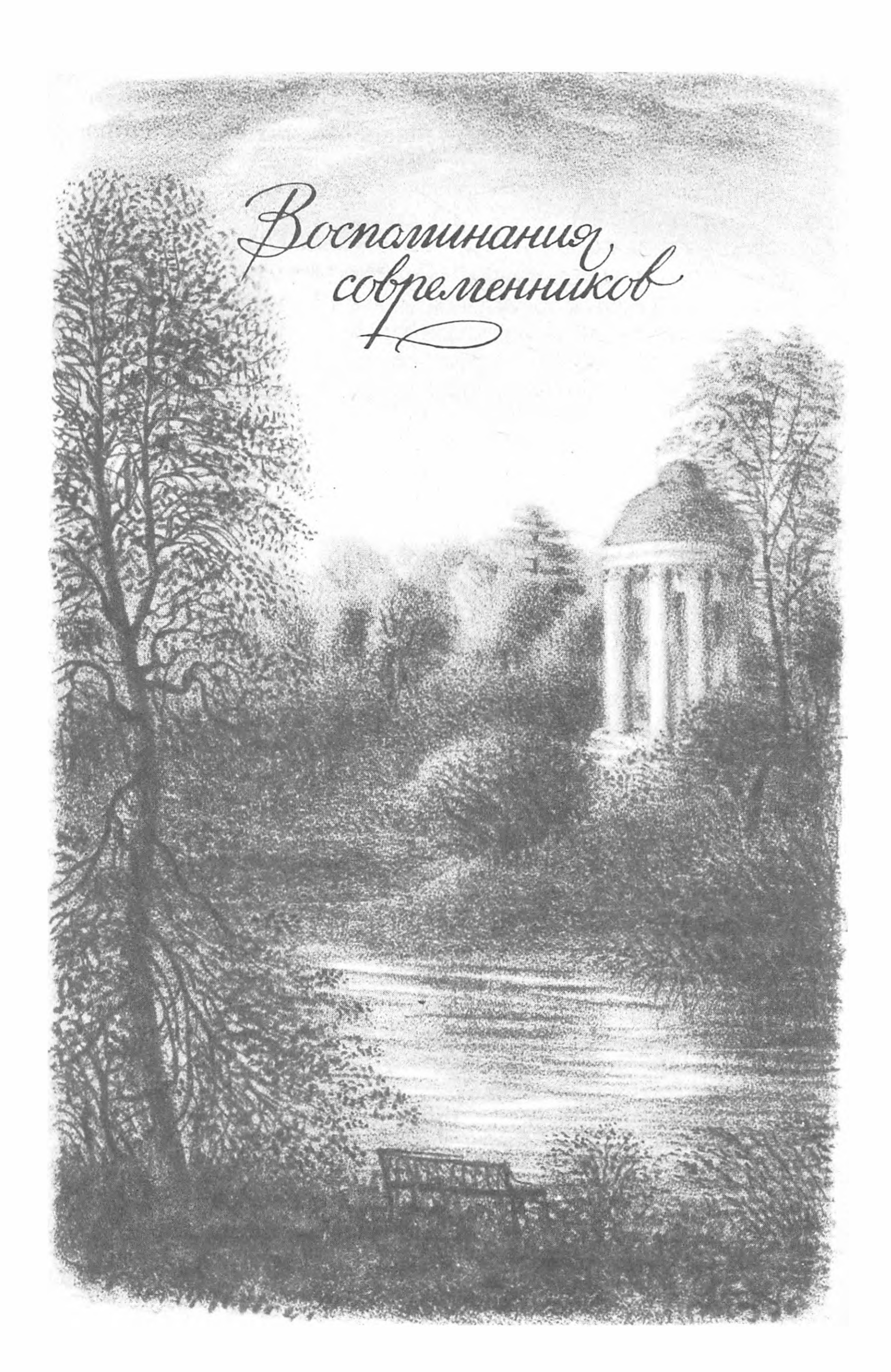
<Петербург. Апрель 1873.>

Прежде всего, моя милая дочь, поблагодари своего мужа за его превосходный русский перевод моей записки, напечатанный в «Архиве» и удесятеривший ее ценность. Эта статья явилась как раз вовремя, чтобы наглядно показать тот путь вспять, который мы проделали с 57 года. Я узнал вчера, что подготовляется новый закон о печати, который всерьез в законодательной форме воспроизведет знаменитый монолог Фигаро о свободе слова. Этот закон оставит за администрацией право определять те вопросы, коих не будет дозволено касаться в печати. В нынешних условиях смелее и честнее откровенно восстановить цензуру, которая, заменив собою все это фантастическое законодательство чем-то ясным и положительным, была бы принята печатью как настоящее благодеяние. Ложные понятия имеют то неудобство, что требуют долгого времени, дабы себя изжить.

В последнем письме ты высказала одну очень верную мысль: говоря о своем муже, ты очень верно сказала, что природа, подобная его природе, способна заставить усомниться в первородном грехе, и уж если кто-нибудь имел бы право усомниться в этой тайне, объясняющей все и необъяснимой ничем, то это был бы, конечно, такой человек, как Аксаков; потому что именно безупречность его нравственной природы и давала столько силы и веса его словам и упрочивала за ним то влияние на молодежь, которое могло бы быть ей столь полезно и, может статься, спасло бы ее, если б ему предоставили свободу действий и если бы жалкая обидчивость нескольких надутых правительственных ничтожеств не возобладала над всяким другим соображением. Ах, сколько обвинений взято на себя и сколько векселей подписано за счет будущего!

Перечитывая свою записку, которая и сейчас еще полна злободневности, я убедился, что самое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум. Через 30 лет все, несомненно, будут думать об этих вопросах то же, что я думаю сейчас, но тем временем зло будет сделано — и, вероятно, зло непоправимое. Мне любопытно будет посмотреть, какое впечатление произведет эта статья

здесь, в правительственных кругах. Это как бы манифест, обнародованный задним числом, который окажется неудобным для тех, кто спешит стереть последние следы прошлого. Но с моей стороны очень глупо интересоваться тем, что больше не имеет со мной никакой живой связи. Мне надлежало бы смотреть на себя, как на зрителя, которому после того, как занавес опущен, остается лишь собрать свои пожитки и двигаться к выходу. Пока же тысячу нежностей тебе, моя дорогая дочь, и знайте еще раз, что вы — единственные светлые точки на моем более чем затуманенном горизонте. Уверяют, что в моем состоянии есть улучшение, но я хотел бы больше его ощущать. Прощайте.


Воспоминания современников

С. Е. Раич

Из «Автобиографии»

Из дома Н. Н. Шереметевой поступил я в дом И. Н. Тютчева, родного ее брата; здесь провидению угодно было вверить моему руководству Ф. И. Тютчева, вступившего в десятый год жизни. Необыкновенные дарования и страсть к просвещению милого воспитанника изумляли и утешали меня; года через три он уже был не учеником, а товарищем моим,—так быстро развивался его любознательный и восприимчивый ум!

<...> Я успел приготовить ученика своего к университету, посещал с ним частные лекции А. Ф. Мерзлякова и слушал профессоров словесного факультета. Это время было одной из лучших эпох моей жизни. С каким удовольствием вспоминаю я о тех сладостных часах, когда, бывало, весною и летом, живя в подмосковной, мы вдвоем с Ф. И. выходили из дому, запасались Горацием, Вергилием или кем-нибудь из отечественных писателей и, усевшись в роще, на холмике, углублялись в чтение и утопали в чистых наслаждениях красотами гениальных произведений поэзии!

В это время приступил я к переводу вергилиевых «Георгик» и вот по какому случаю: Ф. И. Тютчев брал уроки французской словесности у Г. Динокура (того самого, который перевел на французский язык «Модную жену», сочинение И. И. Дмитриева). Г. Динокур знал очень хорошо латинский язык, восхищался Вергилием, восхищался и Делилем, особенно его переводом вергилиевых «Георгик»; как француз, он выше всех литератур ставил литературу французскую и уверял, между прочим, будто один только Делиль мог перевести удачно вергилиевы «Георгики», будто бы на другой, по крайней мере на русский язык они не могут быть переведены,—по недостатку в нем, говорил он, так называемого среднего дидактического языка. Я заступился за честь родины и ее сло́ва и, вместо бесплодного словопрения, принялся за дело, за перевод вергилиевых «Георгик». Около года никому не показывал я опытов моих в переводах, кроме Ф. И. Тютчева, вкусу которого я вполне доверял: необыкновенно даровитый от природы, он был уже посвящен в таинства поэзии и сам con amore[1] занимался ею; по тринадцатому году он переводил уже оды Горация с замечательным успехом. <...>

В 1819 году, или около этого времени, расставшись с Ф. И. Тют-

[1] с любовью *(итал.)*.

чевым, вышедшим из университета кандидатом и отправившимся в Германию к миссии, вступил в дом Н. Н. М<уравьева>в качестве наставника А. Н. Муравьева.

М. П. Погодин

Из «Воспоминания о Ф. И. Тютчеве»

Мне представился он в воображении, как в первый раз пришел я к нему, университетскому товарищу, на свидание во время вакации, пешком из села Знаменского, под Москвой, на Серпуховской дороге, в Троицкое, на Калужской, где жил он в своем семействе... молоденький мальчик, с румянцем во всю щеку, в зелененьком сюртучке, лежит он, облокотясь на диване, и читает книгу. Что это у вас? Виландов «Агатодемон». Или вот он, на лекции в университете, сидит за моею спиной на второй лавке, и, не слушая Каченовского, строчит на него эпиграммы (они у меня целы). Вот я пишу ему ответы на экзамен к Черепанову, из истории Шрекка, о Семирамиде и Навуходоносоре, ему, который скоро будет думать уже о Каннинге и Меттернихе.

Кончив курс, Тютчев попал на службу в Мюнхенское посольство. Помню, как на первых порах приезжал он оттуда повидаться с родными и привез первые опыты Виктора Гюго и Ламартина, входившего в славу.

Мы расстались надолго. В Германии прожил он лет двадцать сряду. Воротясь в отечество, поселился в Петербурге. Услышав его в первый раз, после всех странствий, заговорившего о славянском вопросе, я не верил ушам своим; я заслушался его, хоть этот вопрос давно уже сделался предметом моих занятий и коротко был мне знаком. Как в самом деле мог он, проведя молодость, половину жизни за границей, не имев почти сообщения с своими, среди враждебных элементов, живущий в чуждой атмосфере, где русского духа редко бывало слышно, как мог он, барич по происхождению, сибарит по привычке, ленивый и беспечный по природе, ощутить в такой степени, сохранить, развить в себе чистейшие русские и славянские начала и стремления? Этого мало: сблизившись с ним впоследствии больше, имев случай познакомиться короче с его задушевными мыслями, услышав его мнения, я удостоверился, что никто в России не понимает так ясно, не убежден так твердо, не верит так искренно в её всемирное, общечеловеческое призвание, как он. Многие имеют, может быть, мысли более или менее верные о разных предметах сюда относящихся, но никому не представлялись они

в таком цельном виде, так конкретно, употреблю модное выражение, как ему. Как это случилось — это принадлежит к числу удивительных явлений русской жизни и русской истории.

М. П. Погодин

Из «Дневника»

1820

9 августа. Ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву, разговаривал с ним о немецкой, русской, французской литературе, о религии, о Моисее, о божественности Иисуса Христа, об авторах, писавших об этом: Виланде (Agathodämon), Лессинге, Шиллере, Аддисоне, Паскале, Руссо <...> — Еще разговаривал о бедности нашей в писателях. Что у нас есть? Какие книги имеем мы от наших богословов, философов, математиков, физиков, химиков, медиков? — О препятствиях у нас к просвещению.— Тютчев прекрасный молодой человек!

<...> Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастии. Если бы все жили так просто, как они!

25 августа. Разговаривал с Тютч<евым> и с его родите<лями> о литературе, о Карамзине, о Гете, о Жуковском, об университете.

6 октября. Говорил с Тютч<евым> о нов<ой> поэме Людм<ила> и Руслан.

11 октября. Говорил с Троицким и Тютчев<ым> о содерж<ании> универ<ситета>, о невежестве нек<оторых> учащихся, о просвещении нашего дворянства, о Мерз<лякове>.

13 октября. Говорил с Тютчевым и Дубенским о Мерзлякове, о русской словесности, о влиянии, какое словесность одного языка имеет на словес<ность> другого, о немецкой словес<ности>, о преимуществе ее пред французскою, об образе преподавания.— Мерз<ляков> должен, сказал Тютч<ев>, показать нам историю рус<ской> слов<есности>, должен показать, какое влияние каждый писатель наш имел на ход ее, чем именно способствовал к улучшению языка, чем отличается от другого и проч<ее>. Это правда.

15 октября. Говорил с Тютч<евым> о Саларееве, о состоянии просвещения в России.

1 ноября. Говорил <...> с Тютчевым о молодом Пушкине, об оде его «Вольность», о свободном, благородном духе мыслей, появляющемся у нас с некоторого времени, о глуп<ых> профессорах

наших. Восхищался некоторыми описаниями в пушк<инском> Руслане.

26 ноября. Говорили с Тют<чевым> о Шиллере, Гете, вообще о немец<кой> словес<ности>, о богатстве ее и проч.

29 ноября. Говорил с Тютч<евым> о пиесах, читанных в Обществе, о Дер<п>тс<ком> унив<ерситете>, о здеш<нем>.

2 декабря. <...> был у Тютчева, говор<ил> с ним о просвещении в Германии, о будущем просвещении у нас, об ограниченности в познаниях наших писателей. Кто из них, кроме новейших, знал больше одного или двух языков? — А у немцев какая всеобъемлемость? О Лессинге, Гете, Шиллере, Шлецере; он советовал перевести на лат<инский> «Слово о полку Игореве».

1821

6 декабря. Заходил к Тютчеву. — Его нет дома. — Пошел к обедне, у коей был он. — Священник, говоря проповедь, сказал между прочим, что Волтер, Даламбер и Дидерот равны диавольскому числу, упоминаемому в апокалипсисе — 666 (Волт<ер> 600, Даламб<ер> 60, а бедный Дидерот 6). Смеялись над этим с Тютчевым.

1822

23 января. Заходил к Тютчеву <...> — Говорил о словесности, Мерзлякове, Карамзине. Тютчев имеет редкие, блестящие дарования, но много иногда берет на себя и судит до крайности неосновательно и пристрастно; — напр<имер>, он говорит, что Раич переведет лучше Мерзлякова Вергилиевы Эклоги.

27 мая. Ушел было из Общества, торопясь ехать в Знамен<ское>, но попался Тютчев и воротил меня. Он едет при посольстве в Мюнхен. — Чудесное место. — Он спрашив<ал> меня о моск<ских>, я его о петерб<ургских> литературн<ых> новостях. — Дал слово писать из Мюнхена.

1825

20—25 июня. Увидел Тютчева, приехавш<его> из чуж<их> краев; говор<ил> с ним об иностран<ной> литературе, о политике, образе жизни тамошн<ей> и пр. Мечет словами, хотя и видно, что он там не слишк<ом> мн<ого> занимался делом; он пахнет двором. — Отпустил мне много острот. В России канцелярия и

казармы.— Все движется около кнута и чина.— Мы знали афишку, но не знали действия и т. п.

17 июля. Ездил к Тютч<еву>.— Говор<или> о бедности нашей в мыслях, о заморе, о духе, политике и пр.— Взял у него о Байроне и др<угие> книги и восхищался.

17 сентября. Гов<орил> с Тютчевым, с которым мне не говорится. Остро сравнил он наших ученых с дикими, кои бросаются на вещи, выброшенные к ним кораблекрушением.

М. П. Погодин

Из статьи «В память о Павле Александровиче Муханове»

В 1825 году он <Павел Александрович Муханов> и старший брат его, Петр Александрович, пострадавший вследствие 14 декабря, приняли живое участие в издававшемся мною тогда альманахе «Урания». <...> Много страха потерпел я тогда, что в повести своей «Нищий», напечатанной в «Урании», которая должна была выйти в январе, 1826, выставлял злоупотребления крепостного права, и повесть, по описанию несчастной судьбы крепостной невесты, оканчивалась словами: «Какие грозные сны виделись мне, друзья мои!» Кажется, я хотел задержать даже издание, но ободрен был в Петербурге Ф. И. Тютчевым, университетским товарищем, который, приехав из Мюнхена, стоял в той же гостинице, где и мы остановились по прибытии в Петербург.

Д. Н. Свербеев

Из «Записок»

В Баварии, гораздо менее, нежели в других частях Германии, начали в то время (в 20-х годах) развиваться революционные начала. Там царствовал ультрамонтанский католицизм, господствовали бароны феодалы и добрый, конечно нисколько не либеральный, но очень популярный первый король. Все это узнал я, проспоривши вместе с Тютчевым целый вечер с одним из второстепенных, хотя и замечательных депутатов Баварских штатов. Наши с Тютчевым религиозные убеждения и политические мнения приводили его в неистовство, а политическое мнение о том, что не только народ-

ная интеллигенция, но и весь народ имеет право участвовать в правительстве, представлялось этому барону феодалу-католику равносильным с учением французского террора; он отстаивал, вопреки нам, наше крепостное право. Наша же веротерпимость казалась ему атеизмом.

Д. И. Завалишин

Из «Воспоминаний о Грибоедове»

Отправляясь в отпуск в приволжские губернии с поручением от Общества в начале ноября 1825 года, я сам привез в Москву полный экземпляр, списанный мною еще весною того года, в числе других, на квартире Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова, даже с теми изменениями, которые он делал лично сам, когда ему сообщали, по его же собственной просьбе, некоторые замечания, особенно на те выражения, которые все еще отзывались как бы книжным языком. Я имею основание думать, что если и другой кто привозил в Москву рукописи «Горя от ума», то мой экземпляр был из всех привезенных туда и самый полный, и самый исправный.

В Москве остановился я в доме Ивана Николаевича Тютчева, супруга которого была родная сестра моей мачехи. Привезенным мною экземпляром «Горя от ума» немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович (известный поэт, с которым мы жили вместе в Петербурге у графа Остермана-Толстого) и Николай Иванович, офицер гвардейского генерального штаба, а также и племянник Ивана Николаевича, Алексей Васильевич Шереметев, живший у него же в доме.

К. Пфеффель

Из «Заметки»

Когда он <Тютчев> покинул Россию в 1822 г., умы в ней находились еще под влиянием теократических идей, пущенных в обращение Жозефом де Местром, и мистицизма императора Александра I. Этого же влияния не избег, конечно, и молодой Тютчев и на всю жизнь сохранил его следы. Прибыв в Германию под звуки «Вольного стрелка», как он сам любил выражаться, Тютчев очутился там среди полного романтизма в поэзии, литературе, музыке

и т. д. и среди полного рационализма в области философии, где тогда неограниченно властвовал Гегель. Нет сомнения, что Тютчев отдался этому двойственному течению. <...>

Между тем, в 1828 году, если не ошибаюсь, желание видеть и узнать один из великих очагов цивилизации привлекло Тютчева в Париж, где он пробыл довольно долго. Деля время между занятиями и светскими развлечениями, он усердно посещал незабвенные курсы лекций Гизо, Кузена и Вильмена и часто видался с некоторыми из выдающихся личностей той эпохи, а именно из числа последователей Руайе-Коллара. Это пребывание в Париже оказало решительное влияние на Тютчева в том смысле, что оно, если так можно выразиться, отметило его последнюю «западническую» трансформацию. Он проникся спиритуализмом Кузена, либеральным доктринерством Гизо, классическими доктринами Вильмена. Я познакомился с Тютчевым вскоре после его возвращения. По примеру славных учителей, имена которых я только что перечислил, его разговор принимал часто форму ораторской речи: приходилось больше слушать его, чем отвечать. За исключением Шеллинга и старого графа де Монжела, он не находил равных себе собеседников, хотя едва вышел из юношеского возраста. Он удивил и восхитил меня. «Французский язык в его устах приобретает особую прелесть»,— говорил мне один очень умный французский священник, аббат Перро, прослушав его беседу по одному из современных политических вопросов. Если бы мне пришлось охарактеризовать род его красноречия и тогдашний склад его ума, я бы сравнил его с одной из глав «Взгляда на французскую революцию» г-жи де Сталь: те же живость и стремительность, та же любовь к правде и красоте, но больше беспристрастия и понимания истории.

Таким я узнал Тютчева.

П. В. Киреевский

Из писем к И. В. Киреевскому

12/24 сентября 1829

<...> Говорил <Тирш> о Тютчеве, как своем хорошем знакомом, и очень хвалил его. «Das ist ein guter Kopf,— говорил он,— ein sehr gebildeter Mann und ein Diplomat»[1]. Говорил, что и Шеллинг очень коротко знаком с Тютчевым. <...>

[1] «Это светлый ум, очень образованный человек и дипломат» *(нем.)*.

Для того, чтобы слушать лекции, сказал Тирш, не нужно никакого позволения, кроме согласия каждого из тех профессоров, которых я хочу слушать. Согласие Тирша я уже получил, а теперь должен буду сходить к каждому из других и видеть всю галерею здешних знаменитейших людей в их домашнем быту! Сверх того, мне есть случай через Тютчева *познакомиться* с Тиршем и Шеллингом!

7/19 октября 1829

Он <Шеллинг> говорил о трудностях русского языка для иностранцев и как важно между тем было бы его изучение; хвалил его звучность; говорил, что очень много слышал о нашем Жуковском и что по всем слухам это должен быть человек отличный. Очень хвалил Тютчева: Das ist ein sehr ausgezeichneter Mensch,— сказал он между прочим,— ein sehr unterrichteter Mensch, mit dem man sich immer gern unterhält»[1].

Из письма к А. П. Елагиной

5/17 января 1830

У Тютчева, как я уже писал к вам, я бываю непременно раза два в неделю и люблю его и все его семейство за их ум, образованность и необыкновенную доброту. Они принимают меня и со мною обходятся так, как добрее и внимательнее нельзя.

И. В. Киреевский

Из писем к А. П. Елагиной

6/18 апреля 1830

Оба брата и жена Федора Ивановича очень милые люди, и покуда здесь, я надеюсь с ними видеться часто. Жаль для моего брата, что они едут в Россию. Они нравятся и ему, что, впрочем, вы могли заметить из его писем.

---

[1] «Это превосходный человек, очень образованный человек, с которым всегда охотно беседуешь» *(нем.)*.

21 мая/ 2 июня 1830

Тютчевы уехали 28 в Россию. Если вы увидите их отца, то поблагодарите его хорошенько за сына. Нельзя быть милее того, как он был с Петрухою, который, несмотря на предубеждение, с которым (помните?) поехал из Москвы, здесь был разом совершенно обезоружен тютчевским обхождением. Желал бы я, чтобы Тютчев совсем остался в России. Он мог бы быть полезен даже только присутствием своим, потому что у нас таких людей европейских можно счесть по пальцам.

Д. Ф. Фикельмон

Из «Дневника»

18 июля 1830. Забыла сказать, что я познакомилась с очаровательной женщиной, госпожой Тютчевой, урожденной графиней Ботмер из Мюнхена, в первом браке она была замужем за г-ном Петерсоном. Она еще молода, но так бледна, так хрупка и имеет такой томный вид, что можно принять ее за очаровательное привидение; она умна и даже пытается быть остроумной, что плохо сочетается с этим туманным видом. Муж ее — человек в очках, очень некрасивый, но блестящий говорун.

И. С. Гагарин

Из писем к А. Н. Бахметевой

Октябрь 1874

В религиозном отношении он <Тютчев> вовсе не был христианином. Католичество и протестантство были в его глазах историческими фактами, достойными внимания философа и государственного деятеля, но ни в католичестве, ни в протестантстве, равно как и в восточном православии, он не усматривал факта сверхъестественного и божественного. Его религией была религия Горация, и я был бы чрезвычайно удивлен, если бы мне сказали тогда, что он станет когда-нибудь ревнителем восточной церкви и пламенным патриотом и что он будет в петербургских салонах играть роль какого-то православного графа де Местра.

4 ноября 1874

Было бы серьезной ошибкой воображать, что Тютчев, проведший двадцать два года в Мюнхене, был в течение всего этого времени погружен в германскую стихию. Несомненно, он прочитал изрядное количество немецких писателей, в течение нескольких месяцев часто видался с Гейне, беседовал иногда с Шеллингом, но по обществу, среди которого жил, по чтению, которое его увлекало, и по всем навыкам своего ума он был гораздо доступнее французским влияниям, нежели немецким. Близость Италии и Франции живо ощущалась в столице Баварии, и, не говоря о дипломатическом корпусе, отличавшемся более или менее космополитическим характером и составлявшем основу общества, которое мы наиболее усердно посещали, в самом баварском обществе были элементы французские и итальянские, которые, не нарушая немецкого благодушия, весьма способствовали устранению из общественных отношений всякой чопорности и придавали мюнхенским гостиным особенно любезный и изящный характер. Разговоры всегда велись по-французски. Были осведомлены о всем, что печаталось в Париже, особенно читали парижские газеты, а германская печать, германская литература, германские дела очень мало интересовали это общество.

9 ноября 1874

В этом хилом теле обитал замечательнейший ум. Вместо того, чтобы превозноситься им над другими, он, казалось, не придавал себе серьезного значения. Он сознавал себя в высшей степени *unpraktisch*[1], очень сожалел об этом, но знал, что пособить этому невозможно, и вознаграждал себя тем, что относился с легким пренебрежением к натурам положительным и практичным. Когда брат его Николай говорил ему: «Какой ты пустой человек!», он вполне признавал справедливость этого суждения, но нисколько на него не обижался, как не может соловей чувствовать себя униженным оттого, что не в его силах исполнять работу вола или осла.

Говорят, что есть люди, питающие такую сильную страсть к театру, что им безразлично подвергать себя лишениям, обходиться даже без обеда, лишь бы присутствовать на представлении. Таков был отчасти и Тютчев. Его не привлекали ни богатство, ни почести, ни даже слава. Самым задушевным, самым глубоким его наслажде-

---

[1] непрактичным *(нем.)*.

нием было наблюдать за картиной, развертывавшейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и делиться впечатлениями со своими соседями. В людях его также более всего привлекали движения человеческой души; он их изучал, разбирал, разлагал, так сказать, на бесчисленное разнообразие характеров, давал своей пытливости пищу, до которой он был всегда охоч.

Я не хочу сказать, что он был вполне бескорыстен: месту в партере он предпочитал кресло в оркестре или ложу на авансцене и способен был употребить некоторые усилия, чтобы их получить; но все материальные наслаждения и все утехи самолюбия не имели бы в его глазах никакой цены, если бы для их приобретения надо было пожертвовать главным интересом представления.

Не знаю, сделался ли он впоследствии христианином, но то, что г. Аксаков приписывает христианскому смирению, существовало в нем в такой же степени и тогда, когда он вовсе не был христианином.

Вот в нескольких словах воспоминание, оставленное во мне этим исключительным человеком, общение с которым заключало в себе несравненную прелесть.

Из письма к И. С. Аксакову

29 октября/10 ноября 1874

Моих убеждений, кажется, Тютчев никогда не разделял; разделял ли он ваши на второй половине его жизни, мне верится с трудом. У него был гётевский индифферентизм и поэтическая натура, которая принимала и отражала все его окружающее; это для меня совершенно понятно.

Эл. Ф. Тютчева

Из писем к Н. И. Тютчеву

1 июня 1832

Друг мой, я не буду говорить о том, как мы радуемся наконец-то свидеться с вами; мы уж давно так этого желали! Вы знаете, Теодор положительно нуждается в вас время от времени, чтобы восстановить свое *равновесие*. Особенно за последний срок он часто хворал и потому был грустен и меланхоличен. Вы умеете его раз-

влечь, поднять его настроение; я же умею только быть глупо печальной вместе с ним. И потому сколько раз я вздыхала по вас, задолго до того, как осуществление моего желания стало возможным. Так приезжайте же, брат мой, вы будете желанным гостем, умоляю вас, пусть никакие соображения не станут вам помехой, так как это счастливая случайность, которую не следует упускать. У меня есть даже убеждение, что само провидение посылает вас к нам на помощь и поддержку во всех наших тревогах и сомнениях.

Я думаю, вам известно, что Потемкин отозван, что он должен ехать в Гаагу, что здесь его заменяет князь Гагарин, и т. д., и т. д. Для нас это очень чувствительный удар; мы теряем самого любезного начальника, который выказывал нам всяческую доброту и даже привязанность.

1/13 июня 1833

Приехал Гагарин, уезжает милый Потемкин,—эта смесь прощальных слез и неловкости первой встречи—люди, изучающие друг друга и друг другу мешающие, что-то неопределенное, искаженное, смутное и испытующее, нависающее как кошмар. В общем, умоляю вас, знающего Теодора, помочь мне; я знаю, что вы—единственный человек, который может обратить к здравому смыслу эту взбалмошную голову. Я недостаточно устойчива, чтобы противодействовать его дурному настроению и подавленности. Гагарин вот уже три дня как здесь, в его обхождении есть что-то сухое и холодное, что в наших с ним отношениях ранит вдвойне, чувствуется в нем петербуржец, и этим все сказано. При знакомых вам настроениях вашего брата, боюсь, что такой образ действий испортит их взаимоотношения; стесненность и холодность с обеих сторон сделает дальнейшее сближение уже невозможным. Вы сами знаете—если Теодор чем-либо задет или предубежден, он уже сам не свой; его натянутый и обиженный вид, его колкие фразы или хмурое молчание—все искажает его обычное обхождение, и я понимаю, что он производит неприятное впечатление. Следовательно, это обоюдно замкнутый круг, и вы один только могли бы нарушить роковое направление его мыслей.—Но возможно и то, что опасения мои преувеличены.

29 августа/ 10 сентября 1833

Вот я и приехала. Из пяти или шести писем, написанных вам из разных мест, до вас дошли, возможно, два или три и вы, значит, знаете о наших злоключениях. После всяческих задержек и десяти-

дневного ветра, а вернее встречной грозы, корвет поднял паруса 1 сентября в 5 часов утра, и вот я одна и покинута в Триесте. Сознаюсь вам, что не имей я надежды встретить вас в Венеции и возвратиться с вами вместе, я не решилась бы на это путешествие, но я все же о нем не жалею, так как оно, уверяю вас, было очень нужно... Вы, конечно, догадываетесь, что такую тревогу мог вызывать у меня только Теодор. Я имею в виду его здоровье, не то чтобы он болен,— чувствует он себя как обычно, но есть в нем какой-то нравственный недуг, который, как мне кажется, развивается быстро и страшно. И вот это-то, сознаюсь, толкнуло меня на то, чтобы побудить его согласиться на это путешествие; я очень рассчитывала на смену дорожных впечатлений, но надежды мои не оправдались, и я рассталась с ним в состоянии несказанной муки и тревоги. Нужно знать его, как знаю его я, необходимо, чтобы он высказывал всю свою мысль до конца, чтобы составить себе о нем представление. Вы должны понимать, что именно я имею в виду; мать ваша, кажется, передала ему в наследство эту боль. Скажите, что мне делать; когда я об этом думаю, когда я стою перед таким явлением, меня охватывает смертельный ужас и горе. Думаете ли вы, что нужно посоветоваться с врачом? Но чувствует он себя хорошо, даже лучше обычного во время этих приступов меланхолии. Но это не только меланхолия, отвращение ко всему, невероятная разочарованность в мире и главное, в самом себе, это — что пугает меня больше всего — то, что сам он называет навязчивой идеей. Самая безумная, самая абсурдная идея, которую можно себе представить, мучает его до лихорадки, до слез; подумайте же, каково мне знать, что он в таком состоянии, и ничего не мочь, ничего против этого несчастья... Теперь вы понимаете, почему в последнее время я так настойчиво просила, чтобы ваш отец взял на себя устройство наших дел; все это малейшее огорчение, способствовало учащению и обострению подобного состояния Теодора. Умоляю вас, братец, сделайте, чтобы хоть это было устроено к его возвращению. Напишите папеньке, сделайте все возможное, чтобы добиться его согласия на постепенную уплату этих 12000 руб., чтобы я могла обеспечить ему хотя бы ежедневный покой.

Нужно сообщить вам, что Теодор произведен в коллежские асессоры и ему прибавили 200 р. жалования.

1/13 января 1834

Вижу из вашего письма, что послание Теодора не слишком распространялось о подробностях его путешествия. Некоторое время он и говорить о нем не мог, теперь же, когда дорожные неприятно-

сти и усталость забыты, он порой сожалеет о солнце, о видах этой малоудобной страны,— все так хорошо, что он даже хотел бы опять туда поехать через несколько лет!!!

Из письма к Е. Л. Тютчевой

4/16 февраля 1837

Если бы вы могли его видеть таким, каким он уже год, удрученным, безнадежным, больным, затрудненным тысячью тягостных и неприятных отношений и какой-то нравственной подавленностью, и не будучи в состоянии от этого отделаться, вы убедились бы, так же как и я, что вывезти его отсюда волею или неволею — это спасти его жизнь. Что сказать вам еще. Есть тысяча вещей, говорящихся с трудом и совсем не пишущихся, но я, связанная с этой страной столькими узами дружбы, я принуждена сказать, что пребывание здесь для него невыносимо; судите, что же это для него, не имеющего здесь почвы в настоящем и ничего в будущем.

Из письма к Н. И. Тютчеву

16/28 июня 1838

Вот я и среди своих; я встретилась с Теодором, узнавшим из газет о нашей катастрофе до получения моего письма и тотчас уехавшим с разрешения Обрезкова. Здесь он нашел мое письмо, и наша счастливая звезда захотела, чтобы совершенное им путешествие ни в чем ему не повредило. Позавчера пришло от Обрезкова письмо, в котором тот пишет, что Теодору незачем торопиться с возвращением, так как сам он останется в Турине до конца июля.

Вы сами можете себе представить, какой была наша встреча.

Из письма к Е. Л. Тютчевой

4/16 августа 1838

Вы знаете, что по приезде в Мюнхен 23 июня я там встретилась с Теодором, и если бы я не испытывала нездоровья, то мы тотчас же продолжали бы путь, но ни врачи, ни Теодор на это не согласились, и я осталась еще на две с лишним недели, принимая всякие лекарст-

ва. Наконец, опасение, что я буду причиной того, что Теодор нарушит служебный долг, заставило меня потребовать отъезда во что бы то ни стало, тогда как врач обязательно хотел отправить меня в Киссинген. Но видя, что Теодор не согласится со мной расстаться, я все бросила, и вот мы здесь. Мы остановились в гостинице и, несмотря на наши усилия, только несколько дней тому назад нашли дом. Жить мы будем в пригороде, в основном по причинам экономическим, так как квартиры здесь много дешевле. Теперь нам нужно меблироваться, и я нахожусь в поисках торгов и случайных вещей, но купить ничего не могу по той простой причине, что у нас нет денег и мы еще не знаем, будут ли они у нас и когда. Того, что я привезла из Гамбурга, нам хватило только на то, чтобы добраться до Турина. Банкир миссии выдал Теодору вперед его жалование за сентябрь, и на это мы живем. Не смею говорить Теодору о своих заботах. Он так подавлен,— не знаю, климат ли это или замкнутый образ жизни, который ему приходится тут вести, но в общем — то и другое, по-видимому, увеличивает его склонность к раздражительности и меланхолии, известную вам,— значит, необходимо, чтобы я, насколько могу, избавляла его от всяких мелких домашних забот, которые озлобляют его, но помочь которым он не умеет. Я желаю только, чтобы этот период стесненности был не слишком тягостен для Теодора: около двух недель он состоит в должности поверенного в делах, а так как в дипломатическом корпусе как раз теперь произошло много изменений, то приходится делать и визиты, и принимать у себя, наконец, обязанности его положения делают для него вдвойне тягостным эту неурядицу и это безденежье.

В. А. Жуковский

Из «Дневников»

1838

16/28 сентября, пятница. Письмо Тютчева, который потерял свою жену.

13/25 октября, четверг. Встретился с Тютчевым. Горе и воображение.

14/26 октября, пятница. День начался пасмурно. Несмотря на то, поехали на пароходе по озеру. К полудню явилось солнце и всех обрадовало. На пароходе с нами все русские дамы и мужчины. <...> Мужчины, сверх наших: Тютчев <...> и пр. Сперва осматривали

виллу Соммарива на горе, усыпанной чудесными растениями всякого рода. Прекрасный дом. Барельеф Торвальдсена. Статуя Кановы: Марс и Венера. Амур и Психея. Паламед. Гипс Магдалины. Картины: Мильары. Внутр<енность> монастыря; портрет Леонардо да Винчи. <...> Есть рисунки Лесюеровой Смерти св. Бруно. Отсюда в великолепную виллу Мельци. Потом в Беллажио. <...> Виды чудесные по дороге; особливо в сторону Лекко и Лимонты, которые играют главную роль в романе Гросси «Марко Висконти». <...> Ветер сделался холоднее, небо чище, и наконец взошел месяц. Проехали мимо виллы Пасти. <...> Во время плавания рисованье и приятный разговор с Тютчевым. Глядя на север озера, он сказал: «За этими горами Германия». Он горюет о жене, которая умерла мученическою смертию, а говорят, что он влюблен в Мюнхене.

19/31 октября, среда. Болезнь. У меня ввечеру Тютчев.

21 октября/2 ноября, пятница. У меня ввечеру Тютчев.

28 октября/9 ноября, пятница. Тютчев и наше прощанье.

1839

4/16 февраля, суббота. Приехал сонный в Киавари, где увидел Паулуччи и Тютчева.

7/19 февраля, вторник. Переезд из Александрии в Турин. Погода лучше. Наконец и тепло, и ясно. <...> Кругом Альпы. Прекрасный вид на По и Турин. Великолепный мост через По и вид на площадь, наполненную народом, на Cantrada del Po. Остановил<ись> в Hôtel de l'Europe против дворца. Визит великого князя королю, контр-визит и наше представление. За обедом подле Тютчева, который опять Карамзин духом.

8/20 февраля, среда. Обед у короля. Я сидел между младшим сыном, довольно умным и приветливым, и между Тютчевым. <...> Против меня Латур, бывший первый министр. Посещение С<ильвио> Пеллико, который имеет всю физиономию своих сочинений: простота и ясность. Живет в доме маркиза Бароля, своего покровителя. От Пеллико к аббату Камподонико, который живет в трактире на Piazza, и на дверях его стоит: Roma. Поговорили о Козлове, Вьельгорском, о Риме. «Как мало дает утешения мысль в несчастии»,— говорит Тютчев, очень справедливо и глубоко.

В. А. Жуковский

Из письма к Н. Н. Шереметевой

<1839>

Дней через пять по получении письма вашего я увиделся в Генуе с нашим Тютчевым, с которым уж прежде встретился в Комо. Я прежде знал его ребенком, а теперь полюбил созревшим человеком; он в горе от потери жены своей. Судьба кажется и с ним не очень ласкова. Он человек необыкновенно гениальный и весьма добродушный, мне по сердцу.

Из письма к П. А. Плетневу

20 декабря 1848/1 января 1849

Мне кажется, что моя Одиссея есть лучшее мое создание: ее оставляю на память обо мне отечеству. <...> Не с кем было поделиться своим поэтическим праздником. Один был у меня немой свидетель — гипсовый бюст Гомеров, величественно смотревший на меня с печи моего кабинета. Было однако для меня и раздолье, когда со мною жил Гоголь: он подливал в мой огонек свое свежее масло, и еще — когда я пожил в Эмсе с Хомяковым и с моим милым Тютчевым: тут я сам полакомился вместе с ними своим стряпаньем.

Варнгаген фон Энзе

Из «Дневника»

29 сентября 1843. Камергер Т<ютчев> привез мне поклоны из Москвы и Петербурга. Он уверял, что русские любят меня и благодарны мне. О Кюстине отзывается он довольно спокойно; поправляет, где требуется, и не отрицает достоинств книги. По его словам, она произвела в России огромное впечатление: вся образованная и дельная часть публики согласна с мнениями автора; книгу почти вовсе не бранят, напротив еще хвалят ее тон. <...> С необычайным знанием дела рассказывал Т<ютчев> об особенностях русских людей и вообще славян; он выказал возвышенный исторический взгляд на старинные несогласия и борьбу между церквами латинскою и греческою, о наречиях, нравах и формах правления; сообщил о новых открытиях в области русской средневековой литера-

туры, особенно в духовной; также по части летописей, песней и былин. Все кажется новым, как было одно время и у нас с Нибелунгами, Минезингерами и т. д.

А. И. Тургенев

Из писем к П. А. Вяземскому

24 июня/6 июля 1844

Жаль, что нет здесь брошюры Тютчева «Письмо к редактору «Аугсбургской газеты» Кольбу»: хорошо писано. Мы с ним видались в Париже. Умен и сведущ и с пером.

16/28 октября 1844

Поклонись Тютчеву; очень рад за вас обоих, что вы встречаетесь. Получил ли или отправил ли его книжку? Скажи ему, что она не всем здесь понравилась. <...>Напишу после, когда оправлюсь от теперешней хандры-недуга, замечания на книжку Тютчева. Будет ли он продолжать вразумлять Европу на счет наш? Ему стоит только писать согласнее с его европейским образом мысли — и тогда он ближе будет к цели, которую себе предполагает.

14 ноября 1845

Вот выписки из его <Н. И. Тургенева> письма в ответ на твою параллель Гизо с Карамзиным. Я послал ему с попутчиком и стишки здешних певцов: «К не нашим», «К нашим» Хомякова и пр. и на все это он замечает: «Я читал присланные стихи и артикль Тютчева. Как поэты, так и политик должны быть люди особенно сильного характера, дабы подняться и держаться так высоко и далеко от атмосферы, которая их окружает. Но так как такая абстракция слишком похожа на бесчувственность, на эгоизм, на хладнокровие к истине, то я лучше хочу видеть в их парении просто мечтанье, сон, un rêve, когда душа при спокойствии тела блуждает и там, и сям, без всякого сознания истинного своего положения. Не о *наших и не наших,* не об истории Византии и о ее наследии следует помышлять русским, у коих сердце бьется любовью к их земле, а о голоде и холоде, о палках и кнуте, одним словом, о рабстве и его уничтожении».

П. А. Вяземский

Из писем к А. И. Тургеневу

2 октября 1844

Я очень здесь рад Тютчеву. Вот тоже прелестный говорун, как покойник Козловский, но с понятиями и правилами более твердыми. Разговор его возбуждает вопросы и рождает ответы, а разговор многих других возбуждает одно молчание. Я часто являюсь в салон с потребностью и желанием говорить, но после двух минут чувствую, как замерзают мои мысли в голове и слова мои в горле.

29 января 1845

Tutscheff est le lion de la saison[1]. Он очень умен и мил; он один умеет расшевелить меня и дергать за язык.

Из письма к Д. П. Северину

28 мая 1848

Тютчева поручила мне переслать к тебе прилагаемый пакет с просьбою передать его брату ее. Тут записка Тютчева о нынешних политических обстоятельствах. Прочти ее. Государь был, сказывают, очень ею недоволен. Жаль, что нельзя напечатать ее. А почему нельзя, право не знаю. Мы уже чересчур осторожны и умеренны.

П. А. Плетнев

Записка о действительном статском советнике
Федоре Ивановиче Тютчеве

История литературы представляет иногда явления, совершающиеся по законам умственной деятельности не общим, а как бы исключительным. То, что называется постепенностию развития, в произведениях некоторых талантов нередко ускользает от наблюдения. Ж. Ж. Руссо сорока́ лет вышел в первый раз на поприще писателей — и занял между ними первое в своем роде место. Этого нельзя иначе изъяснить, как глубоким в раннем возрасте постижением важности призвания писателя. Без ясного и полного проник-

[1] Тютчев — лев сезона *(фр.)*.

новения в тайны изящного искусства молодому человеку трудно, почти невозможно защититься от соблазна известности и преждевременного поползновения к славе.

Подобный пример предохранения себя от первоначальных опытов поэзии представил в нашей литературе Ф. И. Тютчев. Он только в последний год жизни Пушкина в первый раз напечатал в «Современнике» несколько своих стихотворений, хотя, конечно, мог бы с ним вместе начать этот путь счастливой деятельности. Еще живы свидетели того изумления и восторга, с какими Пушкин встретил неожиданное появление этих стихотворений, исполненных глубины мыслей, яркости красок, новости и силы языка. Во всем была ощутительна свежая кисть художника. Он каждому предмету сообщает ясный образ, привлекательное положение и удивительную грацию. В изданиях его нет того повторения приготовленных предшественниками форм поэзии, которое, свидетельствуя о бессилии дарования, успокоивает автора близостию труда его к современному успеху.

Не станем поддерживать парадокса, что на подобных людей только во второй половине их жизни нисходит вдохновение, и вдруг из окриленного их ума вызывает вполне возмужавшие образы наподобие баснословной Минервы. Вся тайна, как замечено выше, объясняется раннею жаждою истинного совершенства, настойчиво властвующего мелким самолюбием. Таким образом и Ф. И. Тютчев умел устроить из первоначальных своих опытов потаенную лестницу, по которой поднялся на высоту прочного успеха. С своею раннею любовию к трудам умственным он ими питал ум свой в тишине и размышлениях. Дипломатическая служба, еще в первой его молодости, увлекла его за границу. Там он еще более почувствовал необходимость самосовершенствования. Находясь долгое время близ лучших источников просвещения и образованности, естественно он становится и к себе строже. Иностранные языки, усвоенные им как отечественный, представили ему средства не только извлекать из них сокровища души, но и развертывать разнородные силы ума в собственных работах, воплощая мысли в этих новых формах мышления.

В литературе нашей смотрят на Ф. И. Тютчева только как на одного из лучших русских поэтов. Но молодое поколение писателей успело уже убедиться, какой тонкий и высокий критический ум соединяется в нем с поэтическим талантом. Его проницательный взгляд, указывая на самые живые красоты всякого нового произведения, в то же время обнимает значение общей идеи творчества, план исполнения ее, соразмерность и связь частей и все необходимые принадлежности искусства вообще. Если бы когда-нибудь мож-

но было, в дополнение к небольшому числу изданных им сочинений, присоединить все, чем он увлекает внимательный ум как публицист, как философ, как историк и даже юрист, то без сомнения в его лице представился бы нам замечательнейший человек нашего времени, не только по таланту и уму, но и по обширности современных знаний.

Второе Отделение Академии наук почитает своею обязанностию обратить внимание прочих Отделений на дарования и литературные успехи Ф. И. Тютчева, желая украсить список членов Академии новым блистательным именем, особенно после того, как из среды нашей невозвратно выбыли Крылов и Жуковский. Никто не усомнится, что это имя, будет ли поставлено между почетными членами Академии, в ряду ли действительных академиков или на степени членов-корреспондентов Второго Отделения, не может приобрести или утратить что-нибудь в собственном своем значении, прочно утвердившемся для современников. Между тем поощрительный голос Академии, всегда и везде приятно отзывающийся в сердце истинно образованного человека, конечно, вызовет на новые умственные труды столь замечательное дарование.

П. А. Плетнев

Из писем к Я. К. Гроту

16 февраля 1846

Приехал Ф. И. Тютчев (поэт и посланник). Долго разговаривали о нашем министерстве просвещения и университетах: побранили порядочно Уварова.

6 июля 1846

У Вяземского на обеде были: Погодин, А. Попов, граф Ржевусский (ты его видел прошлого года), Андрей Карамзин, Аркадий Россет, Тютчев и Самарин. После обеда много спорили о варягах. Тютчев не соглашался, чтобы Рюрик был из скандинавов.

3 мая 1847

В 1-ое мая я в 5 часов вечера отправился один на Елагин. Дома было мне тяжело, томительно и ужасно грустно. Но вид деревьев (даже голых), лугов (хотя и без травы) и вообще чувство около себя

свободного горизонта так подействовали благотворно на мою душу, что я ожил совершенно. Тут-то я вспомнил божественные стихи Тютчева о природе и весне, напечатанные в «Современнике» 1836 года, т. е. Пушкинском. Как они истинны и прелестны!

17 марта 1848

Чтение драмы графа Соллогуба, называющейся: «Местничество», было довольно интересно. Там были: граф Александр Строганов, Тютчев <...>

Из писем к П. А. Вяземскому

8/20 сентября 1849

О Ф. И. Тютчеве ко мне не дошло никаких сведений. Я даже не знаю, возвратился ли он из деревни своей. Постараюсь однако же проведать о нем. Без него, зимою, я не знаю, куда и голову приклонить.

14/26 февраля 1850

Вообще вы очень скупы на письма ко мне. Один Тютчев умел расшевелить вас. Его статья в 1-й январской книжке «Revue d<es> D<eux> M<ondes>» о папе и императоре Николае теперь составляет модный разговор общества. Во всю зиму я у него был только раз, да он у меня раз — вот и все наши свидания.

6/18 января 1855

Тютчева я вижу редко. На минуту сталкиваемся у Смирновой. И она и он не переменились: одна все полубольна, другой все спешит куда-то.

5/17 января 1859

Недавно с Тютчевым я опять перечитал всю тетрадь вашу, и мы оба не могли не почувствовать, что сила, свежесть и грация стихов ваших идут диаметрально в противоположную сторону со счетом дней ваших: чем тяжелее груз последних, тем моложе и игривее характер первых. Кстати: Тютчев советует вам в первом стихотворе-

нии (Лес горит) переменить одно слово, а именно, где сказано: «Там красный свой *хребет* и огненное жало» лучше поставить так: «Там красный *гребень* свой и огненное жало».

17/29 апреля 1859

Получили ли вы мое письмо, князь Петр Андреевич, посланное 11(23) апреля? Оно было отправлено мною по случаю присылки вами 3-х стихотворений: Рыбак, Царица Красоты и Море <...> Тютчев все читал с явным восхищением. Он желал бы только переменить стих: *И рыданья в небеса,* и то единственно оттого, что предлог *в* как-то не гармонирует в этой мысли.

Из письма к В. А. Жуковскому

28 марта 1850

На днях провел я вечер у Тютчева вдвоем с ним. Этот человек для меня самый интересный. Три часа с ним показались мне минутою. Если к его таланту и сведениям, к его душе и поэтическому чутью придать привычку правильной и трудолюбивой жизни, он был бы для нашей эпохи светилом ума и воображения. Мы все говорили о вас. Как он ясно умеет ценить ваш талант! На остатке жизни какое было бы счастие увидеть в одном месте совокупленными таких людей, как он, Вяземский и вы!

А. П. Плетнев

Из воспоминаний «Ф. И. Тютчев»

Давнишний знакомый моего отца, П. А. Плетнева, он <Тютчев> остался другом и с моей матерью Александрой Васильевной (рожденной княжной Щетининой), у которой он бывал чуть ли не каждый вечер и которой он посвятил следующие стихи:

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса:
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.<...>

В то время Ф. И. уже перешагнул за шестьдесят лет (родился в 1803 году), но года точно не коснулись ни его ума, ни его вообра-

жения. Можно сказать, что до своего последнего часа он жил полной умственной жизнью. Когда его постиг 1-го января 1873 года первый апоплексический удар и у него отнялась вся левая часть тела, он приобщился, готовясь к смерти. Однако он несколько оправился, снова заинтересовался текущей жизнью и политикой и добродушно подшучивал, говоря, что наверное удивит священника, который его приобщал, если еще встретится с ним на улице. Так прожил он до июля месяца, когда постиг его второй удар на даче в Царском селе. Умер он 15 июля 1873 года. <...>

Западник по воспитанию, по вкусам он является одним из самых ярких истолкователей русской души. Подлинный барин во многих отношениях, аристократ – по роду службы и по привычкам, – трудно было бы найти человека более приветливого в личных отношениях, менее требовательного в удовлетворении собственных нужд. Я, как сейчас, помню его идущим пешком по Невскому медленной, фланирующей походкой, в цилиндре, закутанным в коричневый плед, один конец которого всегда касался тротуара.

Нельзя не упомянуть и об его служебной деятельности, когда он был назначен старшим цензором при Особой канцелярии Министерства иностранных дел.

Его известное «Письмо о цензуре», написанное члену Государственного совета князю А. М. Горчакову, заключает в себе ясный и широкий взгляд на это дело, не потерявший своего значения и теперь. А писано оно было в 1857 году! Как поэт, Ф. И. выразился о своей службе стихами:

Не арестантский, а почетный
Держали караул при ней...

При близком изучении Тютчева и при знакомстве с его мировоззрением кажущиеся в нем противоречия находят объяснение в правдивости его ума. Как русский, он любил Россию, какова она есть, понимал и сочувствовал ее идеалам, но вместе с тем не отвергал все то хорошее, что он видел на Западе. Во многом он опередил современное ему общество, и этим можно объяснить ту позднюю оценку, которую он теперь получает, и признание достоинства его поэзии даже в лагере наших декадентов.

В беседе Тютчев сыпал блестками своего ума, как богач, не боящийся разорения. Владея в совершенстве французским языком, он часто выражался на этом языке, почему очень многие остроумные, часто сатирические, а также глубокомысленные «тютчевианы» потеряны для потомства. <...>

Тютчев был мастер на экспромты, и многие из лучших его стихотворений были сочинены таким образом. Так, например, вылилось его известное стихотворение: «Слезы людские», которое он сочинил, раздеваясь в передней, по возвращении поздно ночью из гостей, в ненастную дождливую погоду.

В Тютчеве, как в интеллигентном фокусе, сосредоточились одновременно лучи русской поэзии и русской политической мысли. Он не оставил большого литературного наследства, но его верно оценил Фет словами:

Муза, правду соблюдая,
Глядит, и на весах у ней —
Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелей.

М. И. Жихарев

Из воспоминаний «Петр Яковлевич Чаадаев»

Очень замечательно, что наиболее несогласные были с ним <Чаадаевым> и наиболее дружными. Решительный его противник Ф. И. Т<ютчев> часто говаривал: «L'homme, que je contredis le plus est aussi celui que j'aime le mieux»[1]. Их споры между собою доходили до невероятных крайностей. Раз, середи английского клуба, оба приятеля подняли такой шум, что клубный швейцар, от них в довольно почтенном расстоянии находившийся, серьезно подумал и благим матом прибежал посмотреть, не произошло ли в клубе небывалого явления рукопашной схватки и не пришлось бы разнимать драку.

В. А. Соллогуб

Из «Воспоминаний»

Он был одним из усерднейших посетителей моих вечеров; он сидел в гостиной на диване, окруженный очарованными слушателями и слушательницами. Много мне случалось на моем веку разговари-

---

[1] «Человек, с которым я согласен менее, чем с кем бы то ни было, и которого, однако, люблю больше всех» *(фр.)*.

вать и слушать знаменитых рассказчиков, но ни один из них не производил на меня такого чарующего впечатления, как Тютчев. Остроумные, нежные, колкие, добрые слова, точно жемчужины, небрежно скатывались с его уст. Он был едва ли не самым светским человеком в России, но светским в полном значении этого слова. Ему были нужны, как воздух, каждый вечер, яркий свет люстр и ламп, веселое шуршанье дорогих женских платьев, говор и смех хорошеньких женщин. Между тем его наружность очень не соответствовала его вкусам; он был дурен собою, небрежно одет, неуклюж и рассеян; но все, все это исчезало, когда он начинал говорить, рассказывать; все мгновенно умолкали, и во всей комнате только и слышался голос Тютчева.

Д. В. Григорович

Из «Литературных воспоминаний»

Их было два брата <Матвей Юрьевич и Михаил Юрьевич Виельгорские>: один, превосходно игравший на виолончели, занимал какую-то действительную должность при дворе и редко показывался; второй, граф Михаил Юрьевич, играл на фортепиано и сочинял романсы. Ему было тогда под шестьдесят. Тонкие черты, сохранившиеся несмотря на ожирение лица, с первого взгляда приводили на память портрет знаменитого композитора Россини. <...> В его гостиной, раз в неделю, в назначенный день можно было встретить всех знаменитых певцов, композиторов, актеров и также светских и придворных дам. Разговор происходил почти исключительно на французском языке. Постоянным посетителем этих вечеров был известный поэт Ф. И. Тютчев, прославившийся также едкостью своего остроумия. Можно было бы составить целый том из того, что сказано было Тютчевым, и том этот мог бы с успехом занять место между сочинениями известных остроумцев прошлого столетия Шамфора и Ривароля. Но мы вообще мало дорожим своим добром, ничего почти не собираем и не приберегаем, и часто у нас зря пропадает то, что служит богатым вкладом в иностранной литературе.

А. Ф. ТЮТЧЕВА

Из «Дневника»

4/16 мая 1846. Вчера вечером я осталась одна с отцом: он сидел в большом кресле возле камина, я — на маленькой скамеечке у его ног; он казался грустным и подавленным. Никто из нас не говорил: я боялась нарушить его думы. Отец первым прервал молчание: «Итак,— сказал он мне,— одно поколение следует за другим, не зная друг друга: ты не знала своего деда, как и я не знал моего. Ты и меня не знаешь, так как не знала меня молодым. Теперь два мира разделяют нас. Тот, в котором живешь ты, не принадлежит мне. Нас разделяет такая же резкая разница, какая существует между зимой и летом. А ведь и я был молод! Если бы ты видела меня за пятнадцать месяцев до твоего рождения... Мы совершили тогда путешествие в Тироль — твоя мать, Клотильда, мой брат и я. Как все было молодо тогда, и свежо, и прекрасно! А теперь это лишь сон. И она также, она, которая была для меня жизнью,— больше, чем сон: исчезнувшая тень... А я считал ее настолько необходимой для моего существования, что жить без нее мне казалось невозможным, все равно как жить без головы на плечах. Ах, как это было давно; верно, тому уже тысяча лет! Придет день, Анна, когда ты вспомнишь о своей юности и вспомнишь, быть может, то, что я говорю тебе сейчас. Ты подумаешь: это было в Красной комнате возле камина...» Он помолчал, затем заговорил снова: «Ах, как ужасна смерть! Как ужасна! Существо, которое любил в течение двенадцати лет, знал лучше себя самого, которое было твоей жизнью и твоим счастьем,— женщина, которую видел молодой, прекрасной и смеющейся, нежной и любящей,— и вдруг... мертва, недвижна, обезображена тлением. Да ведь это ужасно, ужасно! Нет слов, чтобы передать все это. Я только раз в жизни видел, как умирают... Смерть ужасна! — Первые годы твоей жизни, дочь моя, годы, которые ты едва припоминаешь, были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей. Я провел их с твоей матерью и Клотильдой. Эти дни были так прекрасны, мы были так счастливы! Нам казалось, что они не кончатся никогда,— так богаты, так полны были эти дни. Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. Теперь они образуют в моей жизни точку, которая все отдаляется и которую я не могу настигнуть. И столько людей более или менее знакомых, более или менее любимых исчезло с этого горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем. И она также... И все-таки я обладаю ею, она вся передо мною, бедная твоя мать!» Как передать невыразимую грусть его голоса, когда он перечислял столько далеких воспоминаний и столько горьких печалей? Я ничего не

могла сказать: в самом деле, какое утешение способно умерить горесть того, кто оплакивает свою молодость и существ, которых он любил <...>

Папа встал и ходил большими шагами, а я плакала. Его скорбь меня глубоко опечалила. Никогда раньше я не слыхала, чтобы он так выражал свои сожаления, ибо, будучи натурой скрытной и ненавидящей всё, что носит малейший оттенок сентиментальности, он очень редко говорит о том, что испытывает. Вероятно, поэтому его скорбь особенно выразительна и производит тем большее впечатление, когда прорывается наружу.

Август 1864. <...> Елена Д<енисьева>умерла. Я увиделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии, близком к помешательству. Какие дни нравственной пытки я пережила! Потом я встретилась с ним снова в Ницце, когда он был менее возбужден, но все еще повергнут в ту же мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему бы то ни было небесному. Он всеми силами души был прико́ван к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, все увеличиваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям религии и доводило его, по природе нежного и справедливого, до раздражения, колкостей и несправедливости в отношении к его жене и ко всем нам. Я видела, что моя младшая сестра, которая теперь при нем, ужасно страдала. Сколько воспоминаний и тяжелых впечатлений прошлого воскресло во мне. Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растрачена в земной и незаконной страсти.

Эрн. Ф. Тютчева

Из письма к П. А. Вяземскому

8 ноября 1849

На днях состоялся литературный вечер у кн. Одоевского. Читали драму, озаглавленную *Нахлебник.* Автор ее — молодой человек, имя которого я забыла, если, впрочем, я его когда-либо знала; кажется, это племянник Тургенева? Возможно ли это. Что касается меня, то я ни в чем не уверена. Актер Щепкин, как говорят, превосходно прочел пьесу. Мой муж находит, что это произведение отличается захватывающей и совершенно трагической правдой...

Из письма к А. Ф. Тютчевой

7 января 1853

Вечерами папа читает нам по-русски и по-французски, и я так счастлива, что понимаю почти все, когда он читает по-русски. Вечера, проведенные таким образом, слушая его мягкий и звонкий голос, для нас, его слушательниц, очаровательны, но и сам он, кажется, вовсе ими не тяготится.

Из писем к К. Пфеффелю

25 августа/6 сентября 1857

Я получила ваше письмо в тот самый момент, когда муж садился в коляску, чтобы уехать из Овстуга, где он провел недели две. Я успела ему прочесть его, и он поручил мне обязательно передать вам, как ему тяжело сознание своей виновности перед вами в том, что он не ответил на ваше письмо, посланное ему несколько месяцев тому назад. Он говорит, что раз двадцать брал в руки перо, чтобы написать вам, но темы, о которых он хотел бы говорить, были столь многочисленны, что это каждый раз отпугивало его и он отступал в ужасе перед той массой мыслей, которые пришлось бы ворошить. <...> Кн. Горчаков хотел бы, чтобы он писал статьи для газеты «Nord», но муж уверяет, что может писать только вещи, которые говорить нельзя, и, следовательно, воздерживается, а потому с этим министром иностранных дел у него не самые лучшие отношения, не лучшие, чем были прежде с графом Неєсельроде. Надеяться на повышение по службе ему нечего.

6/18 февраля 1867

В ответ на одно место из вашего последнего письма, где вы намекаете на расположение кн. Горчакова к Тютчеву и на то, что последнему было бы нетрудно воспользоваться этим расположением, чтобы получить должность за границей, я просто скажу вам, что одна из привлекательнейших сторон моего мужа в глазах его высокопоставленных и влиятельных друзей всегда состояла в том, что он их ни о чем не просил, и если бы сейчас он случайно изменил себе в этом принципе, который в нем просто естественная склонность характера, он ничего не выиграл бы в материальном отношении по сравнению с любым другим, но зато с точки зрения житейской для

него значительно поубавилось бы той приятности, которой он наслаждается в своей независимости. К тому же мой муж не может больше жить вне России: величайший интерес его ума и величайшая страсть его души — это следить день за днем, как развертывается интеллектуальная работа на его родине, и эта работа действительно такова, что может поглотить всецело внимание горячего патриота. Я даже не знаю, согласится ли он когда-нибудь совершить кратковременное путешествие за границу, настолько тяжелое у него осталось воспоминание о последнем пребывании вне России, так сильна была у него тоска по родине и ощущение оторванности.

Д. Ф. Тютчева

Из письма к Е. Ф. Тютчевой

20 августа 1855

С утра он встает благоразумно в 7 часов и после завтрака совершает с мама большую прогулку (или, когда мама не может его сопровождать, его Антигоной становлюсь я). Сегодня утром мы отправились вместе, папа и я, сперва на могилу дедушки, затем в лесочки, с которыми связано у папа столько детских воспоминаний; он рассказал мне, что однажды, когда он со своим наставником гулял в лесочке рядом с кладбищем, они нашли мертвую горлицу в траве и похоронили ее, а папа написал эпитафию в стихах... папа приходил после заката солнца собирать душистый чудоцвет в тишине и темноте ночи, и это вызывало в нем неопределенное ощущение таинственности и благоговения... эти перелески, этот сад, эти аллеи были целым миром для папа — и миром полным: тут пробудился ум и детское воображение в этой реальности видело свой идеал. Теперь Овстуг для папа — как призрак его детских мечтаний — то, что представлялось ему идеалом, превратилось в строгую действительность, и между ребенком тех времен и тем же ребенком, ставшим мужем, познавшим все жизненные разочарования, легла пропасть.

Из письма к А. Ф. Тютчевой

28 августа 1855

Папа и я совершаем вместе большие прогулки, и папа оказывает мне честь со мной беседовать. Я поражена острой проницательностью его взгляда на будущее и на то, как сложится история. Но по-

мимо его гения философского, исторического и, не знаю как сказать, пророческого — его поэтическая суть меня удивляет и очаровывает, он как гармоничный и полный инструмент, который вибрирует от малейшего дуновения. Инструмент совершенен, но рука, берущая аккорды, неискусна, как и все человеческое, и брала порой аккорды фальшивые. Что до меня, я не берусь судить.

В. С. Аксакова

Из «Дневника»

1855

21 февраля. Сегодня возвратились из города наши крестьяне, возившие туда продавать свои дрова. <...> На вопрос, какие вести в Москве,— «царь помер»,— отвечал один из них. <...> Все невольно чувствуют, что какой-то камень, какой-то пресс снят с каждого, как-то легче стало дышать; вдруг возродились небывалые надежды; безвыходное положение, к сознанию которого почти с отчаянием пришли наконец все, вдруг представилось доступным изменению.

10 апреля. Все чувствуют, что делается как-то легче <...>. Тютчев Ф. И. прекрасно назвал настоящее время *оттепелью.* Именно так. Но что последует за оттепелью?

А. Ф. Тютчева

Из книги «При дворе двух императоров»

1855

15 марта. Мой отец волнуется, мучится и пребывает в очень мрачном настроении из-за оборота, который принимает наше политическое положение.

3 сентября. Мой отец только что приехал из деревни, ничего еще не подозревая о падении Севастополя. Зная его страстные патриотические чувства, я очень опасалась первого взрыва его горя, и для меня было большим облегчением увидеть его нераздраженным; из его глаз только тихо катились крупные слезы.

24 ноября. Был день рождения моего отца, и я хотела обедать в семье. Слово cheerless[1] было выдумано нарочно для определения нашей домашней жизни. В ней есть спокойствие и безмолвие, но в этом спокойствии нет мира, а только уныние, в этом безмолвии нет ясности. В каждом из нас чувствуется глубокая затаенная грусть, в папе и в маме — разочарование в жизни и во всем.

П. С. Усов

Из моих воспоминаний

Все известия и статьи, касавшиеся внешней политики, дозволялись к печати в тогдашних газетах не обыкновенною цензурою, но назначенными для этой цели чиновниками Министерства иностранных дел. Они чередовались по неделям <...> Федор Иванович Тютчев (известный поэт) пропускал к печати все, что ни посылалось ему на одобрение. По своим большим связям, имея доступ к графу Нессельроде и к князю Горчакову, он разрешал гораздо более, чем обыкновенный чиновник министерства. Получал ли Ф. И. Тютчев за свой цензурный либерализм замечания, редакторы не знали, потому что он никогда не являлся в редакции с упреками, что его «подвели». Это была в высшей степени благородная личность.

Д. Ф. Тютчева

Из писем к Е. Ф. Тютчевой

25 февраля/9 марта 1861

Папа пришлось переводить манифест об освобождении крестьян. Я читала его, он великолепен.

6/18 марта 1861

Сегодня манифест появился на французском языке. Переводил его папа.— Ему пришлось крепко поработать над ним.

---

[1] безрадостный *(англ.)*.

М. Ф. Тютчева

Из «Дневника»

1862

14 марта. Обедали одни, потом папа читал мне вслух стихи Некрасова.

15 декабря. Папа вернулся домой рано, и остальная часть вечера до часу пополуночи прошла в чтении стихов.

22 декабря. Папа начал читать «Salambô».

В. П. Боткин

Из письма к А. А. Фету

10 декабря 1863

Я встречаюсь с Ф. И. Тютчевым в разных домах и прислушиваюсь к его разговору. Как каждый эпитет его точен, оригинален и поэтичен! Я смотрю на него с некоторого рода умилением — божественный старец. Но никто из посещаемых им мужчин и дам, никто из окружающих его не чувствует и не понимает поэзии его стихов. Виноват, дочь его только понимает ее, да и то настолько, насколько может чувствовать и понимать поэзию женщина.

А. И. Георгиевский

Из «Воспоминаний»

С раннего детства она <Е. А. Денисьева> осталась исключительно на попечении своей тетушки Анны Дмитриевны Денисьевой, в то время инспектрисы воспитательного общества благородных девиц, то есть Смольного монастыря. <...> Ученье ее шло вообще очень неправильно и главнейше ограничивалось только усвоением французского языка; но природа одарила ее большим умом и остроумием, большою впечатлительностью и живостью, глубиною чувства и энергией характера, и когда она попала в блестящее обще-

ство, она и сама преобразилась в блестящую молодую особу, которая при своей большой любезности и приветливости, при своей природной веселости и очень счастливой наружности всегда собирала около себя множество блестящих поклонников. В числе их был и наш поэт Феодор Иванович Тютчев. <...>Его увлечение Лелею вызвало с ее стороны такую глубокую, такую самоотверженную, такую страстную и энергическую любовь, что она охватила и все его существо, и он остался навсегда ее пленником, до самой ее кончины. Зная его натуру, я не думаю, чтобы он за это долгое время не увлекался кем-нибудь еще, но это были мимолетные увлечения, без всякого следа, Леля же несомненно привязала его к себе самыми крепкими узами.

Что она поддалась его обаянию до совершенного самозабвения, это как нельзя более понятно, хотя ей было в то время (в конце 1850 года) лет 25, а ему 47; но он до конца своей жизни, по своему уму и остроумию, по своему образованию, по своей утонченной светскости, действительно был обаятельным человеком. <...>О наружности своей он вообще мало заботился: волосы его были большею частью всклочены и, так сказать, брошены по ветру, но лицо было всегда гладко выбрито; в одежде своей он был очень небрежен и даже почти неряшлив; походка была действительно очень ленивая; роста был небольшого; но этот широкий и высокий лоб, эти живые карие глаза, этот тонкий выточенный нос и тонкие губы, часто складывавшиеся в пренебрежительную усмешку, придавали его лицу большую выразительность и даже привлекательность. Но чарующую силу сообщал ему его обширный, сильно изощренный и необыкновенно гибкий ум: более приятного, более разнообразного и занимательного, более блестящего и остроумного собеседника трудно себе и представить. В его обществе вы чувствовали сейчас же, что имеете дело не с обыкновенным смертным, а с человеком, отмеченным особым даром божиим, с гением. <...>

На след тайных свиданий между ними в нарочно нанятой для того близ Смольного квартире первый напал эконом Смольного монастыря Гаттенберг. На беду в марте 1851 года предстоял торжественный выпуск воспитанниц того класса, который Анна Дмитриевна вела в продолжение 9 лет: ожидали, что ее по этому случаю сделают кавалерственной дамой, а Лелю фрейлиной. И вдруг ужасное открытие! <...> Гнев отца ее не знал пределов и много содействовал широкой огласке всей этой истории, которая впрочем не могла не обратить на себя общего внимания по видному положению в свете обоих действующих лиц и по некоторой прикосновенности к ней Смольного монастыря и заслуженной его инспектрисы.

Анна Дмитриевна тотчас же после выпуска оставила Смольный; бедную Лелю все покинули. <...>

С того времени много воды утекло, но Леля все еще до крайности тяготилась своим ненормальным, своим фальшивым положением, необходимостью скрывать от детей (старшей, также Леле, было уже 10 лет, когда я с ними познакомился, младшему Феде лет шесть), что отец их не жил с ними вместе, что у него был свой дом, своя другая семья, признаваемая законом и обществом. Со слезами в глазах рассказывала она мне, когда ближе сошлась со мной, как тяготило ее и то, что тетушка ее Анна Дмитриевна, в свою очередь, чувствовала какое-то обожание к Феодору Ивановичу и относилась к нему с особенным подобострастием, и это в глазах тех, правда, немногих лиц, которые бывали у них и не были посвящены во все их тайны, придавало всему такой фальшивый вид, как будто бы она со своей теткой находится в материальной зависимости от Феодора Ивановича и что тетка служит для них ширмами и извлекает из этого для себя выгоды, тогда как подобострастие к нему Анны Дмитриевны вызывалось лишь тем, что он вращался в таких высоких сферах, был так любим при Большом Дворе и при Малых Дворах, особенно же у великой княгини Елены Павловны, был близок с канцлером кн. А. М. Горчаковым и т. д. Она, и сама близкая некогда к сильным мира сего, дорожила Тютчевым как единственным звеном, которое связывало еще ее с большим светом. «А мне», продолжала Леля, еле сдерживая рыдания, «нечего скрывать и нет надобности ни от кого прятаться: я более ему жена, чем бывшие его жены, и никто в мире никогда его так не любил и не ценил, как я его люблю и ценю, никогда никто его так не понимал, как я его понимаю — всякий звук, всякую интонацию его голоса, всякую его мину и складку на его лице, всякий его взгляд и усмешку; я вся живу его жизнью, я вся его, а он мой». <...>

Она была так верна своей теории, что везде и всегда называла себя Тютчевой: никаких гражданских актов ей не приходилось совершать, и потому никто не уличал ее в самозванстве. Заграничные путешествия совершала она обыкновенно вместе с Тютчевым, но и вместе с тетушкой и с детьми и их бонной, и в гостиницах прописывалась: Tutcheff avec sa famille[1], а если они отправлялись вдвоем, а дети оставались с бабушкой, то m-r et m-me Tutcheff. Заграничные путешествия Леля особенно любила, потому что тогда Феодор Иванович был в полном и нераздельном ее обладании, и ее теории о законном с ним браке осуществлялись тогда и на практике. <...>

---

[1] Тютчев с семьей *(фр.)*.

Когда я <...> в первый раз приехал к ним на Кирочную, ко мне вышла первою Леля, очень стройная и изящная брюнетка, с большими черными глазами, очень милым и выразительным, скорее худым лицом и с очень хорошими манерами. Я хотел поцеловать у нее руку, но она просто поцеловалась со мной, как с родным братом, и так обыкновенно и здоровалась и прощалась со мною. Пошли расспросы о Мари, о детях, о нашем первом знакомстве, о свадьбе, о южном береге Крыма, об Одессе и т. д. Тем временем пришла и тетушка, совсем седая, но еще бодрая старушка, очень прямо державшаяся, привыкшая быть всегда на вытяжке и сохранившая эту выправку до конца жизни. Она попросила меня попросту остаться у них обедать, тем более, что и Тютчев хотел быть у них. <...>

Первая моя беседа с Лелей и с Тютчевым очень затянулась к общему всех нас удовольствию. Милая Леля была в истинном восторге и, прощаясь со мною, выражала надежду, что я буду частым их гостем. <...>

Леля от души радовалась, что Феодор Иванович и у нее может встречаться с интересным для него собеседником, и я становился для нее особенно дорог именно поэтому. Нечего и говорить, что для меня эти обеды у такой милой и гостеприимной хозяйки, как Леля, и с таким собеседником, как Тютчев, были истинною отрадою в моем одиночестве и усладили мне тогда пребывание в Петербурге. <...>

Феодор Иванович Тютчев остался верен высказанному им решению употребить все усилия, чтобы переселить нас в Петербург. Бывая во всех высших светских кругах, встречаясь со всеми министрами и высшими сановниками империи, будучи всеми любим и ценим, как ни с кем не сравнимый, в высшей степени занимательный и остроумный собеседник, он при всяком подходящем случае прославлял мою деятельность в «Московских ведомостях» и мои в них передовые статьи; он говорил обо мне, между прочим, и военному министру Дмитрию Алексеевичу Милютину и редактору «Русского инвалида» генералу Дмитрию Ильичу Романовскому. <...>

Тютчев очень много содействовал моему переходу в редакцию «Русского инвалида», и он вместе с дорогою и незабвенною Лелею служил и для меня и для Мари одною из наибольших прелестей Петербурга. Редкий день мы не видались между собою, редкий день Феодор Иванович не заходил или ко мне в редакцию, или к нам в дом Мерца в Фонарном переулке во время своей обычной утрен-

ней прогулки и каждый раз сообщал целую массу интереснейших дипломатических и политических новостей. <...>

Нечего и говорить, как драгоценны были все те сведения и все те разъяснения, которые давал мне по всем дипломатическим вопросам времени Ф. И. Тютчев, черпая их из первого источника и будучи сам большим знатоком дела. <...>

Ф. И. Тютчев <...> был против возвращения моего в Москву: отдавая полную справедливость обоим редакторам «Московских ведомостей» и очень высоко ценя их общественную деятельность, Тютчев не питал к ним особенного личного сочувствия, так же как и они к нему; но главное, он опасался, что на меня вновь взвалят непосильное бремя работы. <...>

В конце концов сам Феодор Иванович должен был признать, что мысль его отвлечь меня от «Московских ведомостей» <...> не была из числа удачных. <...>

Более всего жаль было расставаться с Ф. И. Тютчевым и Лелей. Кто бы мог думать тогда, что мы с нею более не увидимся!..

<...> Я вдруг был поражен воплем отчаяния, раздавшимся из Петербурга от Ф. И. Тютчева.

«Все кончено», писал он мне от 8 августа 1864 года: «Вчера мы ее хоронили... Что это такое? что случилось? О чем это я вам пишу — не знаю... Во мне все убито: мысль, чувство, память, все... Я чувствую себя совершенно идиотом.

Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то...

Сердце пусто, мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней — вызвать ее, живую, в памяти, как она была, глядела, двигалась, говорила, и этого не могу.

Страшно, невыносимо... писать более не в силах, да и что писать?»

Я и Мари, оба мы были сильно поражены этим неожиданным известием о смерти нашей дорогой Лели, последовавшей 4 августа, и тем отчаянием, в какое она, очевидно, повергла Феодора Ивановича. Мы понимали всю безвыходность его положения в настоящем случае и невозможность найти себе какое-либо утешение в ее тетушках или же искать его в посторонних лицах. Мы тут же решили, что я отправлюсь в Петербург и попытаюсь сколько-нибудь приободрить нашего доброго друга. <...>

Выехав в Петербург в субботу 15 августа, я в вагоне начал перечитывать последние письма Лели к Мари. Письма эти были от 31 мая и от 1 июня 1864 г., причем последнее было окончено только 5 июня. В первом из них, написанном вслед за нашим отъездом из Петербурга в Москву, она рассказывала, что, простившись с нами,

не могла воздержаться от слез и что Феодор Иванович, проводив нас на железную дорогу, нашел ее еще всю в слезах, а затем отправился навестить «бедных Деляновых», которые незадолго перед тем потеряли своего единственного сына, а Леля, «вдоволь насладившись и воспользовавшись назидательными и занимательными разговорами» (discours instructifs et amusants de maman: так называла она свою тетушку Анну Дмитриевну), отправилась в свою комнату, чтобы письменно побеседовать с нами, «с своими дорогими друзьями». Главною новостью дня было то, что 31 мая она впервые встала с постели после своих родов и большую часть дня провела в гостиной, обедала за столом, и по этому случаю пили шампанское между прочим и за наше здоровье. «Мой боженька» — так называла она Феодора Ивановича — «скучает; его знакомые разъезжаются один за другими, и вашего общества, cher Alexandre, которое он так любит, ему сильно недостает. Я желала бы как можно скорее поправиться, не столько для себя, сколько для него <...>».

На другой же день, 1 июня, она снова писала: «Я вчера так похрабрилась, но, увы! сегодня снова слегла в постель, или, лучше, осталась в постели после ужасной ночи в лихорадке и с кошмарами; но теперь, к вечеру, мне стало лучше, и я пользуюсь этим, чтобы поболтать немного с тобою, дорогая Marie. Но о чем? Это такое однообразие целый день быть в постели без всякого развлечения, кроме чтения, правда, на этот раз очаровательного: это — письмо Жорж Занд по поводу последней книги Виктора Гюго: истинный образец изящного слова. Пусть твой муж прочтет его в «Revue des Deux Mondes du 15». Письмо это было прервано на известии, что Феодор Иванович получил письмо от своей дочери Kitty, в котором настоятельно требовался его приезд в Москву для улажения дел с его братом. «Все это меня раздражает и мешает моему поправлению», — прибавляет Леля, для которой было всегда тяжело расставаться с Феодором Ивановичем. <...>

Отъезд этот состоялся 13 июня 1864 года, и в следующую годовщину в письме своем к Мари Феодор Иванович так говорил об этом своем расставании с Лелей: «Уезжая в Москву и покидая вашу сестру, я не пытался даже сдерживать себя и подавлял свои рыдания, уткнувшись в подушку, хотя и не подозревал, что оставляю позади себя все мое прошлое, которое должно было оторваться от меня, а это прошлое было всею моею жизнью». Можно себе представить, чем было это расставанье для самой Лели. <...>

Я в воскресенье 16 августа прибыл в Петербург прямо на квартиру Феодора Ивановича, на Невском проспекте в доме Армянской церкви <...>

Я много думал о том, как бы мне размыкать его горе; дело это было очень нелегкое, тем более, что Феодор Иванович, глубоко понимая все значение религии в жизни отдельных людей и целых народов, и всего человечества и высоко ценя и превознося нашу православную церковь, сам был человек далеко не религиозный и еще менее церковный: никакие изречения из священного писания или из писаний отцов церкви, столь отрадные для верующего человека и столь способные поддержать и возвысить его дух, в данном случае не оказались бы действительны.

Глубокая религиозность самой Лели не оказала совсем никакого влияния на Феодора Ивановича. Я и не пробовал прибегать с ним к такого рода утешениям, а избрал совсем другой способ врачевания. Хотя я знал Лелю очень недолгое время и сравнительно очень мало, тем не менее я питал к ней самое живое и искреннее сочувствие, очень сошелся с ней и старался вникнуть во все особенности ее настроения и ее образа мыслей во всем, что касалось до Феодора Ивановича и ее к нему отношений. Она и была неистощимым источником наших разговоров. Для Феодора Ивановича было драгоценною находкой иметь такого собеседника, который так любил и так ценил его Лелю, который уже успел составить о ней довольно верное представление и который так дорожил всеми подробностями ее характера, ее воззрений и всей богатой ее натуры. В этих беседах со мною Феодор Иванович по временам так увлекался, что как бы забывал, что ее уже нет в живых. В своих о ней воспоминаниях он нередко каялся и жестоко укорял себя в том, что, в сущности, он все-таки сгубил ее и никак не мог сделать счастливой в том фальшивом положении, в какое он ее поставил. Сознание своей вины несомненно удесятеряло его горе и нередко выражалось в таких резких и преувеличенных себе укорах, что я чувствовал долг и потребность принимать на себя его защиту против него самого; но по свойственной человеческой природе слабости не было недостатка и в попытках к самооправданию.

А. А. Фет

Из «Моих воспоминаний»

Быть может, не всем известно, что Тургеневу стоило большого труда выпросить у Тютчева тетрадку его стихотворений для «Современника». Познакомившись впоследствии с Федором Ивановичем,

я убедился в необыкновенной его авторской скромности, по которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже намеков на его стихотворную деятельность. Появление небольшого собрания стихотворений Тютчева в «Современнике» было приветствовано в нашем кругу со всем восторгом, которого заслуживало это капитальное явление. <...>

По поводу последнего моего свидания с Ф. И. Тютчевым в январе 1864 года, не могу не приветствовать в моем воспоминании тени одного из величайших лириков, существовавших на земле. <...> Тютчев сладостен мне не столько как человек, более чем дружелюбно ко мне относившийся, но как самое воздушное воплощение поэта, каким его рисует себе романтизм. Начать с того, что Федор Иванович болезненно сжимался при малейшем намеке на его поэтический дар, и никто не дерзал заводить с ним об этом речи. Но как ни скрывайте благоуханных цветов, аромат их слышится в комнате, и где бы и когда бы вы ни встретили мягких до женственности очертаний лица Федора Ивановича с открытой ли головой, напоминающей мягкими и перепутанными сединами его стихи:

«Хоть свежесть утренняя веет
В моих всклокоченных власах...»

или в помятой шляпе, задумчиво бредущего по тротуару и волочащего по земле рукав поношенной шубы,— вы бы угадали любимца муз, высказывающего устами Лермонтова:

«Я не с тобой, а с сердцем говорю».

Было время, когда я раза три в неделю заходил в Москве в гостиницу Шевалдышева на Тверской в номер, занимаемый Федором Ивановичем. На вопрос: «Дома ли Федор Иванович?» камердинер-немец, в двенадцатом часу дня,— говорил: «Он гуляет, но сейчас придет пить кофей». И действительно, через несколько минут Федор Иванович приходил, и мы вдвоем садились пить кофей, от которого я ни в какое время дня не отказываюсь. Каких психологических вопросов мы при этом ни касались! Каких великих поэтов ни припоминали! И, конечно, я подымал все эти вопросы с целью слушать замечательные по своей силе и меткости суждения Тютчева и упивался ими. Помню, какою радостью затрепетало мое сердце, когда, прочитавши Федору Ивановичу принесенное мною новое стихотворение, я услыхал его восклицание: «Как это воздушно!»

Зная, что в настоящее время он проживал в Петербурге, в доме Армянской церкви, я сказал Як<ову> Петр<овичу>Полонскому,

бывшему в самых интимных отношениях с Тютчевым,— о желании проститься с поэтом, отъезжающим, как я слышал, в Италию.

— Это невозможно,— сказал Яков Петр<ович>,— он в настоящее время до того убит роковой своей потерей, что только страдает, а не живет, и потому дверь его закрыта для всех.

— По крайней мере,— сказал я,— передай ему мой самый искренний поклон.

В первом часу ночи, возвращаясь в гостиницу Кроассана, я, вместе с ключом от номера, получил от швейцара записку. Зажигая свечу на ночном столике, я, при мысли сладко задремать над французским романом, намерен был предварительно, уже лежа в постели, прочесть и записку. Раскрываю последнюю и читаю: «Тютчев просит тебя, если можно, прийти с ним проститься». Конечно, я через минуту был снова одет и полетел на призыв. Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном *ее,* на котором он полулежал. Должно быть, его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из-под которого виднелось только одно изнемогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел.

Вот что позднее рассказывал Тургенев о своем свидании с Тютчевым в Париже:

«Когда Тютчев вернулся из Ниццы, где написал свое известное:

«О, этот Юг, о, эта Ницца!..»

— мы, чтобы переговорить, зашли в кафе на бульваре и, спросив себе из приличия мороженого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшей от падавших на нее слез».

А. В. Никитенко

Из «Дневника»

1855

Октябрь 18. Получил высочайшее повеление о назначении меня членом комитета под председательством графа Д. Н. Блудова для рассмотра посмертных сочинений Жуковского, которые хотят те-

перь издать. Другие члены: Плетнев, князь Вяземский, Корф (Модест Андреевич) и <Ф. И.> Тютчев.

<Октябрь> 27. <...> был у графа Блудова, где состоялось сегодня собрание комитета по рассмотру сочинений Жуковского. Собрались: Корф, Плетнев, Тютчев. Граф Блудов очень любезен. Толковали, как приняться за рассмотрение сочинений Жуковского. Положено разделить их на части, которые каждый член по прочтении доставит другому.

Ноябрь 19. Вечер у графини <Е. П.> Ростопчиной. Она читала свою новую драму. Довольно-таки скучна. Тут было несколько княгинь, графинь, князь Вяземский, Тютчев, Плетнев, князь <В. Ф.> Одоевский. Я возвратился домой в два часа ночи.

Графиня очень аристократничала, нападала на низшие сословия, восхваляла высшее дворянство. Тютчев ей очень умно возражал.

1856

Июнь 3. Воскресенье. Вечером в субботу приглашал меня к себе граф Блудов вместе с бароном <П. К.> Клодтом, князем Вяземским и Тютчевым для обсуждения проекта памятника, который собираются воздвигнуть на могиле Жуковского.

1861

<Март> 31. Пятница. Обедал у графа Блудова. Там были, между прочим, Тютчев, Ковалевский Егор, <П. В.>Анненков с молодой женой. Графиня восхищалась стихами Хомякова, а Анненков не находил в них ничего хорошего. Граф нападал на нынешних писателей за то, что они не умеют писать, и в сотый раз повторял свою любимую фразу: «Они, то есть нынешние писатели, не понимают, что есть на свете нечто, называемое искусством писать». Ковалевский и я молчали. Оспаривали графа Анненков, впрочем очень слабо, и Тютчев.

1864

<Март> 22. Воскресенье. Был у меня Тютчев Ф. И. Его назначили членом Совета по делам печати, и он хотел со мною посоветоваться насчет тамошних дел.

1865

<*Март*> *30. Вторник.* «Московские ведомости» свирепо ссорятся с «Днем». Одни стоят за дворянство, другой за земство. Тютчев очень недоволен «Московскими ведомостями».

<*Октябрь*> *23. Суббота.* Разговор с Тютчевым. От него услышал я, между прочим, что <И. С.> Аксаков женится на его дочери фрейлине и что «День» прекращается, потому что Аксаков каждый год получал от него тысяч до трех убытку.

<*Декабрь*> *19. Воскресенье.* Тютчев Ф. И. рассказывал мне о своем разговоре с Валуевым о делах печати. Он откровенно объяснял министру, что репрессивная система, принятая им, ни к чему хорошему не приведет. Тютчев с негодованием рассказывал мне также о Совете, от участия в делах которого он решительно отказался.

1866

<*Октябрь*> *23. Воскресенье.* Первые шаги графа Дмитрия Андреевича <Толстого> на его министерском поприще начинают возбуждать какие-то странные впечатления. <...> На днях он отнесся к Валуеву официальною бумагою, в которой не без юношеского самодовольства говорит, что государь возложил на него наблюдать за чистотою нравов юношества и преграждать в школы путь дурным идеям, а так как журналы «Дело» и «Женский вестник» издаются лицами, принадлежавшими к «Русскому слову» и «Современнику» и которые и теперь придерживаются образа мыслей этих журналов, то он, граф, и просит Валуева обратить на это внимание, дабы они вновь не заражали молодых умов. Как бы ни было справедливо такое желание, но, во-первых, «Дело» и «Женский вопрос» уже взяты под цензуру, и Совет <по делам печати> доносит Валуеву, что в них не оказывается ничего зловредного. Во-вторых, Тютчев Ф. И. в заседании того же Совета справедливо заметил, что литература существует не для гимназистов и школьников и что нельзя же ей давать детское направление. Тогда пришлось бы ограничиться одними букварями и учебниками.

1867

<*Январь*> *29. Воскресенье.* Вечер у Тютчева. Писемский читал свою трагедию «Гладкий» из времен Бирона, регентства Анны Леопольдовны и вступления на престол Елизаветы.

<*Апрель*> *19. Среда.* Зашел поутру к Тютчеву, Федору Ивановичу; он болен уже две недели, страдает ногами. Мы побеседовали с ним довольно долго. Все одно и то же — мрачно всюду, глухо всюду!

<Август> 23. Среда. Отвратительно холодно. Северо-восток так и дышит всевозможными простудами и мерзостями.

На днях я встретился в вокзале с Тютчевым, который мне говорил, что Управление по делам печати не хуже северо-востока дышит яростью и злобою на газету «Москва» за статью в № 103 против распоряжения о том, чтобы ничего не печаталось о заседаниях в земских учреждениях без разрешения губернаторов. Статья, в самом деле, так умна, правдива и законна, что должна поднять на себя всю валуевскую администрацию. Хотят сделать второе предостережение Аксакову, но не знают, как взяться за это.

1868

Март 1. Пятница. Вечер у Боткина, Василия Петровича. Граф А. К. Толстой читал свою новую драму — «Царь Федор Иоаннович». Тут были: Гончаров, Костомаров, Майков, Стасюлевич, Тютчев Федор Иванович. Трудно судить о сочинении в беглом чтении, да еще не в своем, а чужом. Однако характеры Федора и Годунова показались мне обработанными очень искусно. Автор сумел создать из совершенного нравственного и политического ничтожества, каков Федор, замечательную психологическую фигуру.

1869

<Декабрь> 28. Воскресенье. Старик Тютчев разразился стихами, которые напечатаны в «Голосе».

1870

<Март> 26. Четверг. Вечер у Ф. И. Тютчева. Гостей было довольно. Я познакомился с одною изящною и умною дамою, Новиковою. Тут, между прочим, был и М. В. Юзефович, который умно и живо рассказывал разные свои воспоминания о прошлом: о войне в Малой Азии, в которой он участвовал, о Пушкине, с которым познакомился на Кавказе и был с ним под Эрзерумом. Он говорил, что Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и особенно слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко.

На вечере были читаны славянофильские стихотворения: Тютчева («Гусс»), Майкова и Полонского («Симеон Болгарский»), приготовленные ими к живым картинам на пасху. Все они недурны, особенно стихотворение Тютчева.

И. П. Капнист

Из «Воспоминаний о графе Петре Ивановиче Капнисте»

14 октября 1867 года произошло заседание Совета Главного управления по делам печати, на котором присутствовал и поэт Ф. И. Тютчев, бывший тогда одним из членов Совета. От внимания Капниста не ушло, что Тютчев во время заседания был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листе бумаги, лежавшем перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумии, оставив бумагу. Капнист бросил на нее взгляд и заметил, что вместо канцелярских дел там написано несколько стихов. Он, конечно, взял и сохранил на память о любимом им поэте следующие строки:

Как ни тяжел последний час,—
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья,—
Но для души еще страшней
Следить, как вымирают в ней
Все лучшие воспоминанья...

С. Д. Шереметев

Из воспоминаний «Князь Петр Андреевич Вяземский»

Это было у него <П. А. Вяземского> на вечере: собрались слушать его воспоминания о 1812-м годе, по поводу книги графа Л. Н. Толстого: *«Война и Мир»*. Вслух читал Маркевич, и очень хорошо. Князь сидел рядом и казался взволнованным. Когда дошли до поминок по Бородине и до строк о Валуеве:

Будь мой стих тебе надгробной,
Где бы прах твой ни лежал!

я видел, как пальцы заходили у Петра Андреевича, и он протирал свои очки, низко наклонив голову...

Вечер продолжался и, после чтения, просили Маркевича еще прочесть стихотворение князя: *Петр Алексеевич* и *Крымские ночи*. В числе слушателей был Ф. И. Тютчев. Помню одобрительный его

поклон при словах: «Блеск придал царственным рукам» и как поморщился он после слов: «И Питер вызвал из болот». Кончилось чтение, и гости начинали уже расходиться, а в углу гостиной завязался горячий спор, о чем — припомнить не могу. Спорил Петр Андреевич с Тютчевым; спор доходил почти до крика. Князь вскакивал и ходил по комнате, горячо возражая своему противнику. Не так ли, думал я, в былые годы спорил он с своими приятелями, с Пушкиным и другими?..

В. П. Мещерский

Из «Моих воспоминаний»

Семью Тютчевых я помню с детства, как одну из самых близких к нашей семье и прежде к карамзинской семье. Душой и сердцем этой семьи была прелестная Эрнестина Федоровна, вторая жена Ф. И. Тютчева, поэтичная и высокая женщина, в которой ум, сердце и прелесть женщины сливались в одно гармоничное и грациозное целое... Сам Федор Иванович Тютчев был чем-то вроде витающего духом в своей семье... Он всюду казался случайно залетевшею птичкою, и дома, в своей прекрасной и симпатичной семье, тоже... Из многих оригинальных типов той эпохи, мною виденных, Ф. И. Тютчев помнится мне как самый оригинальный.

Он был олицетворением и осуществлением поэта в жизни: реальная проза жизни для него не существовала... Он жизнь свою делил между поэтическими и между политическими впечатлениями, и, отдаваясь им, он мог забывать время, место и подавно такие прозаические вещи, как еду, сон, или такие стесняющие свободу вещи, как аккуратность, дисциплина, придворный этикет. <...> Эта необходимость стесняться образом жизни на дипломатической службе заставила его ее бросить, и продолжением его служебной карьеры оказалось то место председателя Комитета иностранной цензуры, на котором он и остался до кончины и где одно время при Тютчеве было царство поэзии: Тютчев — председатель и А. Н. Майков и Полонский — члены...

Свои прелестные стихи, как и свои прелестные слова, Тютчев ронял, как цветы мгновенного вдохновения... Он не знал, что значит сочинять стихи; они создавались в ту минуту, как созвучием нужно было высказать мысль или чувство, наскоро он набрасывал их на

клочке бумаги и затем ронял, позабывая о них, на пол, а жена его подбирала; или он вдруг импровизировал, а жена его записывала выливавшиеся из души его мысли и чувства в стихах. Как-то раз, вернувшись домой под проливным дождем, Тютчев стоял в своем кабинете, терпеливо глядя, как камердинер под надзором жены снимал замоченный сюртук... Стоит, и с уст его падают те прелестные стихи: «Слезы людские», которые он так поэтично уподоблял каплям дождя.

Точно так же падали с уст его умные слова... Он говорил медленно, изящно и спокойно... Но тогда, когда его задевали за живое русское чувство или когда кто-нибудь его раздражал своими суждениями, он выходил из себя и говорил с огнем... <...>

Самым оригинальным и прелестным зрелищем в то время были беседы и общение князя Вяземского с его другом Тютчевым... Тютчев, с своими белыми волосами, развевавшимися по ветру, казался старше князя Вяземского, но был моложе его; но, находясь перед князем Вяземским, он казался юношей по темпераменту... Бывало, Тютчев приходит к горячо им любимому князю Вяземскому отвести душу, и сразу рисуется прелестная картина: безмятежного, с умным лицом, где добрая улыбка попеременно сменяется ироническою усмешкою, старика князя Вяземского и пылающего своим вдохновением или своею главною заботою минуты старика Тютчева. Тютчев усаживается, как всегда, уходя в кресло, князь Вяземский сидит прямо в своем кресле, покуривая трубку, и Тютчев начинает волноваться и громить своим протяжным и в то же время отчеканивающим каждое слово языком в области внешней или внутренней политики. А князь Вяземский только с перерывами издает звуки вроде: гм... пускает из трубки дым, такой же спокойный, как и он, и когда Тютчев окончит свою тираду, вставляет в промежуток между другою тирадою какое-нибудь спокойное или остроумное размышление, и как часто с единственною заботою оправдать или извинить, после чего Тютчев, как бы ужаленный этим спокойствием, уносится еще дальше и еще сильнее в область своих страстных рассуждений. Изумительно кроткая терпимость была отличительною чертою князя Вяземского. Нетерпимость была отличительною чертою его друга Тютчева. <...>

1873 год начался известием о смерти Наполеона III, в своем уединении изгнанника в Англии. С этим событием, не произведшим в Петербурге никакого особенного действия, для меня связалось одно тяжелое впечатление — это начало предсмертной болезни,

унесшей несколько месяцев спустя в могилу дорогого и милого поэта Ф. И. Тютчева.

Утром он пришел ко мне. Сразу я заметил необычное в нем состояние: какую-то лихорадочность в движениях и какое-то взволнованное состояние, столь резко различавшееся от обычного невозмутимого внешнего и внутреннего спокойствия прелестного поэта. Войдя, он сказал мне, что принес стихотворение на смерть Наполеона III. Затем он достал, как всегда, клочок бумаги, на котором каракулями были изображены стихи, и начал читать.

Во время чтения с ним, очевидно, сделался первый удар: он не мог уже разбирать своего почерка и затем не мог уже плавно произносить слова...

Чтение прервалось; я испугался его состояния, усадил его, успокоил, он немного как будто очнулся, но при этом сказал: «Mauvais présage»[1]. Затем его усадили на извозчика, и он вернулся домой... Увы, это было началом его кончины... Летом его не стало... <...>

Оценке Тютчева, скончавшегося в июле 1873 года, я посвятил в *«Гражданине»* того года задушевные строки, которые считаю уместным 24 года спустя поместить в своих «Воспоминаниях». <...>

Вот что я писал 24 июля 1873 года:

«Думаем, что никто не станет возражать нам, если скажем, что с кончиною Ф. И. Тютчева мы лишились великого русского поэта!

<...> Возьмите стихотворения Ф. И. Тютчева какой угодно эпохи, вы в них найдете разные предметы, вы в них почерпнете разные впечатления, но в каждом из них вы найдете одно неизменным: зеркало души его. До последнего издыхания он был человеком своего времени, своей эпохи, но в течение полустолетия его поэтической деятельности никто не мог обидеть его названием *современного поэта* в том смысле этого наименования, в каком оно понимается теперь. Неисчерпаемый содержанием, дух его не переставал ни на минуту чувствовать, что все прекрасное и великое в человеческом обществе — есть вечное и что все, что этого чувства вечности душе его не дает, все то — не есть то прекрасное, которое создает поэта и поэзию. Поэзия Тютчева никогда не была к услугам сильных мира сего, кто бы они ни были и где бы они ни были — на троне или в литературе. <...>

Владея обширными познаниями, пополнявшимися постоянным чтением, Ф. И. Тютчев стоял во главе образованных людей нашего

---

[1] «Плохое предзнаменование» *(фр.)*.

общества. Политика и история были любимым занятием его ума и жизни; опираясь на историю, он являлся убедительным, логичным и часто весьма строгим судьею времени и его событий и личностей; вдохновляясь заботами настоящего, любовью к человечеству и к своему народу в особенности, он вносил в это обсуждение событий ту свободу мысли, тот пыл и жар души, которые придавали его логике столько красноречия и с тем вместе столько прелести. Он любил спор и спорил, как мало людей умеют спорить: с смирением к своему мнению и с уважением к чужому, хотя узкий взгляд, предвзятое мнение и деспотическое своеволие мысли всегда заставляли его страдать.

Политика и поэзия, в самом широком значении этих двух понятий, были сущностью его жизни — политика мировой всецелой жизни человечества и политика — как совокупность вопросов, живо и горячо затрогивающих интересы России и устраивающих ее будущность. Наряду же с политикой стояла и поэзия, являвшаяся чем-то родственным политике в духовном существе его; и в ней, как в мирной пристани, он находил себе утешение от людей, которые делали политические ошибки, и успокоение от событий, тревоживших его душу.

Но у Ф. И. Тютчева был один враг: враг этот была практическая жизнь. В практической жизни он был несведущ и неопытен, как дитя. Небольшого роста, с походкою небрежною, переваливающеюся, он внешним образом как будто выражал внутреннего человека; в этой внешней личности было что-то похожее на небрежность ко всему, что не было духовно, а было вещественно; самое его тело словно казалось ему тягостью, которую он осужден влачить. Находясь, по своему положению и связям, постоянно в высших слоях общества, он инстинктивно не умел проявлять в своих отношениях к людям какое бы то ни было, даже в оттенках, различие, если даже они по условиям общественного положения стояли и выше его. Он был тот же с подчиненными ему чиновниками иностранного цензурного ведомства, коего был начальником, как и с высшими государственными людьми, с которыми постоянно сходился. <...> Везде и всякому он говорил то, что думал, и несмотря на то, что стоял во главе обширного отдела цензуры, не любил стеснения мысли, чуть только она была искренна и сколько-нибудь благородна».

Ю. Ф. Самарин

Из письма к И. С. Аксакову

22 июля 1873

Любезный друг, сейчас узнал я из газет о кончине нашего дорогого Федора Ивановича. Я знал, что он не жилец между нами, и все-таки только теперь испытал я это невыносимо тяжелое ощущение образовавшейся пустоты, которая никогда не восполнится, этого оскудения в собственной жизни. Помню, как давило меня это чувство в Петербурге в первые дни после кончины Хомякова и как меня мучило, что я не в состоянии был выразить его самому себе. Федор Иванович пришел ко мне из первых и встретил меня словами: «On éprouve ce qu'on ressentirait si on venait de perdre un organe»[1]. Как это верно! И сколько было подобных случаев, сколько раз он, сам того не подозревая, радовал меня, подслуживаясь мне отчетливым и художественно верным выражением мысли или чувства, которого я сам не в состоянии был себе уяснить. Самый легкий намек вызывал в нем сочувственный отклик. К нему можно было применить без всякой натяжки истасканное сравнение души поэта с натянутыми струнами эоловой арфы, не пропускающей без отзыва ни малейшего движения в воздухе, откуда бы оно ни шло, с севера или юга, с запада или востока. Сравнение это, в применении именно к нему, было бы верно в двояком отношении, как характеристика невольности, почти бессознательности его творчества и совершенного его равнодушия к действовавшим на него возбуждениям. Ему, кажется, были одинаково незнакомы и муки и радости художественного зачатия. На днях в письме к Э. Ф. Раден я выразился об нем следующим образом: «Ses vers lui tombaient des lèvres sans qu'il s'en donnât presque la peine de les relever ou même de les prononcer, comme un fruit mûr qui se détache à point de la branche qui l'a porté»[2].

Каково же было мое удивление, когда я прочел почти ту же фразу в Петербургской газете. Как поэт и художник слова он принадлежал, бесспорно, к пушкинской плеяде, а по природе своей приходился более язычнику Гете. Можно и об нем сказать:

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
Искусств вдохновенных созданья,
Преданья, заветы минувших веков,
Цветущих времен унованья;

---

[1] Испытываешь то, что ощущал бы, потеряв какой-либо орган *(фр.)*.

[2] «Его стихи спадали с его уст без того, чтобы он давал себе труд их подобрать или даже произнести, подобно тому как зрелый плод вовремя отделяется от возраставшей его ветки» *(фр.)*.

Мечтою по воле проникнуть он мог
И в нищую хату, и в царский чертог.

С природой одною он жизнью дышал:
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье...

Конечно, в нем не было и тени олимпийской гордости веймарского Юпитера, а был в нем неисчерпаемый источник того чисто русского благодушия, которое так однородно с христианскою любовью и в то же время так близко граничит с дохристианским безразличием к добру и злу. Впрочем, в каждой душе есть глубины, недоступные человеческому суждению, и о его младенчески-свежей душе можно сказать то же, что говорится в писании о суровой душе первого между людьми завоевателя: он был поэт *перед Господом,* как тот был исполином *перед Господом.* Господь и судит его — не мы.

Я перечитал собрание стихов его и долго не мог оторваться от приложенного к нему портрета. Что за обилие и какое разнообразие даров в этом милом лице! Меня между прочим поразила одна черта. Русский язык никогда не был для него родным языком; он никогда не относился к нему фамильярно, и по этой самой причине, благодаря необъективному его художественному такту, ему удалось отыскать в нем такие тонкости, такие богатства и средства, которые в нем были несомненно, но которых никто не подозревал. Сколько раз ему случалось оригинальною обстановкою слова, по-видимому, давно исчерпанного и всем коротко знакомого, освещать в нем стороны, остававшиеся в тени и ускользавшие от всех, употреблявших его. Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное некоторых его стихов, привезенное Гагариным из Мюнхена. Он носился с ними целую неделю, и они в первый раз появились в печати в его «Современнике». Неужели ты этого не знал? В предисловии к твоему изданию сказано, что первое собрание стихотворений Тютчева вышло в 1854 году благодаря Тургеневу. В тот же приезд свой из заграницы в Россию Гагарин познакомился с Хомяковым, Киреевскими и отведал славянофильства. Помню, что на вечере у Свербеевых после долгого прения он обратился ко мне и у него вырвались слова: «Je crois entendre Tutchef! Le malheureux, comme il va donner tête baissée dans ces extravagances»[1]. Тогда и я в первый раз услышал о Тютчеве.

---

[1] «Мне кажется, что я слышу Тютчева! Несчастный, он с головой уйдет в эти нелепости» *(фр.).*

П. И. Бартенев

Из письма к Е. Ф. Тютчевой

2/14 августа 1873

Присоединяю мое сочувственное горестное слово к заявлениям скорби, которые вы получаете по поводу кончины Федора Ивановича. Я узнал его поздно, встречался с ним редко и то в последние его годы; но в мире нравственном пришельцы одиннадцатого часа уравниваются с теми, кого пришлось узнать с ранних часов жизненного дня. Я не мог не любить Федора Ивановича, и мне казалось, что и он сочувственно относился ко мне. Сделайте для меня одолжение, многоуважаемая Екатерина Федоровна, помогите мне дать читателям «Русского архива» хорошую статью о нем с *данными биографическими и сведениями точными.* Далекое потомство будет искать этих сведений, и моя обязанность собрать их по свежим следам. Кто отозвался о нем так хорошо и метко в «Journal de St. Pétersbourg»? Если Иван Сергеевич захочет написать, попросите его от меня удержать статью для «Русского архива». Я приложил бы к моему изданию и портрет Федора Ивановича.

Вот что пишет мне на днях князь Вяземский (здравствующий в Гомбурге):

«Бедный Тютчев! Кажется, ему ли умирать? Он пользовался и наслаждался жизнью и в высшей степени данным от Провидения человеку даром слова. Он не заменим в нашем обществе. Когда бы не бояться изысканности, то можно сказать о нем, что если он и не Златоуст, то был жемчужноуст. Какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его! Надо составить по нем Тютчевиану, прелестную, свежую, живую, современную антологию. Малейшее событие, при нем совершившееся, каждое лицо, мелькнувшее перед ним, иллюстрированы и отчеканены его ярким и метким словом».

И. С. Аксаков

Из «Биографии Федора Ивановича Тютчева»

В настоящем случае мы имеем дело не просто с человеком талантливым, но и с исключительною натурою — натурою поэта.

Ему было почти девять лет, когда началась гроза 1812 года. Родители Тютчева провели все это тревожное время в безопасном

убежище, именно в г. Ярославле; но раскаты грома были так сильны, подъем духа так повсеместен, что даже вдали от театра войны не только взрослые, но и дети, в своей мере, конечно, жили общею возбужденною жизнью. Нам никогда не случалось слышать от Тютчева никаких воспоминаний об этой године, но не могла же она не оказать сильного непосредственного действия на восприимчивую душу девятилетнего мальчика. Напротив, она-то, вероятно, и способствовала, по крайней мере в немалой степени, его преждевременному развитию,— что, впрочем, можно подметить почти во всем детском поколении той эпохи. Не эти ли впечатления детства как в Тютчеве, так и во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь к России, которая дышит в их поэзии и которую потом уже никакие житейские обстоятельства не были властны угасить?

<...> Отторгнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошел уже пятый десяток лет. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границею...

Представим же его себе одного, брошенного чуть не мальчиком в водоворот высшего иностранного общества, окруженного всеми соблазнами большого света, искушаемого собственными дарованиями, которые тотчас же, с первого его появления в этой блестящей европейской среде, доставили ему столько сочувствия и успеха,— наконец, любимого, балуемого женщинами, с сердцем, падким на увлечения страстные, безоглядочные... Как, казалось бы, этой 18-летней юности не поддаться обольщениям тщеславия, даже гордости? Как не растратить в этом вихре суеты, в обаянии внешней жизни сокровища жизни внутренней, высшие стремления духа? Не следовало ли ожидать, что и он, подобно многим нашим поэтам, поклонится кумиру, называемому светом, приобщится его злой пустоте и в погоне за успехами принесет немало нравственных жертв в ущерб и правде, и таланту?

Но здесь-то и поражает нас своеобразность его духовной природы. Именно к тщеславию он и был всего менее склонен. Можно сказать, что в тщеславии у Тютчева был *органический* недостаток. Он любил свет — это правда; но не личный успех, не успехи самолюбия влекли его к свету. Он любил его блеск и красивость; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на об-

щественных высотах, где в роскошной сценической обстановке выступает изящная внешность европейского общежития со всею прелестью утонченной культуры; где — во имя единства цивилизации, условных форм и приличий — сходятся граждане всего образованного мира, как равноправная труппа актеров. Но, любя свет, всю жизнь вращаясь в свете, Тютчев ни в молодости не был, ни потом не стал «светским человеком». Соблюдая по возможности все внешние светские приличия, он не рабствовал пред ними душою, не покорялся условной светской «морали», хранил полную свободу мысли и чувства. Блеск и обаяние света возбуждали его нервы, и словно ключом било наружу его вдохновенное, грациозное остроумие. Но самое проявление этой способности не было у него делом *тщеславного расчета:* он сам тут же забывал сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлял другим авторские права на свои, нередко гениальные, изречения. Вообще, как в устном слове, точно так и в поэзии, его творчество только в самую минуту творения, не долее, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись в речи или в стихах, угасало и исчезало из памяти.

Он никогда не становился ни в какую позу, не рисовался, был всегда сам собою, таков, как есть, прост, независим, произволен. Да ему было и не до себя, то есть не до самолюбивых соображений о своем личном значении и важности. Он слишком развлекался и увлекался предметами для него несравненно более занимательными: с одной стороны, блистанием света, с другой, личною, искреннею жизнью сердца и затем высшими интересами знания и ума. Эти последние притягивали его к себе еще могущественнее, чем свет. Он уже и в России учился лучше, чем многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнее расположить к учению, чем тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переехав за границу, Тютчев очутился у самого родника европейской науки: там она была в подлиннике, а не в жалкой копии или карикатуре, у себя, в своем дому, а не в гостях, на чуждой квартире.

Окунувшись разом в атмосферу стройного и строгого немецкого мышления, Тютчев быстро отрешается от всех недостатков, которыми страдало тогда образование у нас в России, и приобретает обширные и глубокие сведения. По свидетельству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшего в конце прошлого года небольшую статью о нем в одной парижской газете, Тютчев ревностно изучал немецкую философию, часто водился с знаменитостями немецкой науки, между прочим с Шеллингом, с которым часто спо-

рил, доказывая ему несостоятельность его философского истолкования догматов христианской веры. Тот же Пфеффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева в Мюнхене, выражается о нем следующим образом в одном частном письме, которое нам довелось прочесть: «nous subissions le charme de ce merveilleux esprit (мы находились под очарованием этого диковинного ума)». Не менее замечателен и отзыв И. В. Киреевского, который уже в 1830 году пишет из Мюнхена к своей матери в Москву про *27-летнего* Тютчева: «Он уже одним своим присутствием мог бы быть полезен в России: таких европейских людей у нас перечесть по пальцам»[1]. Тютчев обладал способностью читать с поразительною быстротою, удерживая прочитанное в памяти до малейших подробностей, а потому и начитанность его была изумительна,— тем более изумительна, что времени для чтения, по-видимому, оставалось у него немного[2]. Вообще при его необыкновенной талантливости занятия наукою не мешали ему вести, по наружности, самую рассеянную жизнь и не оставляли на нем никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многие ученые любят выставлять напоказ и которая так способна снискивать благоговение толпы.

Могут заметить, что самая основательность приобретенной Тютчевым образованности достаточно предохраняла его от искушений того мелкого тщеславия, которое в состоянии довольствоваться поверхностными успехами в свете или дешевою популярностью в полуневежественных кругах. Но для Тютчева, при богатстве его знания и даров, существовала возможность искушений более высшего порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только известности, но и славы. <...> Если бы он хоть сколько-нибудь о том постарался, молва о нем прошумела бы в России еще в первой половине его жизни и слава умного человека и поэта не осенила бы его так поздно и притом в пределах только избранных кругов русского общества. От времени до времени доходили, конечно, о нем чрез русских путешественников известия и в Россию, подобные отзыву Киреевского; но тем не менее имя его в отечестве долго оставалось неведомым, и даже Жуковский, если не ошибаемся, уже в 1841 году, встретясь с Тютчевым где-то за границею, писал о нем как о каком-то неожиданном, приятном открытии. Мы уже знаем, *как* хлопотал он о своей стихотворческой известности!.. Все блестя-

---

[1] Сочин. И. В. Киреевского, т. I, биография. (Прим. *И. С. Аксакова.)*

[2] Эту привычку к чтению Тютчев перенес с собой и в Россию и сохранил ее до самой своей предсмертной болезни, читая ежедневно, рано по утрам, в постели, все вновь выходящие, сколько-нибудь замечательные книги русской и иностранных литератур, большею частью исторического и политического содержания. (Прим. *И. С. Аксакова.*)

щее соединение даров было у Тютчева как бы оправлено *скромностью,* но скромностью особого рода, не выставлявшеюся на вид и в которой не было ни малейшей умышленности или аффектации. Эта замечательная психическая черта требует пристального рассмотрения.

Если, несмотря на все соблазны света и увлечения сердца, Тютчев даже и в молодости постоянно расширял кругозор своей мысли и свои познания, которым так дивились потом и русские, и иностранцы,— все же было бы ошибкою предполагать здесь с его стороны какое-либо действие воли, нравственный подвиг, победу над искушениями и т. п. Нисколько. Ленивый, избалованный с детства, не привыкший к обязательному труду, но притом совершенно равнодушный к внешним выгодам жизни, он только свободно подчинялся влечениям своей в высшей степени интеллектуальной природы. Он только утолял свой врожденный, всегда томивший его, умственный голод. С наслаждением вкушал он от готовой трапезы знания и разумения, но никогда не удовлетворялся ею вполне; никогда не испытывал того самодовольства сытости, которое с такою приятностью ощущают умы менее требовательные... Вообще всякое самодовольство было ненавистно его существу.

В том-то и дело, что этот человек, которого многие даже из его друзей признавали, а может быть, признают еще и теперь, за «хорошего поэта» и сказателя острых слов, а большинство — за светского говоруна, да еще самой пустой, праздной жизни,— этот человек, рядом с метким изящным остроумием, обладал умом необычайно строгим, прозорливым, не допускавшим никакого самообольщения. Вообще это был духовный организм, трудно дающийся пониманию: тонкий, сложный, многострунный. Его внутреннее содержание было самого серьезного качества. Самая способность Тютчева отвлекаться от себя и забывать свою личность объясняется тем, что в основе его духа жило искреннее *смирение:* однако ж не как христианская высшая добродетель, а, с одной стороны, как прирожденное личное и отчасти *народное* свойство (он был весь добродушие и незлобие); с другой стороны, как постоянное философское сознание ограниченности человеческого разума и как постоянное же сознание своей личной нравственной немощи. <...>

Ум сильный и твердый — при слабодушии, при бессилии воли, доходившем до немощи; ум зоркий и трезвый — при чувствительности нервов самой тонкой, почти женской,— при раздражительности, воспламенимости, одним словом, при творческом процессе души поэта, со всеми ее мгновенно вспыхивающими призраками и самообманом; ум деятельный, не знающий ни отдыха, ни истомы — при совершенной неспособности к действию, при усвоенных с детства

привычках лени, при необоримом отвращении к внешнему труду, к какому бы то ни было принуждению; ум постоянно голодный, пытливый, серьезный, сосредоточенно проникавший во все вопросы истории, философии, знания; душа, ненасытно жаждущая наслаждений, волнений, рассеяния, страстно отдававшаяся впечатлениям текущего дня, так что к нему можно было бы применить его собственные стихи про творения природы весною:

Их жизнь, как океан безбрежный,
В с я в н а с т о я щ е м р а з л и т а...

Дух мыслящий, неуклонно сознающий ограниченность человеческого ума, но в котором сознание и чувство этой ограниченности не довольно восполнялись живительным началом веры; вера, признаваемая умом, призываемая сердцем, но не владевшая ими всецело, не управлявшая волею, недостаточно освящавшая жизнь, а потому не вносившая в нее ни гармонии, ни единства... В этой двойственности, в этом противоречии и заключался трагизм его существования. Он не находил ни успокоения своей мысли, ни мира своей душе. Он избегал оставаться наедине с самим собою, не выдерживал одиночества и как ни раздражался «бессмертной пошлостью людской», по его собственному выражению, однако не в силах был обойтись без людей, без общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было в нем цельно <...>

Он был поэт по призванию, которое было могущественнее его самого, но не по *профессии.* Он священнодействовал, как поэт, но не замечая, не сознавая сам своего священнодействия, не облекаясь в жреческую хламиду, не исполняясь некоторого благоговения к себе и своему жречеству. Его ум и его сердце были, по-видимому, постоянно заняты: ум витал в области отвлеченных, философских или исторических помыслов; сердце искало живых ощущений и треволнений; но прежде всего и во всем он был поэт, хотя собственно стихов он оставил по себе сравнительно и не очень много. Стихи у него не были плодом *труда,* хотя бы и вдохновенного, но все же труда, подчас даже усидчивого у иных поэтов. Когда он их писал, то писал невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой потребности, потому что он не мог их не написать: вернее сказать, он их не писал, а только *записывал.* Они не *сочинялись,* а *творились.* Они сами собой складывались в его голове, и он только *ронял* их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток. <...> Так, однажды в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes»[1] и, пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение:

---

[1] Я сочинил несколько стихов *(фр.).*

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой,
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,
Льетесь, как льются струи дождевые,
В осень глухую, порою ночной...

Здесь почти нагляден для нас тот истинно поэтический процесс, которым внешнее ощущение капель частого осеннего дождя, лившего на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется в ощущение слез и облекается в звуки, которые, сколько словами, столько же самою музыкальностью своею, воспроизводят в нас и впечатление дождливой осени, и образ плачущего людского горя... И все это в шести строчках!

Еще более объяснится нам характер его поэтического творчества, когда мы припомним, что этот человек, по его собственному признанию, тверже выражал свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писал исключительно на французском языке и, конечно, на девять десятых более говорил в своей жизни по-французски, чем по-русски. А между тем стихи у Тютчева творились *только по-русски.* Значит, из глубочайшей глубины его духа била ключом у него поэзия, из глубины, недосягаемой даже для его собственной воли; из тех тайников, где живет наша первообразная природная стихия, где обитает самая правда человека... <...>

Хомяков — сам лирический стихотворец — говорил и, по нашему мнению, справедливо, что не знает других стихов, кроме тютчевских, которые бы служили лучшим образцом *чистейшей* поэзии, которые бы в такой мере, насквозь, *durch und durch,* были проникнуты поэзией[1]. <...>

Но самое важное отличие и преимущество Тютчева — это всегда неразлучный с его поэзией элемент мысли. Мыслью, как тончайшим эфиром, обвеяно и проникнуто почти каждое его стихотворе-

[1] Вот, между прочим, что писал Хомяков из Москвы в Петербург Александру Николаевичу Попову в 1850 году: «Видите ли Ф. И. Тютчева? Разумеется, видите. Скажите ему мой поклон и досаду многих за его стихи. Все в восторге от них и в негодовании на него. Не стыдно ли молчать, когда бог дал такой голос? Если он вздумает оправдываться и ссылаться, пожалуй, на меня, скажите ему, что это не дело. Без притворного смирения я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью, т. е. прозатор везде проглядывает и, следовательно, должен наконец задушить стихотворца. Он же насквозь поэт (durch und durch), у него не может иссякнуть источник поэтический. В нем, как в Пушкине, как в Языкове, натура античная в отношении к художеству»... (Прим. *И. С. Аксакова.*)

ние. Большею частью мысль и образ у него нераздельны. Мыслительный процесс этого сильного ума, свободно проникавшего во все глубины знания и философских соображений, в высшей степени замечателен. Он, так сказать, *мыслил образами.* Это доказывается не только его поэзией, но даже его статьями, а также и его изречениями, или так называемыми *mots* или bons mots[1], которыми он прославился в свете едва ли не более, чем стихами. Все эти mots были не иное что, как ироническая, тонкая, нередко глубокая мысль, отлившаяся в соответственном художественном образе.— Мысль в его стихотворениях вовсе не то, что у Хомякова или у Баратынского. Поэтические произведения Хомякова — это как бы отрывки целой, глубоко обдуманной, исторически-философской или нравственно-богословской системы. Искренность убеждения, возвышенность духовного строя, жар одушевления придают многим его стихотворениям силу увлекательную. Но если мысль его способна восходить до лиризма, все же она, втиснутая в рифмы и размер, в рамки стихотворения, не вмещается в них, перевешивает художественную форму в ущерб себе и ей; художественная форма ее теснит и сама насилуется. Читая его стихи, вы забываете о художнике и имеете в виду высоконравственного мыслителя и проповедника. Впрочем, это сознавал и сам Хомяков, как мы видели из вышеприведенного его письма к А. Н. Попову о Тютчеве. Что же касается до Баратынского, этого замечательного, оригинального таланта, то его стихи бесспорно умны, но — так нам кажется, по крайней мере,— это ум — *остуживающий* поэзию. В нем немало грации, но холодной. Его стихи согреваются только искренностью тоски и разочарования. Пушкин недаром назвал его Гамлетом; у Баратынского чувство всегда мыслит и рассуждает. Там же, где мысль является отдельно как мысль, она, именно по недостатку цельности чувства, по недостатку жара в творческом горниле поэта, редко сплавляется в цельный поэтический образ. Он трудно ладит с внешней художественной формой; мысль иногда торчит сквозь нее голая, и рядом с прекрасными стихами попадаются стихи нестерпимо тяжелые и прозаические (например, его «Смерть»). Исключение составляют три-четыре истинно превосходных стихотворения.

У Тютчева, наоборот, поэзия была тою психическою средою, сквозь которую преломлялись сами собой лучи его мысли и проникали на свет божий уже в виде поэтического представления. У него не то что *мыслящая* поэзия,— а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее,— а мысль чувствующая и живая. От этого внешняя художественная форма не является у него надетою на

---

[1] остроты *(фр.).*

мысль, как перчатка на руку, а срослась с нею, как покров кожи с телом, сотворена вместе и одновременно, одним процессом: это сама плоть мысли. Мы уже отчасти объясняли этот процесс, приводя выше стихотворение «Слезы».

<...>Выдающеюся, преобладающею стихией в Тютчеве была *мысль,*—а мысль, по самому существу своему, не то что вечно юна, но вечно зрела или точнее сказать не ведает возраста. Конечно, и мысль в человеке бывает заклеймена его индивидуальными особенностями или, вернее, ограничена, задержана в своей деятельности вследствие старости и разных иных личных, нравственных условий. Многие гениальные мыслители, обогатив умственный капитал человечества своими соображениями, обращались потом, *отмыслив,* в живые кладовые своих собственных, однажды высказанных и оформленных мыслей: они удовлетворялись своим собственным, однажды навсегда сложенным миросозерцанием,—им казалось, что на все вопросы дали они себе ответы, всем задачам приискали разрешение; в горделивом самообольщении вкушали они самодовольный покой и, с вершин своей человеческой мудрости, глядели и величались Зевсами-олимпийцами.

Ничего подобного не было в Тютчеве. Напомним еще раз, что всякое самодовольство было противно его природе и что он не только никогда не знал пресыщения, но и сытости никогда не давала ему никакая умственная трапеза. Это был пламень, мгновенно пожиравший всякое встречавшееся ему и им самим творимое явление мысли и непрерывно вновь сам из себя возгоравшийся. Не можем не повторить здесь его собственных стихов:

О Небо! Если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы и—погас!

<...> Никому нельзя было смотреть на Тютчева не только как на отсталого, но даже как на усиливающегося не отстать; напротив, он был постоянно и естественно современен и даже упреждал мыслью время, отводя всем явлениям текущей действительности законное место в общем историческом строе, находя им всем историческое объяснение и оправдание. Ничто не раздражало в такой степени сверстников Тютчева по летам, как его живое сочувствие со всем прогрессивным движением жизни,—как отсутствие в нем той замкнутости и законченности, после которой человек уже перестает идти сам вперед и богатеть мыслью, а повторяет зады, живет лишь воспоминаниями и процентами с выработанного умственного

капитала,— вроде какого-нибудь rentier[1], который, с наступлением почтенных годов, отказавшись от обогативших его некогда тревожных спекуляций и побранивая спекуляторов юных, вкушает, сообразно летам, чину и капиталу, otium cum dignitate[2]. Для Тютчева не существовало свойственных и подобающих известному возрасту, положению и званию воззрений и мнений консервативного или тому подобного качества,— потому что для него не было ни юных, ни старых, ни приличных, ни неприличных истин; только то имело для него значение и исповедовалось им открыто и ясно, без соображений о приличии, что представлялось ему в данную минуту истиною, что оправдывалось его крепкою и зрелою мыслью,— а мысль его, как мы уже знаем, созрела и окрепла с самых молодых лет. Конечно, и опыт, и знание могли видоизменять и видоизменяли иногда его убеждения; но самый возраст не оказывал на его мысль и на его душу ни малейшего действия,— и в этом отношении вполне справедливо то выражение о нем, которое нам удалось слышать еще при его жизни: «Cet homme n'a pas d'âge»[3].

И. С. Аксаков

Из письма к Е. Ф. Тютчевой

8 июня 1875

Стихи эти <стихи Тютчева «Не знаю я, коснется ль благодать...»> замечательны не столько как стихи, сколько потому, что бросают луч света на сокровеннейшие, интимнейшие брожения его сердца к его жене... Но что особенно поразительно и захватывает сердце, это то обстоятельство,— как видно из письма вашей belle-mère[4], полученного сегодня,— что она об этих русских стихах не имела никакого понятия... В 1851 г., как она пишет, она еще не настолько знала по-русски, чтобы понимать русские стихи, да и не умела еще разбирать русского писанья Ф<едора> И<вановича>... Каков же был ее сюрприз, ее радость и скорбь при чтении этого привета d'outre-tombe[5], *такого* привета, такого признания ее подви-

---

[1] рантье *(фр.)*.
[2] заслуженное право на отдых *(лат.)*.
[3] «У этого человека нет возраста» *(фр.)*.
[4] мачехи *(фр.)*.
[5] замогильного *(фр.)*.

га жены, ее дела любви. Она пишет: «C'est tout un évènement dans ma vie désolée»[1]. Стон благодарности, ответный возглас утешенной любви исторгся из ее груди — понапрасну! *Он запоздал!*

Ф. Ф. Тютчев

Из статьи «Феодор Иванович Тютчев
(Материалы к его биографии)»

Феодор Иванович Тютчев скончался 15-го июля 1873 года, когда мне было 13 лет. Хотя последние $2^1/_2$ года я виделся с ним не более двух раз, но, тем не менее, в памяти моей его образ запечатлелся очено живо. Как теперь вижу перед собой его невысокую, тщедушную фигуру, с слегка приподнятыми плечами, его бледное, гладко выбритое, худощавое лицо, с огромным обнаженным лбом, вокруг которого, падая на плечи в хаотическом беспорядке, вились мягкие, как пух, и белые, как снег, волосы. Лицо его... но разве можно описать лицо Феодора Ивановича так, чтобы человек, не видевший его никогда, мог представить себе это особенное, не поддающееся никакому описанию выражение?.. Это не было только человеческое лицо, а какое-то неуловимое, невольно поражающее каждого, сочетание линий и штрихов, в которых жил высокий дух гения и которые как бы светились нечеловеческой, духовной красотой. На плотно сжатых губах постоянно блуждала грустная и в то же время ироническая улыбка, а глаза, задумчивые и печальные, смотрели сквозь стекла очков загадочно, как бы что-то прозревая впереди. И в этой улыбке, и в этом грустно ироническом взгляде сквозила как бы жалость ко всему окружающему, а равно и к самому себе. Если человеческая душа, покинувшая бренную оболочку, имела бы свою физиономию, она бы должна была смотреть именно такими глазами и с такой улыбкой на брошенный ею мир.

Спешу оговориться, да не подумает читатель, что в выражении лица Феодора Ивановича Тютчева было что-либо пренебрежительное, а тем более презрительное по отношению к окружающему его, отнюдь не бывало. Чувства пренебрежения и презрения были совершенно неведомы его светлой душе, как они были бы неведомы какому-нибудь духу, если бы таковой мог жить среди людей. Читая в душах и в умах окружающих его, как в раскрытой книге, видя недостатки и пороки ближних, будучи сам преисполнен всевозможных человеческих слабостей, которые он ясно сознавал в себе, но от

[1] «Это целое событие в моей безрадостной жизни» *(фр.)*.

которых не в силах был и даже не хотел избавиться, Феодор Иванович никогда никого не осуждал, принимая человечество таким, каково оно есть, с каким-то особенным, невозмутимым, благодушным равнодушием. Равнодушие это, или, как он метко называл, l'indulgence paienne[1], являлось у него не в силу христианского всепрощения и смиренномудрия, а в силу глубокого понимания тайников человеческой души и сознания, что иначе, чем так, как есть,— на земле быть не может. Поэтому-то он и делал такое резкое различие между l'indulgence paienne et l'indulgence chrétienne[2], приписывая себе, и вполне справедливо, только первое.

Это равнодушие к внешним проявлениям и условностям жизни в Феодоре Ивановиче превосходило всякие вероятия и было тем удивительнее, что по своему образу жизни он всецело принадлежал к придворной среде и чувствовал себя в ней, как рыба на дне речном. Окруженный строгим придворным этикетом, Феодор Иванович умудрился всю жизнь свою оставаться независимым, произвольным и, что называется, вполне сам себе властелином; он ни перед кем не заискивал, со всеми был ровен, прост и самобытен. Чуждый какого бы то ни было расчета, никогда не думавший ни о какой карьере, Феодор Иванович искренно не видел разницы между людьми. Для него человеческий род делился на две половины — на людей интересных и людей скучных, а затем ему было безразлично, с кем судьба столкнула его: с наивысокопоставленнейшим ли сановником или самым простым смертным. И с тем и с другим он держал себя совершенно одинаково. Дорожа своей придворной службой и ключом камергера лишь постольку, поскольку они открывали ему доступ в высшие, а потому и наиболее интересные сферы, Феодор Иванович в остальном держал себя вполне независимо. Нередко, участвуя в дворцовых церемониях, Тютчев, когда они ему в достаточной мере надоедали, преспокойно покидал свое место и возвращался к себе домой, не заботясь о том, какое впечатление произведет такое самоволие.

Так, например, участвуя в церемонии освящения Исакиевского собора в 1858 году и испугавшись, как он пишет в своем письме — l'avenir vraiment effreyable d'une messe d'archevêque qui commençait à peine suivie d'une панихида en memoire de cinq souverains fondateurs et édificateurs de l'eglise (Pierre I, Cathérine II, Paul, Alexandre et Nicolas) et d'un Tedeum non moins solennel et non moins long,— (то есть будущности поистине ужасающей — архиерейской обедни, едва начинавшейся, а за нею вслед панихиды в память пяти государей,

---

[1] языческое снисхождение *(фр.)*.
[2] снисхождением языческим и снисхождением христианским *(фр.)*.

основателей и создателей храма (Петра I, Екатерины II, Павла, Александра и Николая) и молебна не менее торжественного и не менее длинного),— Феодор Иванович преспокойно отправился домой пешком, как был в раззолоченном мундире камергера, к большому удивлению и любопытству глазевших на него прохожих.

Другой раз, неся при каком-то торжестве шлейф одной из великих княгинь, кажется, Елены Павловны, Феодор Иванович, заметив кого-то из знакомых, остановился и заговорил с ним, в то же время не выпуская шлейфа из рук, что, разумеется, произвело замешательство в кортеже и остановку шествия. Феодор Иванович только тогда выпустил из рук злополучный шлейф, когда кто-то из придворных чуть не силой вырвал его у него. Не смущаясь подобным инцидентом, Тютчев остался на своем месте и продолжал беседу, забыв совершенно и о шлейфе, и о своих обязанностях. Но самый характерный анекдот вышел с ним при одном из его посещений великой княгини Елены Павловны, которая, сказать к слову, чрезвычайно благоволила к Тютчеву, высоко ставя его светлый ум и прямоту сердца. Дело было летом. Во дворце великой княгини Елены Павловны в Петергофе был назначен бал, куда должен был явиться и Феодор Иванович. В этот день утром, приехав с дачи, Тютчев обедал в доме одних своих близких друзей и, по обыкновению, после обеда прилег отдохнуть с тем, чтобы вечером ехать во дворец. Пока он спал, его лакей привез ему парадный фрак и, оставив на стуле в комнате, уехал, согласно ранее отданному ему приказанию. Проснувшись, Феодор Иванович оделся и уехал, никем из хозяев дома не замеченный, как он это часто делал.

Приехав ко дворцу и идя по аллеям парка, ярко освещенным иллюминацией, Тютчев по обыкновению о чем-то глубоко задумался и шел, не замечая ни того, что перед ним, ни того, что на нем.

— Феодор Иванович,— окликнул его встретившийся ему князь Б.,— что за фрак на вас?

— А что?— спокойным тоном переспросил Феодор Иванович.— Фрак как фрак; если плохо сшит, то это дело не мое, а моего портного.— Сказав это, он продолжал свой путь, даже не оглянувшись на себя. Дело в том, что Феодору Ивановичу часто надоедали его близкие друзья, указывая ему на его слишком мало щегольское одеяние, а потому он, привыкнув к подобного рода замечаниям, не обращал уже на них никакого внимания.

Не успел Феодор Иванович пройти еще несколько шагов, как его снова окликнули, и снова ему пришлось выслушать восклицание изумления по поводу его костюма. На этот раз Тютчев даже не счел нужным останавливаться и, пробормотав только:

— Ах, не все ли равно, точно не все фраки одинаковы,— направился к показавшейся вдали великой княгине.

Взглянув на Тютчева, ее высочество закусила губу, стараясь удержаться от смеха и в то же время дала знак окружающим ее, чтобы они не обращали внимания Феодора Ивановича на его странный костюм и оставили бы его в покое. Поговорив с великой княгиней и побродив с полчаса по залам дворца и по парку, Феодор Иванович незаметно исчез и уехал домой.

На другой день он снова навестил тот дом, где был накануне, и там между прочим ему сообщили, что кто-то вчера обокрал выездного лакея.

— Ну, что могли у него украсть?—удивился Феодор Иванович.

— Представьте себе, его ливрею.

— Ливрею? Но как же это могло случиться?

— Сами не понимаем. Ливрея висела в передней и вдруг исчезла. И что удивительно, рядом на стуле лежал ваш фрак — его не взяли, а поношенную ливрею Феодора взяли.

— Мой фрак?—удивился Феодор Иванович и вдруг, добродушно рассмеявшись, произнес:

— Теперь, мне кажется, я знаю, кто вор — c'est moi qui a volé le «фрак» de Феодор[1].

— Как вы? Стало быть, вчера к великой княгине...

— Ну конечно,— самым невозмутимым тоном продолжал Феодор Иванович,— я, должно быть, по ошибке принял фрак Феодора за свой, надел его и в нем поехал во дворец, это легко могло случиться.

Чтобы читатель мог дополнить картину, мне остается прибавить, что Феодор был плечистый, рослый выездной гайдук, а Феодор Иванович, как я уже говорил, маленький, тщедушный человек, узкоплечий и узкогрудый. Можно себе представить, как должен был показаться один во фраке другого. Всякий другой на месте Феодора Ивановича, если бы даже по рассеянности и попал в такое положение, был бы чрезвычайно сконфужен и обеспокоен, наверно бы досадовал и вообще чувствовал бы себя неловко, но Феодор Иванович был выше всех этих мелких ощущений, он тут же искренно забыл об этом казусе, считая его недостойным какого-либо внимания.

Начав рассказывать о чудачествах этого в высшей степени оригинального человека, я не могу удержаться, чтобы не привести еще двух, трех анекдотов о нем и о его невероятной рассеянности.

Однажды, зимой, приехав к одному своему знакомому, Феодор Иванович, выйдя из кареты, приказал кучеру поскорее возвращать-

[1] это я тот, кто украл «фрак» Феодора *(фр.)*.

ся обратно, так как карета должна была ехать за кем-то в другой конец города, а сам направился к подъезду. Шубу свою, как и летнее пальто, Феодор Иванович в рукава никогда не надевал, а накидывал на плечи, причем нередко рукавами вниз. В ту минуту, когда он брался уже за ручку подъезда, перед ним очутился оборванец, просящий милостыню. Как это случилось, не умею объяснить, но только Феодор Иванович, приняв оборванца за швейцара, сбросил ему на руки шубу, а сам, не торопясь, стал подыматься на лестницу, к большому удивлению выскочившего швейцара, не понимавшего, каким образом мог Феодор Иванович приехать зимой в одном цилиндре и во фраке. Его недоумение разъяснилось полчаса спустя, когда Феодор Иванович, возвратившись, потребовал свою шубу.

К чести тогдашнего полицеймейстера, Трепова, надо сказать, что шуба была найдена на другой же день и возвращена по принадлежности.

Летом Ф. И. ходил всегда в пледе и в своем неизменном цилиндре, причем цилиндр этот, будучи раздвижным (шапокляк), надевался им иногда раздвинутым только с одного бока, что, конечно, вызывало у встречных невольные улыбки.

В один из своих приездов к нам, в Шувалово, Ф. И., просидев до вечера, отправился в парк на музыку, но там появление его произвело сенсацию. Вся публика, отхлынув от эстрады, с жадным любопытством принялась глазеть на странного господина, завернутого в какую-то тряпку. Оказывается, что Ф. И. вместо пледа сдернул с вешалки ситцевую ярко пеструю занавеску, которой были покрыты от пыли платья, и, закутавшись в нее, так и ушел, никем не замеченный.

Другой раз, в то время, когда Ф. И. гулял по Невскому, перед домом Армянской церкви, где он жил, к нему подошла какая-то нищенка и начала канючить. Сначала, поглощенный своими мыслями, Ф. И. долго не обращал на нее внимания, но, должно быть, нищенка была достаточно настойчива, если ей наконец удалось вывести даже его из задумчивости. Взглянув на нее и поняв, наконец, чего она желает, Ф. И. полез было в карман, но, к сожалению, мелочи не оказалось. Тогда он достает из бумажника крупную ассигнацию, протягивает ее нищенке и приказывает ей пойти разменять. Надо ли добавлять, что нищенка меняет эти деньги по сей день, если она давно не умерла.

Выше я говорил, что с моего отъезда в 1870 году в Москву и до смерти Ф. И. (1873 г.) я видел его два раза. В первый раз в лицее цесаревича Николая, в Москве, куда он приехал ко мне, а второй — незадолго до его смерти, в Петербурге. О втором свидании, хотя

и позднейшем, у меня почему-то осталось настолько смутное воспоминание, что я боюсь, как бы невольно не впасть в неточности, а потому, минуя его вовсе, скажу несколько слов о первом.

Наше свидание произошло на площадке лестницы лицея, так как Ф. И., страдая подагрой, не хотел подниматься наверх в приемный зал и предпочел остаться на первой площадке, где стоял небольшой деревянный диван.

Пока мы сидели и разговаривали, слух о его приезде быстро разнесся по всему лицею, и тотчас же на лестницу высыпало множество воспитанников, преимущественно старших классов, которые, соблюдая, впрочем, приличие, издали с жадным любопытством разглядывали знаменитого поэта. Некоторые, под разными благовидными предлогами, спускались вниз и, проходя мимо Ф. И., низко ему кланялись, на что Тютчев отвечал добродушными кивками головы, сопровождаемыми ласковой улыбкой.

Привожу нарочно это обстоятельство, чтобы показать, насколько молодежь 70-х годов умела чтить выдающихся писателей, с которыми была знакома не только понаслышке, но и с их произведениями... <...>

Когда, посидев со мной минут 20, Ф. И. собрался уходить, несколько человек молодежи поспешили подать ему пальто, шляпу, палку. Такое внимание, видимо, его тронуло. Он с добродушной улыбкой пожал всем руки и не торопясь вышел из подъезда, провожаемый возгласами: «Будьте здоровы, Ф. И., приезжайте к нам опять».

Я пропустил сказать, что раньше того, когда мы еще сидели с Ф. И. на лестнице, к нам подошел мой тогдашний сверстник, некто Г. (впоследствии известный профессор), мальчуган лет 11, и совершенно серьезно произнес, обращаясь к Ф. И. по-французски:

— Я знаю почти все ваши стихотворения наизусть.

— А какое из них вам нравится больше всего?—добродушно улыбаясь, спросил Ф. И.

— Конечно, «Люблю грозу в начале мая»!—с энтузиазмом воскликнул маленький Г.

Тютчев еще раз улыбнулся и, как большому, пожал ему руку.

Тут будет кстати сказать, что Ф. И., когда обращался к детям, что, впрочем, было очень, очень редко, держался с ними совершенно особенного тона, совсем как бы со взрослыми, и, к удивлению, дети понимали его с полуслова, хотя он говорил с ними вовсе уже не детским языком. Как и почему выходило так,—это тайна его гения.

В общем, впрочем, насколько я мог судить по себе, Ф. И. не особенно жаловал детей. Я помню, что, когда он бывал у нас, никогда почти со мной не говорил, и если к этому прибавить его привычку сидеть, полузакрыв глаза ладонью, то получалось впечатление, будто он даже не хотел на меня и глядеть. Я так это и понимал, отчего страшно его боялся и, будучи в остальное время крайне суетливым и подвижным, в его присутствии превращался в окаменелость, едва-едва дерзающую переводить дух.

Расскажу, кстати, об одном курьезном происшествии, вызванном именно этим паническим страхом.

Однажды, Ф. И. нужно было о чем-то переговорить с моей старушкой-няней. Сойдя к нам в сад, он взял ее под локоть и начал прохаживаться взад и вперед по аллее, причем я шел подле, и Ф. И. по обыкновению, положив мне руку на плечо, в рассеянности пальцами сдавил шею. По мере того, как беседа все сильней и сильней увлекала его, он все крепче и крепче сжимал мне шею. Задыхаясь, я, тем не менее, не осмеливался подать голоса и только стискивал зубы, чтобы не расплакаться. Мне было тогда лет восемь, и, по всей вероятности, моего стоицизма хватило бы ненадолго, и я в конце концов разрыдался бы, но, по счастью, няня заметила мое критическое положение и поспешила предупредить Ф. И., что он собирается совсем задушить меня.

— Э, черт! — проговорил Ф. И., отдернув руку. — Я думал, это моя палка. <...>

Как древнеязыческий жрец, созидающий храм, населяющий его богами и затем всю жизнь свою служащий им и их боготворящий, так и Феодор Иванович в сердце своем воздвиг великолепный, поэтический храм, устроил жертвенник и на нем возжег фимиам своему божеству — женщине. Как искренно верующий несет на жертвенник своему идолу лучшее, что он имеет, так и Феодор Иванович поверг к стопам своего божества лучшие свойства своей души. <...>

Женившись в первый раз 23 лет (в 1826 г.) по страстной любви к вдове нашего бывшего министра при одном из второстепенных германских дворов, г-же Петерсон, урожденной графине Ботмер, Феодор Иванович прожил с ней 12 лет, до 1838 года, когда жена его умерла. По свидетельству знавших его в то время, Тютчев был так огорчен смертью жены, что, проведя ночь подле ее гроба, поседел от горя в несколько часов; но менее чем через год мы его видим уже вторично женатым на одной из первых красавиц того времени, урожденной баронессе Пфеффель. Брак этот, заключенный опять-та-

ки же по страстной любви, не был, однако, особенно счастливым, и у молодой женщины очень скоро появились соперницы, а через одиннадцать лет после свадьбы Феодор Иванович совершенно охладел к ней, отдав всего себя, всю свою душу и сердце новой привязанности. В то время ему было уже под пятьдесят лет, но, тем не менее, он сохранил еще такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность к безрассудочной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что, читая его дышащие страстью письма и стихотворения, положительно отказываешься верить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а пятидесятилетнего старца, сердце которого, должно бы, казалось, давным-давно устать от бесчисленного множества увлечений, через которые оно прошло.

Встретив особу, о которой я говорю, Феодор Иванович настолько сильно увлекается ею, что, ни на минуту не задумавшись, приносит в жертву своей любви свое весьма в то время блестящее положение. Он почти порывает с семьей, не обращает внимания на выражаемые ему двором неудовольствия, смело бравирует общественным мнением и если, в конце концов, не губит себя окончательно, то, тем не менее, навсегда портит себе весьма блистательно сложившуюся карьеру. Это увлечение, наиболее сильное во всей его жизни, оставило на ней глубокий след, выбило его, так сказать, из колеи и сделало то, что последние двадцать лет прошли для Феодора Ивановича почти безрезультатно в смысле какого бы то ни было творчества. Как захваченный водоворотом, он бесцельно метался в заколдованном круге нелепых, тяжелых, подчас унизительных условий созданного им самим положения, являясь в одно и то же время и палачом и жертвой, и когда через 14 лет он потерял ту, которую так безумно и страстно любил, не был уже способен ни на какую активную деятельность. Смерть любимого человека, по собственному его меткому выражению, «сломившая пружину его жизни»[1], убила в нем даже желание жить, и последние 9 лет он просуществовал под постоянным нестерпимым гнетом мучительного позднего раскаяния за загубленную жизнь той, кого он любил и так безжалостно сгубил своей любовью, и под затаенным, но, тем не менее, страстным желанием поскорее уйти из этого надоевшего ему мира.

---

[1] Подстрочный перевод фразы его французского письма. *(Прим. Ф. Ф. Тютчева.)*

И. С. Тургенев

Из письма к А. А. Фету

27 декабря 1858

<...> О Тютчеве не спорят; кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии.

Из письма к П. В. Анненкову

23 мая/4 июня 1867

Мне кажется, еще никогда и никого так дружно не ругали, как меня за «Дым». Камни летят со всех сторон. Ф. И. Тютчев даже негодующие стихи написал. И представьте себе, что я нисколько не конфужусь: словно с гуся вода. Я, напротив, очень доволен появлению моего забитого Потугина, верующего единственно в цивилизацию европейскую, в самый разгар этого всеславянского фанданго с кастаньетками.

Из писем к А. А. Фету

20 июля/1 августа 1873

Говорят, бедный Ф. И. Тютчев совсем при смерти; очень его будет жаль. «Unglückliches Menschengeschlecht, dem Laube des Waldes vergleichbar...»[1]

21 августа/2 сентября 1873

Ко всему славянофильствующему я чувствую положительное физическое отвращение. <...> Тютчев – это другое дело. Глубоко жалею о нем. Он тоже был славянофил – но не в своих стихах; а те стихи, в которых он был им, – те-то и скверны. Самая сущная его суть, le fin du fin[2], чисто западная – сродни Гете. Между:

«Есть в светлости осенних вечеров»
и
«Остров пышнааааай, остров чуднааай»

---

[1] «Несчастный род человеческий, листве леса подобный...» *(нем.)*.
[2] самое главное *(фр.)*.

К. Аксакова — нет никакого соотношения. То — изящно выгнутая лира Феба; а это — дебелый, купцом пожертвованный колокол. Милый, умный, как день умный, Федор Иванович! Прости-прощай!

Ф. М. Достоевский

Из письма к Х. Д. Алчевской

9 апреля 1876

Я вывел неотразимое заключение, что писатель — художественный, кроме поэмы, должен знать до мельчайшей точности (исторической и текущей) изображаемую действительность. У нас, по-моему, один только блистает этим — граф Лев Толстой. Victor Hugo[1], которого я высоко ценю как романиста (за что, представьте себе, покойник Ф. Тютчев на меня даже раз рассердился, сказавши, что «Преступление и наказание» (мой роман) выше «Misérables»[2]), хотя и очень иногда растянут в изучении подробностей, но, однако, дал такие удивительные этюды, которые, не было бы его, так бы и остались совсем неизвестными миру.

Из письма к С. Е. Лурье

17 апреля 1877

Насчет Виктора Гюго я, вероятно, Вам говорил, но вижу, что Вы еще очень молоды, коли ставите его в параллель с Гете и Шекспиром. «Les Misérables» я очень люблю сам. Они вышли в то время, когда вышло мое «Преступление и наказание» (то есть они появились 2 года раньше). Покойник Ф. И. Тютчев, наш великий поэт, и многие тогда находили, что «Преступление и наказание» несравненно выше «Misérables». Но я спорил со всеми искренно, от всего сердца, в чем уверен и теперь, вопреки общему мнению всех наших знатоков. Но любовь моя к «Misérables» не мешает мне видеть их крупные недостатки.

---

[1] Виктор Гюго *(фр.)*.
[2] «Отверженных» *(фр.)*.

Л. Н. Толстой

Из письма к А. А. Фету

24...26 августа 1871

Последняя поездка моя к вам была самая приятная из всех, которые я делал. Желаю только, чтобы ваши поездки к нам оставляли вам такое же воспоминание, приятное и легкое и серьезное. Оттуда встретил Тютчева в Черни и 4 станции говорил и слушал и теперь, что ни час, вспоминаю этого величественного и простого и такого глубокого, настояще умного старика.

Из письма к Н. Н. Страхову

13 сентября 1871

Скоро после вас я на железной дороге встретил Тютчева, и мы 4 часа проговорили. Я больше слушал. Знаете ли вы его? Это гениальный, величавый и дитя-старик. Из живых я не знаю никого, кроме вас и его, с кем бы я так одинаково чувствовал и мыслил. Но на известной высоте душевной единство воззрений на жизнь не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным. Я это испытал с вами и с ним. Мы одинаково видим то, что внизу и рядом с нами; но кто мы такие и зачем и чем мы живем и куда мы пойдем, мы не знаем и сказать друг другу не можем, и мы чуждее друг другу, чем мне или даже вам мои дети. Но радостно по этой пустынной дороге встречать этих чуждых путешественников. И такую радость я испытал, встретясь с вами и с Тютчевым.

Из письма к А. А. Толстой

Конец января — начало февраля 1873

Я слышал уже про болезнь Тютчева, и вы не поверите, как это меня трогает. Я встречался с ним раз 10 в жизни; но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки. Как он примет смерть, которая во всяком случае близка ему?

Если ему лучше, передайте ему через кого-нибудь мою любовь.

КОММЕНТАРИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Тексты стихотворений Тютчева печатаются по изданию: Ф. И. Тютчев. Сочинения в двух томах. Т. 1. М.: Худож. лит., 1984.

Список сокращений

А.— И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886.
Г— журнал «Галатея».
ИВ— журнал «Исторический вестник».
Изд. 1868 г.— Стихотворения Ф. Тютчева. М., 1868.
Изд. 1886 г.— Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи. СПб., 1886.
Изд. 1900 г.— Сочинения Ф. И. Тютчева. Стихотворения и политические статьи. СПб., 1900.
Изд. Academia — Ф. И. Тютчев. Полное собрание стихотворений. Редакция и комментарии Георгия Чулкова. Вступительная статья Д. Д. Благого. М.— Л.: Academia. 1933—1934.
М— журнал «Москвитянин».
«Новые стихотворения» — Ф. И. Тютчев. Новые стихотворения. Редакция и примечания Георгия Чулкова. М.: Круг. 1926.
РА — журнал «Русский архив».
РБ— журнал «Русская беседа».
РВ— журнал «Русский вестник».
РС— журнал «Русская старина».
С— журнал «Современник».
СЛ— альманах «Северная лира».
СН— исторический сборник «Старина и новизна».
Труды ОЛРС — «Труды Общества любителей российской словесности».
«Тютчевиана» — «Тютчевиана». Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. Предисловие Георгия Чулкова. М.: Костры. 1922.
«Тютчевский сборник» — «Тютчевский сборник». Пг.: Былое. 1923.
ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив Ленинграда.

I

Проблеск (с. 30). Впервые — «Урания» на 1826 г. Л. Н. Толстой в принадлежавшем ему экземпляре стихотворений Тютчева отметил «Проблеск» буквой «Т !!!!» (Тютчев, т. е. мысль и форма, свойственные одному Тютчеву). Кроме того, он подчеркнул строки 23 и 24 и каждую строчку последней строфы. *Воздушная арфа* (или Эолова арфа) — музыкальный инструмент в виде ящика, в котором натянуты струны, звучащие от движения воздуха.

КН. («Твой милый взор, невинной страсти полный...») (с. 31). Впервые *СЛ* на 1827 г. Кому посвящено стихотворение, не установлено.

Весенняя гроза (с. 31). Впервые — *Г.* Ч. I. 1829. № 3. Вошло в *С*, т. XLIV, 1854 — в другой редакции, ставшей традиционной. *Геба* (античн. миф.) — богиня вечной юности, служившая виночерпием на трапезе олимпийцев. Часто изображалась ласкающей Зевсова орла и подносящей ему в чаше нектар. Образ Гебы был очень распространен в искусстве и поэзии начала XIX в. В стихах Тютчева допущена своеобразная вариация мифа: поэт наделяет Гебу не кубком с божественным напитком, а кубком, наполненным громами. Тем самым Гебе как бы передаются функции Зевсова орла, который нередко изображался сжимающим молнии в когтях.

Могила Наполеона (с. 32). Впервые — *Г.* Ч. II. 1829. № 8. Две строки точек вместо 11—12 стихов обозначают цензурный пропуск в первопечатном тексте. *Перун* (устар.). — гром, в слав. миф. бог грозы.

Cache-cache (с. 33). Впервые — *Г.* Ч. IV. 1829. № 17. *Сильфиды* (герм. миф.). — духи воздуха.

Летний вечер (с. 33). Впервые — *Г.* Ч. V. 1829. № 24.

Видение (с. 34). Впервые — *Г.* Ч. VII. 1829. № 34. *Атлас* — согласно мифологическим представлениям древних греков, небесный свод опирается на плечи гиганта Атласа.

Бессонница (с. 34). Впервые — *Г.* Ч. XI. 1830. № 1.

Утро в горах (с. 35). Впервые — *Г.* Ч. XIII. 1830. № 13. Некрасов в своей статье о Тютчеве полностью приводит это стихотворение, а также «Снежные горы», «Полдень» и «Песок сыпучий по колени...», указывая на умение поэта «уловить именно те черты, по которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. М., 1950. С. 205).

Последний катаклизм (с. 35). Впервые — «Денница» на 1831 г.

Снежные горы (с. 36). Впервые *Г.* Ч. XIII. 1830. № 13. *Дольний* (устар.) — земной. *Горé* — в вышине.

К N.N. (с. 36). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Кому посвящено стихотворение, не установлено.

«Еще шумел веселый день...» (с. 37). Впервые — *М.* Ч. III. 1851. № 11.

Вечер (с. 38). Впервые — *Г.* Ч. XV. 1830. № 22. *Шорох стаи журавлиной* — образ, заимствованный у В. А. Жуковского («Ивиковы журавли»).

Полдень (с. 38). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Л. Н. Толстой отметил «Полдень» буквой «К.» (Красота) и отчеркнул две последние строки. *И сам теперь великий Пан...* — Полдневный час считался священным у древних греков: в этот час отдыхал Пан, бог долин, лесов, стад и пастухов.

Лебедь (с. 38). Впервые — *С.* Т. XIV. 1839.

«Ты зрел его в кругу большого света...» (с. 39). Впервые — «Гражданин», 1875, № 2. Образ месяца на дневном небе в этом и следующем стихотворениях подсказан чтением одной из глав третьей части «Reisebilder»(«Путевых картин») Гейне, вышедшей в свет в декабре 1829 г.

«В толпе людей, в нескромном шуме дня» (с. 39). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. К кому обращено стихотворение, не установлено.

«Душа хотела б быть звездой...» (с. 40). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г.» (Тютчев. Глубина).

«Как океан объемлет шар земной...» (с. 40). Впервые — *Г.* Ч. XVI. 1830. № 27; под заглавием «Сны». Процитировав «Как океан объемлет шар земной...» в своей статье о Тютчеве, Некрасов писал: «Последние четыре стиха удивительны: читая их, чувствуешь невольный трепет» (Н. А. Некрасов. Полн собр. соч. и писем. Т. IX. С. 212). Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «Т.» (Тютчев).

Конь морской (с. 41). Впервые — *РА*, 1879. Вып. 5.

«Здесь, где так вяло свод небесный...» (с. 41). Впервые — под заглавием «В дороге» — *РА*. 1879. Вып. 5.

Успокоение («Гроза прошла — еще курясь, лежал...») (с. 41). Впервые — «Денница» на 1831 г. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!!» (Красота!!).

Двум сестрам (с. 42). Впервые — *С.* Т. IV. 1836. К кому обращено стихотворение, не установлено.

Безумие (с. 42). Впервые — «Денница» на 1834 г. Последняя строфа перекликается с 1—4-й строками позднейшего стихотворного обращения Тютчева к А. А. Фету: «Иным достался от природы...». В обоих случаях поэт имеет в виду так называемых «водоискателей» («sourciers»), людей, умевших распознавать в безводных местах наличие ключевой воды. Н. Я. Берковский считает, что стихотворение полемично по отношению к Шеллингу и его последователям, в глазах которых водоискатели были «посвященные, доверенные лица самой природы». (См. вступ. ст. к изд.: Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М.— Л.,1962. С. 37—39.)

Странник (с. 43). Впервые — *РА*, 1879. Вып. 5.

Цицерон (с. 43). Впервые — «Денница» на 1831 г. *Я поздно встал....* — Перефразировка слов Цицерона: «... мне горько, что на дорогу жизни вышел я слишком поздно и что ночь республики наступила прежде, чем успел я завершить свой путь» («Brutus sive de claris oratoribus» — «Брут, или О знаменитых ораторах», XCVI, 330). *Капитолийская высота* — один из семи холмов, на которых расположен Рим. Там находилось главное римское святилище — храм Юпитера Капитолийского.

Весенние воды (с. 44). Впервые — Телескоп. Ч. X. 1832, № 13. Некрасов считал «Весенние воды» «одною из лучших картин, написанных пером» Тютчева, и в особенности восхищался строками: «Весна идет, весна идет! // Мы молодой весны гонцы, // Она нас выслала вперед!» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, Т. IX. С. 208).

Silentium! (с. 44). Впервые — Молва. 1833. № 33, 16 марта. «Silentium!» было любимым стихотворением Л. Н. Толстого. Он часто читал его вслух наизусть. «Что за удивительная вещь! — сказал он однажды А. Б. Гольденвейзеру.— Я не знаю лучше стихотворения» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Т. II. М., 1922. С. 303).

«Как над горячею золой...» (с. 45). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Некрасову принадлежит следующее высказывание по поводу этого стихотворения: «Грусть, выраженная здесь, понятна. Она не чужда каждому, кто чувствует в себе творческий талант. Поэт, как и всякий из нас, прежде всего человек. Тревоги и волнения житейские касаются также и его, и часто более, чем всякого другого. В борьбе с жизнью, с несчастьем он чувствует, как постепенно талант его слабеет, как образы, прежде яркие, бледнеют и исчезают,— чувствует, что прошедшего не воротишь, сожалеет — и грусть его разрешается диссонансом страдания» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 217). Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «Г.» (Глубина).

«Через ливонские я проезжал поля...» (с. 45). Впервые — *С.* Т. VI. 1837. Написано на обратном пути из Петербурга за границу в первых числах октября 1830 г. *Ливонские поля.* — Ливонией в средние века называлась территория Латвии и Эстонии. *Кровавой и мрачной порой* в истории Ливонии Тютчев называет тот период, когда она находилась под владычеством духовно-рыцарского ордена меченосцев (с 1202 по 1562 г.). *Пустынная река* — Западная Двина. Л. Н. Толстой отчеркнул последнюю строфу этого стихотворения.

«Песок сыпучий по колени...» (с. 46). Впервые — *С.* Т. VI. 1837. Написано, по-видимому, в октябре 1830 г. на обратном пути из Петербурга в Мюнхен. Л. Н. Толстой отметил стихотворение буквой «К.» (Красота). *Ночь хмурая, как зверь стоокий, // Глядит из каждого куста!* — Творческая вариация двух стихов Гете из стихотворения «Willkommen und Abschied» («Свидание и разлука»).

Осенний вечер (с. 46). Впервые — *С.* Т. XIX. 1840. Некрасов видит в этом стихотворении пример «удивительной способности» поэта «охватывать характеристические черты картин и явлений природы». «Каждый стих, — добавляет Некрасов, — хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце...» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 207).

Листья (с. 47). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

«Сей день, я помню, для меня...» (с. 48). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

Альпы (с. 48). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Н. Аммон и Р. Ф. Брандт усматривают в этом стихотворении иносказательный смысл и считают, что «Альпы изображают славянские племена». (См.: Н. Аммон. Несколько мыслей о поэзии Тютчева. // Журнал Министерства народного просвещения. 1899. Июнь. С. 463; Р. Ф. Брандт. Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его поэзия». // Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Т. XVI. Кн. 2. СПб., 1911. С. 168—169.)

Mal'aria (с. 49). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Навеяно описанием окрестностей Рима в романе г-жи де Сталь «Corinne, ou l'Italie» («Корина, или Италия»). Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «Т.» (Тютчев) и подчеркнул слова: «и это все есть Смерть!..»

Весеннее успокоение (с. 49). Впервые — Телескоп. Ч. X. 1832. № 15. Перевод стихотворения Уланда «Frühlingsruhe» («Весеннее успокоение»).

«На древе человечества высоком...» (с. 49). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Содержание стихотворения не оставляет сомнений в том, что оно вызвано смертью Гете, умершего 22 марта 1832 г.

Problème (с. 50). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. По мнению Н. Я. Берковского, стихотворение «перекликается с известным высказыванием Б. Спинозы в письме к Г. Г. Шуллеру: «обладай летящий камень сознанием, он вообразил бы, что летит по собственному хотению» (Ф. И. Тютчев. Стихотворения. М. — Л., 1962. С. 40).

Сон на море (с. 50). Впервые — *С.* Т. III. 1836. *Огневица* (диалект.) — бред, горячка.

Арфа скальда (с. 51). Впервые — *С.* Т. XII. 1838. *Скальдами* назывались в древние времена народные певцы Норвегии и Исландии.

«Я лютеран люблю богослуженье...» (с. 51). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. *Сих голых стен, сей храмины пустой...* — В противоположность ка-

готическим и православным храмам внутренний вид лютеранских церквей отличается строгой простотой и лишен украшений.

«Из края в край, из града в град...» (с. 52). Впервые — *РА.*, 1879. Вып. 5. Вариация на тему стихотворения Гейне «Es treibt dich fort von Ort zu Ort...» (1834).

«О чем ты воешь, ветр ночной?..» (с. 52). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г. К!» (Тютчев. Глубина. Красота!).

«Поток сгустился и тускнеет...» (с. 53). Впервые — *С.* Т. III. 1836.

«В душном воздуха молчанье...» (с. 54). Впервые — *С.* Т. IV. 1836.

«Что ты клонишь над водами...» (с. 54). Впервые — *С.* Т. IV. 1836. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «К. Т.» (Красота. Тютчев).

«Вечер мглистый и ненастный...» (с. 55). Впервые — *С.* Т. IV. 1836.

«И гроб опущен уж в могилу...» (с. 55). Впервые — *С.* Т. IV. 1836. Некрасов отнес это стихотворение к числу тех, которые «несут на себе легкий, едва заметный оттенок иронии, напоминающий... Гейне» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. с. 213). Л. Н. Толстой отметил эти стихи буквами «Т. К.» (Тютчев. Красота).

«Восток белел. Ладья катилась...» (с. 56). Впервые — *С.* Т. IV. 1836. *Ветрило* (устар.) — парус.

«Как птичка, раннею зарей...» (с. 56). Впервые — *С.* Т. IV. 1836. Приведя это стихотворение в своей статье о Тютчеве, Некрасов замечает: «Грустная мысль, составляющая его содержание, к сожалению, сознается не всеми «пережившими свой век» с таким благородным самоотвержением» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 216).

«Душа моя, Элизиум теней...» (с. 57). Впервые — *С.* Т. IV. 1836. Некрасов писал по поводу этого стихотворения: «Чрезвычайно нравится нам.., между прочим, следующее стихотворение, странное по содержанию, но производящее на читателя неотразимое впечатление, в котором он долго не может дать себе отчета» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 218). *Элизиум* (античн. миф.) — местопребывание блаженных душ в царстве теней.

«Над виноградными холмами...» (с. 57). Впервые — *С.* Т. VI. 1837.

«Нет, моего к тебе пристрастья...» (с. 58). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. *Синель* (устар.) — сирень.

«Как сладко дремлет сад темно-зеленый...» (с. 58). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5 — под заглавием «Ночные голоса».

«Тени сизые смесились...» (с. 59). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Л. Н. Толстой сказал однажды об этом стихотворении: «Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез». (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Гослитиздат, 1959. С. 56—57).

«Какое дикое ущелье!..» (с. 59). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

«С поляны коршун поднялся...» (с. 60). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «Г.» (Глубина) и подчеркнул последнюю строку.

«Я помню время золотое...» (с. 60). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Обращено к бар. Амалии Максимилиановне Крюденер, урожденной гр. фон Лерхенфельд (1808—1888). Увлечение поэта ею относится к первым годам его пребывания в Баварии. Некрасов находил, что «от такого стихотворения не отказался бы и Пушкин», и считал, что оно «принадлежит к лучшим произведени-

ям» Тютчева, «да и вообще всей русской поэзии» (Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем. Т. IX. С. 212).

«Там, где горы, убегая...» (с. 61). Впервые — *С.* Т. VI. 1837.

«Сижу задумчив и один...» (с. 62). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

«Зима недаром злится...» (с. 63). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

Фонтан (с. 63). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Стихотворение выражает характерную для Тютчева мысль об одновременном величии и бессилии человеческого разума. Л. Н. Толстой отметил «Фонтан» буквой «Г.» (Глубина).

«Яркий снег сиял в долине...» (с. 64). Впервые — *С.* Т. III, 1836.

«Не то, что мните вы, природа...»(с. 65). Впервые — *С.* Т. III. 1836. Запрещенные цензурой 2-я и 4-я строфы заменены здесь точками. По-видимому, пантеистическое мировоззрение поэта, неприемлемое с ортодоксально-церковной точки зрения, наиболее отчетливо было выражено в не дошедших до нас строфах стихотворения, обративших на себя внимание цензуры. 14 июля 1836 г. Петербургский цензурный комитет утвердил предложение цензора А. Л. Крылова, рассматривавшего рукопись III тома *С*, об исключении этих строф. Пушкин, со своей стороны, настоял на том, чтобы выброшенные строфы были отмечены точками.

«Еще земли печален вид...» (с. 66). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

«И чувства нет в твоих очах...» (с. 66). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5.

«Люблю глаза твои, мой друг...» (с. 66). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К.» (Красота), подчеркнул в последнем стихе слова «угрюмый, тусклый» и на полях повторил отметку «К.».

«Вчера, в мечтах обвороженных...» (с. 67). Впервые — *РА.* 1879. Вып. 5. По-видимому, тема и образы стихотворения навеяны стихами В. Г. Бенедиктова.

29-ое января 1837 (с. 68). Впервые — Гражданин. 1875. № 2. 13 января, с пометой «Мюнхен». Вызвано трагической гибелью Пушкина, но написано, очевидно, не в Мюнхене, а во время пребывания Тютчева в Петербурге в мае — июле 1837 г., под впечатлением светских пересудов о дуэли и смерти поэта.

1-ое декабря 1837 (с. 68). Впервые — *С.* Т. IX. 1838. Возможно, что заглавие стихотворения в данном случае является и датой его написания. Вызвано свиданием в Генуе с Эрнестиной Дёрнберг. Расставаясь с ней, Тютчев предполагал, что расстается навсегда. Впоследствии она стала второй женой поэта.

Итальянская villa (с. 69). Впервые — *С.* Т. X. 1838. По своему содержанию стихотворение связано с предыдущим и относится ко времени пребывания Тютчева и Эрн. Дёрнберг в Генуе. *...тенью элисейской.* — В данном случае эпитет «элисейская» означает то же, что и «блаженная» (от античного элизиума — места пребывания праведных душ).

«Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...» (с. 70). Впервые — *С.* Т. IX. 1838. Стихотворение написано Тютчевым по возвращении из Генуи в северную Италию и является первым в ряду стихотворений поэта, в которых развиваются контрастные образы Севера и Юга.

«С какою негою, с какой тоской влюбленный...»(с. 71). Впервые — *С.* Т. XX. 1840; под заглавием «С какою негою». По всей вероятности, обращено к Эрн. Дёрнберг и написано после разлуки с нею в Генуе в конце 1837 г.

«Смотри, как запад разгорелся...» (с. 71). Впервые — *С.* Т. XI. 1838. Р. Ф. Брандт усматривает в этом стихотворении политический подтекст: символическое изображение «разлада между западом и востоком европейским» (Материалы для исследования «Федор Иванович Тютчев и его по-

эзия» // Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Т. XVI. Кн. 2. СПб., 1911. С. 176).

Весна («Как ни гнетет рука судьбины...») (с. 72). Впервые — *С.* Т. XIII. 1839. В письме к А. А. Толстой от 1 мая 1858 г. Толстой писал: «Я, должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же от души. Бывают минуты счастия сильнее этих; но нет полнее, гармоничнее этого счастья.

И ринься бодрый, самовластный,
В сей животворный океан.

Тютчева «Весна», которую я всегда забываю зимой и весной невольно твержу от строчки до строчки» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. Т. 60, М., 1949, С. 265).

День и ночь (с. 73). Впервые — *С.* Т. XIV, 1839. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г. К!» (Тютчев. Глубина. Красота!).

«Не верь, не верь поэту, дева...» (с. 73). Впервые — *С.* Т. XIV, 1839.

«Живым сочувствием привета...» (с. 74). Впервые — *РБ.* 1858. Ч. II. Кн. 10. Обращено к вел. кн. Марии Николаевне (1819—1876), дочери Николая I, с которой Тютчев встречался осенью 1840 г. в местечке Тегернзее (близ Мюнхена).

«Глядел я, стоя над Невой...»(с. 75). Впервые — *С.* Т. XLIV, 1854.

Колумб (с. 76). Впервые — *С.* Т. XLIV, 1854. Вариация заключительных строк стихотворения Шиллера «Columbus» («Колумб»): «С гением природа в вечном союзе,— что один обещает, сдержит наверное другая». Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Г. Т!» (Глубина. Тютчев!) и подчеркнул четыре последних стиха.

Море и утес (с. 76). Последняя строфа стихотворения опубликована в газете «Русский инвалид» от 7 сентября 1848 г. Впервые полностью — *М.* 1851. Ч. III. № 11. Стихотворение является откликом Тютчева на западноевропейские революционные события 1848 г. Образы моря как символа революционного Запада и утеса как символа самодержавной России, мощь которой поэт считал в те годы незыблемой, подсказаны незадолго до того напечатанным стихотворением Жуковского «Русскому великану» («Не тревожься, великан...»).

«Еще томлюсь тоской желаний...» (с. 78). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8. Посвящено памяти первой жены поэта, Элеоноры Тютчевой, умершей 28 августа/9 сентября 1838 г. в Турине.

«Неохотно и несмело...» (с. 78). Впервые — Киевлянин, кн. III. Написано по дороге из Москвы в Овстуг.

«Итак, опять увиделся я с вами...» (с. 79). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8. Написано во время пребывания Тютчева в Овстуге. В строках *...не в эту землю я сложил//Все, чем я жил...*— Тютчев вспоминает о первой жене, умершей в Турине и там же похороненной. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. К. Ч!» (Тютчев. Красота. Чувство!) и отчеркнул две первые строфы.

«Тихой ночью, поздним летом...» (с. 79). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8. Написано во время пребывания Тютчева в Овстуге.

«Когда в кругу убийственных забот...» (с. 80). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8.

«По равнине вод лазурной...» (с. 80). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 7. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К.» (Красота).

«Вновь твои я вижу очи...» (с. 81). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8. Адресат не установлен. *Киммерийская грустная ночь.*— Намек на «печальную

область» Киммерия, где царит «ночь безотрадная», упоминаемую в «Одиссее» Гомера (XI, 14—15). *Край иной...*— Италия.

«Слезы людские, о слезы людские...» (с. 82). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8. И. С. Аксаков рассказал о том, как было написано Тютчевым это стихотворение: «...однажды, в осенний дождливый вечер, возвратясь домой на извозчичьих дрожках, почти весь промокший, он сказал встретившей его дочери: «J'ai fait quelques rimes» («Я сочинил несколько стихов».— *К. П.*) и, пока его раздевали, продиктовал ей следующее прелестное стихотворение: «Слезы людские, о слезы людские...» и т. д. (*А.* 1886. С. 84—85).

«Как он любил родные ели...»(с. 82). Впервые — Изд. 1886 г. под заглавием «О Ламартине». Написано под впечатлением книги А. Ламартина «Les confidences» («Признания»), где есть такие строки: «Ветер так же мелодически шумит в ветвях трех елей, посаженных моей матерью... когда мне случается забыться там на минуту, меня пробуждают только шаги старого виноградаря, который служил у нас прежде садовником и который приходит иногда навестить свои растения, как я мои воспоминания и мечты» (кн. IV, разд. 5).

«Как дымный столп светлеет в вышине...»(с. 82). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 8.

Русской женщине (с. 82). Впервые — Киевлянин. 1850. Кн. III. Н. А. Добролюбов привел стихи Тютчева «Русской женщине» в статье «Когда же придет настоящий день?», охарактеризовав их как «безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещания поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России» (Н. А. Добролюбов. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1952. С. 67).

Наполеон (с. 83). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 7. Этот стихотворный цикл складывался на протяжении ряда лет. Прежде всего в качестве самостоятельного стихотворения было написано восьмистишие «Два демона ему служили...». Оно возникло под впечатлением характеристики Наполеона в публицистических очерках Гейне, объединенных в его книге «Französische Zustände» («Французские дела»). По выражению Гейне, Наполеон был «гением», «в голове которого гнездились орлы вдохновения, меж тем как в сердце вились змеи расчета» (Генрих Гейне. Собр. соч. Т. 4. М., 1982. С. 36). Книга Гейне вышла в 1832 г. Вероятно, тогда же и написано стихотворение Тютчева, в начале мая 1836 г. посланное поэтом вместе с другими его рукописями И. С. Гагарину. Пушкин намеревался поместить это восьмистишие в третий том *С*, но оно было запрещено цензурой «за неясностью мысли автора, которая может вести к толкам весьма неопределенным». В 1849 г. Тютчев включил в конспект седьмой главы («Россия и Наполеон») задуманного им публицистического трактата «Россия и Запад» стихотворный отрывок «Он сам на рубеже России...». Переработанный и дополненный восемью строками, он вошел в состав самостоятельного стихотворения под заглавием «Нерешенный вопрос», текст которого почти соответствует III части цикла. Окончательное оформление цикла состоялось не позднее начала 1850 г., в феврале — марте он уже был послан в редакцию *М* (цензурное разрешение *М* датировано 31 марта). Стихотворный цикл «Наполеон» отражает стремление Тютчева разрешить в духе славянофильской доктрины проблему революции и исторических судеб России. *Да сбудутся ее судьбы!*— Цитата из приказа Наполеона по армии при переходе через Неман 22 июня 1812 г.: «Россия увлекаема роком: да свершатся ее судьбы». Под *новою загадкой* Тютчев подразумевает слова, сказанные Наполеоном на острове Святой Елены: «Через пятьдесят лет Европа будет либо под властью революции, либо под властью казаков». *...смотришь на Восток.*— Под «Востоком» Тютчев имеет в виду Россию.

«Святая ночь на небосклон взошла...» (с. 84). Впервые —

М. 1850. Ч. II. № 8. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г!!» (Тютчев, Глубина!!).

Поэзия (с. 85). Впервые — *М.* 1850. Ч. II. № 7.

Рим ночью (с. 85). Впервые — *М.* 1850. Ч. IV. № 13. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К.» (Красота).

Венеция (с. 85). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. В двух первых строфах вспоминается обряд «обручения» венецианских дожей с Адриатическим морем, справлявшийся ежегодно вплоть до конца XVIII в. *Века три или четыре... // Разрасталась в целом мире // Тень от львиного крыла.* — Расцвет Венецианской республики относится к XII—XV вв. Крылатый лев — эмблема св. Марка, считавшегося покровителем Венеции. *...звенья тяжкой цепи.* — С 1814 по 1866 г. Венеция в составе Ломбардо-Венецианского королевства находилась под владычеством Австрии.

«Кончен пир, умолкли хоры...» (с. 86). Впервые — *М.* 1850. Ч. IV. № 13. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. К.» (Тютчев. Красота) и подчеркнул строку 14.

«Пошли, господь, свою отраду...» (с. 87). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854; под заглавием «В июле 1850 года». В статье «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» И. С. Тургенев писал: «...такие стихотворения, каковы: «Пошли, господь, свою отраду...» — и другие, пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Соч. Т. 4. М., 1980. С. 528). Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Ч.» (Тютчев. Чувство) и отчеркнул три первые строфы.

На Неве (с. 87). Впервые — *С.* Т. XLV. 1854.

«Как ни дышит полдень знойный...» (с. 88). Впервые — *С.* Т. XLIV, 1854. Под *тайной страстью* подразумевается чувство поэта к Елене Александровне Денисьевой (1826—1866). Этим стихотворением, относящимся к начальной поре связи Тютчева с нею, открывается так называемый «денисьевский» цикл любовной лирики поэта.

«Не рассуждай, не хлопочи!..» (с. 88). Впервые — *М.* 1851. Ч. VI. № 22.

«Под дыханьем непогоды...» (с. 89). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854.

«Обвеян вещею дремотой...» (с. 89). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!!» (Красота!!).

Два голоса (с. 90). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Это стихотворение было одним из любимых стихотворений А. Блока. «В стихотворении Тютчева — эллинское, дохристово чувство Рока, трагическое», — пишет он 3 декабря 1911 г. по поводу «Двух голосов». (А. Блок. Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. М.— Л., 1963. С. 99). Это же стихотворение Блок намеревался поставить эпиграфом к своей драме «Роза и Крест».

«Смотри, как на речном просторе...» (с. 91). Впервые — *М.* 1851. Ч. III. № 11. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г.» (Тютчев. Глубина). *Мета́* (устар.) — цель.

«О, как убийственно мы любим...» (с. 91). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Стихотворение навеяно любовью поэта к Е. А. Денисьевой.

«Не знаю я, коснется ль благодать...» (с. 92). Перед текстом помета: «Pour vous (à déchiffrer toute seule)» («Для вас (чтобы прочесть наедине)»). Впервые — *РА.* 1892. Вып. 4. Обращено ко второй жене поэта — Эрнестине Федоровне Тютчевой. См. в наст. томе: И. С. Аксаков. Из письма Е. Ф. Тютчевой, 8 июня 1875.

Первый лист (с. 93). Впервые — «Раут» на 1852 г. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «Т.» (Тютчев).

«Не раз ты слышала признанье...» (с. 93). Впервые — Звенья. Кн. I. М.—Л., 1932. Обращено к Е. А. Денисьевой вскоре после рождения ее старшей дочери Елены.

Наш век (с. 94). Впервые — *М.* 1851. Ч. IV. № 16. «*Впусти меня! — Я верю, боже мой!..*» — Перефразировка евангельского изречения (Марк, IX, 24).

Волна и дума («Дума за думой, волна за волной...») (с. 94). Впервые — «Раут» на 1852 г.

«Не остывшая от зною...» (с. 95). Впервые — «Раут» на 1852 г. под заглавием «Ночь в дороге». Написано по дороге из Москвы в Петербург. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!» (Красота!).

«В разлуке есть высокое значенье...» (с. 95). Впервые — *СН.* Кн. 18. СПб., 1914. Автограф стихотворения находится в письме к Эрн. Ф. Тютчевой от 6 августа 1851 г. и носит характер экспромта.

«Как весел грохот летних бурь...» (с. 95). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!» (Красота!).

«День вечереет, ночь близка...» (с. 96). Впервые — *С.* Т. XLV. 1854. И. С. Тургенев цитирует третью строфу этого стихотворения в своем рассказе «Фауст» (1856). Той же строфой открывается «Посвящение» к роману Н. Г. Чернышевского «Повести в повести», написанному в Петропавловской крепости в 1863 г. (см.: Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. Т. XII. М., 1949. С. 126).

Предопределение (с. 96). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Связано с любовью Тютчева к Е. А. Денисьевой.

«Не говори: меня он, как и прежде, любит...» (с. 97). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Написано от лица Е. А. Денисьевой.

«О, не тревожь меня укорой справедливой...» (с. 97). Впервые — *С.* Т. XLIV, 1854.

«Чему молилась ты с любовью...» (с. 97). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854.

«Я очи знал, — о, эти очи!..» (с. 98). Впервые — *С.* Т. XLIV.1854.

Близнецы (с. 98). Впервые — Изд. 1886 г.

«Ты, волна моя морская...» (с. 99). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854.

Памяти В. А. Жуковского (с. 100). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854; под заглавием «На смерть Жуковского». Стихотворение посвящено памяти Василия Андреевича Жуковского, умершего 11 апреля 1852 г. в Баден-Бадене. Тютчев еще в юношеские годы познакомился с Жуковским, который бывал в доме его родителей. Позднее он встречался с ним за границей. «Он человек необыкновенно гениальный и весьма добродушный, мне по сердцу», — писал Жуковский о Тютчеве (В. А. Жуковский. Сочинения. Т. 6. СПб., 1878. С. 502). В 1847 г. в Эмсе Жуковский читал Тютчеву свой перевод «Одиссеи» Гомера. Об этом чтении Тютчев вспоминает во второй строфе стихотворения «Памяти В. А. Жуковского». «*Лишь сердцем чистые, те узрят бога!*» — Несколько перефразированная цитата евангельского изречения (Матфей, V, 8).

«Сияет солнце, воды блещут...» (с. 101). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. В последней строфе — обращение к Е. А. Денисьевой.

«Чародейкою Зимою...» (с. 102). Впервые — Изд. 1886 г. Написано в Овстуге.

Неман (с. 102). Впервые — «Раут» на 1854 г., под заглавием «Проезд через Ковно». Стихотворение написано в Ковно (Каунасе), где Тютчев останавливался по пути из-за границы в Петербург. Посылая стихотворение «Неман» жене, Тютчев писал 14 сентября 1853 г.: «Это стихи, о которых я тебе говорил, навеянные Неманом. Чтобы их уразуметь, следовало бы перечитать страницу из истории 1812 г. Сегюра, где идет речь о переходе через эту реку армии Наполеона, или по крайней мере вспомнить картинки, так часто попадающиеся на постоялых дворах и изображающие это событие» (подлинник по-фран-

цузски. *СН.* Кн. 18. С. 53). «*Южный демон*» — намек на корсиканское происхождение Наполеона.

«П о с л е д н я я л ю б о в ь» (с. 103). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Стихотворение связано с любовью поэта к Е. А. Денисьевой. Л. Н. Толстой отметил «Последнюю любовь» буквами «Т. Ч.» (Тютчев. Чувство).

Л е т о 1 8 5 4 (с. 104). Впервые — Изд. 1868 г., без заглавия.

«У в ы , ч т о н а ш е г о н е з н а н ь я...» (с. 104). Впервые — Изд. 1868 г. Автограф четверостишия находится в письме к Эрн. Ф. Тютчевой от 11 сентября 1854 г. и носит характер экспромта.

Н а н о в ы й 1 8 5 5 г о д (с. 104). Впервые — *РА.* 1867. Вып. 12. В примечании к первой публикации стихотворения издатель *РА* П. И. Бартенев пишет: «В начале 1855 года нам довелось услышать эти стихи в одном тесном приятельском кружке; но они были весьма мало распространены, почти вовсе не ходили по рукам, как другие тогдашние произведения, и до сих пор мы не встречали их в печати. Между тем стоит перенестись мыслию к злосчастной эпохе Альмы и Инкермана, стоит вспомнить напряжение всей Европы, тогдашнюю общественную и политическую духоту, чтобы понять, какой животрепещущий смысл имело это стихотворение для того времени. Нельзя не признать за ним высокого *историко-литературного значения.* Мы испросили у автора обязательного дозволения закрепить печатью эти удивительные в их поэтической чуткости строфы». *Я не свое тебе открою...* — В тексте стихотворения содержится намек на модное в то время в русских светских кругах увлечение «столоверчением» (спиритизмом), которому поддался и Тютчев. Однако, вопреки словам поэта, что он передает чужую мысль, содержание стихотворения полностью отвечает его собственным раздумьям и настроению во время Крымской войны.

«П л а м я р д е е т , п л а м я п ы ш е т...» (с. 105). Впервые — *РС.* Т. XLV. 1885. Обращено к Е. А. Денисьевой.

«Т а к , в ж и з н и е с т ь м г н о в е н и я...» (с. 106). Впервые — *РС.* Т. XLV. 1885. Февраль. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. К.» (Тютчев. Красота).

«Э т и б е д н ы е с е л е н ь я...» (с. 106). Впервые — *РБ.* 1857. Ч. II. Кн. 6. Написано в Рославле Смоленской губ. по пути из Москвы в Овстуг. В черновой рукописи обзора Н. Г. Чернышевского «Заметки о журналах. Апрель 1857» это стихотворение отмечено в числе других «прекрасных пьес», помещенных Тютчевым в *РБ,* и приведено полностью (см.: Н. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й. Полн. собр. соч. Т. IV. М., 1948. С. 964). Т. Г. Шевченко, прочитав это стихотворение, записал в своем дневнике: «...Я с наслаждением прочитал трехкуплетное стихотворение Ф. И. Тютчева» (Т. Ш е в ч е н к о. Повне зібрання творів, Т. 5. Київ. 1951. С. 116). И. С. Тургенев выбрал строки «Край родной долготерпенья, // Край ты русского народа!» эпиграфом к своему рассказу «Живые мощи». Это же стихотворение неоднократно цитировал в своих произведениях Ф. М. Достоевский, например, в «Братьях Карамазовых» (глава «Великий инквизитор»).

«В о т о т м о р я и д о м о р я...» (с. 107). Впервые — *РБ.* 1857. Ч. II. Кн. 6. Написано в Рославле Смоленской губ. по пути из Москвы в Овстуг. Стихотворение проникнуто мрачными предчувствиями, вызванными осадой Севастополя во время Крымской войны. Последовавшее вскоре после того падение Севастополя произвело на поэта «подавляющее и ошеломляющее впечатление». Оценку этого стихотворения Н. Г. Чернышевским см. в прим. к стихотворению «Эти бедные селенья...».

«О в е щ а я д у ш а м о я!..» (с. 107). Впервые — *РБ.* 1857. Ч. II. Кн. 6. *...как Мария.* — Имеется в виду Мария Магдалина, раскаявшаяся евангельская грешница. Оценку этого стихотворения Н. Г. Чернышевским см. в прим. к стихотворению «Эти бедные селенья...».

«Молчи, прошу, не смей меня будить...» <Из Микеланджело> (с. 108). Впервые — Изд. 1868 г., под заглавием «Сонет Микеланджело. (Перевод)». Перевод четверостишия Микеланджело «Grato m'è'l sonno, e più l'esser di sasso...». Четверостишие это представляет собою ответ на стихи Строцци, навеянные знаменитым изваянием Ночи на саркофаге Юлиана Медичи во Флоренции. Восхищенный гениальным творением Микеланджело, Строцци писал, что стоит лишь разбудить Ночь, как она заговорит. Четверостишие Микеланджело было в особенности созвучно переживаниям Тютчева в годы Крымской войны, чем и обусловлен его перевод. В художественном отношении перевод четверостишия Микеланджело является одним из лучших переводов Тютчева. Это стихотворение Микеланджело было предварительно переведено Тютчевым на французский язык.

«Не богу ты служил и не России...» (с. 108). Впервые — Былое. 1922, № 19. Стихотворение является эпиграммой-эпитафией Николаю I, умершему 18 февраля 1855 г. Однако, по всей вероятности, она написана не непосредственно под впечатлением смерти царя, а несколько позже, когда под влиянием падения Севастополя Тютчев подверг резкой критике личность и деятельность умершего самодержца.

«Все, что сберечь мне удалось...» (с. 108). Впервые — Изд. 1900 г. Обращено к Эрн. Ф. Тютчевой и написано в день ее рождения.

Н. Ф. Щербине (с. 109). Впервые — *РВ.* Т. VII. 1857. Февраль. Кн. 2. Посвящено поэту Николаю Федоровичу Щербине (1821—1869), в творчестве которого видное место занимали античные темы и мотивы.

«Над этой темною толпой...» (с. 109). Впервые — *РБ.* 1858. Ч. II. Кн. 10. Непосредственным поводом к созданию стихотворения послужил церковный праздник Успенья, на котором Тютчев присутствовал в Овстуге летом 1857 г. В то же время оно отражает думы поэта в связи с предстоящей крестьянской реформой. В сентябре того же года Тютчев высказывал опасение, что крепостнический произвол будет заменен другим произволом, «в действительности более деспотическим, ибо он будет облечен во внешние формы законности» (Письмо к А. Д. Блудовой от 28 сентября 1857 г.). Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г.» (Тютчев. Глубина).

«Есть в осени первоначальной...» (с. 109). Впервые — *РБ.* 1858. Ч. II. Кн. 10. Написано по пути из Овстуга в Москву.— Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!» (Красота!).

«Смотри, как роща зеленеет...» (с. 110). Впервые — *РБ.* 1858. Ч. II. Кн. 10.

«В часы, когда бывает...» (с. 110). Впервые — *РБ,* 1858. Ч. II. Кн. 10. Посвящено памяти Эл. Тютчевой, первой жены поэта.

«Она сидела на полу...» (с. 111). Впервые — *РБ,* 1858. Ч. II. Кн. 10. Возможно, что в этом стихотворении имеется в виду вторая жена поэта Эрн. Ф. Тютчева, уничтожившая часть своей семейной переписки. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Ч.» (Тютчев. Чувство).

Успокоение (с. 112). Впервые — *РВ.* Т. XVI. 1858. Август. Кн. I. Вольный перевод (точнее, стихи на тему) стихотворения немецкого поэта-романтика Н. Ленау «Blick in den Strom» («Взгляд в поток»).

«Осенней позднею порою...» (с. 113). Впервые — *РБ.* 1859. Ч. I. Кн. 13. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!» (Красота!). *«Белокрылые виденья»* — лебеди.

На возвратном пути (I. «Грустный вид и грустный час...» II. «Родной ландшафт... Под дымчатым навесом...») (с. 113). Впервые — «Наше время» от 17 января 1860 г., № 1. Стихотворения написаны по дороге из Кенигсберга в Петербург. *Леман* — Женевское озеро.

Декабрьское утро (с. 114). Впервые — Гражданин. 1872. № 1. 3 января.

Е. Н. Анненковой (с. 114). Впервые — Изд. 1886 г. Посвящено Елизавете Николаевне Анненковой (1840—1886), в замужестве кн. Голицыной.

«Хоть я и свил гнездо в долине...» (с. 115). Впервые — День. 1861. № 10. 16 декабря.

«На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского» (с. 116). Впервые — Наше время. 1861. № 8. 6 марта. Прочитано 2 марта 1861 г. П. А. Плетневым на банкете, устроенном Академией наук в честь пятидесятилетия литературной деятельности П. А. Вяземского. С П. А. Вяземским Тютчева связывали многолетние приятельские отношения.

«Я знал ее еще тогда...» (с. 117). Впервые — Изд. 1868 г.

«Играй, покуда над тобою...» (с. 118). Впервые — *РА*. 1874. Вып. 7.

При посылке Нового завета (с. 118). Впервые — День. 1861. № 3. 28 октября. Обращено к старшей дочери поэта, Анне Федоровне Тютчевой, в замужестве (с 1866 г.) Аксаковой. Под «нелегким жребием», выпавшим на долю дочери, Тютчев имеет в виду ее раннее сиротство (смерть матери) и придворную службу (А. Ф. Тютчева была фрейлиной императрицы Марии Александровны и воспитательницей ее дочери).

«Иным достался от природы...» (с. 119). Впервые — Изд. 1868 г. Как одно целое со стихотворением «А. А. Фету» («Тебе сердечный мой поклон...»). Оба стихотворения были написаны в ответ на стихи Фета с просьбой о присылке ему портрета: «Мой обожаемый поэт...». Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) был большим почитателем Тютчева. Он называл его «одним из величайших лириков, существовавших на земле», и дорожил дружеским расположением, с каким поэт к нему относился.

Н. И. Кролю (с. 119). Впервые — без заглавия — Изд. 1868 г. Посвящено поэту и драматургу Николаю Ивановичу Кролю (1823—1871).

«Утихла биза... Легче дышит...» (с. 120). Впервые — *РВ*. 1865. Т. LV. № 2. Февраль. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!» (Красота!). *Биза* — местное название северного ветра, дующего на Женевском озере. *Белая гора* — дословный перевод слова Montblanc(«Монблан»). *Одной могилой меньше было...* — Имеется в виду могила Е. А. Денисьевой на Волковом кладбище в Петербурге.

«Как неразгаданная тайна...» (с. 121). Впервые — Изд. 1868 г. Посвящено императрице Марии Александровне (1824—1880), жене Александра II.

«О, этот Юг, о, эта Ницца!..» (с. 121). Впервые — *РВ*. 1865. Т. LV. № 2. Февраль. Стихотворение отражает подавленное состояние, в котором поэт находился после смерти Е. А. Денисьевой. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Ч!» (Тютчев, Чувство!).

«Весь день она лежала в забытьи...» (с. 121). Впервые — *РВ*. 1865. Т. LV. № 2. Февраль. Посвящено воспоминанию о последних часах жизни Е. А. Денисьевой. Л. Н. Толстой отметил стихотворение буквами «Т. Ч.» (Тютчев. Чувство).

«Как хорошо ты, о море ночное...» (с. 122). Впервые — в ранней редакции — 1865. День. 22 января; полностью — *РВ*. 1865. Т. LV. № 2. Февраль.

«Когда на то нет божьего согласья...» (с. 123). Впервые — Изд. 1868 г. Посвящено дочери поэта Дарье Федоровне Тютчевой.

«Есть и в моем страдальческом застое...» (с. 123). Впервые — не полностью — *РА*, 1874. Вып. 10; полностью — *ИВ*. 1903. № 7. Посвящено воспоминанию о Е. А. Денисьевой.

«Певучесть есть в морских волнах...» (с. 124). Впервые — *РВ*. 1865. Т. LVIII. № 8. По сообщению А. И. Георгиевского, написано в Петербурге, во время поездки на Острова вместе с его женой М. А. Георгиевской, сестрой Е. А. Денисьевой. Эпиграф заимствован у римского поэта IV в. до н. э. Авзония (см.: Decimi Magni Ausonii Burdigalensis Opuscula. Lipsiae. 1886. P. 285.)

Мусикийский (устар.) — музыкальный. *...Мыслящий тростник* — образ, восходящий к известному афоризму Б. Паскаля: «Человек — всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он тростник мыслящий» («Pensées» — «Мысли»). Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г!» (Тютчев, Глубина!).

Другу моему Я. П. Полонскому (с. 125). Впервые — в «Сочинениях Я. П. Полонского», изд. М. О. Вольфа, 1869, т. I — примечания. Яков Петрович Полонский (1819—1898) был сослуживцем Тютчева по Комитету цензуры иностранной и находился в дружеских отношениях с самим поэтом и его семьей. Четверостишие написано в ответ на стихотворение Полонского «Ф. И. Тютчеву». («Ночной костер зимой у перелеска...»), напечатанное в «Современнике», 1865, № 4. Полонскому принадлежит также стихотворение «Памяти Ф. И. Тютчева» (1876).

«Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...» (с. 125). Впервые — *ИВ.* Т. XCIII. 1903. Июль (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»). В первой строфе Тютчев вспоминает о Е. А. Денисьевой.

«Молчит сомнительно Восток...» (с. 125). Впервые — *РВ.* Т. LVIII. 1865. Июль. Стихотворение в аллегорической форме выражает мечты поэта о политическом и национальном возрождении восточных славян. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. К!!!» (Тютчев. Красота!!!) и отчеркнул строки 1—12.

Накануне годовщины 4 августа 1864 г. (с. 126). Впервые — *ИВ.* Т. XCIII. 1903. Июль (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»). Стихотворение написано в канун первой годовщины смерти Е. А. Денисьевой.

«Как неожиданно и ярко...» (с. 126). Впервые — День. 1865. № 33. 25 сентября. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «Т!!!» (Тютчев!!!) и подчеркнул стих «И в высоте изнемогла».

«Ночное небо так угрюмо...» (с. 127). Впервые — День. 1865. № 33. 25 сентября. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквой «К!!» (Красота!!) и подчеркнул стих «Как демоны глухонемые».

«Нет дня, чтобы душа не ныла...» (с. 127). Впервые — *ИВ.* Т. XCIII. 1903. Июль (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»).

«Как ни бесилося злоречье...» (с. 128). Впервые — *РА.* 1874. Вып. 12. Относится к Надежде Сергеевне Акинфиевой (1839—1891), рожд. Анненковой, внучатой племяннице кн. А. М. Горчакова, и вызвано светскими пересудами о ее разводе с мужем и предполагавшемся браке с дядей.

«Тихо в озере струится...» (с. 128). Впервые — Изд. 1868 г.

«Когда дряхлеющие силы...» (с. 129). Впервые — под заглавием «Еще князю П. А. Вяземскому» — Изд. 1868 г., откуда вырезано по требованию автора. Непосредственным поводом к написанию этого стихотворения послужили сатирические стихи Вяземского «Воспоминания из Буало» и «Хлестаков», направленные против редактора «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Каткова. Однако по своему объективному замыслу его содержание гораздо шире: оно является очень острой, хотя и косвенной характеристикой Вяземского в его отношении к молодым поколениям вообще и напрашивается на сопоставление с тем, что писал Тютчев о Вяземском, прослушав однажды его статью по поводу «Войны и мира» Л. Н. Толстого (см. письмо к Е. Ф. Тютчевой от 3 января 1869 г.). Требование Тютчева исключить стихи из изд. 1868 г. объясняется нежеланием поэта портить давние приятельские отношения с Вяземским.

«Умом Россию не понять...» (с. 129). Впервые — Изд. 1868 г.

«Как ни тяжел последний час...» (с. 130). Впервые — Сочинения графа П. И. Капниста. Т. I. М., 1901. См. в наст. томе: И. П. Капнист. «Из воспоминаний о графе П. И. Капнисте».

«Опять стою я над Невой...» (с. 130). Впервые — *ИВ*. Т. XCIII. 1903. Июль (в статье Ф. Ф. Тютчева «Федор Иванович Тютчев. Материалы к его биографии»). *С тобой...* — обращение к памяти Е. А. Денисьевой.

Пожары (с. 130). Впервые — Русский. 1868. № 16. 19 июля. Навеяно зрелищем лесных пожаров под Петербургом летом 1868 г.

«В небе тают облака...» (с. 131). Впервые — Изд. 1886 г. Написано на хуторе Гостиловка близ Овстуга. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. К.» (Тютчев. Красота).

Мотив Гейне (с. 132). Впервые — Заря. 1869. № 2. Вольный перевод стихотворения Гейне «Der Tod, das ist die kühle Nacht...» («Книга песен.— Опять на родине», 87).

«Нам не дано предугадать...» (с. 132). Впервые — «Северные цветы» на 1903 г.

«Две силы есть — две роковые силы...» (с. 132). Впервые — Изд. 1886 г.

«Природа — сфинкс. И тем она верней...» (с. 133). Впервые — Изд. 1886 г. Л. Н. Толстой отметил это четверостишие буквами «Т. Г.» (Тютчев. Глубина.).

«Как нас ни угнетай разлука...» (с. 133). Впервые — Красная нива. 1926. № 6.

Ю. Ф. Абазе (с. 134). Впервые — Изд. 1886 г. Посвящено музыкантше и певице Юлии Федоровне Абазе (ум. 1915), рожд. Штуббе, жене государственного деятеля А. А. Абазы. Ю. Ф. Абаза была дружна с Гуно и Листом и принимала участие в основании Русского музыкального общества.

К. Б. («Я встретил вас — и все былое...») (с. 135). Впервые — Заря. 1870. № 12. По свидетельству Я. П. Полонского, инициалы в заглавии обозначают сокращение переставленных слов «Баронессе Крюденер».

«Брат, столько лет сопутствовавший мне...» (с. 135). Впервые — *РА*. 1874. Вып. 10. Посвящено памяти брата поэта, Николая Ивановича Тютчева (род. 9 июня 1801 г. в Овстуге, ум. 8 декабря 1870 г. в Москве). Посылая это стихотворение своей дочери, Е. Ф. Тютчевой, поэт писал, что оно сложилось «в состоянии полусна, ночью, на возвратном пути из Москвы» в Петербург после похорон брата.

«От жизни той, что бушевала здесь...» (с. 136). Впервые — Изд. 1886 г. В стихотворении отразились впечатления Тютчева от его поездки в село Вщиж Брянского уезда Орловской губ., некогда бывшее удельным княжеством. Близ Вщижа сохранились древние курганы. Л. Н. Толстой отметил это стихотворение буквами «Т. Г!!!» (Тютчев, Глубина!!), но зачеркнул две первые строфы.

«Все отнял у меня казнящий бог...» (с. 137). Впервые — Изд. 1900 г. Написано во время предсмертной болезни поэта и обращено к жене, Эрн. Ф. Тютчевой.

II

На новый 1816 год (с. 138). Впервые — Сб. «Феникс». Кн. I. 1922. Тютчеву в пору написания стихотворения было немногим больше двенадцати лет. Есть основания считать, что это стихотворение — то самое, которое под измененным названием — «Вельможа. Подражание Горацию» — и, возможно, в переработанном виде было прочитано А. Ф. Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности 22 февраля 1818 г. Больше половины стихо-

творения (четыре строфы из семи) отведено обличению жестокосердого и порочного вельможи, по существу, вытесняющему новогоднюю тему. *Крон* — Хронос (античн. миф.), бог времени. *Мемфис* — столица Древнего Египта, развалины которой находятся несколько южнее Каира. *Илион* — то же, что Троя; столица Троады в северо-западной части Малой Азии. *Коцит* (античн. миф.) — одна из рек в подземном царстве. *Тартар* (античн. миф.) — место наказания неправедных душ в подземном царстве: *Евмениды* (античн. миф.) — богини возмездия. *Жупел* (устар.) — сера.

Двум друзьям (с. 139). Впервые — Сб. «Феникс». Кн. I. 1922.

«Пускай от зависти сердца зоилов ноют...» (с. 140). Впервые — Голос минувшего, 1923. № 3. Написано на книге Вольтера «La Henriade» («Генриада» — изд. 1805 г.). Перед стихотворением надпись: «из книг Федора Тютчева 1818 г. 8 мая». Четверостишие представляет собой переделку «Надписи к портрету М. М. Хераскова» И. И. Дмитриева. По всей вероятности, непосредственным поводом к переделке этого стихотворения и его переадресованию Вольтеру послужило критическое суждение о «Генриаде», прочитанное Тютчевым в предисловии Делиля к переводу «Энеиды». *Пиериды* (античн. миф.) — музы.

Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду (с. 140). Впервые — Труды ОЛРС. 1819. Ч. 14. Было прочитано С. В. Смирновым в Обществе любителей российской словесности 8 марта 1819 г. Стихотворение является вариацией на тему одной из од Горация («Carmina». Кн. III. 29). Заглавие принадлежит Тютчеву. *Крины* (устар.). — лилии. *Брашны* (устар.) — кушанье. *Кастальские девы* — музы. Кастальский источник, посвященный Аполлону и музам, находился на Парнасе. *Пенат* (античн. миф.) — божество домашнего очага. *Небесный лев* — имеется в виду созвездие Льва. Солнце в своем кажущемся годичном движении проходит это созвездие с середины августа до середины сентября. *Сильван* (античн. миф.) — бог полей, лесов и стад. *Персть* (устар.) — земной прах, пыль. *Нот* (античн. миф.) — юго-западный или южный ветер. *Сланые* (устар.). — соленые.

«Всесилен я и вместе слаб...» (с. 143). Впервые — «Новые стихотворения». Перед текстом помета: «Перевод Ф. Т...ва». Иностранный источник стихотворения не установлен.

Урания (с. 143). Впервые — «Речи и отчеты императорского Московского университета», 1820. Было прочитано магистром Масловым в торжественном собрании Московского университета. *Урания* (античн. миф.) — муза астрономии; в данном случае — божественное воплощение красоты. *Мнемозина* (античн. миф.) — мать девяти муз. *Хариты* (античн. миф.) — богини женской красоты (то же, что грации). *Аквилон* (античн. миф.) — бог северного ветра. *Фарос.* — Близ Александрии на острове Фарос находился знаменитый маяк. В данном случае «Фарос» употреблен в нарицательном смысле. *Персеполь* — древняя столица Персии; *Мемнон* — гигинтская статуя в окрестностях Фив, при появлении солнца издававшая гармонические звуки. *Эгея на брегах...* — на берегах Эгейского моря. *...зеленый мирт Паллады* — ошибка поэта: мирт был посвящен не Палладе, а Афродите. *Певец слепой* — Гомер. *Арей* (античн. миф.) — бог войны (то же, что Марс). *Лебедь Мантуи* — Вергилий; Мантуя была его родиной. *Сретает* (устар.) — встречает. *Феррарский орел* — Торквато Тассо; долгие годы находился при дворе герцога феррарского. *...храм Солимы* — Иерусалимский храм. *Нимфы Тага.* — Нимфы реки Тахо. *Младой певец* — Камоэнс. *Два гения* — Мильтон, автор поэмы «Потерянный рай», и Клопшток, автор поэмы «Мессиада». *Тамиза* — Темза. *Росский Пиндар* — Ломоносов. *Поллюкс* (Поллукс) *и Кастор* — самые яркие звезды из созвездия Близнецов. *Отцом и царем-героем* Тютчев называет Петра I. *Певец Фелицы* — Державин. Последние две строфы посвящены прославлению Александра I. Выражение *на троне Человек* заимствовано из «Стихов на рождение в Севере порфи-

родного отрока» Державина. *Закрылись Януса врата.*— В Древнем Риме бог Янус почитался наравне с Юпитером. Двери посвященного ему храма растворялись во время войны и торжественно закрывались при наступлении мира. Тютчев намекает на победоносное завершение Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—1814 гг.

«Неверные преодолев пучины...» (с. 148). Впервые — Изд. 1900 г. Обращено к поэту-переводчику Семену Егоровичу Раичу (1792—1855), бывшему воспитателем Тютчева, и написано по поводу окончания им перевода «Георгик» Вергилия. Долгое время скрывая свой труд от посторонних, Раич показывал его только Тютчеву, которого считал «не учеником, а товарищем» своим. *Древо Аполлона* — лавр.

К оде Пушкина на Вольность (с. 149). Впервые — *РС.* Т. LVI. 1887. Октябрь. *Дух Алцея* — в одах древнегреческого поэта Алкея (VII—VI вв. до н. э.) были сильны тираноборческие мотивы.

Харон и Каченовский (с. 149). Впервые — Красный архив. Т. 4. 1923. Эпиграмма направлена против профессора Михаила Трофимовича Каченовского (1775—1842), читавшего в Московском университете курсы археологии и теории изящных искусств. В своих воспоминаниях о Тютчеве М. П. Погодин рассказывает, что поэт, сидя на лекциях Каченовского и не слушая профессора, «строчил на него эпиграммы» («Московские ведомости» от 29 июля 1873 г., № 190). Ни одна из них, кроме отрывка диалога между Хароном и Каченовским, до нас не дошла. Чем непосредственно вызвана эта эпиграмма, определить трудно. Возможно, что она связана с нападками Каченовского на вышедшую в 1820 г. поэму Пушкина «Руслан и Людмила». Противник всего нового в литературе, Каченовский резко выступил против Пушкина на страницах «Вестника Европы». *Харон* (античн. миф.) — перевозчик душ усопших через реку Стикс из царства живых в царство мертвых.

Весна (с. 150). Впервые — Труды ОЛРС. 1822. Ч. I. Было прочитано Ф. Ф. Кокошкиным в Обществе любителей российской словесности.

А. Н. М<уравьеву> («Нет веры к вымыслам чудесным...») (с. 151). Впервые — полностью — Русский зритель. 1828. Ч. IV. №№ 13—14. Две первые строфы ранее были приведены в статье Делибюрадера (Д. П. Ознобишина) «Отрывок из сочинений об искусствах» — *СЛ,* 1827. Посвящено Андрею Николаевичу Муравьеву (1806—1874), бывшему, как и Тютчев, учеником Раича. Стихотворение Тютчева перекликается с мыслями, высказанными Раичем в его «Рассуждении о дидактической поэзии».

Одиночество <Из Ламартина> (с. 152). Впервые — Труды ОЛРС. 1822. Ч. 2. Перевод стихотворения Ламартина «L'isolement» («Уединение»). 18 марта 1822 г. было прочитано С. В. Смирновым в Обществе любителей российской словесности. В сообщении об этом заседании, напечатанном в «Отечественных записках» (Ч. X. 1822. № 25. С. 279), говорится: «Нельзя было не заметить очень хороших стихов: Уединение, соч. г. Тютчева, юного многообещающего поэта».

Гектор и Андромаха (Из Шиллера) (с. 153). Впервые — Труды ОЛРС. 1822. Ч. 2. Перевод стихотворения Шиллера «Hektors Abschied».

«На камень жизни роковой...» (с. 154). Впервые — Атеней. 1829. Январь. Кн. I. В стихотворении речь идет о С. Е. Раиче. *Предстал во храм Свободы.*— Намек на связь Раича с Союзом Благоденствия. *...повесть начертал Орфеевой супруги.*— Рассказ об Орфее и его супруге Эвридике содержится в IV книге «Георгик» Вергилия, переведенных Раичем. *...на диспуте магистра.*— 29 апреля 1822 г. Раич защитил магистерскую диссертацию «О дидактической поэзии».

«Не дай нам духу празднословья...» (с. 155). Впервые — Сб. «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861. Это стихотворение, как и следующее за ним, отражает религиозное свободомыслие молодо-

го Тютчева. В первой строке — цитата из великопостной молитвы Ефрема Сирина.

Противникам вина (с. 155). Впервые — Тютчевский сборник. Пг. Былое. 1923. В этом стихотворении Тютчев иронизирует над библейскими сказаниями об Адаме и Ное.

Послание к А. В. Шереметеву (с. 156). Впервые — Сб. «Русская потаенная литература XIX столетия». Лондон, 1861. Посвящено двоюродному брату поэта Алексею Васильевичу Шереметеву (1800—1857). *Увел тебя под кров родной...* — А. В. Шереметев служил в лейб-гвардии конной артиллерии, откуда перешел на должность адъютанта при гр. П. А. Толстом, командующем пятым пехотным корпусом. Корпус был расквартирован в Москве, где проживали мать и сестры А. В. Шереметева. *Героем-агрономом* Тютчев называет гр. Петра Александровича Толстого (1766—1844), бывшего одним из главных деятелей Московского общества сельского хозяйства.

Песнь Радости (Из Шиллера) (с. 157). Впервые — *СЛ.* 1827. Перевод стихотворения Шиллера «An die Freude» («К Радости»).

Слезы (с. 160). Впервые — *СЛ.* 1827. Эпиграф заимствован из стихотворения «Alcaic fragment» («Фрагмент из Алкея») английского поэта Томаса Грея, ранние стихи которого написаны по-латыни. *Пафосская царица* — Афродита; храм, ей посвященный, находился в городе Пафосе.

Друзьям при посылке «Песни Радости» — из Шиллера (с. 161). Впервые — *Г.* Ч. VI. 1829. № 29.

С чужой стороны (Из Гейне) (с. 162). Впервые — *СЛ.* 1827. Перевод стихотворения Гейне «Ein Fichtenbaum steht einsam...». Это самый ранний из переводов стихов Гейне на русский язык. Впоследствии это же стихотворение было переведено Лермонтовым, Майковым, Михайловым, Фетом и др. Только в тютчевском переводе сделана попытка передать метрическое своеобразие подлинника.

«Друг, откройся предо мною...» (Из Гейне) (с. 163). Впервые — *Г.* Ч. XVIII. 1830. № 41. Перевод стихотворения Гейне «Liebste, sollst mir heute sagen...»

К Нисе (с. 163). Впервые — «Урания» на 1826 г.

Песнь скандинавских воинов <Из Гердера> (с. 164). Впервые — «Урания» на 1826 г. Вольный перевод стихотворения Гердера «Morgengesang im Kriege» («Утренняя песнь на войне»). *Петел* (устар.) — петух.

В альбом друзьям (Из Байрона) (с. 165). Впервые — *СЛ.* 1827. Перевод стихотворения Байрона «Lines written in an album at Malta» («Строки, написанные в альбом на Мальте»).

Сакontала (Из Гете) (с. 165). Впервые — *СЛ.* 1827. Стихотворение варьирует тему четверостишия Гете «Sakontala», написанного античным пентаметром и включенного в цикл «Antiker Form sich nähernd». Четверостишие Гете вызвано переводом на немецкий язык драмы древнеиндийского поэта Калидасы «Сакontала» («Шакунтала»).

14-ое декабря 1825 (с. 166). Впервые — *РА.* 1881. Вып. 2. Стихотворение написано в связи с обнародованием приговора по делу декабристов. Оно характерно для политических настроений молодого Тютчева. Казалось бы, Тютчев всецело на стороне правительства: декабристы для поэта — «жертвы мысли безрассудной», дерзнувшие посягнуть на исторически сложившийся строй. Однако в том, что произошло, Тютчев винит не одних декабристов, но и произвол «самовластья». А для самого этого строя у него не нашлось иных поэтических образов, кроме «вечного полюса», «вековой громады льдов» и «зимы железной». *...ваша память от потомства, // Как труп в земле, схоронена.* — Намек на то, что место захоронения пяти повешенных декабристов осталось неизвестным: правительство старалось стереть их имена в памяти народ-

ной. Первоначально эти строки в автографе Тютчева читались так: «И память ваша для потомства // Земле, живая, предана».

«Как порою светлый месяц...» (Из Гейне) (с. 166). Впервые — *Г.* Ч. XII. 1830. № 8. Перевод стихотворения Гейне «Wie der Mond sich leuchtend dränget...»

Приветствие духа (Из Гете) (с. 167). Впервые — *Г.* Ч. XVIII. 1830. № 38. Перевод стихотворения Гете «Geistesgruß».

«Закралась в сердце грусть,— и смутно...» (Из Гейне) (с. 167). Впервые — Искусство. 1923. № 1. Перевод стихотворения Гейне «Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich...»

Вопросы (Из Гейне) (с. 168). Впервые — *Г.* Ч. XVIII. 1830. № 40. Перевод стихотворения Гейне «Fragen».

Кораблекрушение (Из Гейне) (с. 169). Впервые — Изд. 1886 г. Перевод стихотворения Гейне «Der Schiffbrüchige» («Потерпевший кораблекрушение»).

I. «Кто с хлебом слез своих не ел...» II. «Кто хочет миру чуждым быть...» <Из «Вильгельма Мейстера» Гете> (с. 170). Впервые — альм. «Сиротка» на 1831 г. Перевод первой и второй песен арфиста («Wer nie sein Brot mit Tränen aß...» и «Wer sich der Einsamkeit ergiebt...» из «Wilhelm Meister's Lehrjahre» («Ученических годов Вильгельма Мейстера», кн. II, гл. 13) Гете.

«Запад, Норд и Юг в крушенье...» (Из Гетева «Западо-Восточного дивана») (с. 171). Впервые — Изд. 1886 г. Перевод стихотворения Гете «Hegire» («Геджра»), которым открывается «West-östliche Divan». *Гафиц* — персидский поэт XIV в. Хафиз.

Байрон (Отрывок <Из Цедлица>) (с. 172). Впервые — Русский современник, 1924. № 1. Перевод отрывка из поэмы Цедлица «Totenkränze» («Венки мертвым»). *Сия обитель* — Ньюстэдское аббатство, родовое поместье Байрона. *Камена* (античн. миф.) — то же, что Муза. *Зачем бежал ты собственного крова.*— В 1816 г. Байрон навсегда покинул родину. *Лары* (античн. миф.) — боги домашнего очага. *...безвременно почивший...*— Байрон умер в 1824 г. тридцати шести лет от роду в греческом городе Миссолунги. *Титан ли ты...*— Намек на античный миф о Прометее. *Своих отцов покинул он обитель.*— Начиная с этой строфы, рассказ о скитаниях Байрона по странам Европы и Ближнего Востока после окончательного отъезда из Англии переплетается с рассказами о более ранних его путешествиях, относящихся к 1809—1811 гг. *То совершитель тризны благочестной.*— Путешествуя по Европе, Байрон посетил поле битвы при Ватерлоо. Строфа, посвященная Италии, в подлиннике отсутствует и введена переводчиком. *И бой вспылал Отчаяния с Силой!..*— Имеется в виду начавшаяся в 1821 г. война греков за свою независимость от турецкого владычества. Байрон принял участие в национально-освободительной борьбе греческого народа.

Олегов щит (с. 178). Впервые *Г.* Ч. VII. 1829. № 34. В стихотворении варьируется та же тема, что и в независимо от него написанном одноименном стихотворении Пушкина («Когда ко граду Константина...»). В обоих вспоминается легендарное летописное сказание о щите, прибитом киевским князем Олегом на городских воротах Константинополя. *Гяурами* мусульмане называли иноверцев. *Как некогда ты вел в пустыне...*— Имеется в виду еврейский народ, по библейскому сказанию, выведенный из египетского плена Моисеем.

«Высокого предчувствия...» <Из Мандзони> (с. 178). Впервые — *РА.* 1885. Вып. 6. Перевод оды Мандзони «Il cinque maggio» («Пятое мая»), посвященной Наполеону (умер 5 мая 1821 г.). Тютчев перевел только 7—16 строфы оды. *Два раза брошен был во прах // И два раза на трон!..*— Имеются в виду следующие исторические факты: провозглашение Наполеона импера-

тором (1804), отречение от престола (1814), возвращение к власти на 100 дней (1815) и ссылка на остров Св. Елены (1815).

«Едва мы вышли из Трезенских врат...» <Из «Федры» Расина> (с. 180). Впервые — изд. 1900 г. Перевод монолога Терамена из трагедии Расина «Phèdre» (V, 6). *Он сел на колесницу...* — Речь идет об Ипполите, сыне афинского царя Тезея. *Ариция* — афинская царевна, которую любил Ипполит. *...мрак ужасной клеветы...* — Оклеветанный своей мачехой Федрой в том, что он домогался ее любви, Ипполит был проклят отцом.

«Прекрасный будет день», — сказал товарищ...» <Из «Путевых картин» Гейне> (с. 182). Впервые — «Новые стихотворения». Перевод 31-й главы III части «Путевых картин» Гейне. *Ларвы* (античн. миф.) — Души грешников, скитающиеся по ночам в виде оборотней. *Ерев* (античн. миф.) — Эреб, подземное царство.

«Великий Карл, прости! — Великий, незабвенный....» <Из «Эрнани» В. Гюго> (с. 184). Впервые — отрывок (строки 1—24) — Изд. 1900 г.; полностью, но не вполне точно — в «Мурановском сборнике», вып. 1, 1928. Переведенный Тютчевым отрывок представляет собой монолог дон Карлоса перед гробницей императора Карла Великого («Эрнани», IV, 2). *Доги* — дожи.

Певец (Из Гете) (с. 186). Впервые — *Г.* Ч. XIX. 1830. № 42. Перевод баллады Гете «Der Sänger».

«За нашим веком мы идем...» (с. 187). Впервые — *Г.* Ч. XVIII. 1830. № 40. *Креуза* (античн. миф.) — жена троянского героя Энея. Когда Эней покинул Трою, Креуза последовала за ним, но все время отставала в пути и наконец исчезла (ее взяла к себе мать Энея — Афродита, так как Креузе не было предназначено оставить Трою).

Заветный кубок (Из Гете) (с. 187). Впервые — Изд. 1886 г. Перевод баллады Гете «Der König in Thule», включенной в качестве песни Маргариты в I часть «Фауста» (сцена «Вечер»).

I. «Звучит, как древле, пред тобою...» II. «Кто звал меня?..» III. «Чего вы от меня хотите...» IV. «Зачем губить в унынии пустом...» V. «Державный дух! Ты дал мне, дал мне все...» <Из «Фауста» Гете> (с. 188). Отрывок IV впервые — *Г.* Ч. XI. 1830. № 5. Отрывок II — Изд. 1900 г., отрывки I, III, V — журн. «Искусство», 1927, кн. II и III. Переводы сделаны из I части «Фауста» Гете: I — отрывок из «Пролога на небе»; II — диалог Фауста с Духом Земли из сцены «Ночь»; III — монолог Фауста из сцены «Ночь»; IV — монолог Фауста из сцены «У ворот»; V — монолог Фауста из сцены «Лес и пещера». Кроме этих отрывков, Тютчев перевел полностью I акт II части «Фауста», но рукопись перевода была случайно уничтожена поэтом.

Ночные мысли (Из Гете) (с. 192). Впервые — Телескоп. 1832. Ч. XI. № 10. Перевод стихотворения Гете «Nachtgedanken». *Оры* (античн. миф.) — богини времени.

I. «Любовники, безумцы и поэты...» II. Песня (Из Шекспира) (с. 193). Впервые — газ. «Молва», 1833, 19 января, № 8. Перевод из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь»: I — слова Тезея «The lunatic, the lover and the poet...» (V, I); II — отрывок песни Пэка «Now the hungry lion roars...» (V, I).

«Все бешеней буря, все злее и злей...» (с. 193). Впервые — «Новые стихотворения».

«Пришлося кончить жизнь в овраге...» <Из Беранже> (с. 194). Впервые — не вполне точно — в «Новых стихотворениях». Перевод песни Беранже «Le vieux vagabond» («Старый бродяга»). Имя *Ира,* бродяги, выведенного в «Одиссее» Гомера, употреблено здесь в нарицательном смысле (ср. стихотворение Тютчева «Бедный Лазарь, Ир убогой...»).

«В которую из двух влюбиться...» (Из Гейне) (с. 196). Впервые — Изд. 1900 г. Перевод стихотворения Гейне «In welche soll ich mich verlie-

ben». *Бурידановым другом* назван осел. Французскому средневековому философу Буридану приписывается парадокс о том, что если бы осел обладал свободой воли и был поставлен между двумя одинаковыми стогами сена, то он погиб бы от голода, ибо ни на одном из них не мог бы остановить своего выбора.

К Ганке (с. 196). Впервые — Сб. «Русская беседа». СПб., 1841. Т. 2. Написано в августе 1841 г., когда Тютчев совершил поездку в Прагу, где познакомился с чешским патриотом, ученым и писателем Вацлавом Ганкой (1791—1861). Ганка был ревностным сторонником сближения Чехии с Россией и немало потрудился над ознакомлением своих соотечественников с русской литературой и русским языком. Встреча с Ганкой углубила интерес Тютчева к историческим судьбам и культуре славянских стран. Стихотворение было вписано Тютчевым в альбом Ганки перед отъездом из Праги. «Приписка» была написана в мае 1867 г. в дни Славянского съезда. *Сторичный* (устар.) — стократный. *Доблий* (устар.) — доблестный. Имеется в виду Ганка. Под *«первым праздником Всеславянства»* Тютчев подразумевает так называемый Славянский съезд, состоявшийся в мае 1867 г., на который прибыла депутация из различных славянских народностей Балкан и Западной Европы. С 8 по 15 мая происходили празднества в честь славянских гостей в Петербурге, с 16 по 27 мая — в Москве. Вопреки надеждам славянофилов реального политического значения эта «всеславянская сходка» не имела.

Знамя и Слово (с. 198). Впервые в «Zeitschrift für Slavische Philologie», Bd. V, 1929. Посвящено немецкому писателю и публицисту Карлу-Августу Фарнгагену фон Энзе (1775—1858). В молодые годы Фарнгаген фон Энзе служил в русской армии и участвовал в войнах против Наполеона. Впоследствии своими переводами сочинений русских писателей способствовал распространению русской литературы в Германии.

«Не знаешь, что лестней для мудрости людской...» (с. 198). Впервые — Былое. 1922. № 19. Эпиграмма выражает отрицательное отношение Тютчева к западноевропейским революционным событиям 1848 г.

Русская география (с. 198). Впервые — Изд. 1886 г. По содержанию стихотворение близко к публицистическим статьям Тютчева и наброскам его неосуществленного трактата «Россия и Запад». Под *градом Петровым* Тютчев подразумевает Рим. *Даниил предрек...* — Намек на библейское пророчество о царстве, которое «вовеки не разрушится» («Книга Даниила». II. 44).

Рассвет (с. 199). Впервые — Сб. «С нами бог! вперед... Ура!» М., 1854.

Пророчество (с. 200). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Стихотворение появилось в печати во время Крымской войны. Николай I признал его напечатание несвоевременным. 12 марта 1854 г., по поручению царя, генерал-адъютант Н. Н. Анненков направил министру народного просвещения А. С. Норову «конфиденциальное» отношение: «Государь император, прочитав это стихотворение, изволил последние два стиха собственноручно зачеркнуть и написать: *«Подобные фразы не допускать».* Об этом эпизоде упоминает в своем дневнике от 18 марта 1854 г. А. Ф. Тютчева (См.: А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров, I. Изд. М. и С. Сабашниковых. 1928. С. 134). *Четвертый век уж на исходе...* — Осуществление своих панславистских чаяний Тютчев связывал с четырехсотлетней годовщиной падения Византийской империи (1453—1853). *...своды древние Софии...* — Имеется в виду мечеть Айя-София в Константинополе, ранее бывшая христианским храмом.

«Уж третий год беснуются языки...» (с. 200). Впервые — газ. «Северная пчела» от 7 марта 1850 г., № 52. Слова, отмеченные курсивом, заимствованы из манифеста Николая I от 14 марта 1848 г. по поводу революционных событий в Австрии и Пруссии.

«Нет, карлик мой! трус беспримерный...» (с. 201). Впервые — Изд. 1868 г. Обращено к государственному канцлеру гр. Карлу Васильe-

вичу Нессельроде (1780—1862) и содержит критику с панславистских позиции австрофильского курса его политики.

«Тогда лишь в полном торжестве...» (с. 202). Впервые — Изд. 1868 г.

Графине Е. П. Ростопчиной («Как под сугробом снежным лени...») (с. 202). Впервые — Сб. «Раут» на 1852 г. Посвящено поэтессе гр. Евдокии Петровне Ростопчиной, рожд. Сушковой (1811—1858). *Стигийская мгла.* — Подразумевается царство мертвых, отделенное от земного мира рекой Стикс (античн. миф.). *...в замке феи-Нелюдимки.* — Намек на вышедшую в 1850 г. драму Ростопчиной «Нелюдимка».

Поминки (Из Шиллера) (с. 203). Впервые — Сб. «Раут» на 1851 г. Перевод баллады Шиллера «Das Siegesfest», написанной на сюжет, заимствованный из «Илиады» Гомера. *Пэан* (пеан) — у древних греков торжественная хоровая песнь. *Атреев сын* — Агамемнон, предводитель ахейцев в Троянской войне. *Керы* (античн. миф.) — богини насильственной смерти. *Атрид* — Агамемнон. *Кронид* — Зевс, сын Кроноса. *Аякса брат меньшой* — Тевкр, брат Аякса, покончившего с собой, так как Афина помешала ему отомстить за нанесенное ему оскорбление. *Патрокл* — друг Ахилла, славный своим благородством и храбростью; убит Гектором. *Терсит* — безобразный, дерзкий и трусливый грек. *Пелид* — Ахилл, сын Пелея. *Сын Тидеев* — Диомед, один из героев Троянской войны. *Гекуба* — жена Приама, потерявшая при разрушении Трои всех своих детей. *Ниоба* — фиванская царица. За дерзкую похвальбу перед Латоной, матерью Феба и Артемиды, своими детьми Феб и Артемида поразили стрелами семь ее сыновей и семь дочерей. *Провозвестница жена* — прорицательница Кассандра.

«Ты знаешь край, где мирт и лавр растет...» (Из Гете) (с. 207). Впервые — Сб. «Раут» на 1852 г., под заглавием «Kennst du das Land? (Из Гете)». Перевод песни Миньоны из романа Гете «Ученические годы Вильгельма Мейстера» (ч. III, гл. 1).

«С озера веет прохлада и нега...» (Из Шиллера) (с. 208). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Перевод песни сына рыбака из драмы Шиллера «Вильгельм Телль» — «Es lächelt der See, er ladet zum Bade...» (I, 1).

«Недаром милосердым богом...» (с. 208). Впервые — *С.* Т. XLIV. 1854. Обращено к одной из дочерей поэта, нечаянно раздавившей канарейку.

Спиритистическое предсказание (с. 209). Впервые — Сб. «Звенья». Кн. I. 1932. Написано в период, когда Тютчев особенно увлекался спиритизмом, и отражает надежды поэта на победный исход начавшейся Крымской войны.

«Теперь тебе не до стихов...» (с. 209). Впервые — Изд. 1868 г. Стихотворение написано во время Крымской войны. Было предназначено к помещению в сборнике «Раут». Московский цензурный комитет, обратив внимание на «неопределенность мысли и несколько резкий тон изложения», но «имея в виду поэтическое достоинство» стихотворения, представил его 30 декабря 1854 г. в корректуре «на благоусмотрение» министра народного просвещения. 22 января 1855 г. Главное управление цензуры определило дозволить стихотворение к печати. Однако вопреки этому разрешению министр приказал: «оставя без ответа, считать конченным сие дело» (ЦГИАЛ, ф. 772, оп. 6, г. 1855, ед. хр. 150786, л. 1—3.6). В деле имеется корректурный листок с текстом стихотворения, озаглавленным «Е. И. П., требовавшей у автора стихов в альбом» (там же, л. 7). Инициалы в заглавии, по-видимому, расшифровываются как «Екатерине Ивановне Поповой» (1820—1878), одной из знакомых поэта.

По случаю приезда австрийского эрцгерцога на похороны императора Николая (с. 210). Впервые — Изд. 1868 г. Стихотворение отражает возмущение русских придворных и официальных кругов политикой Австрии во время Крымской войны, в частности, отказом

соблюдать нейтралитет. Австрийский эрцгерцог Вильгельм прибыл в Петербург 27 февраля 1855 г. *...апостольский их род...*— Австрийскому императору принадлежал титул «апостолического величества».

Графине Ростопчиной («О, в эти дни — дни роковые...») (с. 210). Впервые — Изд. 1868 г. Написано по случаю возвращения гр. Е. П. Ростопчиной в Петербург после продолжительного вынужденного отсутствия. В 1846 г. поэтесса опубликовала свою балладу «Неравный брак», в которой аллегорически изобразила взаимоотношения Польши с царской Россией. Тем самым Ростопчина навлекла на себя крайнее неудовольствие Николая I, препятствовавшее ей показываться в Петербурге. Только после смерти царя она смогла вернуться в Петербург. *Дни испытаний и утрат.*— Имеется в виду Крымская война.

«Тому, кто с верой и любовью...» (с. 211). Впервые — *РА.* 1907, вып. 2. Стихотворение вклеено в экземпляр изд. 1854 г., посланный Тютчевым писателю и государственному деятелю Абраму Сергеевичу Норову (1795—1869). *Служил ей мыслию и кровью...*— Намек на участие Норова в Бородинском сражении, во время которого он был ранен. *Поставлен новым поколеньям // В благонадежные вожди.*— С 1854 по 1858 г. Норов занимал пост министра народного просвещения.

«С временщиком Фортуна в споре...» (Из Шиллера) (с. 211). Впервые — Полное собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей. Т. 2. СПб., 1857. Перевод стихотворения Шиллера «Das Glück und die Weisheit» («Счастье и Мудрость»), сделанный специально для полного собрания его сочинений, редактированного Гербелем.

«Прекрасный день его на Западе исчез...» (с. 211). Впервые — «Временник Пушкинского дома». Пг., 1914. Четверостишие было написано на форзаце десятого тома «Сочинений В. Жуковского» (СПб., 1857), содержащего его неизданные произведения и подаренного Тютчевым дочери Дарье (экземпляр не сохранился). Тютчев, совместно с П. А. Плетневым, П. А. Вяземским, М. А. Корфом и Д. Н. Блудовым, был членом комитета по редактированию этого издания.

«Когда *осьмнадцать лет* твои...» (с. 212). Впервые — «Новые стихотворения». Обращено к младшей дочери поэта Марии Федоровне Тютчевой (род. 23 февраля 1840 г. в Мюнхене, ум. 2 июня 1872 г. в Рейхенгалле).

«Есть много мелких, безымянных...» (с. 212). Впервые — Изд. 1868 г., откуда вырезано по требованию поэта. Написано по следующему поводу. 20 декабря 1859 г. Тютчев получил пакет с надписью: «Е<го> п<ревосходительству> Федору Ивановичу Тютчеву от в<еликого> к<нязя> генерал-адмирала для будущего бала». В пакете оказались очки. Этот непонятный подарок заставил Тютчева предположить, что на балу у Н. Н. и В. И. Анненковых, за два дня до присылки очков, он не заметил вел. кн. Константина Николаевича и не поклонился ему. Зная, что генерал-адмирал отличается грубостью, Тютчев принял очки за «урок» с его стороны. Раздраженный, он тотчас ответил Константину Николаевичу стихами, которые и были ему доставлены. «Боюсь, чтобы не вышло истории»,— отмечает в своем дневнике М. Ф. Тютчева. Однако присылка очков объяснялась предстоящим костюмированным балом в Михайловском дворце, на котором Тютчев и Константин должны были появиться в одинаковых домино. Будучи близоруким и не желая быть узнанным по своим очкам, последний разослал ряду лиц очки. «Истории» все же не вышло, так как стихи Тютчева, по существу весьма едкие, могли быть истолкованы и в лестном для адресата смысле: стоило только принять на свой счет не строки о «недосягаемых» для глаз «мелких» созвездиях, а строки о «красе небес родных».

«Куда сомнителен мне твой...» (с. 212). Впервые — Былое. 1922. № 19.

Memento (с. 213). Впервые — Изд. 1868 г. Вызвано смертью императрицы Александры Федоровны, вдовы Николая I, умершей 19 октября 1860 года. В стихотворении Тютчев вспоминает о своих встречах с нею в Веве в сентябре 1859 г.

«Когда-то я была майором...» (с. 213). Впервые — *СН.* Кн. 8, 1904. По свидетельству сына поэта И. Ф. Тютчева, написано от лица его сестры М. Ф. Тютчевой в связи с пятидесятилетним юбилеем кн. П. А. Вяземского. *Когда-то я была майором...* — Намек на любительский спектакль в декабре 1853 г., на котором М. Ф. Тютчева выступала в мужской роли майора. По этому поводу Вяземский обратился к ней со следующими стихами:

Любезнейший майор, теперь ты чином мал,
Но потерпи, и будет повышенье;
В глазах твоих читаю уверенье,
Что будешь ты, в строю красавиц, генерал...

«Недаром русские ты с детства помнил звуки...» (с. 214). Впервые — «Тютчевиана». Четверостишие написано под фотографическим портретом Тютчева; выше портрета надпись: «Нашему милому гостю д-ру Вольфсону». Обращено к немецкому журналисту Вильгельму Вольфсону (1820—1865). В 1861 г., по приглашению Академии наук, Вольфсон приезжал из Дрездена в Петербург на юбилей Вяземского. *...русские ты с детства помнил звуки.* — Намек на то, что Вольфсон был уроженцем Одессы. *Посредником стоишь ты...* — Имеются в виду написанные на немецком языке труды Вольфсона, содействовавшие ознакомлению западноевропейского читателя с русской литературой.

«Он прежде мирный был казак...» (с. 214). Впервые — Каторга и ссылка. 1931. № 11—12. Эпиграмма направлена против Григория Ивановича Филиппсона (1809—1883), попечителя Петербургского учебного округа, и вызвана его мероприятиями по борьбе со студенческими волнениями 1861 г. Ранее Филиппсон был казачьим атаманом, на что и намекает Тютчев в 1-й строке эпиграммы. В последних строках — каламбур, построенный на дословном переводе с немецкого языка на русский фамилии Филиппсона — «сын Филиппа». Александр Великий был сыном Филиппа Македонского.

Князю П. А. Вяземскому (с. 214). Впервые — газ. «День», № 2, 21 октября 1861 г. Написано в 1861 г. в качестве приветствия по случаю дня рождения Вяземского — 12 июля. *Теперь не то, что за полгода...* — Имеется в виду чествование пятидесятилетия литературной деятельности Вяземского, состоявшееся 2 марта 1861 г.

А. А. Фету (с. 215). Впервые — Изд. 1868 г. Написано в ответ на стихотворение Фета «Мой обожаемый поэт...».

«Затею этого рассказа...» (с. 215). Впервые — в «Тютчевиане». Эпиграмма на повесть Л. Н. Толстого «Казаки», появившуюся в январском номере «Русского вестника».

Его светлости князю А. А. Суворову (с. 215). Впервые напечатано Герценом в «Колоколе» от 1 января (нов. ст.) 1864 г. Посвящено петербургскому военному генерал-губернатору кн. А. А. Суворову (1804—1882), внуку знаменитого полководца. Стихотворение вызвано отказом Суворова подписать приветственный адрес генерал-губернатору Северо-Западного края М. Н. Муравьеву, получившему прозвище «Вешатель». Консервативно настроенные круги общества не одобряли этот отказ А. А. Суворова.

«Как летней иногда порою...» (с. 216). Впервые — Изд. 1868 г. Посвящено Н. С. Акинфиевой (1839—1891). См. прим. к стихотворению «Как ни бесилося злоречье...».

19-ое февраля 1864 («И тихими последними шагами...») (с. 217). Впервые — Русский инвалид. 1864. № 43. 22 февраля. Стихотворение вызвано смертью гр. Дмитрия Николаевича Блудова (1785—1864), известного государственного и литературного деятеля. Блудов был президентом Академии наук, председателем Государственного совета и Комитета министров. С Тютчевым и его семьей Блудова связывали многолетние приятельские отношения. Блудов умер 19 февраля 1864 г., в третью годовщину со дня обнародования манифеста о крестьянской реформе.

«Не всё душе болезненное снится...» (с. 218). Впервые — «Однодневная газета Комитета академических театров помощи голодающим» от 28—29 мая 1922 г. Двустишие было послано поэтом дочери Дарье в день ее рождения 12 апреля 1864 г.

«Кто б ни был ты, но, встретясь с ней...» (с. 218). Впервые — Русь. 1880. № 2. 22 ноября. Навеяно встречами с императрицей Марией Александровной, которой тогда же поэт посвятил стихи «Как неразгаданная тайна...».

Encyclica (с. 218). Впервые — День. 1865. № 2. 8 января. Написано в связи с обнародованием 26 ноября 1864 г. энциклики (послания) папы римского Пия IX, осуждавшей в числе прочих «заблуждений века» свободу совести. В первых строках Тютчев вспоминает разрушение Иерусалимского храма римлянами в 70 г. н. э.

Князю Горчакову (с. 219). Впервые — Изд. 1868 г. Обращено к кн. Александру Михайловичу Горчакову (1798—1883), видному государственному деятелю, занимавшему с 1856 г. пост министра иностранных дел. Тютчев считал своим долгом поддерживать «национальные побуждения политики Горчакова». В то же время Тютчев едко подсмеивался над честолюбием и самовлюбленностью Горчакова, называя его «Нарциссом собственной чернильницы». Как указывал И. С. Аксаков, последние строки относятся к «грозившим русской печати новым стеснениям».

Ответ на адрес (с. 219). Впервые — *РА*. 1885. Вып. 10. Вызвано адресом московского дворянства о созыве Земской думы, поданным Александру II 11 января 1865 г.

«Он, умирая, сомневался...» (с. 219). Впервые — ежемесячник «Ипокрена», 1917, октябрь. Написано по случаю столетней годовщины со дня смерти М. В. Ломоносова, отмечавшейся 4 апреля 1865 г. Стихи Тютчева были прочитаны Я. П. Полонским на вечере памяти Ломоносова в зале Дворянского собрания. *Он, умирая, сомневался...* — Умирающий Ломоносов высказывал опасения, что все его «полезные намерения» умрут вместе с ним. *Как тот борец ветхозаветный...* — Имеется в виду Иаков, один из древнееврейских патриархов. По библейскому сказанию, с ним однажды «боролся некто до появления зари», и только на заре Иаков понял, что боролся с богом (Бытие. XXXII. 24—32).

12-ое апреля 1865 («Все решено, и он спокоен...») (с. 220). Впервые — Русский инвалид. 1865. № 79. 14 апреля. Стихотворение вызвано смертью старшего сына Александра II, вел. кн. Николая Александровича (1843—1865), умершего 12 апреля 1865 г.

«Как верно здравый смысл народа...» (с. 221). Впервые — Изд. 1868 г., откуда вырезано по требованию автора. Эпиграмма направлена против гр. Сергея Григорьевича Строганова (1794—1882), занимавшего должность попечителя при наследнике престола, вел. кн. Николае Александровиче, и вызвана слухами о том, что «уход» Строганова за ним пагубно отразился на его здоровье.

«Велели вы — хоть, может быть, и в шутку...» (с. 221). Впервые — Изд. Academia, т. II. Стихотворение посвящено Н. С. Акинфиевой и напи-

сано в ответ на просьбу написать стихи в ее альбом. *Дядя достославный* — кн. А. М. Горчаков.

Князю Вяземскому («Есть телеграф за неименьем ног...») (с. 221). Впервые — «Тютчевиана». Стихотворение является первым вариантом поздравительной телеграммы П. А. Вяземскому ко дню его именин 29 июня 1865 г.

«Бедный Лазарь, Ир убогой...» (с. 221). Впервые — Изд. 1868 г. *Лазарь* — бедняк, о котором рассказывается в евангельской притче (Лука, XVI, 19—31). Об *Ире* см. прим. к переводу Тютчева из Беранже «Пришлося кончить жизнь в овраге...».

Графине А. Д. Блудовой (с. 222). Впервые — Изд. 1868 г. Посвящено гр. Антонине Дмитриевне Блудовой (1813—1891), дочери гр. Д. Н. Блудова. См. прим. к стихотворению «19-ое февраля 1864».

«Когда сочувственно на наше слово...» (с. 222). Впервые — Изд. Academia, т. II.

Князю Суворову («Два разнородные стремленья...») (с. 222). Впервые — Изд. 1868 г., откуда вырезано по требованию автора. Обращено к кн. А. А. Суворову (о нем см. примечание к стихотворению «Его светлости князю А. А. Суворову»). В резком тоне тютчевского стихотворения сказалось предубежденное отношение консервативных слоев русского общества к административной деятельности Суворова. Покушение Каракозова на Александра II в апреле 1866 г. было расценено в правительственных сферах как результат нерадивости Суворова. Это повлекло за собой упразднение должности петербургского генерал-губернатора, которую он занимал.

«И в божьем мире то ж бывает...» (с. 223). Впервые — Изд. 1868 г. Вызвано распоряжением Министерства внутренних дел о приостановке на три месяца газеты «Московские ведомости», опубликованным в «Северной почте» от 11 мая 1866 г. К редакции «Московских ведомостей» Тютчев в эти годы был близок.

«Когда расстроенный кредит...» (с. 223). Впервые — Былое. 1922. № 19. Эпиграмма вызвана назначением директора канцелярии морского министерства Самуила Алексеевича Грейга (1827—1887) товарищем министра финансов.

«Небо бледно-голубое...» (с. 224). Впервые — Литературная библиотека. 1866. Октябрь. Кн. I. Вызвано приездом в Петербург в сентябре 1866 г. датской принцессы Дагмары (1847—1928), невесты наследника Александра Александровича (впоследствии Александра III).

На юбилей Н. М. Карамзина (с. 225). Впервые — Вестник Европы. Т. IV. 1866. Декабрь. Написано для прочтения на вечере памяти Н. М. Карамзина в Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым, состоявшемся 3 декабря 1866 г.

«Ты долго ль будешь за туманом...» (с. 226). Впервые — Изд. 1868 г. Написано по поводу восстания на о. Крит. В своей борьбе против турецкого владычества критяне пользовались поддержкой греков. Сильное брожение наблюдалось вообще среди христианских народностей на Балканах. Тютчев надеялся, что Россия окажет помощь восставшим и воспользуется событиями на Крите для решительного выступления по восточному вопросу.

В Риме (с. 226). Впервые — Изд. 1868 г. Было вписано в альбом кн. Елизаветы Эсперовны Трубецкой (нач. 1830-х годов — 1907 г.), рожд. кн. Белосельской-Белозерской.

«Над Россией распростертой...» (с. 227). Впервые — Былое. 1922. № 19. Эпиграмма направлена против гр. Петра Андреевича Шувалова (1827—1889). Назначенный в 1866 г. шефом жандармов и начальником Третьего отделения и облеченный огромными полномочиями, он получил в Петербурге прозвище «Петра IV» и «Аракчеева II» (см.: П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. М., 1934. С. 270).

«Как этого посмертного альбома...» (с. 227). Впервые — Изд. 1868 г. *Посмертным альбомом*, вызвавшим стихотворение, была книга «Мысли и замечания гр. Д. Н. Блудова» (СПб., 1866), присланная поэту А. Д. Блудовой.

Дым (с. 227). Впервые — Отечественные записки. Т. CLXXII. 1867. Май. Кн. I. Написано в связи с появлением в мартовской книжке *РВ* за 1867 г. романа И. С. Тургенева «Дым». О впечатлении, произведенном на Тютчева чтением «Дыма», В. П. Боткин сообщал Тургеневу 23 апреля 1867 г.: «Дым» еще читается, и мнение о нем не успело еще составиться. Вчера я был у Ф. И. Тютчева,— он только что прочел и очень недоволен. Признавая все мастерство, с каким нарисована главная фигура, он горько жалуется на нравственное настроение, проникающее повесть, и на всякое отсутствие национального чувства» (В. П. Боткин и И. С. Тургенев. Неизданная переписка. М.—Л., 1930. С. 264). «Дым» встретил осуждение не только со стороны Тютчева и его единомышленников. См., например, крайне резкий отзыв Д. И. Писарева о новом произведении Тургенева (Радуга. Альманах Пушкинского дома. Т. II. 1922. С. 218—219). В стихотворении «Дым» Тютчев противопоставляет своей отрицательной оценке романа Тургенева глубоко сочувственную оценку его творчества 40-х — начала 50-х годов, которое сравнивает с «могучим и прекрасным», «волшебным и родным» лесом.

Славянам («Привет вам задушевный, братья...») (с. 228). Впервые — Московские ведомости. 1867. № 105. 14 мая. Написано в связи со Славянским съездом (см. прим. к стихотворению «К Ганке»). Прочитано в качестве приветствия славянским гостям 11 мая 1867 г. на банкете в петербургском Дворянском собрании. На *Ко́совом поле* 15 июня 1389 г. произошла битва между сербами и турками, в которой турки одержали победу. *Белой Горой* называется возвышенность близ Праги. Жестокое поражение, нанесенное здесь чехам 8 ноября 1620 г. войсками германского императора Фердинанда II, привело к упадку политической самостоятельности Чехии.

Славянам («Они кричат, они грозятся...») (с. 230). Впервые — Московские ведомости. 1867. № 113. 24 мая. Прочитано 21 мая 1867 г. на банкете, данном в Москве в честь прибывших на Этнографическую выставку славянских гостей. Эпиграф — слова австрийского министра иностранных дел гр. фон Бейста, проводившего политику подавления славянских народностей Австро-Венгрии.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь...» (с. 231). Впервые — Изд. 1868 г. Непосредственный повод, вызвавший написание этих стихов, не выяснен. И. С. Аксаков в своей «Биографии Ф. И. Тютчева» приводит их в доказательство того, что «ничто не раздражало его в такой мере, как скудость национального понимания в высших сферах, правительственных и общественных, как высокомерное, невежественное пренебрежение к правам и интересам русской народности» (*А.* 1886. С. 74).

На юбилей князя А. М. Горчакова (с. 232). Впервые — в литограф. изд. «Юбилей государственного канцлера князя А. М. Горчакова 1867 года». Написано по поводу пятидесятилетия государственной деятельности кн. А. М. Горчакова, назначенного в связи с юбилеем государственным канцлером. Об отношении Тютчева к нему см. прим. к стихотворению «Князю Горчакову». *В те дни кроваво-роковые...* — Вступление Горчакова на пост министра иностранных дел совпало с окончанием Крымской войны.

«Свершается заслуженная кара...» (с. 232). Впервые — Москва. 1867. № 166. 29 октября. Вызвано вторжением итальянских патриотов-гарибальдийцев в Папскую область и их борьбой со светской властью папы. Конечным результатом этой борьбы было завершенное в 1870 г. объединение Италии. *...чью помощь ни зови...* — Намек на помощь, оказанную папству фран-

цузскими войсками, которые в ноябре 1867 г. отбили наступление гарибальдийцев. В последней строфе — обращение к папе Пию IX (1792—1878).

По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в «Journal de St.-Pétersbourg» (с. 233). Впервые — Русский. 1868. № 1. 1 января. Написано в связи с обнародованием 5 декабря 1867 г. дипломатической переписки русского правительства по восточному вопросу, в особенности же декларацией, в которой оно отказывалось от дальнейшего гарантирования целостности Турецкой империи. Тютчев полагал, что это заявление вызовет всеобщее восстание восточных славян против турецкого владычества. Надежды поэта не оправдались.

Михаилу Петровичу Погодину (с. 233). Впервые — Русский. 1869. № 37. 31 января. Стихотворение было написано на шмуцтитуле экземпляра изд. 1868 г., подаренного Тютчевым историку и публицисту М. П. Погодину (1800—1875). По получении сборника стихотворений Погодин ответил Тютчеву: «Вы заставили меня пожалеть, что не пишу стихов, любезнейший Федор Иванович. Возражу вам прозою, что такие стихи, родясь утром, не умирают вечером, потому что чувства и мысли, их внушающие, принадлежат к разряду вековечных».

Памяти Е. П. Ковалевского (с. 234). Впервые — Москва. 1868. № 139. 25 сентября. Посвящено памяти Егора Петровича Ковалевского (1811—1868), писателя, путешественника, знатока Ближнего Востока. 23 сентября 1868 г. Тютчев присутствовал на его похоронах.

«Печати русской доброхоты...» (с. 234). Впервые — Былое. 1922. № 19. Подобные же мысли высказывал Тютчев в письме к брату от 13 апреля 1868 г. по поводу цензурного предостережения, сделанного газете И. С. Аксакова «Москва».

«Вы не родились поляком...» (с. 234). Впервые — *РА*. 1884. Вып. I. Это сатирическое стихотворение обращено к издателю-редактору ультрареакционной аристократической газеты «Весть» Владимиру Дмитриевичу Скарятину. *Всех тех, кому зажали рот!* — Имеются в виду славянофилы, против которых, в частности, выступала «Весть» и которые после закрытия в 1868 г. аксаковской «Москвы» не имели своего печатного органа.

«Нет, не могу я видеть вас...» (с. 235). Впервые — Изд. Academia. Т. II. Обращено к кн. А. М. Горчакову.

«Великий день Кирилловой кончины...» (с. 235). Впервые — в брошюре «Празднование тысячелетней памяти первосвятителя славян св. Кирилла 14 февраля 1869 г. в С.-Петербурге и Москве», Прага, 1869. Написано накануне празднования тысячелетней годовщины со дня смерти славянского просветителя.

11-ое мая 1869 («Нас всех, собравшихся на общий праздник снова...») (с. 236). Впервые — Изд. 1886 г. Написано по случаю празднования памяти славянских просветителей, создателей славянской азбуки Кирилла (ок. 827—869) и Мефодия (ок. 815—885) в Славянском благотворительном обществе. Две строки в кавычках — цитата из Евангелия (Матфей, V, 14).

«Как насаждения Петрова...» (с. 236). Впервые — Эстляндские губернские ведомости. 1869. № 51. 25 июня. Стихотворение вызвано тем, что газета «Эстляндские губернские ведомости», издававшаяся на немецком языке, в 1869 г. стала печататься на русском. *Как насаждения Петрова...* — Имеется в виду сад, разведенный по приказанию Петра I вокруг построенного им загородного Екатеринентальского дворца близ Ревеля (Таллина). *Екатерининская долина* — дословный перевод названия «Екатериненталь».

Андрею Николаевичу Муравьеву («Там, где на высоте обрыва...») (с. 237). Впервые — Заря. 1869. № 9. Сентябрь. Стихотворение навеяно встречей с А. Н. Муравьевым (см. о нем прим. к стихотворению «А. Н. М<уравьеву>») в Киеве, куда Тютчев приехал в конце июля 1869 г. и

где оставался до 6 августа. Написано оно уже после отъезда поэта из Киева. *Воздушно-светозарный храм* — Андреевский собор в Киеве, построенный в XVIII в. по проекту Растрелли.

В деревне (с. 237). Впервые — Изд. 1886 г. В списке И. Ф. Тютчева к тексту сделано следующее примечание: «Стихотворение это написано Ф. И. Тютчевым в одно из последних пребываний его в принадлежавшем ему имении с. Овстуге и вызвано видом собаки, гнавшейся за стадом гусей и уток».

Чехам от московских славян (с. 239). Впервые — Православное обозрение. 1869. № 9. 24 августа 1869 г. стихотворение было прочитано в Москве на заседании Славянского комитета, посвященном 500-летию со дня рождения чешского проповедника-реформатора Яна Гуса (ок. 1369—1415), вдохновителя национального движения в Чехии против немецкого засилья и католической церкви. В русских славянофильских кругах гуситство рассматривалось как протест славянской религиозной мысли против западноевропейской. Разделяя это убеждение, Тютчев писал в статье «Россия и революция»: «...вся еще сохранившаяся в Богемии национальная жизнь сосредоточена в ее *гуситских* верованиях, в этом постоянно живучем протесте ее угнетенной славянской национальности против захватов римской церкви, а также и против немецкого господства» (подлинник по-французски). Это убеждение поэта отражено и в его стихотворении «Чехам от московских славян». Стихи были присоединены к золотой чаше, посланной Славянским комитетом в Прагу. *Такою страшною ценой...* — Подразумевается казнь Яна Гуса, обвиненного судом в Констанце в ереси и сожженного живым по приговору католической церкви.

Современное (с. 240). Впервые — Голос. 1869. № 285. 15 октября. Вызвано торжествами, происходившими в Турции в связи с завершением строительства Суэцкого канала. Франция принимала ближайшее участие в строительстве канала. Поэтому Наполеону III и его жене, императрице Евгении, в Турции оказывались особенные почести. *Мусикия* — музыка. *Рима дочь* — то есть католичка. *Как вторая Клеопатра...* — В древности, при египетской царице Клеопатре (I в. до н. э.), уже существовал Суэцкий канал, но позднее был занесен песком.

А. Ф. Гильфердингу (с. 242). Впервые — Голос. 1869. № 357. 28 декабря. Посвящено известному ученому-слависту, этнографу и собирателю онежских былин Александру Федоровичу Гильфердингу (1831—1871). Избранный в адъюнкты Второго отделения Академии наук, он был забаллотирован общим собранием, что и вызвало стихи Тютчева.

«Так провидение судило...» (с. 242). Впервые — «Новые стихотворения». Чем вызвана эпиграмма — неизвестно.

«Радость и горе в живом упоенье...» <Из Гете> (с. 243). Впервые — Изд. 1886 г. Перевод песни Клары из драмы Гете «Эгмонт» (III, 2).

Гус на костре (с. 243). Впервые — Заря. 1870. № 5. Май. Стихотворение было написано для прочтения на вечере с живыми картинами, состоявшемся 1 апреля 1870 г. в пользу Славянского благотворительного комитета. Предварительно оно было прочитано на литературном вечере у Тютчева 26 марта 1870 г. *Вероломный кесарь* — германский император Сигизмунд. При вызове Гуса на церковный собор в Констанце Сигизмунд дал ему охранную грамоту, но затем под давлением собора признал ее недействительной, как выданную еретику. *...та старица простая...* — По преданию, одна старая женщина бросила вязанку хвороста в костер Гуса, чем вызвала с его стороны восклицание: «Sancta Simplicitas!» («Святая простота!»)

«Над русской Вильной стародавной...» (с. 244). Впервые — Изд. 1886 г. Написано проездом через Вильну (Вильнюс) за границу. Под *поздним былым* подразумевается польское восстание 1863 г.

Два единства (с. 245). Впервые — Заря. 1870. № 10. Октябрь. Было прочитано утром 1 октября на празднестве, устроенном Славянским благотворительным комитетом по случаю присоединения к православию тринадцати чехов. *Кровь льется через край.*— Имеется в виду франко-прусская война, начавшаяся 19 июля (нов. ст.) 1870 г. *...возвестил оракул наших дней...*— Цитируются слова Бисмарка, ярко выражающие идеологию германского милитаризма.

«Веленью высшему покорны...» (с. 245). Впервые — Русь. 1880. № 2. 22 ноября. Написано в альбом Платона Александровича Вакара (1820—1899), члена Комитета цензуры иностранной, председателем которого с 1858 г. был Тютчев.

«Чему бы жизнь нас ни учила...» (с. 246). Впервые — *РВ.* Т. XCI. 1871. Январь. Посвящено Александре Васильевне Плетневой (1826—1901), урожденной кн. Щетининой, жене друга Пушкина, поэта и критика П. А. Плетнева.

«Да, вы сдержали ваше слово...» (с. 246). Впервые — литограф. изд. «Поздравления князю А. М. Горчакову по поводу циркуляра 19 октября 1870 г.». Вызвано обнародованием 3 ноября 1870 г. декларации государственного канцлера кн. А. М. Горчакова о расторжении 14-й статьи Парижского мирного договора 1856 г., ограничивавшей права России на Черное море.

«Впросонках слышу я — и не могу...» (с. 247). Впервые — Мурановский сборник. 1928. Вып. I. В письме Д. Ф. Тютчевой к сестре Е. Ф. Тютчевой стихам предшествует следующее пояснение: «Вот четверостишие, которое папа сочинил на днях,— он пошел спать и, проснувшись, услышал, как я рассказывала что-то маменьке» (подлинник по-французски).

Черное море (с. 248). Впервые — Стихотворения к живым картинам, данным в пользу Славянского благотворительного комитета 29 марта 1871. СПб., 1871. Вызвано отменой 14-й статьи Парижского мирного договора 1856 г. (см. прим. к стихотворению «Да, вы сдержали ваше слово...»). *...свободная стихия...*— Эти и следующие слова, выделенные в тексте стихотворения курсивом,— цитата из стихотворения Пушкина «К морю». *Петропавловского свода... гробовую сень.*— Имеется в виду могила Николая I.

Ватиканская годовщина (с. 249). Впервые — Гражданин. 1872. № 3. 17 января. Под «ватиканской годовщиной» Тютчев подразумевает годовщину провозглашения догмата о непогрешимости папы, принятого Ватиканским собором 18 июля (н. ст.) 1870 г.

«Враг отрицательности узкой...» (с. 250). Впервые — «Пятидесятилетие гражданской и ученой службы М. П. Погодина». 1872. Посвящено русскому историку и публицисту М. П. Погодину.

Памяти М. К. Политковской (с. 250). Впервые — Гражданин. 1872. № 10. 6 марта. Стихотворение вызвано смертью писательницы и переводчицы М. К. Политковской, умершей в 1872 г.

«День православного Востока...» (с. 251). Впервые — Московские ведомости. 1883. № 107. 19 апреля. Написано в день Пасхи и послано младшей дочери поэта М. Ф. Бирилевой, умиравшей в это время от чахотки в Рейхенгалле (Бавария).

«Тебе, болящая в далекой стороне...» (с. 252). Впервые — Изд. 1900 г. Посвящено Евгении Сергеевне Шеншиной (1833—1873), рожд. Арсеньевой. *...добрый, незабвенный муж.*— Николай Васильевич Шеншин (1827—1858), флигель-адъютант. *Привет еще тебе от тени той...*— речь идет о безвременной смерти М. Ф. Бирилевой, с которой Е. С. Шеншина находилась в дружеских отношениях.

Итальянская весна (с. 253). Впервые — «Новые стихотворения».

Бессонница (с. 254). Впервые — Изд. 1900 г.

«Бывают роковые дни...» (с. 254). Впервые — *РС.* Т. VIII. 1873. № 8. Август. Было послано во время предсмертной болезни поэта Александру Васильевичу Никитенко (1804—1877), академику, профессору русской словесности в Петербургском университете и цензору Петербургского цензурного комитета.

СТИХОТВОРЕНИЯ, НАПИСАННЫЕ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

«Nous avons pu tous deux, fatigués du voyage...» (с. 255). Впервые — «Тютчевский сборник». Обращено к немецкому поэту бар. Аполлонию Петровичу Мальтицу (1795—1870), женатому на сестре первой жены Тютчева — Клотильде Ботмер. Среди ранних переводов стихов Тютчева на немецкий язык имеются переводы Мальтица.

«Que l'homme est peu réel, qu'aisément il s'efface...» (с. 256). Впервые — *СН.* 1914. Кн. 18.

Un rêve (с. 256). Впервые — Изд. 1900 г. Обращено к Эрн. Ф. Тютчевой, второй жене поэта. Четыре первых стиха, заключенных в кавычки, написаны от ее лица.

«Un ciel lourd que la nuit bien avant l'heure assiège...» (с. 258). Впервые — Изд. 1900 г.

Lamartine (с. 259). Впервые — Изд. Academia. Т. II.

«Comme en aimant le coeur devient pusillanime...» (с. 259). Впервые — Звенья. 1933. Кн. 2.

«Vous, dont on voit briller, dans les nuits azurées...» (с. 260). Впервые — Изд. 1900 г.

«Des premiers ans de votre vie...» (с. 261). Впервые — *РА.* 1892. Вып. 4. Обращено к Эрн. Ф. Тютчевой.

«Oui, le sommeil m'est doux! plus doux — de n'être pas!..» <Из Микеланджело> (с. 262). Впервые — Звенья. Кн. 2. 1933. Написано одновременно с русским переводом того же четверостишия Микеланджело (см. стихотворение «Молчи, прошу, не смей меня будить...» и прим. к нему).

«Il faut qu'une porte...» (с. 262). Впервые — «Тютчевиана». Написано от лица Д. Ф. Тютчевой, которую уговаривали принять участие в любительской постановке комедии-пословицы Альфреда де Мюссе «Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée».

Е. Н. Анненковой (D'une fille du Nord, chétive et languissante...) (с. 262). Впервые — Изд. 1900 г. Обращено к той же Е. Н. Анненковой, что и стихотворение «И в нашей жизни повседневной...».

«De ces frimas, de ces déserts...» (с. 263). Впервые — Однодневная газета Комитета академических театров помощи голодающим. 1922. 28—29 мая.

«La vieille Hécube, hélas, trop longtemps éprouvée...» (с. 263). Впервые — «Тютчевиана». Обращено к М. Ф. Тютчевой, у которой была собака по кличке Гекуба.

«Lorsqu'un noble prince, en ces jours de démence...» (с. 264). Впервые — *РА.* 1874. Вып. 10. Honny soit qui mal y pense — девиз ордена Подвязки.

«Ah, quelle méprise...» (с. 264). Впервые — «Тютчевиана». Вызвано желанием М. Ф. Бирилевой работать сестрой милосердия в Георгиевской общине.

К. В. Пигарев

ПИСЬМА

«Письма Тютчева, собранные вместе, стоили бы любого серьезного, многотомного литературного произведения. Ему вообще не приходилось в жизни обмолвиться каким-нибудь общим местом или пошлою фразою,— и во всех его письмах, сколько мы их ни знаем, даже в письмах к родным, трактующих о самых обыденных предметах: погоде, здоровье, хозяйстве,— во всех есть или оригинальная мысль, или оригинальный оборот речи, или изящный образ»,— так писал об эпистолярном наследии поэта первый его биограф И. С. Аксаков[1].

Тютчевская эпистолярная проза не только основной и незаменимый источник для его биографии, но и замечательный памятник художественного слова.

Большинство писем Тютчева написано по-французски и дается в переводе. Французский язык, которым, подобно многим своим современникам, пользовался в переписке Тютчев, позволял ему достигать в эпистолярном разговоре подлинной виртуозности. Но глубоко знаменательно, что в самые тяжелые для себя дни он обращается к родному языку и пишет по-русски, быть может, самые потрясающие по искренности чувства, самые безыскусственные из всех тех писем, какие ему довелось когда-либо писать (В. А. Жуковскому — после смерти первой жены, А. И. Георгиевскому и Я. П. Полонскому — после смерти Е. А. Денисьевой). Тютчев, «говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски», неизменно сохранял, по словам Л. Толстого, удивительную «чуткость к русскому языку»[2]. По-русски написаны следующие письма: № 1—5, 10, 12, 15, 18, 20, 31—33, 36—38, 43, 44.

Из большого эпистолярного наследия Тютчева в настоящее издание вошла лишь очень небольшая его часть — 50 писем. По своему содержанию эти письма, будучи соотнесены с воспоминаниями и свидетельствами современников, во многом углубляют и восполняют их. Примером могут служить письмо Тютчева к Жуковскому и записи в дневнике Жуковского, письма Георгиевскому и воспоминания Георгиевского, письма к Эрн. Ф. Тютчевой периода Крымской войны и записи в дневнике А. Ф. Тютчевой того же времени и т. д.

Письма печатаются по изданию, где тексты были сверены с автографами: Ф. И. Тютчев. Сочинения в двух томах. Т. 2. М.: Худож. лит., 1984.

1. М. П. Погодину.

Михаил Петрович Погодин (1800—1875) — товарищ Тютчева по Московскому университету, впоследствии известный историк, профессор Московского университета. В 1850—1851 гг. Тютчев напечатал ряд своих стихотворений в журнале Погодина «Москвитянин». См. в наст. томе: М. П. Погодин. Из «Воспоминания о Ф. И. Тютчеве».

...по случаю сестриной болезни... — Речь идет о сестре Ф. И. Тютчева — Дарье Ивановне Тютчевой, впоследствии Сушковой (1806—1879). *...особенно о вашем сочинении.* — По предположению Д. Д. Благого, Тютчев упоминает сочи-

---

[1] Аксаков И. С. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 238.
[2] Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Т. 1. М., 1922. С. 182—183.

нение Погодина, незадолго до того написанное,— «Рассуждение о нравственных качествах прекрасного пола» (см.: Красный архив. Т. IV. М.—Пг., 1923. С. 386).

2. М. П. Погодину.

Вот вам и Тик...— О каком сочинении немецкого писателя-романтика Людвига Тика (1773—1853) идет речь — неизвестно. *«Руслан»* — поэма Пушкина «Руслан и Людмила», напечатанная в 1820 году. *...пришлите завтра с «Древностями»...*— По предположению Д. Д. Благого, Тютчев имеет в виду либо «Журнал Общества Истории и Древностей Российских — Русские достопамятности», либо сборник «Записки и труды Истории и Древностей Российских при императорском Московском университете» (Красный архив, Т. IV. М.—Пг., 1923. С. 387). *...«Pensées» de Pascal...*— сочинение французского мыслителя Блеза Паскаля (1623—1662), оказавшего влияние на мировоззрение Тютчева.

3. М. П. Погодину.

Мерзляков Алексей Федорович (1778—1830) — поэт, профессор Московского университета по кафедре красноречия и поэзии.

4. М. П. Погодину.

...благодарю вас за «Элоизу» — и прошу вас — «Confessions».— Сочинения Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) «Новая Элоиза» и «Исповедь». *...об этом сочинении Свиньина...*— «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» Павла Свиньина (издание начало выходить в 1816 г.).

5. М. П. Погодину.

Раич Семен Егорович (1792—1855) — поэт, переводчик и литературный критик; с 1812 г. воспитатель Тютчева. В начале 1819 г. перешел в дом Н. Н. Муравьева для воспитания его младшего сына А. Н. Муравьева. *...о Горации с Раичем.*— По-видимому, речь идет об участии Погодина в подготовке к изданию Горация с комментариями — «Quinti Horatii Flacci Opera» (М., 1823). *...я лучше этого человека?*— Тютчев имеет в виду следующее суждение Руссо: «Пусть трубный глас Страшного суда раздастся, когда угодно,— я предстану пред Верховным судией с этой книгой в руках. Я громко скажу: «Вот что я делал, что думал, чем был <...> Собери вокруг меня неисчислимую толпу подобных мне: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях <...> и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: «Я был лучше этого человека» (Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения.: В 3 т. Т. III. М., 1961. С. 10).

6. И. С. Гагарину.

Иван Сергеевич Гагарин, кн. (1814—1882) — атташе русской миссии в Мюнхене в 1833—1835 гг., автор ряда книг богословско-публицистического содержания, издатель сочинений Чаадаева. В 1836 г. Тютчев по просьбе Гагарина переслал ему в Петербург рукописи своих стихотворений; часть их была в том же году напечатана в пушкинском «Современнике». См. в наст. томе: И. С. Гагарин. Из писем.

Ваше последнее письмо...—Письмо от 12/24 июня 1836 г. с сообщением о положительной оценке, которую стихи Тютчева, посланные им Гагарину в начале мая 1836 г., получили со стороны Вяземского, Жуковского и Пушки-

на, и о том, что предполагается выпустить их отдельным изданием (см.: Русский архив. 1879. Кн. 2. Вып. 5. С. 120—121). *...прочитал три повести Павлова...* — «Три повести» Н. Ф. Павлова (1803—1864), отличавшиеся остротой социального содержания, вышли в 1835 г. В последней из них («Ятаган»), особенно понравившейся Тютчеву, резко обличались жестокие порядки, царившие в николаевской армии. Повести были высоко оценены А. С. Пушкиным, В. Г. Белинским, П. Я. Чаадаевым. Достоинством повестей Павлова Пушкин считал то, что «все лица живы и действуют и говорят каждый, как ему свойственно говорить и действовать» (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. Т. 12. Изд-во АН СССР. 1949. С. 9). *По моем возвращении из Греции...* — В августе 1833 г. Тютчев ездил с дипломатическим поручением в Грецию, откуда вернулся в Мюнхен в конце того же года. *...о пожаре Александрийской библиотеки.* — Часть знаменитой Александрийской библиотеки в Египте, основанной в начале III века до н. э., сгорела в 47 г. до н. э., часть уничтожена в 391 г. н. э. христианами-фанатиками. *...первого действия второй части «Фауста».* — Речь идет о тютчевском переводе первого действия второй части из трагедии И. В. Гете (1749—1832) «Фауст». *...частью было помещено им в ... журнале... «Бабочка».* — Тютчев ошибочно называет «Бабочкой» издававшийся Раичем журнал «Галатея», видимо, потому, что бабочка была изображена на обложке этого журнала и сам издатель, объясняя название и направление журнала, писал во вступительной заметке к первому номеру «Галатеи»: «Галатея — бабочка; как дать ей направление? Она по прихоти летает с цветка на цветок...» (Галатея. 1829. № 1). Ряд стихотворений Тютчева напечатан в «Галатее» за 1829—1830 гг. *...о нашей прекрасной Есфири...* — Под библейскими персонажами Есфирью и Мардохеем (Библия, книга «Есфирь») Тютчев разумеет Амалию Максимилиановну Крюденер (1808—1888) и ее мужа Александра Сергеевича Крюденера (ум. 1852), служившего вместе с Тютчевым при русской миссии в Мюнхене. Тютчев познакомился с Амалией в 1822 г. (воспоминанию об этой поре его жизни посвящено стихотворение «Я помню время золотое...»). Через нее весной 1836 г. Тютчев переслал в Петербург кн. И. С. Гагарину рукописи своих стихотворений. *...в новом его положении...* — Речь идет о переходе А. С. Крюденера на службу в Министерство иностранных дел. *Ваш дядюшка...* — Григорий Иванович Гагарин, кн. (1782—1837), русский посланник в Мюнхене с 1833 по 1837 г. *Гизе* Август, бар. — баварский министр иностранных дел. *Моя жена еще не вернулась.* — Элеонора Тютчева, рожд. гр. Ботмер, по первому браку Петерсон (1799—1838). В это время с детьми находилась в Фарнбахе близ Нюрнберга. *...госпожа Анна...* — Арко-Валлей, рожд. гр. Марескальхи (1813—1885). *Принц Карл* — Карл Теодор (1795—1875), принц, брат баварского короля Людвига I. *Бургуэн* Поль Шарль, бар. (1791—1864) — французский посланник в Мюнхене. *...покушение Алибо.* — 25 июня 1836 г. Луи Алибо совершил покушение на французского короля Луи-Филиппа. *...membra disjecta.* — Ставшее крылатым выражение из «Сатир» Горация (кн. I, сатира 4). *Сетто* Ариадна, бар., рожд. Цвейбрюкен (1784—1857) — одна из мюнхенских знакомых Тютчева.

7. П. А. Вяземскому.

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878) — поэт и критик; принадлежал к числу ближайших друзей семьи Тютчевых.

...не имея положительно никаких местных знакомств... — Летом 1837 г. Тютчев впервые после многолетнего перерыва приезжал из Мюнхена в Петербург. *...замогильная книга, как говорил Шатобриан...* — Подразумевается заглавие книги французского писателя Франсуа Рене Шатобриана (1768—1848) — «Les Mémoires d'outre-tombe» («Замогильные записки»). Тютчев называет первый том «Современника» за 1837 г. (пятый по общему счету) «за-

могильной книгой» потому, что в нем были посмертно напечатаны многие произведения Пушкина: «Медный всадник», «Герой», «Д. В. Давыдову», «Лицейская годовщина» («Была пора: наш праздник молодой...»), «Молитва» («Отцы пустынники и жены непорочны...»), «Отрывок» («Вновь я посетил...»), «Сцены из рыцарских времен», «Последний из родственников Иоанны Д'Арк» и «О Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая».

8. И. Н. и Е. Л. Тютчевым.

Иван Николаевич Тютчев (1768—1846) и Екатерина Львовна Тютчева (1776—1866) — родители поэта. Домашний уклад Тютчевых служил образцом полного семейного взаимопонимания и согласия. Часто бывавший в их доме М. П. Погодин однажды записал в своем дневнике: «Смотря на Тютчевых, думал о семейственном счастии. Если бы все жили так просто, как они» (Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. I, СПб., 1888. С. 71).

Обрезков Александр Михайлович (1790—1885) — русский посланник в Турине с 1833 по 1838 г. *...незадолго до именин ваших и моей дочери.*— Именины Е. Л. Тютчевой и ее внучки Е. Ф. Тютчевой приходились на 24 ноября. *Как поживают Дашенька и ее ребенок?*— 7 августа 1837 г. у Д. И. Сушковой, сестры поэта, родился сын Иван (1837—1838). *Николай Васильевич*— Сушков. *Николай*— Николай Иванович Тютчев (1801—1870), брат поэта. Окончив училище колонновожатых, в 1816 году поступил на военную службу. Вышел в отставку в феврале 1842 г. с чином полковника Генерального штаба.

9. И. Н. и Е. Л. Тютчевым.

...со времени гибели «Николая»...— В ночь с 18/30 по 19/31 мая 1838 г. пароход «Николай I», на котором находилась Элеонора Тютчева с детьми, загорелся в море недалеко от Любека. Пассажиры были спасены, но весь багаж, в том числе багаж семьи Тютчева, погиб в огне. Кораблекрушение это описано в очерке И. С. Тургенева «Пожар на море». *...послал свою жену в Берлин ходатайствовать за него перед государем...*— Предметом объяснения жены русского посланника в Турине Н. Л. Обрезковой с Николаем I, находившимся тогда в Берлине, было появление ее при туринском дворе в костюме, будто бы не соответствующем придворному этикету. Циркуляр министра иностранных дел Сардинского королевства по этому поводу вызвал недовольство Николая I, выразившееся в отзыве из Турина русского посланника. С назначением нового посланника русское правительство не торопилось; депешей от 20 апреля 1838 г. Нессельроде известил Обрезкова об аккредитовании Тютчева поверенным в делах. *...о смерти ее ребенка...*— Сын Д. И. и Н. В. Сушковых Иван умер 13 апреля 1838 г.

10. В. А. Жуковскому.

Василий Андреевич Жуковский (1783—1852), поэт; знал Тютчева еще ребенком, бывал в доме его родителей. В стихотворениях «Памяти В. А. Жуковского» и «Прекрасный день его на Западе исчез...» Тютчев высказал свое восхищение поэтическим даром Жуковского. См. в наст. томе: В. А. Жуковский. Из «Дневников» и писем.

...курьера... послать его в Комо...— В курортном итальянском городе Комо в это время находился наследник русского престола вел. кн. Александр Николаевич (с 1855 г. император Александр II), в свите которого был В. А. Жуковский. *...о моем несчастии...*— 28 августа/9 сентября 1838 г. в Турине умерла Элеонора Тютчева, первая жена поэта. *...рассказывая мне про свою тамош-*

нюю жизнь...— Осень 1837 г. и зиму 1837—1838 гг., после отъезда Тютчева из Петербурга в Турин, жена поэта провела в России. *...в жизни много прекрасного и кроме счастия.*— Выраженная в этой фразе мысль неоднократно встречается в произведениях Жуковского (см., например, «Теон и Эсхин»).

11. И. Н. и Е. Л. Тютчевым.

...с живейшим нетерпением ждем...— 17 марта 1843 г. у Сушковых родился сын, названный так же, как и первый (умерший), Иваном. *Мария Николаевна* (1819—1876) — вел. кн., дочь Николая I. *Жена поручает передать вам...*— 17/29 июля 1839 г. Тютчев вступил во второй брак с Эрн. Дёрнберг (см. прим. к п. 13).

12. Вацлаву Ганке.

Вацлав Ганка (1791—1861) — чешский филолог, собиратель памятников древнеславянской письменности, профессор Карлова университета в Праге, один из представителей культуры чешского национального возрождения. По своим общественным воззрениям склонялся к панславизму.

...пресловутой книжицы...— Слово «пресловутый» в XIX в. употреблялось в значении «известный», «знаменитый». Речь идет о новом четвертом издании «Краледворской рукописи» — «Rukopis Kralodvorský... Vydánie čtvrté Váceslava Hanky... v Prace, 1843». Это произведение, впервые изданное Ганкой в 1819 г. в качестве подлинного собрания эпических и лирических песен чешского народа, как впоследствии выяснилось, было написано им самим на основе летописного и легендарного материала. Книга оказала значительное влияние на чешскую литературу. *...я снова очутился в Праге...*— Тютчев впервые был в Праге в 1841 г., когда познакомился с Ганкой и написал ему в альбом стихотворение «Вековать ли нам в разлуке...» («К Ганке»). *Молдава* — немецкое название чешской реки Влтавы, на которой стоит Прага. *Градчин* (Градчаны) — исторический район Праги с королевским дворцом и собором. *...пророчицы Ванды...*— В оригинале слово «Ванды» рукою Ганки исправлено на полях: «Любуши». Имеется в виду легендарная чешская княжна Любуша (Либуше), предсказавшая расцвет и мировую славу Праги. *...Urbi et orbi*— формула папского благословения; выражение это употребляется также в смысле повсеместного оглашения известия.

13. Э. Ф. Тютчевой.

Эрнестина Федоровна Тютчева, рожд. бар. фон Пфеффель, в первом браке бар. Дёрнберг (1810—1894) — вторая жена Ф. И. Тютчева. Ей посвящен поэтом целый ряд стихотворений, в том числе проникновенные строки стихотворения «Не знаю я, коснется ль благодать...». См. в наст. томе: Эрн. Ф. Тютчева. Из писем.

Беру в свидетели самого господина де Кюстина...— В третьем томе своей книги «La Russie en 1839» («Россия в 1839 году»), содержащей резкую критику николаевской России, Кюстин с восхищением описывает московский Кремль. *...дом, который принадлежал некогда моему отцу...*— дом № 11 в Армянском переулке. *...учитель русского языка...*— вероятно, С. Е. Раич. *...он погубил себя во мнении правительства...*— В 1841 г. Н. В. Сушков оставил должность минского губернатора.

14. П. А. Вяземскому.

...статья в неизувеченном виде... — то есть без купюр, сделанных цензурой при пересылке в Россию. Речь идет о статье Сиприена Робера, которая была напечатана 1 ноября 1844 г. в журнале «Revue des Deux Mondes». С. Робер рассматривает «греко-славянские» страны как «особый мир», отдельные части которого внутренне объединены крепкими историческими связями. Национально-освободительное движение должно, по мнению Робера, еще больше сплотить славянские народы друг с другом и обеспечить в будущем их национальную самостоятельность. *...поэтический и, однако же, столь верный очерк карты России...* — Статья Робера открывается обзором географического расположения «греко-славянского мира»; в этом обзоре большое внимание уделено России. *...мелкими карикатурами, якобы народными...* — Так, по-видимому, Тютчев оценивает появлявшиеся с начала 40-х гг. «физиологические очерки», изображавшие мелочи жизни социальных низов (например, издание А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими», 1841—1842). *...один или два тома Гоголя...* — из четырехтомного Собрания сочинений Н. В. Гоголя, вышедшего в 1842 г. *...заметка о Крылове* — составленное Вяземским объявление о подписке на сооружение памятника Крылову. Оно было опубликовано в разных периодических изданиях в начале 1845 г.

15. Е. Л. Тютчевой.

...пишу вам из его кабинета... — из кабинета отца, умершего 23 апреля 1846 г. *Матвей Иванович* — дворецкий Тютчевых в Овстуге. *Небольсины* — Николай Павлович Небольсин; его двоюродный брат Александр Григорьевич Небольсин (1795—1854); Елизавета Семеновна Небольсина, рожд. Озерова (1820—1846), двоюродная племянница Ф. И. Тютчева. *Яковлев* Семен Федорович (ум. в конце 50-х гг.) — брянский помещик. *Варвара Андреевна* Жабина (ум. 1860) — дальняя родственница Тютчева.

16. П. Я. Чаадаеву.

Петр Яковлевич Чаадаев (1794—1856) — политический мыслитель и философ, автор «Философических писем» и «Апологии сумасшедшего». В «Философических письмах» высказался пессимистически относительно русского исторического процесса, сопоставляя его с западноевропейским, развивавшимся под знаком католической цивилизации; резко критиковал православную церковь, самодержавие, крепостничество. Об отношении Тютчева к Чаадаеву см. в наст. томе: М. И. Жихарев. Из воспоминаний «Петр Яковлевич Чаадаев». Ответ Чаадаева на комментируемое письмо Тютчева опубликован в «Литературном наследстве» (Т. 19—21. М., 1935. С. 587—589).

Попов Александр Николаевич (1820—1877) — историк, близкий к московским славянофильским кругам; известен своими трудами по внешней политике России, истории Отечественной войны 1812 г. и др. *«Переписка» Гоголя* — «Выбранные места из переписки с друзьями» (книга вышла в начале 1847 г.). *«Московский сборник»* — «Московский литературный и ученый сборник» на 1846 г., изданный славянофилами.

17. П. А. Вяземскому.

Ваша книга... — «Фон-Визин». Спб., 1848.

18. М. П. Погодину.

В числе сообщенных вам пьес... — Речь идет о стихотворении Тютчева «Святая ночь на небосклон взошла...», напечатанном в журнале Погодина «Москвитянин» (1850, ч. II, № 8). *...с пропуском четырех стихов...* — В ранее сообщенном Погодину тексте отсутствовало предпоследнее четверостишие.

19. П. А. Вяземскому.

...лучше будет в стихе... — Речь идет о стихотворении Вяземского «Послание к графу Д. Н. Блудову», написанном по случаю пятидесятилетия литературной деятельности известного литератора и государственного деятеля, впоследствии президента Академии наук Дмитрия Николаевича Блудова (1785—1864). Юбилей праздновался 8 января 1851 г. Предложенное Тютчевым исправление пятого стиха пятой строфы «И нет конца твоим стрелам» и первый вариант 3—6 строк последней строфы были приняты Вяземским.

20. Н. В. Сушкову.

Николай Васильевич Сушков (1796—1871) — литератор, автор ряда пьес, сборника стихов «Книга печалей», рецензий; с 1838 по 1841 г. — минский губернатор. В 1851—1854 гг. издал три сборника «Раут», в которых, наряду с историческими документами, были помещены произведения русских писателей, в том числе и целый ряд стихотворений Тютчева. В 1851 г. Сушков начал готовить к печати собрание стихотворений Тютчева. Это издание не было осуществлено, но подготовленный Сушковым текст был положен в основу издания стихотворений Тютчева 1854 г.

...от кедра до иссопа... — Выражение, заимствованное из Библии («Третья книга царств», IV, 33). *...до моих стихов-подкидышей...* — По-видимому, в письме к Тютчеву Сушков сообщал о своем намерении выпустить отдельное издание его стихотворений. *...52-й год ознаменуется новым раутом.* — В 1851—1852 гг. Н. В. Сушковым были изданы две книги литературного сборника «Раут». *...приношу вам мою лепту...* — стихотворения «Ночь в дороге» («Не остывшая от зною...»), «Kennst du das Land? (Из Гете)», «Первый лист», «Волна и дума» и «Графине Е. П. Ростопчиной» («Как под сугробом снежным лени...»), помещенные в «Рауте» 1852 г. *Ростопчина* Евдокия Петровна, гр., рожд. Сушкова (1811—1858), — поэтесса, племянница Н. В. Сушкова.

21. Э. Ф. Тютчевой.

6 декабря принесет нам окончательное решение. — Тютчев надеялся, что к 6 декабря, дню именин Николая I, будет удовлетворена его просьба о принятии ко двору в качестве фрейлины одной из его дочерей. *Северин* Дмитрий Петрович (1792—1865), участник литературного общества «Арзамас», посланник в Мюнхене с 1837 г. по 1864 г. *...четыре барышни получили шифр...* — то есть были назначены фрейлинами кнж. Елена Михайловна Голицына (1832—1885), Мария Александровна Пушкина (1832—1919), Мария Владимировна Давыдова (1840—1931) и Ольга Николаевна Смирнова (1834—1893). *...князь Трубецкой ...собирается вступить в законный брак не с мадемуазель Тальони, но с ее дочерью...* — Кн. Александр Васильевич Трубецкой (1813—1889) женился на гр. Марии Жильбер-де-Вуазен (ум. 1901), дочери Марии Тальони (1804—1884), знаменитой танцовщицы, в замужестве гр. де-Вуазен. *...пригласят ли по этому случаю Жорж Санд...* — Шутливое упоминание имени известной французской писательницы в письме Тютчева вызвано тем, что Жорж Санд

(1804—1876) в своих романах проповедовала свободу чувства. *...опускаю другие, и даже получше...*—Несколько переиначенная цитата из драмы Виктора Гюго «Эрнани» (акт III, сц. 6): J'en passe, et des meilleurs». *...с г-жой Калерджи и ее кузиной.*—Мария Федоровна Калерджи (1822—1874), воспитанница К. В. Нессельроде, и Мария Карловна Зеебах, рожд. гр. Нессельроде (1820 — после 1881), жена саксонского дипломата. *Мальцова* Анастасия Николаевна, рожд. Урусова (1820—1894),—жена С. И. Мальцова, владельца заводов в Брянском уезде Орловской губернии. *Виардо*—Полина Виардо, рожд. Гарсиа (1821—1910),—знаменитая французская певица, друг И. С. Тургенева. *...оценить его книгу...*—«Записки охотника» (вышли в свет в начале августа 1852 г.). *...вследствие какого-то грубого недоразумения...*—Намек на высылку И. С. Тургенева в его орловское имение Спасское-Лутовиново; был сослан за напечатание в «Московских ведомостях» от 13 марта 1852 г. письма о смерти Гоголя, ранее не пропущенного петербургской цензурой.

22. Э. Ф. Тютчевой.

...возвратившись в Петербург...—В начале февраля 1853 г. Тютчев вновь вернулся в Петербург после посещения Овстуга, куда приехал 31 декабря 1852 (12 января 1853 г.). *Китти*—Екатерина Федоровна Тютчева, дочь поэта. *Судя по письму Тургенева к княжне Софи Мещерской...*—Письма И. С. Тургенева к Софье Ивановне Мещерской (ум. 1881) неизвестны. *Отправился повидать Анну...*—В декабре 1852 г. А. Ф. Тютчева была назначена фрейлиной великой княгини цесаревны Марии Александровны и находилась при дворе. *Антуанетта*—Антонина Дмитриевна Блудова. *Андрей-Аврора*—Андрей Николаевич Карамзин (1814—1854), сын Н. М. Карамзина, и его жена Аврора Карловна Карамзина, рожд. бар. Шернваль (1813—1902). *Карамзины-Мещерские*—Екатерина Николаевна Мещерская, рожд. Карамзина (1806—1867), дочь Н. М. Карамзина, и ее муж кн. Петр Иванович Мещерский (1802—1876).

23. Э. Ф. Тютчевой.

...князем Горчаковым... получено ...требование очистить княжества...—В мае 1853 г., в результате отказа турецкого правительства признать привилегии православного населения в Турции, произошел разрыв русско-турецких дипломатических отношений; в июне того же года русские войска под командованием кн. М. Д. Горчакова (1793—1861) заняли Дунайские княжества. 27 сентября / 9 октября Турция потребовала от России очистить княжества, а 4 / 16 октября объявила ей войну. В начале 1854 г. в коалиции с Турцией вступили в войну Англия и Франция. *...подробности... о вертящихся и пишущих столах...*—Увлечение «столоверчением» (спиритизмом) было очень распространено в светских и придворных кругах того времени. *...я буду лучше осведомлен... посредством письма...*—то есть письма Э. Ф. Тютчевой, которая уехала к брату Карлу Пфеффелю в Мюнхен, где оставалась до весны 1854 г.

24. Э. Ф. Тютчевой.

...его стихи о Венеции...—Имеется в виду стихотворение П. А. Вяземского «Ночь в Венеции» («По зеркалу зыбкого дола...»). *Labarum*—начиная с Константина I (ок. 285—337) государственное знамя императорского Рима (с изображением креста и инициалов Иисуса Христа). *...рассказать тебе о некоторых явлениях...*—Намек на «столоверчение». В 1853—1854 гг. Тютчев разделял увлечение светских и придворных кругов спиритизмом.

25. Э. Ф. Тютчевой.

Шлагинтвейт Вильгельм Август Иозеф (1792—1854) — мюнхенский врач. *...вопреки известной поговорке.* — Вероятно, намек на поговорку «День на день не приходится». *...союзные флоты вошли в Черное море.* — Англо-французский флот вошел в Черное море 23 декабря 1853 / 4 января 1854 г. *...после наших последних успехов.* — Тютчев имеет в виду победы, одержанные русскими войсками под Ахалцихом 14/26 ноября 1853 г. и под Башкадыкларом 19 ноября / 1 декабря 1853 г., а также в Синопском морском сражении 18/30 ноября 1853 г. *...изгнанник Тургенев вернулся в Петербург...* — В декабре 1853 г. И. С. Тургенев вернулся в Петербург, отбыв полуторагодовую высылку в Спасское-Лутовиново (см. прим. к п. 21). *...свою непонятную книгу.* — Книга С. Ф. Яковлева «Essai d'une solution en économie politique» (Москва, 1853).

26. Э. Ф. Тютчевой.

...покоя, покоя, во что бы то ни стало! Все царства мира за каплю покоя. — Ср. в трагедии Шекспира «Ричард III»: «A horse! a horse! my kingdom for a horse!» («Коня, коня! Все царство за коня!» — Акт V, сц. 4). *Мальтиц* Аполлоний Петрович, бар. (1795—1870) — немецкий поэт; состоял на русской дипломатической службе и в 1837 г. заменил Тютчева на посту секретаря русской миссии в Мюнхене. *...об окончательном занятии Аландских островов...* — 26 июля 1854 г. англо-французские войска высадились на Аландских островах (в Балтийском море), принадлежавших тогда России, и приступили к осаде крепости Бомарзунд. 4 августа гарнизон Бомарзунда был вынужден сдаться превосходящим силам неприятеля. *...флагелланты* — католическая секта XI—XVIII вв. *Салтыкова* Екатерина Васильевна, кн. (1791—1862) — статс-дама. *Юсупова* Зинаида Ивановна, кн. (1809—1893). *Смирнова* Александра Осиповна, рожд. Россет (1809—1882), одна из примечательных женщин своего времени. Была в дружеских отношениях с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Жуковским, Вяземским. Тютчев часто бывал на ее вечерах и побуждал писать мемуары. *...возможного назначения Дарьи.* — Д. Ф. Тютчева была назначена фрейлиной императрицы Марии Александровны в 1858 г. *Воейкова* Александра Александровна (1817—1893) — фрейлина, дочь А. А. Воейковой, воспетой Жуковским под именем Светланы. *Риги-Кульм* — гора в Швейцарии. *...про бедного Яковлева.* — Сосед Тютчевых по имению С. Ф. Яковлев потерял зрение.

27. Э. Ф. Тютчевой.

...со своим племянником графом Алексеем Толстым... — Имеется в виду поэт Алексей Константинович Толстой (1817—1875). *...путешествие по ту сторону Москвы...* — поездка из Овстуга в Москву. 3 сентября 1855 г. Тютчев приехал в Москву из Овстуга, где он провел с семьей большую часть августа. *Щука* («Brochet») — прозвище Эммануэля Тума (1802—1886), камердинера Ф. И. Тютчева. *...чудовищная тупость этого злосчастного человека...* — Николая I. *...тревогам твоего брата...* — К. Пфеффель выражал опасение, как бы затянувшаяся война не отразилась на судьбе его капитала. *Козлова* Александра Ивановна (1812—1903) — дочь поэта И. И. Козлова. *Дмитрий* — Д. Ф. Тютчев (1841—1870), сын поэта. *Мельниковы* — семья Александра Петровича Мельникова (1797—1873), советника придворной конюшенной конторы, с 1868 г. тестя Д. Ф. Тютчева.

28. А. Д. Блудовой.

Антонина Дмитриевна Блудова, гр. (1813—1891), дочь Д. Н. Блудова, в 30—40-х годах писала повести на русском и французском языках; с 60-х годов в журналах и газетах стали появляться ее записки мемуарного характера. По своим взглядам была близка к славянофилам.

Тогда-то Людовики шестнадцатые и расплачиваются... — Людовик XVI — французский король в 1774—1792 гг.; свергнут французской революцией, осужден Конвентом и казнен. *...не в обиду будь сказано официальной формуле...* — Тютчев имеет в виду формулу, которой начинались царские манифесты: «Мы божиею милостию...»

29. Э. Ф. Тютчевой.

...уверенность в несомненности шестого числа... — По всей вероятности, на 6 мая намечался отъезд Э. Ф. Тютчевой в Овстуг. *...неуверенность в моем собственном отъезде* — Речь шла о предполагавшейся поездке Тютчева в Берлин *...заседании некоего литературного общества...* — Тютчев имеет в виду Общество любителей российской словесности при Московском университете. Основанное еще в 1811 г., в марте 1859 г., после тридцатилетнего перерыва, Общество возобновило свои публичные чтения. Тютчев был избран членом-сотрудником Общества 30 марта 1818 г., действительным членом — 21 января 1859 г. Описываемое им собрание было вторым публичным заседанием Общества по его возобновлении. Речь А. С. Хомякова была посвящена «причинам учреждения Общества любителей российской словесности в Москве». Н. Ф. Павлов выступил на тему «о несправедливых нападениях на литературу» и огласил стихотворение Вяземского «Желание». Н. П. Гиляров-Платонов познакомил публику с отрывком из повести Л. Н. Толстого «Семейное счастье». Хомяков заключил заседание чтением своих стихов «Подражание пророчеству Иезекииля». Характерно, что Тютчев отмечает «злободневный» интерес выступления Павлова. На этом заседании Павлов огласил свою статью «Статский — армейцу», написанную в защиту «Военного сборника», в редактировании которого принимал участие Н. Г. Чернышевский, против нападок на него со стороны газеты «Русский инвалид». Статья Павлова, предназначавшаяся для «Отечественных записок», была запрещена цензурой, вышла в 1860 г. отдельной брошюрой за границей и лишь в 1898 г. появилась в русской печати. (Русское обозрение. 1898. Март.) *Шевырев* Степан Петрович (1806—1864) — поэт, критик и публицист, близкий к славянофилам; профессор Московского университета. *...редактор «Русского вестника»* — Михаил Никифорович Катков (1818—1887), в это время либеральный, с начала 60-х годов реакционный публицист, издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». *Карамзин* Александр Николаевич (1815—1888) — сын Н. М. Карамзина.

30. Е. Ф. Тютчевой.

Екатерина Федоровна Тютчева (1835—1882) — младшая дочь поэта от первого брака. После выхода из Смольного института, в котором она воспитывалась с 1845 по 1851 г., Е. Ф. Тютчева жила у своей тетки Дарьи Ивановны Сушковой. Здесь, в доме Сушковых, бывал Лев Толстой; в его дневнике 1857—1858 гг. есть записи наблюдений и высказывания о характере и философской наклонности ума Е. Ф. Тютчевой.

...наша милая Дарья, когда мы ее увидим? — Д. Ф. Тютчева находилась в это время за границей.

31. А. И. Георгиевскому.

Александр Иванович Георгиевский (1830—1911) — член редакции журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». Был женат на сестре Елены Александровны Денисьевой, Марии Александровне. См. в наст. томе: А. И. Георгиевский. Из «Воспоминаний».

...вчера мы ее хоронили... — 4 августа 1864 г. умерла Е. А. Денисьева (род. 1826). Тютчев посвятил ей целый ряд проникновенных лирических стихотворений, так называемый «денисьевский цикл».

33. Я. П. Полонскому.

Яков Петрович Полонский (1819—1898) — поэт, близкий друг семьи Тютчевых, сослуживец Ф. И. Тютчева по Комитету цензуры иностранной.

...увезти себя за границу... — Я. П. Полонский не смог сопровождать Тютчева, который во второй половине августа 1864 г. выехал за границу один.

34. Д. Ф. Тютчевой.

Дарья Федоровна Тютчева (1834—1903) — вторая дочь поэта. Вместе с сестрой Е. Ф. Тютчевой в 1845—1851 гг. воспитывалась в Смольном институте. С 1858 г.— фрейлина императрицы Марии Александровны. Тютчев посвятил Дарье Федоровне стихотворения «De ces frimas, de ces déserts», «Не все душе болезненное снится...», «Когда на то нет божьего согласья...».

...будто я слышу отзвук другого голоса... — Е. А. Денисьевой.

35. М. А. Георгиевской.

Мария Александровна Георгиевская, рожд. Денисьева (1831—1916) — сестра Е. А. Денисьевой.

...ее дети... — Елена (1851—1865), Федор (1860—1916) и Николай (1864—1865) — дети Е. А. Денисьевой и Ф. И. Тютчева. Дочь Елена (Леля) воспитывалась в пансионе мадам Труба, пользовавшемся особым покровительством вел. кн. Елены Павловны.

36. Я. П. Полонскому.

...часть этого вы на себе самом испытали... — В 1860 г. умерла первая жена Полонского — Е. В. Полонская. *...именем нашего комитета...* — Комитета цензуры иностранной. *Комаровский* Егор Евграфович (1803—1875) — старший цензор Комитета. *...до близкого свидания.* — Об одном из таких свиданий Я. П. Полонский писал Е. А. Штакеншнейдер 30 мая 1865 г.: «Нынче утром пью чай — звонок. <...> Приехал ко мне бедный старик, как видно, не зная, куда деться с тоски да с горя. Ноги у него болят, едва их таскает. <...> Вспоминал он прошлый год, начало июня, свою поездку в Москву, как он прощался с Денисьевой, как она плакала и уговаривала его не ездить, как дочь ее проводила его до железной дороги и проч., и проч. «И никого из них теперь нет! А год тому назад их исчезновение казалось мне так же невозможным, как исчезновение солнца, луны и т. п. благ»,— заключил он. <Менее чем через год после смерти Е. Денисьевой умерли дети Тютчева и Денисьевой — Елена и Николай.>

Посидевши у меня с час, он опять пополз вниз по лестнице, сказавши мне на прощание, что вероятно это его последний визит ко мне...».

37. А. И. Георгиевскому.

...бедные, ничтожные вирши...—При этом письме Тютчев послал А. И. Георгиевскому автографы стихотворений: «Утихла биза... Легче дышит...», «О, этот юг, о, эта Ницца!..», «Весь день она лежала в забытьи...». Стихотворения были напечатаны в февральской книжке «Русского вестника» за 1865 г.

38. И. С. Аксакову.

Иван Сергеевич Аксаков (1823—1886) — писатель-публицист, один из идеологов славянофильства; издатель газет «День» (1861—1865 гг.), «Москва» (1867—1868 гг.), «Москвич» (1868 г.) и др. В 1866 г. женился на старшей дочери поэта А. Ф. Тютчевой. См. в наст. томе: И. С. Аксаков. Из «Биографии Федора Ивановича Тютчева».

...за вашу последнюю передовую статью.—Узнав, что «Современнику» готовится предостережение за статью М. А. Антоновича «Суемудрие дня», направленную против издаваемой Аксаковым газеты «День», Тютчев предупредил об этом Аксакова. Ответ «Дня» «Современнику» осложнился непрошеным вторжением государственной власти, от которого И. Аксаков поспешил отмежеваться в передовой статье «Дня» от 4 декабря 1865 г. (№ 49). Об этой статье и пишет Тютчев. *...объявите... вы отказываетесь от всякой полемики...*—И. Аксаков последовал совету Тютчева (см. № 50—51 «Дня» от 11 декабря 1865 г.). *...пересадка на нашу почву французской системы предостережений...*—Положение о печати 1865 г., подвергавшее периодические издания административным взысканиям в случае замеченного в них «вредного направления», содержало в себе систему «предостережений», заимствованную из французского законодательства о печати. После третьего предостережения министр внутренних дел имел право приостановить периодическое издание на срок до шести месяцев или ходатайствовать о его прекращении.

39. А. Ф. Аксаковой.

Анна Федоровна Тютчева (1829—1889) — старшая дочь поэта. В 1866 г. вышла замуж за И. С. Аксакова. См. в наст. томе: А. Ф. Тютчева, из «Дневника», из книги «При дворе двух императоров».

...наследовать такое прошлое.—Тютчев имеет в виду прошлое подмосковного имения Аксаковых Абрамцево, куда адресовано его письмо. При жизни С. Т. Аксакова в Абрамцеве бывали Н. В. Гоголь (там он работал над вторым томом «Мертвых душ»), И. С. Тургенев, М. С. Щепкин. В начале мая 1866 г. Тютчев посетил молодых Аксаковых в Абрамцеве. *...не перестаю жалеть о «Дне»...*—Издание газеты «День» (1861—1865) было прекращено Аксаковым незадолго до женитьбы. *...из-за Дунайских княжеств...*—Тютчев опасался возможности международного столкновения из-за событий в Румынии — после происшедшего там государственного переворота: в ночь на 11/23 февраля 1866 г. был арестован и вынужден отречься от престола господарь Молдовы и Валахии А. Куза. В марте 1866 г. в Париже была спешно созвана конференция, посвященная проблеме восстановления порядка в Дунайских княжествах. Представителем от России на Парижскую конференцию выехал А. Ф. Будберг (1817—1881), русский посол во Франции. *Горчаков* Александр Михайлович, кн. (1798—1883) — государственный деятель, министр иностранных дел с 1856 по 1882 г., государственный канцлер с 1867 г. *Бисмарк* Отто, гр. (позднее

кн.) (1815—1898) — прусский министр-президент и министр иностранных дел с 1862 г., канцлер Северо-Германского союза с 1867 г. *...некто, достигнув столетнего возраста...* — Тютчев имеет в виду французского писателя Фонтенеля (1657—1757). *...от молодого князя Волконского...* — Кн. Михаил Сергеевич Волконский (1832—1907), сын декабриста Сергея Григорьевича Волконского (1788—1865), в письме от 2 декабря 1865 г. обратился к И. Аксакову с просьбой поместить в газете «День» некролог его отца: «Зная, как искренно отец уважал вас и все ваше семейство и как тесно привязывало его к вам общее вам чувство беспредельной любви к родине, которым он жил всю жизнь, я желал бы, чтоб именно ваш журнал известил друзей отца моего, разбросанных от Сибири до Западной Европы, о его кончине» (Отдел рукописей Института русской литературы АН СССР). Некролог был напечатан в газете «День» 11 декабря 1865 г. (№ 50—51).

40. Ю. Ф. Самарину.

Юрий Федорович Самарин (1819—1876) — общественный деятель, историк, философ, публицист. Один из идеологов славянофильства.

Полонский недавно прочел мне стихотворение... — Неясно, о каком стихотворении Полонского идет речь. *...на одном из ваших собраний...* — В связи с открытием в Москве в апреле 1867 г. Всероссийской этнографической выставки, включавшей славянский отдел, и предстоящим Славянским съездом в Петербург 8 мая прибыла славянская депутация, состоявшая из представителей различных славянских народностей Балканского полуострова и Западной Европы. 15 мая славянские гости выехали в Москву. В комментируемом письме речь идет о чествовании славянской депутации в Москве, продолжавшемся до 27 мая. *...восстановить зачеркнутую строфу...* — В автографе стихотворения Тютчева «Славянам» («Они кричат, они грозятся...»), в редакции, относящейся к 11 мая 1867 г., была зачеркнута строфа:

Она раздвинется пред вами,
Обхватит вас и обоймет,
Потом сомкнется пред врагами
И к ним поближе подойдет.

Эта строфа была изменена следующим образом:

Стена раздвинется пред вами
И, как живой для вас оплот,
Меж вами станет и врагами
И к ним поближе подойдет.

По-видимому, автограф этой редакции стихотворения Тютчев передал Самарину 12 мая на обеде, данном гр. Д. А. Толстым в честь славянских гостей. В комментируемом письме поэт просит вновь восстановить зачеркнутую строфу — «предпочтительно перед другой». Однако уже 16 мая Тютчев посылает И. Аксакову другую редакцию стихотворения, в том числе и той строфы, о которой идет речь. В сопроводительном письме он назвал новую редакцию «окончательным изданием» стихотворения, при этом шутливо добавив: «Не смейтесь над этою ребячески-отеческою заботливостью рифмотворца об окончательном округлении своего пустозвонного безделья». Стихотворение было прочитано 21 мая на банкете, данном славянским гостям в Сокольниках. *...что происходило вчера в Царском.* — 14 мая 1867 г. славянская депутация представлялась в Царском Селе Александру II.

41. М. Ф. Бирилевой.

Мария Федоровна Тютчева, в замужестве Бирилева (1840—1872) — дочь поэта от второго брака. Ф. И. Тютчев посвятил ей стихотворения: «Когда осьмнадцать лет твои...», «Ah, quelle méprise...», «La vieille Hècube...», «День православного Востока».

...факты, отмечаемые тобою в Брянском уезде... — В письме от 9 августа 1867 г. М. Ф. Бирилева сообщала отцу из Овстуга: «...Деморализация увеличивается с каждым годом. Здесь нет больше ни одного священника, который не проводил бы три четверти своего времени в пьянстве, наш (увы!) в том числе <...> Никогда еще народ и духовенство не представали передо мной в таком безобразном свете; спрашиваешь себя, как и чем это кончится? Суждено ли им, подобно Навуходоносору, стать животными в полном смысле слова, или же произойдет благоприятный кризис, ибо предоставленные самим себе пастыри и овцы с каждым годом становятся все более отталкивающими. Впрочем, может быть, это — особенность, присущая Брянскому уезду, и к тому же «в Россию можно только верить». Далее М. Ф. Бирилева писала о том, что каждый день на сельском кладбище хоронят «детей, гибнущих из-за недостатка ухода». *...что-то прогнило в королевстве датском.* — Цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (акт I, сц. 4). Тютчев ошибается, приписывая эти слова Гамлету: их произносит Марцелл. *Фуад-паша приезжал в Ливадию...* — В августе 1867 г. турецкий министр иностранных дел Фуад-паша приезжал в Ливадию во главе чрезвычайного посольства. При приеме присутствовал русский посол в Константинополе Н. П. Игнатьев. *...наш меморандум.* — В 1866—1867 гг. христианское население острова Крита восстало против владычества Оттоманской империи. Критяне пользовались поддержкой Греции. В апреле 1867 г. Россия, Франция, Северо-Германский союз и Италия, считая желательной уступку Крита Греции, обратились к турецкому правительству с предложением предоставить критянам возможнось высказаться путем плебисцита относительно будущего положения острова. Ответ Турции последовал лишь 23 августа / 4 сентября 1867 г. и был отрицательным. Ср. стихотворение Тютчева «Ты долго ль будешь за туманом...».

42. А. Ф. Аксаковой.

...главного желания всей твоей жизни — желания иметь ребенка. *...благодаря голоду.* — В это время в северных и центральных губерниях России разразился голод, в связи с чем устраивались благотворительные балы и концерты, по поводу которых иронизирует Тютчев. *Валуев* Петр Александрович (1815—1890) — министр внутренних дел в 1861—1868 гг.

43. И. С. Аксакову.

Deus mihi haec otia fecit. — Слегка измененная цитата из «Эклог» Вергилия (I, ст. 6). *...невольный досуг...* — См. прим. к п. 44. *Gegen die Dummheit kämpfen die Götter vergebens* — неточная цитата из «Орлеанской девы» Шиллера (действ. III, явл. 6). *...более десяти листов...* — На основании положения от 6 апреля 1865 г. книги объемом свыше десяти печатных листов освобождались от предварительной цензуры. *Брошюра орлеанского епископа...* — вышедшая в 1865 г. брошюра Феликса Дюпанлу (1802—1878) «La convention du 15 septembre et l'encyclique du 8 decembre». *Maret* — французский прелат, противник церковной политики папы Пия IX и догмата папской непогрешимости. В 1869 г. опубликовал брошюру «Du concile général et de la paix religieuse». *...книгу Тургенева* — декабриста Николая Ивановича Тургенева (1789—1871) «Чего желать для России?», вышедшую в 1868 г.

44. И. С. Аксакову.

...дело «Москвы» в 1-й департамент сената.—Критика Аксаковым со славянофильских позиций деятельности царской администрации навлекла на газету «Москва» ряд предостережений. 21 октября 1868 г. издание газеты было приостановлено на шесть месяцев за то, что, несмотря на предшествующую двухкратную приостановку, она продолжала следовать своему «прежнему резкому и крайне неумеренному направлению» (Материалы... о цензуре и печати. Ч. II. СПб., 1870. С. 153—154). Министр внутренних дел обратился в сенат с представлением об окончательном прекращении издания газеты. *...усидели на своих курульских креслах.*—Курульными креслами назывались кресла консулов и преторов в Древнем Риме.

45. Е. Ф. Тютчевой.

...послание, которое повез им Ваня...—См. п. 44; письмо было доставлено в Москву И. Ф. Тютчевым. *Патти* Аделина (1843—1919) — знаменитая итальянская певица. *Весь свадебный поезд...*—В начале января 1869 г. кн. Е. М. Романовский (1847—1901), сын вел. кн. Марии Николаевны, женился на Д. К. Опочининой (1845—1870). *...нам прочли статью ... по поводу романа Толстого...*—Статья П. А. Вяземского «Воспоминания о 1812 годе» напечатана впервые в издававшемся П. И. Бартеневым журнале «Русский архив», 1869, вып. I. В этой статье соединены личные воспоминания Вяземского о 1812 годе и некоторые его суждения по поводу романа Толстого «Война и мир». При этом Вяземский высказывает предвзятое мнение по поводу «новейшей литературы» и выражает недовольство тем, что эта литература «любит *опошлять* жизнь, действия, события, самые страсти общества», выводя напоказ «личности посредственные, слабоумные, слабодушные...» (с. 190). *Кюстин* Астольф де (1790—1857) — французский литератор, монархист. В 1843 г. опубликовал книгу «Россия в 1839», в которой наряду с отрицательной характеристикой николаевского самодержавия высказал невежественные суждения о России и русском народе. *Князь Черногорский*—Николай, князь Черногорский с 1860 г.

46. А. Ф. Аксаковой.

Война началась ровно восемь дней назад...—Тютчевская оценка катастрофического положения Второй наполеоновской империи в первые же дни франко-прусской войны оправдана дальнейшим ходом событий. 1—2 сентября 1870 г. у Седана произошло решающее сражение, в котором основная масса французской армии была разбита и взята в плен вместе с императором Наполеоном III. 4 сентября в результате народного восстания в Париже была свергнута наполеоновская империя и во Франции провозглашена республика. *...не лучше австрийцев...*—Тютчев намекает на разгром австрийских войск во время австро-прусской войны 1866 г. *...императрица Евгения...*—В 1870 г. в связи с отъездом Наполеона III в армию его жена стала регентшей государства. *...Сто дней Наполеона III.*—Тютчев сравнивает положение империи Наполеона III с кратковременным периодом («Сто дней») царствования Наполеона I после его возвращения с острова Эльбы и до изгнания на остров Св. Елены. *...пробуждения легендарного Фридриха Барбароссы...*—Согласно легенде, Фридрих Барбаросса (ок. 1125—1190), германский король и император так называемой Священной Римской империи, не умер, а спит в тюрингском замке и выйдет из него в минуту опасности для спасения Германии. *...я был бы в от-*

чаянии оказаться его зрителем... — В объединении Германии под гегемонией милитаристской Пруссии Тютчев усматривал серьезную угрозу для России и других славянских стран (ср. стихотворение «Два единства»).

47. А. Ф. Аксаковой.

Благодарю... за твою искреннюю заботу о ребенке. — Сын поэта и Е. А. Денисьевой Ф. Ф. Тютчев после смерти матери находился на попечении А. Ф. Аксаковой. Осенью 1870 г. он был помещен в Катковский лицей; на каникулы приезжал в Петербург и там заболел. *...я добился минутной передышки...* — Тютчев был болен подагрой. *...настоящей социальной войной.* — Написанные за два месяца до провозглашения Парижской коммуны, эти строки свидетельствуют об остроте и проницательности тютчевской оценки обстановки в Западной Европе. *Что касается конференции...* — Речь идет об открывшейся в Лондоне в январе 1871 г. конференции для рассмотрения спорных статей Парижского трактата 1856 г. *Дело уже решено, и мы положительно в выигрыше.* — 3 ноября 1870 г. была обнародована декларация канцлера Горчакова о расторжении 14-й статьи Парижского трактата 1856 г., ограничивавшей права России на Черном море (см. стихотворения Тютчева «Да, вы сдержали ваше слово...» и «Черное море»).

49. Д. Ф. Тютчевой.

Одна из последних собственноручных записок Тютчева. Гр. Амалия Максимилиановна Адлерберг (в первом браке Крюденер) посетила смертельно больного поэта 31 марта 1873 г.

50. А. Ф. Аксаковой.

Письмо продиктовано поэтом дочери, Д. Ф. Тютчевой. *...его превосходный русский перевод...* — На самом деле перевод записки Тютчева «О цензуре в России» (Русский архив. 1873. Вып. 4), написанной по-французски еще в 1857 г., принадлежал не И. С. Аксакову, а Федору Ивановичу Тимирязеву (ум. 1882). *...новый закон о печати... воспроизведет знаменитый монолог Фигаро о свободе слова.* — См. комедию Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (акт 5, сц. 3). В этом монологе Фигаро рассказывает о своих неудачных попытках заниматься литературой — попытках, пресекавшихся цензурой. В Мадриде, иронизирует Фигаро, существует «система свободной продажи всего чего угодно, даже — произведений печати», но при этом запрещено «касаться власти, религии, политики, морали и должностных лиц, обществ, пользующихся доверием, оперы, других спектаклей, никого, кто имеет отношение к чему-либо...». Новый закон о печати, смысл которого Тютчев, в общем, точно передает в своем письме, был обнародован в 1873 г. и предоставил административным органам право широкого вмешательства в дела повременных изданий.

Л. Н. Кузина, К. В. Пигарев

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Открывая раздел воспоминаний, следует отметить дробность и распыленность мемуарного материала о Тютчеве, часто представленного всего лишь несколькими абзацами. Наиболее лаконичны и беглы свидетельства современников о ранних годах жизни поэта. Дневник Погодина и его небольшие

воспоминания стали для исследователей основным источником сведений о студенческих годах Тютчева, так же как важнейшим мемуарным источником для характеристики Тютчева 30-х годов явились письма И. С. Гагарина и братьев Киреевских, записи в дневнике В. А. Жуковского.

Письма П. А. Вяземского, воспоминания Д. В. Григоровича и В. А. Соллогуба создают литературный портрет Тютчева петербургского периода жизни,— образ Тютчева-собеседника, остроумца, «жемчужноуста». Ценный фактический материал содержится в дневниковых записях А. Ф. Тютчевой, в дневнике А. В. Никитенко, в мемуарных фрагментах «Биографии Федора Ивановича Тютчева», написанной И. Аксаковым и т. д. Они дополняют и часто комментируют эпистолярное наследие поэта. Воспоминания А. И. Георгиевского имеют первостепенное значение для характеристики сложных, драматических отношений Тютчева и Е. Денисьевой и по своему содержанию перекликаются с заметками сына поэта Ф. Ф. Тютчева.

Среди воспоминаний о Тютчеве, изложенных в эпистолярной и изустной форме, видное место по своему значению принадлежит воспоминаниям Л. Н. Толстого. «Когда-то Тургенев, Некрасов и К°,— записал слова Толстого А. В. Жиркевич,— едва могли уговорить меня прочесть Тютчева. Но зато когда я прочел, то просто обмер от величины его творческого таланта» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 1978. С. 18). Первая встреча Толстого с Тютчевым нашла отражение в записях А. Б. Гольденвейзера и Д. П. Маковицкого, сделанных со слов самого Толстого: «Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый, сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, <...> говоривший и писавший по-французски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно» (А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1959. С. 191—192). «... Мы познакомились <после> Севастополя,— писал о том же событии в своем дневнике Д. П. Маковицкий.— «Сделайте мне честь, приезжайте ко мне». Поразило меня... Удивительно его владение русским языком» (Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. М., 1979. С. 177). Последняя встреча с Тютчевым, оставившая неизгладимый след в памяти Толстого, произошла в августе 1871 года, что нашло отражение в его письмах, помещенных в настоящем томе.

Трудно переоценить значение мемуарных свидетельств о Тютчеве Толстого, Достоевского, Тургенева, Фета. При всей их фрагментарности они говорят о многом. Но и воспоминания других современников помогают воссоздать разные стороны жизни Тютчева, помогают понять «тайну» непреходящей современности его поэзии.

С. Е. Раич

Из «Автобиографии»
(С. 328.)

Семен Егорович Амфитеатров, известный в литературе под фамилией Раич (1792—1855) — поэт, переводчик, литературный критик. В 1815 г. он поступил в Московский университет, в 1818 г. закончил со степенью кандидата прав, в 1822 г. защитил диссертацию на степень магистра словесных наук. Раичу Тютчев посвятил стихотворение «На камень жизни роковой...».

«Автобиография» была написана Раичем в 1853 г. по просьбе С. П. Шевырева для несостоявшегося «Биографического словаря питомцев Московского университета». Напечатана в 1913 г. в журнале «Русский библиофил», № 8, затем многократно использовалась в работах исследователей творчества Тютчева. См., например: Современники о Ф. И. Тютчеве. Воспоминания, отзывы, письма. Тула, 1984. С. 10—11.

Из дома Н. Н. Шереметевой поступил я в дом И. Н. Тютчева...— В 1812 г. Раич поступил в дом Тютчевых учителем русского языка. Одновременно он руководил общим воспитанием будущего поэта и готовил его в университет. До этого Раич был воспитателем детей Надежды Николаевны Шереметевой (1775—1850), тетки поэта. *Мерзляков* Алексей Федорович (1778—1830) — профессор Московского университета по кафедре красноречия и поэзии. *...к переводу вергилиевых «Георгик»...*— Впоследствии ставший известным переводчиком, Раич дебютировал переводом поэмы Вергилия «Георгики» («Виргилиевы Георгики». Перевод А. Р.; М. 1821). *Дмитриев* Иван Иванович (1760—1837) — русский поэт; часто разрабатывал нравоучительные темы («Модная жена», «Причудница»). *Делиль* Жак (1738—1813) — французский поэт и переводчик, в 1770 г. опубликовал перевод «Георгик» Вергилия. *В 1819 году...: с Ф. И. Тютчевым, вышедшим из университета кандидатом...* — Тютчев вышел из университета кандидатом в 1821 г. *...в Германию, к миссии...* — Тютчев выехал из Москвы в Мюнхен 11 июня 1822 г. *...в дом Н. Н. М<уравьева>...* — Николая Николаевича Муравьева (1768—1840), писателя и общественного деятеля.

М. П. Погодин

Из «Воспоминания о Ф. И. Тютчеве»
(С. 329)

Воспоминания Михаила Петровича Погодина (см. прим. к п. I) были написаны в 1873 г., после смерти поэта, и напечатаны в «Московских ведомостях» 29 июля 1873 г.— № 190. См. также: Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. с. 11—14.

...из села Знаменского... в Тройцкое...— С лета 1819 г. Погодин, исполняя обязанности учителя, жил в подмосковном селе Знаменском, принадлежавшем кн. Ивану Дмитриевичу Трубецкому. Тютчев жил со своими родителями по соседству — в подмосковном имении Троицком. *Виландов «Агатодемон»* — сочинение немецкого писателя Христофа Мартина Виланда (1733—1813) «Agathodämon». *Каченовский* Михаил Трофимович (1775—1842) — русский историк, сторонник классицизма, в 1805—1830-е гг. редактор «Вестника Европы». *...строчит на него эпиграммы...*— см. в наст. томе «Харон и Каченовский» и прим. к этому стихотворению. *Черепанов* Никифор Евтропиевич (1763—1823) — профессор Московского университета по кафедре истории, географии и статистики. Шрекк (Schreck) Иоганн Матиас (1733—1808) — историк церкви, профессор в Лейпциге и Виттенберге. *Каннинг* Джордж (1770—1827) — министр иностранных дел Великобритании в 1807—1809 гг. и с 1822 г., лидер тори; противодействовал политике континентальных держав Священного союза. *Меттерних* Клеменс, кн., (1773—1859) — министр иностранных дел и фактический глава австрийского правительства в 1809—1821 гг., канцлер в 1821—1848 гг.

М. П. Погодин

Из «Дневника»
(С. 330)

Отрывочные воспоминания Погодина о Тютчеве-студенте в известной мере восполняются его дневниковыми записями этого времени. Материалы дневника Погодина, который он вел в течение всей жизни, были широко использованы в многотомном труде Н. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (первый том вышел в 1888 г.), в книге К. В. Пигарева «Жизнь и творчество Тютчева» (М., 1962.) и др.

...ходил в деревню к Ф. И. Тютчеву... — в Троицкое; см. прим. к воспоминаниям Погодина в наст. томе. *Виланд* — см. там же. *Лессинг* Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий драматург, основоположник немецкой классической литературы. *Шиллер* Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, драматург и теоретик искусства Просвещения. Вместе с Лессингом и Гете основоположник немецкой классической литературы. *Аддисон* Джозеф (1672—1719) — английский писатель; заложил основы реалистического романа XVIII века. *Паскаль* — см. прим. к п. 2. *Руссо* — см. пп. 4 и 5 и прим. к ним. *...о нов<ой> поэме Людм<ила> и Руслан.* — Поэма Пушкина «Руслан и Людмила», вышедшая отдельным изданием в августе 1820 г. *Дубенский* Дмитрий Никитич (ум. в 1863) — в то время кандидат словесного отделения Московского университета. *Саларев* Сергей Гаврилович (1792—1820) в 1812 г. окончил словесное отделение Московского университета со званием кандидата словесных наук, был избран в члены Общества любителей российской словесности, в «Трудах» которого поместил значительное количество прозаических и стихотворных пьес. Примыкал к кружку университетских товарищей Погодина. *...о молодом Пушкине, об оде его «Вольность»...* — Ода «Вольность» (1817), распространявшаяся в списках, послужила главной причиной высылки Пушкина на юг (май 1820). Тютчев отвечал на нее стихотворным посланием «К оде Пушкина на Вольность» (ноябрь 1820). *...о пиесах, читанных в Обществе...* — 24 ноября 1820 г. на заседании Общества любителей российской словесности были прочитаны стихи М. А. Дмитриева, В. В. Капниста и др. Некоторые из них прочел В. Л. Пушкин. *Шлёцер* Август-Людвиг (1735—1809) — немецкий историк и филолог. Занимался изучением древних письменных памятников, особенно летописей. Главный труд Шлёцера о Несторе, изданный им на немецком языке, был переведен на русский язык: «Нестор. Русские летописи на древлеславенском языке», ч. 1—3, 1809—1819. *...Волтер, Даламбер и Дидерот...* — Вольтер (1694—1778), д'Аламбер (1717—1783) и Дидро (1713—1784) — французские философы-просветители. *...Увидал Тютчева, приехавш<его> из чуж<их> краев...* — Речь идет о первом приезде Тютчева из Мюнхена в Россию (см. запись в дневнике Погодина от 27 мая 1822 г.).

М. П. Погодин

Из статьи «В память о Павле Александровиче Муханове»
(С. 332)

Сообщение о встрече с Тютчевым в Петербурге вскоре после восстания декабристов существенно дополняет дневниковые записи Погодина 1825 года. См.: Русская старина. 1872 № 2. С. 335—337; Урания. Тютчевский альманах (1803—1928). Л., 1928. С. 67; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., 1933. С. 22.

Павел Александрович Муханов (1798—1871) — известный собиратель и издатель материалов по отечественной истории. *Петр Александрович Муханов* (1799—1854) — декабрист, член «Союза Благоденствия»; был близок с руководителями Южного общества.

Д. Н. Свербеев

Из «Записок»
(с. 332)

В приведенном фрагменте из «Записок» Д. Н. Свербеева (Т. 2. М., 1899. С. 143) речь идет о встрече в Мюнхене в августе 1823 г. автора записок, тогда молодого дипломата, с Тютчевым. Сообщение Свербеева, интересное для характеристики идейного облика поэта в ту пору, не раз привлекало внимание исследователей творчества Тютчева. См., например: К. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 42—43; Ф. И. Тютчев. Сочинения: В 2 т. Т. I. М., 1984. С. 10.

Д. И. Завалишин

Из «Воспоминаний о Грибоедове»
(с. 333)

В приведенном отрывке из воспоминаний декабриста Дмитрия Иринарховича Завалишина (1804—1892) заключены существенные подробности, касающиеся первого приезда Тютчева из Мюнхена в Россию в 1825 г. Впервые опубликованные в 1879 г. (Древняя и новая Россия. 1879. № 4), воспоминания Д. И. Завалишина включены в издание: А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников. М., 1980 (См. с. 132).

Одоевский Александр Иванович, кн. (1802—1839) — поэт, декабрист. *...другой кто привозил в Москву рукописи «Горя от ума»...* — Весной 1825 г. список «Горя от ума» привез в Москву декабрист А. А. Бестужев (1797—1837). *...была родная сестра моей мачехи.*— Екатерина Львовна Тютчева, мать поэта, была сестрой Надежды Львовны Завалишиной. *Остерман-Толстой* Александр Иванович, гр. (1770—1857) — генерал от инфантерии, участник войны 1812 г., дальний родственник Тютчева.

К. Пфеффель

Из «Заметки»
(с. 333)

Карл Пфеффель, бар. (1811—1890) — публицист, камергер баварского двора, брат Эрн. Ф. Тютчевой. «Заметка» о Тютчеве была написана им по просьбе И. Аксакова, работавшего над биографией поэта. Однако, по-видимому, Пфеффель запоздал с написанием этой «Заметки», и она не была использована Аксаковым в «Биографии Федора Ивановича Тютчева»; в приложении к опубликованной в 1874 г. «Биографии» Аксаков поместил письмо К. Пфеффеля к французскому публицисту Лоренси, помеченное августом 1873 г. К. Пфеф-

фель, по его собственному признанию, писал о Тютчеве только как о мыслителе и публицисте, так как по незнанию русского языка не мог судить о его поэтическом творчестве. Фрагменты из «Заметки» К. Пфеффеля в переводе с французского были приведены в «Литературном наследстве» (Т. 19—21. М., 1935. С. 187); в кн.: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 30, 56, 125. Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

Жозеф де Местр, гр. (1753—1821) — французский публицист, политический деятель и религиозный философ. Один из вдохновителей и идеологов европейского клерикально-монархического движения 1-й половины XIX века. В 1802—1817 гг. — посланник Сардинии в Петербурге, где сблизился с Александром I. *...под звуки «Вольного стрелка»...* — Имеется в виду романтическая опера «Freischütz» немецкого композитора Карла Марии Вебера (1786—1826). *...в 1828 году, если не ошибаюсь, желание видеть и узнать один из великих очагов цивилизации привлекло Тютчева в Париж...* — Тютчев был в Париже в первой половине 1827 г. *Гизо* Франсуа (1787—1874) — французский историк, один из создателей домарксовой теории классовой борьбы. *Кузен* Виктор (1792—1867) — французский философ-идеалист, основатель так называемой «эклектической» философской системы. Пропагандировал во Франции философию И. Канта, Ф. В. Шеллинга, Г. Гегеля. *Вильмон* Абель Франсуа (1790—1870) — французский критик и историк, с 1816 г. — профессор риторики в Сорбонне. В «Курсе французской литературы» (т. 1—2, 1828—1829) рекомендовал сопоставлять литературы разных народов, требовал воссоздания духа изображаемой эпохи, призывал обнаруживать исторические законы. *Руайе-Коллар* Пьер Поль (1763—1845) — французский политический деятель и философ, адвокат; после падения Бастилии сделался членом Парижской коммуны. Был основателем психологической, или эклектической, школы, видевшей в психологии основание всей философии. *Монжела* Максимилиан, гр. (1759—1838) — баварский государственный деятель, сторонник «просвещенного абсолютизма»; вел борьбу с влиянием духовенства на светские дела. *Сталь* Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писательница. Ее книга «Размышления об основных событиях французской революции», написанная в период Реставрации, отражала тревогу писательницы, верной идеалам энциклопедистов, за судьбы революции во Франции.

П. В. Киреевский

Из писем к И. В. Киреевскому и А. П. Елагиной
(с. 334)

Петр Васильевич Киреевский (1808—1856), будущий собиратель русских народных песен, провел полтора года в Мюнхене, привлеченный лекциями знаменитого философа Шеллинга, выдающегося филолога-эллиниста Тирша, известного естествоиспытателя Окена. Начиная с осени 1829 г. он постоянно встречается с Тютчевым, часто бывает в его доме. Приведенные в настоящем издании фрагменты из писем П. В. Киреевского к брату И. В. Киреевскому и матери Авдотье Петровне Елагиной (1789—1877) не раз появлялись в печати. См.: Московский вестник. Ч. I, № 1. М., 1830. С. 115; Русский архив. 1905. кн. 2. № 5. С. 121, 122, 125, 130—131; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 14; Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1986. Т. 45. № 4. С. 352. Уточнения в тексте сделаны по автографу (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина).

И. В. Киреевский

Из писем к А. П. Елагиной
(с. 335)

Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — русский философ, литературный критик и публицист, один из основоположников славянофильства. Весною 1830 г. прибыл в Мюнхен, где встретился с Тютчевым. Свидетельства И. В. Киреевского, так же как и его брата П. В. Киреевского, о встречах в Мюнхене с Тютчевым давно вошли в научную литературу как ценный документальный материал. См.: И. В. Киреевский. Полн. собр. соч. Т. I. М., 1861. С. 54, 58; Русский архив. 1907. Кн. I. № 1. С. 78—79, 83; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 15 и др. Уточнения в тексте сделаны по автографу (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина).

Оба брата... — Федор Иванович и Николай Иванович Тютчевы. *...Тютчевы уехали 28...* — 16/28 мая Ф. И. Тютчев с женою уезжает в отпуск в Россию. *...с Петрухою...* — Имеется в виду П. В. Киреевский.

Д. Ф. Фикельмон

Из «Дневника»
(с. 336)

Дарья Федоровна Фикельмон, гр. (1804—1863), внучка Кутузова, была замужем за австрийским посланником в Петербурге гр. Карлом Людвигом Фикельмоном. В ее салоне, по словам Вяземского, «и дипломаты и Пушкин были дома» (П. А. Вяземский. Полн. собр. соч. Т. VII. СПб., 1882. С. 226). В 1968 г. вышло полное издание дневника Д. Ф. Фикельмон за 1829—1831 гг. (Nina Kauchtschischwili. Il diario di Dar'ja Fëdorovna Ficquelmont. Milano, 1968). Отрывок из дневника Д. Ф. Фикельмон о посещении ее салона семьей Тютчевых, в переводе с французского, опубликован в «Известиях Академии наук СССР. Серия литературы и языка» (1986. Т. 45. № 4. С. 353—354).

И. С. Гагарин

Из писем к А. Н. Бахметевой и И. С. Аксакову
(с. 336)

В письмах Ивана Сергеевича Гагарина (см. о нем в прим. к п. 6) к А. Н. Бахметевой и И. С. Аксакову нашли отражение его воспоминания о дружеском общении с Тютчевым в 1833—1835 гг., когда Гагарин занимал должность атташе при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Письма Гагарина дополняют воспоминания К. Пфеффеля, свидетельства братьев Киреевских и вместе с ними составляют основные мемуарные источники для характеристики миросозерцания Тютчева начала 30-х годов. Эти письма хорошо известны в литературе о Тютчеве, фрагменты из них (в переводе с фран-

цузского) печатались в «Литературном наследстве» (Т. 19—21, М., 1935. С. 182—183), в кн.: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 55, 56, 94, 125 и др.

Эл. Ф. Тютчева

Из писем к Н. И. Тютчеву и Е. Л. Тютчевой (с. 338)

Элеонора Тютчева, рожд. гр. Ботмер, по первому браку Петерсон (1799—1838), овдовев, в 1826 г. вышла замуж за Ф. И. Тютчева. Умерла в Турине после сильного нервного потрясения, перенесенного ею на пути из Петербурга в Турин в связи с пожаром, охватившим пароход, на котором находилась она со своими малолетними дочерьми. Памяти жены Тютчев посвятил стихотворение «Еще томлюсь тоской желаний...». Дошедшие до нас письма Эл. Тютчевой к матери и брату поэта сообщают дополнительные подробности о той поре его жизни (в Мюнхене и Турине), когда, по словам И. Аксакова, «отвергнутый от России» в самой ранней молодости, он «переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития». Фрагменты из этих писем, в переводе с французского, были опубликованы в сб.: Звенья. Кн. III—IV. М.—Л., 1934 (Публикация О. В. Пигаревой «Из семейной жизни Ф. И. Тютчева. 1832—1838); в кн.: Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 15—17. Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

Потемкин Иван Алексеевич (1778—1850) — русский посланник в Мюнхене с 1828 по 1833 г. *Гагарин* Григорий Иванович, кн. (1782—1837) — русский посланник в Мюнхене с 1833 по 1837 г. *...я одна... в Триесте...* — Элеонора провожала Тютчева до Триеста, откуда он выехал с дипломатической миссией в Навплию, столицу только что образовавшегося тогда Греческого королевства. *...произведен в коллежские асессоры...* — 31 июля 1833 г. Тютчев был произведен в коллежские асессоры. *Обрезков* Александр Михайлович (1790—1885) — русский посланник в Турине с 1833 по 1838 г. *...можете себе представить, какой была наша встреча...* — Элеонора сообщала о встрече с мужем в Мюнхене после катастрофы с пароходом «Николай I», на котором она плыла с детьми. «Вы не можете себе никогда вообразить эту ночь ужаса и агонии»,— писала она сестре поэта, Д. И. Сушковой (Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., 1933. С. 48) *...и вот мы здесь* — в Турине. *...он состоит в должности поверенного...* — по случаю отозвания Обрезкова в Россию Тютчев исполнял обязанности поверенного в делах при Сардинском дворе.

В. А. Жуковский

Из «Дневников» (с. 342)

Записи в дневнике Жуковского о Тютчеве отражают особенно драматический момент в жизни поэта — после смерти жены, Эл. Тютчевой. Эти записи непосредственно примыкают по содержанию к письму Тютчева Жуковско-

му от 6/18 октября 1838 г. (см. п. 10 и прим. к нему). Приведенные в настоящем издании фрагменты из дневника Жуковского (Дневники В. А. Жуковского. СПб., 1903) получили широкую известность в литературе, посвященной биографии Тютчева. См.: Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. С. 49—50; К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 98, 99; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 17—18 и др.

Письмо Тютчева, который потерял свою жену.— См. п. 10. *Встретился с Тютчевым...*— Вскоре после отсылки письма Жуковскому (см. п. 10) Тютчев встретился с ним в Комо. Жуковский путешествовал в свите наследника престола. *Торвальдсен*-Бертель (1768 или 1770—1844) — датский скульптор, представитель классицизма. *Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор, представитель классицизма, автор мифологических скульптурных изображений («Амур и Психея» и др.). *Картины: Мильяры*—картины живописца Giovanni Migliara (1785—1837). *Леонардо да Винчи* (1452—1519) — итальянский живописец, скульптор, архитектор, создатель художественных образов, отвечающих гуманистическим идеалам Высокого Возрождения. *Гросси* Томмазо (1790—1853) — итальянский поэт и романист, автор исторического романа «Марко Висконти» (1834). *Паулуччи* Филипп Осипович, маркиз (1779—1845) — лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор. В 1829 г. возвратился в Италию, где вскоре был назначен главным инспектором войск короля Сардинского и генерал-губернатором Генуи и Генуэзской провинции. *Визит... королю* — Сардинскому королю Карлу Альберту (1798—1849). *...младшим сыном...* — Имеется в виду герцог Генуэзский Фердинанд. *Сильвио Пеллико.*— Вместе с Жуковским Тютчев посетил Сильвио Пеллико, бывшего участника итальянского национально-освободительного движения, автора книги «Мои темницы» (1832). Сохранилась записка Сильвио Пеллико к Тютчеву от 20 февраля 1839 г. Эту записку Тютчев переслал Жуковскому, приписав к ней следующее: «Следовательно, если вам угодно, в 3-ем часу мы можем отправиться вместе ко многострадальцу» (см. К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева, с. 106). *Камподонико* — папский поверенный в делах в Турине. Ранее был в Петербурге, где, по-видимому, и познакомился с Жуковским.

В. А. Жуковский

Из писем к Н. Н. Шереметевой и П. А. Плетневу (с. 344)

Имя Надежды Николаевны Шереметевой (1775—1850) — тетки Ф. И. Тютчева, встречается не только в биографии поэта. Известна переписка Гоголя с Н. Н. Шереметевой, которую он называл «духовной матерью». Известна ее переписка с Жуковским и его слова, обращенные к ней: «Поверьте мне, что люблю вас всем сердцем за вас самих и за ваше несчастие, которое вы умеете делать высоким добром для вашей жизни» (Русская старина. 1892. Т. 76. № 10. С. 150—151). Несчастье, о котором писал Жуковский,— это был арест ее зятя — Ивана Дмитриевича Якушкина, известного деятеля декабристского движения. Несмотря на все пережитое, Н. Н. Шереметева умела принимать сердечное участие в судьбе других, в том числе и в судьбе Тютчева. Сохранилось письмо Тютчева к Шереметевой от 16/28 декабря 1829 г. со словами благодарности за ее готовность «ходатайствовать» за него, начинающего дипломата.

Письмо Жуковского к Н. Н. Шереметевой (см. В. А. Жуковский. Сочинения. Т. 6. СПб., 1878. С. 502; К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 98) дает дополнительный материал к лаконичным записям его дневника.

В письме Жуковского к Плетневу (см.: Сочинения и переписка П. А. Плетнева. Т. 3. СПб., 1885. С. 127; Современники о Ф. И. Тютчеве, Тула, 1984. С. 18) речь идет о той знаменательной для Тютчева встрече, о которой он писал жене 17/29 августа 1847 г.: «...ему я обязан тем, что вновь обрел давно уже уснувшую во мне способность полного и искреннего приобщения к чисто литературному наслаждению».

...уж прежде встретился в Комо.— См. записи в дневнике Жуковского (октябрь 1838 г.) *Я прежде знал его ребенком...*— Жуковский был знаком с семьей Тютчевых и бывал у них в доме (см. В. А. Жуковский. Дневники. СПб., 1903. С. 55). Воспоминания Ф. И. Тютчева о встрече с Жуковским в 1818 г. нашли отражение в его стихотворении «17-ое апреля 1818».

Варнгаген фон Энзе

Из «Дневника»
(с. 344)

Варнгаген (Фарнхаген) фон Энзе Карл Август (1785—1858) — немецкий писатель, критик, публицист, проявлявший большой интерес к русской литературе, популяризатор творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Его салон в Берлине был видным центром литературной жизни первой трети XIX века. Приведенный (в переводе с немецкого)в настоящем издании фрагмент из дневника Варнгагена фон Энзе помогает составить представление об интересе поэта к песенному и былинному творчеству, к новым открытиям в этой области. См.: Varnhagen von Ense K. A. Tagebücher. Bd. II, Leipzig, 1861. S. 216—217; Русский архив. 1875. Ч. 2. № 7. С. 350; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., 1933. С. 62.

Камергер Т<ютчев>...— Варнгаген фон Энзе, по-видимому, не знал, что Тютчев еще в 1841 г. был лишен камергерского звания. *Кюстин* Астольф де, маркиз (1790—1857) — французский литератор, монархист. После посещения России выпустил книгу «Россия в 1839» с отрицательной характеристикой николаевского самодержавия. *...о новых открытиях в области русской средневековой литературы...*— В 1838 г. было издано «Сказание о Мамаевом побоище», памятник древнерусской литературы, созданный в первой четверти XV века («Русский исторический сборник, издаваемый Обществом истории и древностей российских», Т. 3. М., 1838); в 30—40-е годы этнографом-фольклористом И. П. Сахаровым были опубликованы работы: «Песни русского народа» (1838—1839), «Русские народные сказки» (1841), «Сказания русского народа» (1841), «Русские древние памятники» (1842); в 1841 г. началось издание полного собрания русских летописей; под влиянием Пушкина с 30-х годов П. В. Киреевский начал изучать народные песни и былины и создал богатейшее фольклорное собрание.

А. И. Тургенев

Из писем к П. А. Вяземскому
(с. 345)

Александр Иванович Тургенев (1784—1845) — русский общественный деятель, историк, писатель, собиратель документов по древней истории России в зарубежных архивах, автор писем о европейской жизни 1827—1845 гг.— «Хроника русского». В письмах А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому речь идет о статье Тютчева «Lettre à m-r le docteur Gustave Kolb, rédacteur de la Gazette Universelle», вышедшей в Германии в 1844 г. отдельной брошюрой. В собраниях сочинений поэта перепечатывалась под названием «La Russie et l'Allemagne» («Россия и Германия»). См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. IV. СПб., 1899. С. 290, 300—301, 333; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., 1933. С.63, 64, 67.

...выписки из его письма... не об истории Византии и ее наследии...— А. И. Тургенев приводит выписки из письма своего брата Н. И. Тургенева (1789—1871), декабриста, одного из учредителей «Союза благоденствия» и Северного общества, с 1826 г.— политэмигранта. Н. И. Тургенев отрицательно отнесся к упомянутой выше статье Тютчева, в которой говорилось о Восточной Европе (где «Россия во все времена служила душою и двигательною силой») как об истинной империи Востока, для которой первая империя византийских кесарей служила лишь слабым и неполным предначертанием.

П. А. Вяземский

Из писем к А. И. Тургеневу и Д. П. Северину
(с. 346)

В письмах Вяземского к А. И. Тургеневу (см. прим. к письмам А. И. Тургенева) и Д. П. Северину (см. прим. к п. 21) запечатлены отдельные подробности первых лет жизни Тютчева в Петербурге после возвращения его из-за границы. См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. IV. СПб., 1899. С. 298, 309; Русская старина. 1896. Т. 85. № 1. С. 90; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.-Л., 1933. С. 64, 65.

Козловский Петр Борисович, кн. (ум. в 1840) — дипломат. *...записка Тютчева...*— В апреле 1848 г. Тютчевым была написана статья на французском языке «La Russie et la Révolution» («Россия и Революция»). В рукописи она была прочитана Николаем I. Копия статьи была переслана Э. Ф. Тютчевой в Мюнхен К. Пфеффелю, который способствовал ее распространению в дипломатических кругах Германии и Франции. Весной 1849 г. статья была напечатана в Париже под названием «Mémoire présenté à l'empereur Nicolas depuis la révolution de février par un Russe, employé supérieur aux affaires étrangères» («Записка, поданная императору Николаю после февральской революции одним русским чиновником высшего разряда в министерстве иностранных дел»). Брошюра, изданная в количестве 12 экземпляров, была разослана влиятельным политическим деятелям Франции.

П. А. Плетнев

Записка о действительном статском советнике Ф. И. Тютчеве (с. 346)

Петр Александрович Плетнев (1792—1865/1866) — русский поэт, критик, в 1838—1846 гг. издатель и редактор «Современника», академик Петербургской академии наук, в 1840—1861 гг.— ректор Петербургского университета. До нас не дошли прямые, непосредственные высказывания Пушкина о стихах Тютчева, поэтому особенно интересна эта «Записка» П. А .Плетнева, одного из «свидетелей того изумления и восторга», с каким Пушкин встретил появление стихотворений Тютчева. См.: Ученые записки II Отделения имп. Академии наук. Кн. V. СПб., 1859, С. LVII—LIX; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 18—20.

...о действительном статском советнике...— 7/19 апреля 1857 г. Тютчев был произведен в действительные статские советники. *...напечатал в «Современнике»...*— В 1836 г. в пушкинском «Современнике» был напечатан цикл «Стихотворений, присланных из Германии», подписанный буквами Ф. Т. *...украсить список членов Академии новым блистательным именем.*— 29 октября 1857 г. Тютчев избирается в члены-корреспонденты Академии наук по Отделению русского языка и словесности.

П. А. Плетнев

Из писем к Я. К. Гроту, П. А. Вяземскому, В. А. Жуковскому (с. 348)

В письмах к историку русской литературы Якову Карловичу Гроту (1812—1893), Петру Андреевичу Вяземскому и Василию Андреевичу Жуковскому нашли отражение впечатления Плетнева от встреч с Тютчевым после его возвращения из-за границы в Россию. См.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 677, 803; Т. 3. С. 66, 204; Плетнев П. А. Сочинения и переписка. Т. 3. СПб., 1885. С. 401, 404, 417, 470—471, 479—480, 659; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.-Л., 1933. С. 67, 68, 73; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 20—21 и др.

Уваров Сергей Семенович, гр. (1786—1855) — министр народного просвещения в 1833—1849 гг. *Попов* Александр Николаевич (1820—1877) — историк, близкий к славянофилам. *Карамзин* Андрей Николаевич (1814—1854) — сын Н. М. Карамзина. *Россет* Аркадий Осипович (1812—1881) — поручик л-гв. Конного полка, друг братьев Карамзиных, брат А. О. Смирновой-Россет, бывшей в дружеских отношениях с Пушкиным, Вяземским, Гоголем, Тютчевым и др. писателями и художниками. *Самарин*— см. прим. к п. 40. *Рюрик*— согласно летописи, начальник варяжского военного отряда, якобы призванный ильменскими славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в Новгород. *Соллогуб*— см. прим. к воспоминаниям В. А. Соллогуба. *Его статья в 1-й январской книжке...*— В январской книжке «Revue des Deux Mondes» появилась статья «La papauté et la question romaine» («Папство и римский вопрос») — часть задуманного и неосуществленного замысла Тютчева обобщить свои историко-философские воззрения в трактате на французском языке «La

Russie et l'Occident» («Россия и Запад»). *«Лес горит»* — стихотворение П. А. Вяземского 1858 года. *«Рыбак», «Царица красоты», «Море»* — стихотворения П. А. Вяземского 1853 года.

А. П. Плетнев

Из воспоминаний «Ф. И. Тютчев»
(с. 350)

Воспоминания Алексея Петровича Плетнева (1854—1912), писателя и критика, дополняют те материалы о Тютчеве, которые мы находим в письмах его отца, П. А. Плетнева. Эти воспоминания были написаны, по свидетельству самого А. П. Плетнева, после выхода Полного собрания сочинений Ф. И. Тютчева в издании А. Ф. Маркса (1911—1912). Выход в свет этого издания «воскресил в моей памяти,— писал в воспоминаниях А. П. Плетнев,— образ поэта, которого я встречал в нашем доме несколько лет подряд в последние годы его жизни». См.: А. Плетнев. Собрание сочинений. Т. 3. Одесса, 1913. С. 13—16; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 18—20.

...остался другом и с моей матерью... — «Друзья ее мужа всю жизнь оставались и ее друзьями. <...> К ней был тепло привязан и поэт Федор Иванович Тютчев»,— вспоминал А. Ф. Кони об Александре Васильевне Плетневой (1826—1901). (Русская старина. 1914. № 2. С. 292—293). *...не арестантский, а почетный...* — строки из стихотворения Тютчева «Веленью высшему покорны...» *...глубокомысленные «тютчевианы»...* — см. сб.: Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М., 1922. *...его верно оценил Фет...* — приведены с небольшими неточностями строки из стихотворения А. А. Фета «На книжке стихотворений Тютчева» (А. А. Фет. Сочинения: В 2 т. Т. I. М., 1982. С. 204).

М. И. Жихарев

Из воспоминаний «Петр Яковлевич Чаадаев»
(с. 352)

В «Биографии Федора Ивановича Тютчева» И. Аксаков писал: «Рассказывают, что особенно забавно бывало видеть Чаадаева и Тютчева вместе и слушать их споры». Воспоминания двоюродного племянника П. Я. Чаадаева — Михаила Ивановича Жихарева (1820—после 1883) подтверждают справедливость слов Аксакова. См.: Вестник Европы. 1871. № 9. С. 40—41; Литературное наследство. Т. 19—21. М., 1935. С. 588. Тютчев был дружески привязан к Чаадаеву. И для Чаадаева, по собственному его признанию, дружба с Тютчевым составляла одно из его самых отрадных утешений. Вместе с тем споры их доходили до «невероятных крайностей». И. Аксаков попытался объяснить причину таких сложных отношений двух необыкновенных людей: «Чаадаев не мог не ценить ума и дарований Тютчева, не мог не любить его, не мог не признавать в Тютчеве человека вполне европейского, более европейского, чем он сам, Чаадаев». Однако Чаадаеву казалась непостижимой «русомания ума» Тютчева. Если Чаадаев признавал «западноевропейскую цивилизацию

единственным идеалом для России и прогресс этой цивилизации — высшею целью высших стремлений человеческого ума», то «Тютчев обличал в этой цивилизации оскудение духовного начала» (И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 70—71).

В. А. Соллогуб

Из «Воспоминаний»
(с. 352)

Владимир Александрович Соллогуб, гр. (1813—1882) — русский писатель; печатался в «Современнике» и «Отечественных записках». В его салоне бывали известные представители петербургского литературного и музыкального мира. В «Воспоминаниях» В. А. Соллогуба запечатлен классический в своем роде портрет Ф. И. Тютчева — собеседника, острослова, любимца салонов. Таким он запомнился и Вяземскому, Григоровичу, Погодину и др. См.: В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.-Л., 1931. С. 412—413.

Д. В. Григорович

Из «Литературных воспоминаний»
(с. 353)

Дмитрий Васильевич Григорович (1822—1899/1900) — русский писатель, автор повестей «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847), носивших антикрепостнический характер. В приведенном в настоящем издании фрагменте из воспоминаний Григоровича речь идет о посещении Тютчевым салона известного музыкального критика Михаила Юрьевича Виельгорского. Дом братьев Виельгорских был важным центром столичной музыкальной жизни. См.: Д. В. Григорович. Литературные воспоминания. М., 1961. С. 112—113.

Россини Джоаккино (1792—1868) — итальянский композитор. *Шамфор* Себастьен-Рок-Николя (1741—1794) — французский писатель. *Ривароль* Антуан (1753—1801) — французский писатель. Афоризмы этих писателей пользовались большой популярностью.

А. Ф. Тютчева

Из «Дневника»
(с. 354)

Записи о Тютчеве в дневнике старшей дочери поэта Анны Федоровны Тютчевой (1829—1889) отличаются необыкновенной задушевностью. Особенно проникновенно повествуется в них о переживаниях поэта, связанных с драматическими моментами его жизни: смертью первой жены — Элеоноры, матери

А. Ф. Тютчевой, и «последней любви» поэта, Елены Денисьевой. См.: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 99—100; Тютчевский сборник (1873—1923). Пг., 1923. С. 29 (перевод с французского).

Эрн. Ф. Тютчева

Из писем к П. А. Вяземскому, А. Ф. Тютчевой, К. Пфеффелю (с. 355)

Без свидетельств, высказываний о Тютчеве его жены Эрнестины Федоровны Тютчевой (1810—1894) трудно представить какой-либо биографический труд о поэте не только потому, что это были свидетельства близкого человека, но и потому, что ей от природы дана была особенная чуткость. Это она в письме к Аксакову лаконично и точно определила характер мужа: несмотря на кажущийся интерес к светской жизни, он «никогда не был светским человеком в точном значении этого слова», это ею, в связи с переживаниями Тютчева по поводу смерти Е. Денисьевой, были сказаны такие полные достоинства, такие чуткие и такие необычные в ее положении слова: «Его скорбь для меня священна, какова бы ни была ее причина». В «Биографии Федора Ивановича Тютчева» Аксаков писал об отрыве молодого поэта от России, о том, что он не испытывал потребности более тесного соприкосновения с русской действительностью. В. Брюсов полемизировал с этой точкой зрения (Новый путь. 1903. № 11. С. 30). Приведенные фрагменты из писем Э. Ф. Тютчевой (в переводе с французского), ее слова «мой муж не может больше жить вне России» многое проясняют в этом споре. См.: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 65, 138, 170, 180 и др.; Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

...племянник Тургенева? — Имеется в виду А. И. Тургенев. В конце 40-х годов Тютчевы, по-видимому, еще не были близко знакомы с И. С. Тургеневым. «*Le Nord*» — субсидировавшаяся русским правительством брюссельская газета.

Д. Ф. Тютчева

Из писем к Е. Ф. Тютчевой и А. Ф. Тютчевой (с. 357)

Приведенные в настоящем издании сообщения Д. Ф. Тютчевой (1834—1903), дочери поэта, в письмах к сестрам интересны прежде всего тем, что они запечатлели воспоминания Тютчева о самой ранней поре его детства. Строки этих писем являются своеобразным развитием поэтических образов стихотворения Тютчева 1849 года «Итак, опять увиделся я с вами...». См.: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 9—10 (перевод с французского); Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

Антигона — в греческой мифологии дочь фиванского царя Эдипа. Сопровождала изгнанного из Фив слепого отца в его скитаниях. Наиболее распространенный вариант этого мифа восходит к трагедии Софокла «Антигона».

В. С. Аксакова

Из «Дневника»
(с. 358)

Фрагменты из дневника Веры Сергеевны Аксаковой (1819—1864), дочери писателя С. Т. Аксакова, предваряют дневниковые записи А. Ф. Тютчевой того же 1855 года и помогают воссоздать настроения поэта в этот период его жизни. См.: 1854—1855. Дневник Веры Сергеевны Аксаковой. СПб., 1913. С. 62, 66, 102; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.-Л., 1933. С. 106.

«Царь помер» — речь идет о смерти Николая I.

А. Ф. Тютчева

Из книги «При дворе двух императоров»
(с. 358)

Анна Федоровна Тютчева, с 1852 г. фрейлина цесаревны Марии Александровны, в 1858—1866 гг. наставница ее дочери, вел. княжны Марии Александровны, оставила записки «При дворе двух императоров», в которых без идеализации изобразила придворную жизнь, которой тяготилась. В настоящем издании приведен фрагмент из этих записок — о Тютчеве в 1855 г. См.: А. Ф. Тютчева. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. Вып. 2. М., 1929. С. 16, 49—50, 85.

П. С. Усов

Из моих воспоминаний
(с. 359)

П. С. Усов, помощник редактора «Северной пчелы», рассказал о деятельности Ф. И. Тютчева в должности старшего цензора при Министерстве иностранных дел, которую он занимал с февраля 1848 г. по 1858 г. В его обязанность входил просмотр газетных статей и заметок по вопросам внешней политики. Отрывок из воспоминаний П. С. Усова, целиком опубликованных в «Историческом вестнике» (Т. VII. 1882. Январь), воспроизведен в кн.: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 158—159.

Д. Ф. Тютчева

Из писем к Е. Ф. Тютчевой
(с. 359)

Приведенные в настоящем издании небольшие фрагменты из писем Д. Ф. Тютчевой 1861 года касаются перевода Тютчевым на французский язык манифеста об освобождении крестьян. 6/18—7/19 марта 1861 г. он был опубликован в газете «Journal de St.-Pétersbourg». См.: Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.-Л., 1933. С. 140, 141.

М. Ф. Тютчева

Из «Дневника»
(с. 360)

Дневник М. Ф. Тютчевой (1840—1872), дочери поэта, содержит ценный материал для летописи жизни Тютчева. Мы остановились на записях 1862 г., бегло запечатлевших «вечерние чтения» в доме Тютчевых. См.: Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.-Л., 1933. С. 146, 150; Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

«*Salambô*» — «Саламбо», роман Гюстава Флобера, написанный в 1862 г. (рус. перевод — в 1863 г.), из эпохи борьбы Древнего Рима с Карфагеном, из времен 1-й Пунической войны (2-я пол. III в. до н. э.).

В. П. Боткин

Из письма к А. А. Фету
(с. 360)

Василий Петрович Боткин (1811—1869) — литературный и музыкальный критик. Часто встречался с Тютчевым в различных петербургских домах. Его наблюдение об одиночестве Тютчева-поэта в той среде, в которой ему приходилось вращаться в силу классовых традиций, близко к наблюдению Л. Н. Толстого, высказанному им в письме к А. А. Толстой (см. в наст. томе). Письмо В. П. Боткина приводит А. А. Фет в кн. «Мои воспоминания» (Ч. I. М., 1890. С. 448); см. также: К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 181.

А. И. Георгиевский

Из «Воспоминаний»
(с. 360)

Внимание исследователей творчества Тютчева не раз привлекали страницы воспоминаний А. И. Георгиевского (о нем см. в прим. к п. 31), посвященные «последней любви» поэта, истории его страстного увлечения Е. А. Денисьевой. Е. А. Денисьева принадлежала к обедневшему дворянскому роду. Рано лишившаяся матери, она находилась на попечении своей тетки, инспектрисы Смольного института, в котором воспитывались дочери Тютчева Дарья и Екатерина. Когда тайные отношения Е. А. Денисьевой и Ф. И. Тютчева получили огласку, когда от Елены Александровны отрекся отец, когда ее репутация пала в мнении общества, семья Георгиевского (его жена Мария Александровна была сестрой Е. А. Денисьевой) осталась в числе немногих, принимавших живое участие в судьбе «бедной Лёли». Любовь Тютчева к Денисьевой продолжалась в течение 14 лет, до самой ее смерти в 1864 г. Драматизм этих отношений, нашедший отражение в дневнике Георгиевского, пронизывает весь цикл стихотворений Тютчева, так называемый «денисьевский цикл», его письма к Георгиевскому, Полонскому, а также письма его родных и близко знавших поэта. В письме Екатерины Федоровны Тютчевой к Дарье

Ивановне Сушковой от 2/14 сентября 1864 г. есть строки, которые дополняют дневник Георгиевского: «Мы только что получили письмо от Анны, и я хочу переписать тебе то, что она пишет <...>: «Папá только что провел у меня три дня — и в каком состоянии — сердце растапливается от жалости при одном воспоминании об этих душераздирающих разговорах. Было пыткой, что я не могла отдавать ему все свое время, так как в те часы, когда он оставался один, его бедное воображение разыгрывалось, доводя его до безумия. У меня осталось от него впечатление, которое я не могу выразить. Он постарел лет на пятнадцать». См.: Г. Чулков. Последняя любовь Тютчева (Елена Александровна Денисьева). М., 1928; Г. Чулков. Любовь в жизни и в лирике Ф. И. Тютчева // Тютчевский сборник. Пг., 1923. С. 16—29; К. В. Пигарев. Жизнь и творчество Тютчева. М., 1962. С. 146, 169, 170; Архив Музея-усадьбы «Мураново» им. Ф. И. Тютчева.

А. А. Фет

Из «Моих воспоминаний»
(с. 366)

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892) — поэт, автор статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева», в которой писал об изумительной «поэтической силе» Тютчева. Воспоминания А. А. Фета вышли в 1890 г. в двух частях. Публикуемые в настоящем издании фрагменты из них см.: А. А. Фет. Мои воспоминания. М., 1890. Ч. 1. С. 134; Ч. 2. С. 3—5; Тургенев в воспоминаниях современников. Т. 1. М., 1983. С. 169; Современники о Ф. И. Тютчеве, Тула. 1984. С. 66—68.

По поводу последнего моего свидания... в январе 1864 года... — А. А. Фет говорит о встрече с Тютчевым, которая произошла не в январе 1864 года, а после смерти Е. А. Денисьевой. Эта встреча двух поэтов не была последней. 23 января 1866 года А. А. Фет писал В. П. Боткину: «Беседой с Тютчевым усладился. Удивительная гармония ума и духа (Gemüt) в этом человеке». (Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1986. Т. 45. № 4. С. 356). *«Хоть свежесть утренняя веет...»* — Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Как птичка, раннею зарей...». *«Я не с тобой, а с сердцем говорю».* — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Нет, не тебя так пылко я люблю...».

А. В. Никитенко

Из «Дневника»
(с. 368)

Александр Васильевич Никитенко (1804—1877) — литературный критик, с 1855 г. академик Петербургской Академии наук, цензор, сослуживец Ф. И. Тютчева. Записи его дневника, содержащие большой литературный и исторический материал, постоянно привлекают к себе внимание исследователей, в том числе и записи бесед с Тютчевым. «Начиная с ним <Тютчевым> беседу,— писал Никитенко,— вы всегда могли быть уверены, что услышите или суждение правильное и верное о людях и событиях, интересующих общество, или тонкое замечание о каком-нибудь общем предмете, часто новое

и оригинальное, или слово, метко обозначающее то, что в устах другого вращалось смутно и темно. Речь его отличалась своеобразным изяществом: говоря с некоторою расстановкою и медленностью, он поражал вас или неожиданным блестящим оборотом, счастливою какою-то находчивостию, или остроумною, тонкою заметкою на случаи, подлежащие осмеянию. Он обладал при этом тою редкою, если можно так сказать, любезностию сердца, которая состоит не в соблюдении светских приличий, хотя ему они очень хорошо были известны, но в деликатном человечественном внимании к личному достоинству каждого, к его праву участвовать в общем обмене мыслей, мнений и убеждений, к его не злоупотребляемой свободе» (Сборник Отд. рус. яз. и словесности имп. Акад. наук. СПб., 1874. Т. 11. № 3. С. 11). Выдержки из дневника А. В. Никитенко о Тютчеве даны по изданию: А. В. Никитенко. Дневники.: В 3 Т. М., 1955.

...комитета под председательством Д. Н. Блудова...— Дополнительный материал о деятельности комитета по подготовке к изданию литературного наследия Жуковского и участии Тютчева см. в статье: К. Я. Грот. К материалам о В. А. Жуковском — Исторический вестник. 1902. № 4. С. 157, 158, 161; и др. *Корф* Модест Андреевич, барон (1800—1876) — в 1849—1861 гг.— директор Публичной библиотеки. *...Она читала свою новую драму.*— Вероятно, Е. П. Ростопчина читала сатирическию комедию «Возврат Чацкого в Москву», написанную в 1856 г. (изд. в 1865 г.). *Клодт* Петр Карлович, барон (1805—1867) — скульптор. *Ковалевский* Егор Петрович (1811—1868) — писатель. *Анненков* Павел Васильевич (1812—1887) — литературный критик, мемуарист, представитель эстетической критики. *...стихами Хомякова...*— Разговор вызван выходом в свет стихотворений Хомякова отдельным изданием: А. С. Хомяков. Стихотворения. М., 1861. *«Московские ведомости» свирепо ссорятся...*— В споре М. Н. Каткова, издателя газеты «Московские ведомости», отстаивавшего реакционный курс на проведение контрреформ, с издателем газеты «День» И. С. Аксаковым симпатии Тютчева были на стороне последнего. *Аксаков женится на его дочери...*— 12 января 1866 г. И. С. Аксаков женился на А. Ф. Тютчевой. *«День» прекращается...*— В конце 1865 г. Аксаков прекратил издание «Дня». *Дмитрий Андреевич* Толстой, гр. (1823—1889) — министр народного просвещения в 1866—1880 гг., реакционный государственный деятель. *...читал свою трагедию Гладкий...*— Трагедия А. Ф. Писемского «Поручик Гладков» была напечатана в третьем номере журнала «Всемирный труд» за 1867 г. Театральная цензура запретила ее к постановке на сцене. *...на газету «Москва» за статью в № 103...*— Речь идет о статье, помещенной в газете «Москва» 9 августа 1867 г. В цензурных материалах отмечено, что эта статья, «говоря о новом законе касательно порядка печатания постановлений земских и других сословных собраний, дозволяет себе резкие против него выходки, называет его репрессивным и мертвящим жизнь наших провинций» («Материалы ... о цензуре и печати», ч. II. СПб., 1870. с. 9). *...новую драму «Царь Федор Иоаннович»...*— В конце 1867 г. А. К. Толстой закончил работу над драмой «Царь Федор Иоаннович». Вскоре она была напечатана в «Вестнике Европы» (1868, № 5). *Костомаров* Николай Иванович (1817—1885) — историк. *Майков* Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт, цензор Петербургского комитета цензуры иностранной. А. Н. Майков «любил вспоминать своего бывшего начальника и друга Ф. И. Тютчева.— Это был человек блестящего ума,— говорил он про него,— и талант его был сильный, яркий, он подымал вас от земли и уносил вверх, в небеса... Это был человек обаятельный, любезный, добродушный и благодушный. Когда он был нашим начальником, его очень все мы любили. Его беседа была так всегда жива, интересна, проста. По средам, в дни заседаний, мы были всегда, бывало, особенно как-то оживлены и в духе. Тютчев всегда что-нибудь интересное расскажет, по поводу какой-нибудь новой иностранной книги припомнит исторический случай, анекдот, событие из дипло-

матической жизни, что-нибудь из запаса своих впечатлений... И это все кстати, умно, остроумно...» (С. И. Уманец. Из воспоминаний об А. Н. Майкове.// Исторический вестник. 1897. № 5. С. 467—468). *...Тютчев разразился стихами...*— Имеется в виду стихотворение «А. Ф. Гильфердингу». *...М. В. Юзефович... рассказывал... о Пушкине...*— Воспоминания о Пушкине были позднее записаны М. В. Юзефовичем и опубликованы в «Русском архиве» (1880. Кн. 3. С. 431—446); см. также: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2 т. Т. 2, М., 1974. С. 98—110. *...особенно стихотворение Тютчева.*— Стихотворение Тютчева «Гус на костре».

И. П. Капнист

Из «Воспоминаний о графе Петре Ивановиче Капнисте» (с. 372)

Эпизод из биографии Тютчева, запомнившийся писателю Петру Ивановичу Капнисту (1830—1898), сослуживцу Тютчева по цензурному ведомству, примечателен тем, что он наглядно иллюстрирует ту особенность творчества Тютчева, о которой писал позднее И. Аксаков: стихи не сочинялись, а творились Тютчевым, «они сами собой складывались в его голове, и он только *ронял* их на бумагу, на первый попавшийся лоскуток...» См.: Сочинения графа П. И. Капниста. Т. I. М., 1901. С. CXXXIII—CXXXIV; Ф. И. Тютчев. Лирика. М., 1965. С. 430.

С. Д. Шереметев

Из воспоминаний «Князь Петр Андреевич Вяземский» (с. 372)

Воспоминания Сергея Дмитриевича Шереметева, гр. (1844—1918) интересны не только тем, что сообщают дополнительные подробности о характере отношений двух поэтов, Тютчева и Вяземского,— об этом есть свидетельства и в письмах самого Вяземского, и в стихах Тютчева, посвященных Вяземскому, и в воспоминаниях В. П. Мещерского и т.д. С. Д. Шереметев коснулся споров, развернувшихся вокруг романа Л. Н. Толстого «Война и мир», и позиции в этом вопросе Тютчева и Вяземского. См.: Русский архив. 1891. № 4. С. 498—499; Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.—Л., 1933. С. 199.

...его воспоминания о 1812-м годе, по поводу книги графа Л. Н. Толстого: «Война и мир».— В статье «Воспоминания о 1812-м годе», написанной в сентябре 1868 г., исключая «романическую часть книги», Вяземский сосредоточился на том, что ему казалось «исторической неверностью и несообразностью» в ней: «Нельзя описывать исторические дни Москвы, как Грибоедов описывал в комедии своей ее ежедневную жизнь». «А в каком виде представлен император Александр. <...> Автор выводит его перед народ — глазам своим не веришь, читая это — с «бисквитом, который он доедал». <...> Это опять карикатура» (Русский архив. 1869. Вып. I. С. 190—193). Тютчев был несогласен с оценкой Вяземским романа Толстого, о чем писал в письме к дочери Е. Ф. Тютчевой (см. п. 45). *...поминок по Бородине...*— стихотворение Вяземского

«Поминки по Бородинской битве». Далее приведены две строки из этого стихотворения. *Маркевич* Болеслав Михайлович (1822—1884) — романист. *Петр Алексеевич* — стихотворение Вяземского 1867 года «Петр Алексеевич» («Когда, как будто вихрь попутный...»). *«Блеск придал царственным рукам»* — строка из стихотворения Вяземского «Петр Алексеевич». *«И Питер вызвал из болот»* — строка из того же стихотворения.

В. П. Мещерский

Из «Моих воспоминаний»
(с. 373)

В воспоминаниях Владимира Петровича Мещерского (1839—1914), писателя и публициста, издателя газеты-журнала «Гражданин», внука историка Н. М. Карамзина, много страниц уделено и самому Тютчеву, и его семье. Мещерский создал как бы двойной портрет Вяземского и Тютчева — беседующих между собою. «Изумительно кроткая терпимость» Вяземского противопоставлена им «нетерпимости» Тютчева. Насколько неточным было такое противопоставление, свидетельствует стихотворение Тютчева «Когда дряхлеющие силы...» (1866 г.), в котором Тютчев предостерегал Вяземского от «сварливого старческого задора» при виде «пришельцев новых», а также письмо Тютчева к Е. Ф. Тютчевой (см. п. 45 и прим. к нему). Приведенные фрагменты из воспоминаний В. П. Мещерского см.: В. П. Мещерский. Мои воспоминания. Ч. I. СПб., 1897. С. 324—326, 441—442; Ч. 2. СПб., 1898. С. 194—198, 201, 203; Современники о Ф. И. Тютчеве. Тула, 1984. С. 28—32.

Вот что я писал 24 июля 1873 года... — Статья Мещерского «Свежей памяти Ф. И. Тютчева», напечатанная в 31-м номере «Гражданина» за 1873 г., была отредактирована Ф. М. Достоевским, который в 1873 г. был редактором «Гражданина». В письме к жене от 29 июля 1873 г. Достоевский писал о том, что получил от Мещерского «безграмотную» статью о смерти Тютчева: «Сутки, не разгибая шеи, сидел и переправлял, живого места не оставил» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч.: В 30 т. Письма. Т. 29. Кн. I. Л., 1986. С. 285). О характере правки Достоевским статьи Мещерского см.: Н. Ф. Бельчиков. Достоевский о Тютчеве //Былое. 1925. № 5. С. 155—162; А. В. Архипова. Достоевский о Тютчеве// Русская литература, 1975. № I. С. 172—176.

Ю. Ф. Самарин

Из письма к И. С. Аксакову
(с. 377)

Письмо Ю. Ф. Самарина (о нем см. прим. к п. 40) было опубликовано в «Известиях Академии наук СССР» (Серия литературы и языка. Т. XXXII. 1973. Вып. 6. С. 536—538).

...после кончины Хомякова... — Алексей Степанович Хомяков умер 23 сентября /5 октября 1860 г. *Раден* Эдита Федоровна, бар. (1825—1885) — фрейлина вел. кн. Елены Павловны. *...почти ту же фразу в Петербургской газете.* — По предположению К. В. Пигарева, Самарин имеет в виду следующую фразу из некролога, напечатанного в «Journal de St.-Pétersbourg» 18 июля 1873 г.: «Мы

не знаем, существует ли полное собрание его поэтических произведений: он, впрочем, придавал им мало значения. Это были как бы спелые плоды, которые росли и падали сами собою, порождаемые постоянной работой его мысли». *Можно об нем сказать: «Все дух в нем питало...»* — Цитата из стихотворения Баратынского «На смерть Гете». *...как тот был исполином перед Господом.* — Речь идет о библейском легендарном основателе вавилонского царства Нимроде (Бытие. Гл. X. Ст. 8—9). *...от приложенного к нему портрета.* — Часть тиража издания стихотворений Тютчева 1868 г. была выпущена с приложением фотографического портрета, выполненного известным петербургским фотографом Г. Деньером. *Русский язык никогда не был для него родным языком.* — В среде, к которой принадлежал Тютчев, разговорным языком был французский язык. Ср. высказывание Л. Толстого о языке Тютчева. *Свербеевы* — Дмитрий Николаевич Свербеев, дипломат, литератор, автор «Записок» (см. в наст. томе) и его жена Екатерина Александровна Свербеева, рожд. Щербатова (1806—1892). *Je crois entendre Tutchef!..* — Приведенные Самариным слова И. Гагарина неточно цитируются Аксаковым в его книге о Тютчеве «Федор Иванович Тютчев (Биографический очерк)». М., 1874, стлб. 87: Je crois entendre parler Tutcheff! Le malheureux, comme il va donner là dédans!

П. И. Бартенев

Из письма к Е. Ф. Тютчевой
(с. 379)

Петр Иванович Бартенев (1829—1912) — издатель-редактор журнала «Русский архив». В 1873 г., еще при жизни поэта, в этом журнале были напечатаны статьи Тютчева «О цензуре в России», «Россия и революция» и «Россия и Германия». Письмо П. И. Бартенева к Е. Ф. Тютчевой было опубликовано в «Известиях Академии наук СССР» (Серия литературы и языка. Т. XXXII. 1973. Вып. 6. С. 538—539).

Кто отозвался о нем так хорошо и метко в «Journal de St.-Pétersbourg»? — Автором этого некролога был чиновник Министерства иностранных дел Александр Генрихович Жомини (1814—1888), один из ближайших помощников канцлера А. М. Горчакова. *Если Иван Сергеевич захочет написать...* — И. Аксаковым был написан биографический очерк о Тютчеве, который был напечатан в 1874 г. в 10-м номере «Русского архива». *...составить по нем Тютчевиану...* — Пожелание П. Вяземского составить Тютчевиану отчасти было осуществлено: См.: Тютчевиана. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. М., 1922.

И. С. Аксаков

Из «Биографии Федора Ивановича Тютчева»
(с. 379)

В 1874 г. вышла книга И. С. Аксакова «Федор Иванович Тютчев» (Биографический очерк)». Вторым изданием она была выпущена под заглавием «Биография Федора Ивановича Тютчева» (М., 1886). Автор этого труда сочетал в себе биографа и мемуариста. Некоторые его страницы, а именно те, где Аксаков

воссоздает личность Тютчева, написаны по собственным воспоминаниям и по впечатлениям окружающих. Эти свидетельства мемуарного характера и приведены в настоящем издании. См.: И. С. Аксаков. Биография Федора Ивановича Тютчева. М., 1886. С. 12, 40—48, 83—86, 106, 107, 292, 299; К. С. Аксаков. И. С. Аксаков. Литературная критика. М., 1981. С. 290, 292—294, 296, 326, 327, 343, 344.

...по свидетельству одного иностранца...—Аксаков имеет в виду письмо К. Пфеффеля к французскому публицисту Лоренси, написанное в августе 1873 г. (было помещено И. Аксаковым в приложении к «Биографии Федора Ивановича Тютчева»). *...отзыв И. В. Киреевского...*—И. Аксаков приводит неточную цитату из письма И. В. Киреевского от 21 мая/2 июня 1830 г. (см. в наст. томе). *...Жуковский... встретясь с Тютчевым где-то за границею...*—см. в наст. томе: Жуковский. «Из дневников». *Их жизнь, как океан безбрежный...*—строки из стихотворения Тютчева «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»). *...бессмертной пошлостью людской...*—строка из стихотворения Тютчева «Чему молилась ты с любовью...» *...писал Хомяко́в... Попову*—см.: А. С. Хомяков. Полн. собр. соч. Т. VIII. М., 1900. С. 200. *...О Небо! Если бы хоть раз...*—строки стихотворения Тютчева «Как над горячею золой...» *...Otium cum dignitate...*— Выражение принадлежит Цицерону (Об ораторе. I.I).

И. С. Аксаков

Из письма к Е. Ф. Тютчевой
(с. 388)

В 1851 г., в первый год любви поэта к Е. А. Денисьевой, им написано было стихотворение «Не знаю я, коснется ль благодать...», обращенное к жене Эрн. Ф. Тютчевой. Вложенное поэтом в альбом-гербарий, принадлежавший Эрнестине Федоровне, оно пролежало там до мая 1875 г., не замеченное ею. См.: Ф. И. Тютчев. Лирика. Т. I. М., 1965. С. 395.

Ф. Ф. Тютчев

Из статьи «Феодор Иванович Тютчев (Материалы к его биографии)»
(с. 389)

В юбилейном 1903 году (100 лет со дня рождения Тютчева) в июльском номере журнала «Исторический вестник» (с. 189—203) появилась статья Федора Федоровича Тютчева (1860—1916), писателя и журналиста, сына Ф. И. Тютчева и Е. А. Денисьевой. В статье этой впервые получила огласку «последняя любовь» поэта, хотя имя Е. А. Денисьевой в ней не было названо. Ф. Ф. Тютчев сообщал свои воспоминания об отце, включил в публикацию ряд ранее неизвестных шедевров любовной лирики Тютчева, приводил анекдоты, связанные с рассеянностью поэта. О рассеянности Тютчева вспоминали многие из его современников. Но, пожалуй, с особенным пониманием характера этой рассеянности писала дочь поэта М. Ф. Тютчева (письмо к Д. Ф. Тютчевой от 8/20 января 1860 г.): «Рассеянность папа́ становится все более притчей во языцех и он утверждает, что это ему выгодно, так как постоянно забывая наде-

вать этот несчастный орден <Тютчев был награжден орденом Владимира 3-й степени>, который ему только что нацепили, можно на нее ссылаться. Ты смеялась бы как сумасшедшая, слушая его причитания; он рассматривает этот крест как немилость». В 1985 г. вышла книга Ф. Ф. Тютчева «Кто прав?», в которой собраны написанные им повести и рассказы. В нее включена и статья «Феодор Иванович Тютчев. (Материалы к его биографии)», с. 488—504.

...в лицее цесаревича Николая...—Учебное заведение в Москве для детей дворян и крупной буржуазии, так называемый Катковский лицей (основан М. Н. Катковым в 1868 г. в память цесаревича Николая). *Встретив особу, о которой я говорил...*—Речь идет о Елене Александровне Денисьевой. *...порывает с семьей...*—Здесь Ф. Ф. Тютчев допускает неточность. Тютчев не порывал с семьей, что постоянно порождало в нем мучительное чувство раздвоенности.

И. С. Тургенев

Из писем к А. А. Фету и П. В. Анненкову
(с. 397)

Ивану Сергеевичу Тургеневу (1818—1883) принадлежит статья «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева», которую он завершил словами: «Г-н Тютчев может сказать себе, что он, по выражению одного поэта, создал речи, которым не суждено умереть; а для истинного художника выше подобного сознания награды нет». Фрагменты из писем Тургенева поэту А. А. Фету (1820—1892) и критику П. В. Анненкову (1812—1887) печатаются по изданию: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. Письма. Т. 3. М.-Л., 1961. С. 254—255; Т. 6. М.-Л., 1963. С. 258; Т. 10. М.-Л., 1965. С. 129, 142—143.

Ф. И. Тютчев даже негодующие стихи написал.—См. стихотворение Тютчева «Дым» и прим. к нему. ...«Остров пышнаааай... К. Аксакова...— И. С. Тургенев ошибочно строки из стихотворения А. С. Хомякова «Остров» счел принадлежащими К. С. Аксакову.

Ф. М. Достоевский

Из писем к Х. Д. Алчевской и С. Е. Лурье
(с. 398)

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881) высоко ценил поэзию Тютчева. В письме к С. Е. Лурье от 17 апреля 1877 г. он назвал Тютчева великим поэтом. В приводимых нами отрывках из писем Достоевского запечатлены воспоминания писателя об отношении Тютчева к роману «Преступление и наказание». Фрагменты из письма Достоевского к Х. Д. Алчевской (1841—1920), педагогу Харьковской женской воскресной школы, и С. Е. Лурье (1858—1895) даны по изданию: Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 29. Кн. 2. Л., 1986. С. 77—78, 151—152.

Л. Н. Толстой

Из писем к А. А. Фету, Н. Н. Страхову, А. А. Толстой
(с. 399)

«Без него нельзя жить»,— говорил Лев Толстой о Тютчеве (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 2. М., 1978. С. 71), и всякий раз, обращаясь к томику его стихов или вспоминая особенно полюбившиеся строки, он вновь и вновь пытался постичь все то, что было в них «предвечно»: глубину, красоту, способность выразить одним словом целый ряд понятий и контрастов, свойство глубокого проникновения в основу всего сущего... Фрагменты из писем Л. Н. Толстого к поэту А. А. Фету, литературному критику и философу Н. Н. Страхову (1828—1896) и Александре Андреевне Толстой (1817—1904), двоюродной тетке писателя, даются по изданию: Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч.: Юбилейное издание. Т. 61. М., 1953. С. 259, 261; Т. 62, М., 1953. С. 9.

...встретил Тютчева в Черни...—Это была последняя встреча Толстого с Тютчевым в августе 1871 г. Возвратившись в Москву из поездки в Овстуг, Тютчев телеграфировал жене: «Утомительно, но не скучно <...> Приятная встреча с автором «Войны и мира» (Г. Чулков. Летопись жизни и творчества Ф. И. Тютчева. М.-Л., 1933. С. 220).

Л. Н. Кузина

СОДЕРЖАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

I

II

Стихотворения, написанные на французском языке

ПИСЬМА

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Тютчев Ф. И.

Т 98 Стихотворения. Письма. Воспоминания современников /Сост. Л. Н. Кузиной; Вступ. ст., ком. Л. Н. Кузиной и К. В. Пигарева; Ил. Б. П. Забирохина.— М.: Правда, 1988.—480 с., ил.

В сборник вошли стихотворения известного русского лирического поэта Ф. И. Тютчева (1803—1873), а также письма и воспоминания современников о нем.

Т $\frac{4702010100-1650}{080(02)-88}$ 1650—88 **84 Р 1**

Федор Иванович ТЮТЧЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПИСЬМА

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

Составитель
Лия Николаевна Кузина

Редактор *И. А. Бахметьева*

Оформление художника *Н. Н. Каминского*

Художественный редактор *И. С. Захаров*

Технический редактор *Т. С. Трошина*

ИБ 1650

Сдано в набор 19.02.88. Подписано к печати 26. 07. 88.
Формат 60×84 1/16. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Эдисон». Печать офсетная.

Усл. печ. л., 27,90. Усл. кр.-отт. 28,37. Уч.-изд. л. 26,50.
Тираж 500 000 экз. 1-й завод 1—250 000 экз.)
Заказ № 1379. Цена 1 р. 70 к.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП. Москва. А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства ЦК Компартии Латвии, 226081,
Рига, ул. Баласта дамбис, 3

1 р. 70 к.